

ISSN 0130-7673

ИСО ВЪИ МЪИ Р

N *M O I V R* Y

2



1994

ИСО ВЪИ

ИСО ВЪИ МЪИ Р

1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(826)

Февраль, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН ОГАНОВ — Песнь виноградаря осенью, эпос. Главы из книги. Окончание	3
МИХАИЛ КУКИН — И не движется время, стихи	87
АНАТОЛИЙ КИМ — Казак Давлет	94
ВЛАДИМИР ГОЛОВАНОВ — Больной убегает из замка, стихи	98
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Девочки, рассказы	105
ОЛЬГА ШАМБОРАНТ — Признаки жизни	125

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕРМАН АНДРЕЕВ — Обретение нормы	144
----------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

СЕМЕН ЛИПКИН — В Овражном переулке и на Тверском бульваре. Из книги «Зарисовки и соображения»	190
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРМА КУДРОВА — Третья версия. Еще раз о последних днях Мари- ны Цветаевой	205
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Огонь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат	230
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	243
-------------------------------	-----

Леонид Воронин. Судьбы крестьянской купницы.

К. Постоутенко. Штейнер и Маргарита.

Ирина Василькова. Поиски жанра.

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КОРОТКО О КНИГАХ:

Е. О з н о б к и н а. — I. Русский космизм. Антология философской мысли. II. Ю. Боженьский. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. III. «Арс». Российский журнал искусств. Тематический выпуск «Бездна» 252

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 255

SUMMARY 256

ПОЗДРАВЛЯЕМ

нашего автора

ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА,

нашего автора,

члена редколлегии журнала

ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА,

члена редколлегии журнала,

заведующего отделом поэзии

ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

с п р и с у ж д е н и е м и м

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РОССИИ

ЗА 1993 ГОД!

Редакция «Нового мира».

ИВАН ОГАНОВ

*

ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ

Эпос

Главы из книги

Часть третья

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

ღმერთო, შენ გარიგებულსა,
კაცი არ უნდა ჩიოდეს;
უნდა მოხნას და პოთესოს,
პური არ უნდა შიოდეს.

Бог, под ударом бича
Да не стонет смерд!
Жадно ждут его голод
Или пахота, сев.

УБИЙСТВО НОДАРА ШАШВИДЗЕ

Вот и пришел день твоей смерти, Нодар!

И никто, ни один кахетинский крестьянин, ни одна пастушеская собака, даже камень придорожный, не могут тебе помочь! А камень слышал молчаливое страдание Нодара Шашвидзе.

Один только буйвол Або, сам осужденный на смерть и изгнание во мрак, жалел Нодара Шашвидзе и содрогался, прощаясь с ним.

Даже дуб гомборский молчал отстранившись от жестокого убийства. Дуб, наверное, решил не вмешиваться в чужую судьбу. Страшась, чтоб казнь не пожрала его самого, раскидистую крону.

Ведь жизнь дуба гомборского давно под сомнением. Что он мог — хриплым гортанным криком предупредить Нодара Шашвидзе о расправе, что ждала его в темном лесу?!..

Нодар шел с сыном Паатой по лесу. Оба пробирались в Велисцихе. Гудел подвешенный на дубе колокол.

Плотник долбил свой гроб. Смеркалось. Тень Пашкунджи, проплывая, зацепилась за верхушки леса. Птица, кружа, пыталась остановить наплывавшую тьму и пожрать ночь.

Дуб страшился, что после расправы над Нодаром Шашвидзе Хаос пожрет гомборский лес. И начнет гореть лес судеб родовых тлеющим, отравленным огнем.

Лес не решался. Ему бы сжаться и задушить убийц. Но не хотел он путать дела людские. Пусть сами отвечают солнцу за свое зло!

Пахло гниющими в земле желудями. Червь плотал землю и не мог ее съесть.

— Поем земли и стану зрячим! — надеялся червь.

Червь не дышал. Капелька влаги, из которой родился Хаос, остывала в нем.

Солнцу не терпелось побыстрее спрятаться в дупле дуба. Не могло солнце видеть обнаженным лицом, как умерщвляют человека.

Кости Нодара Шашвидзе остывали от холода, который несла, как долгий ночной сон, река Алазань. Ночь обещала накормить лес и голодную реку кровью Нодара Шашвидзе.

Вся Кахетия насытится его невинной кровью — лес, старый дуб и даже придорожный камень, отколовшийся от скалы, где был прикован стонущий Амирани, укравший у богов огонь для человека.

Нодару Шашвидзе казалось, что колючие ветви деревьев пытаются расцарапать и выколоть ему глаза.

Он не хочет видеть, как терзают его убийцы. Он хочет бежать из мрака.

Свиньи, изгнанные им из храма, пожрут Нодара. Только в опустевшем храме он мог бы найти спасение. Но стадо подкопает и обвалит храм Алаверди.

Сын Паата вздрогнул, ему померещился визг голодных, разъяренных свиней. Солнце, уже высохшее, искало свое одинокое гнездо, растасканное птицами. Лес курился горечью. Огромная, приземистая туча ползла на верхушки.

Никто не спасал Нодара!

Один только великий громадный буйвол Або, пропахший тоской и засохшей грязью, мог бы преданно идти за чужаком, если б Нодар Шашвидзе догадался, что с буйволом, который боролся с Хаосом, можно разговаривать на обыкновенном человеческом языке.

Надо было довериться медленному шагу буйвола, каждому удару копыта о древнюю землю, что раскалывалась от тоски. Но кто слышал буйволиное загнанное, изнуренное любовью к женщине сердце?!

Кто слышал стон горла глубокого и черного, как пропасть, как пещера? Хаос распирал великана.

Великан хочет броситься на дуб и сокрушить ударом рога!

Буйвол Або, охваченный бушующим в нем Хаосом, жаждет свалить отца Кахетии — седой и крылатый дуб.

— Дуб! Враг мой! Я волочу повозку траура к пещере, куда сбрасывают мертвецов, души их летят в бездну.

Я несу Хаос. Ударом копыта я могу развалить Кахетию! Почему ты не хочешь спасти Нодара Шашвидзе?

Ты кричишь, что он, уничтожая обряд, освободил крестьян от страха, что держит их в рабстве сотни лет.

Мироеды наняли убийц. А ты стоишь и молчишь с нахмуренным лбом. Ждешь, когда осенью тебя обольют жертвенной кровью сына твоего Дионисэ. Замираешь от радости, когда пьешь эту несчастную кровь. Лижешь жадным и горячим языком кровь сына.

Ты, дуб гомборский, хочешь смерти Нодара Шашвидзе, ты утрачен тем, что, уничтожая древний обряд, он отдаст тебя на гибель. Ты страшишься, что кровь твоя, кровь трех тысячелетий, зальет лес и долину.

Эй, дуб! Я, буйвол Або, обвиняю тебя!

Листья твои напились темной крови зарезанных быков. Листья шумят и выдают твою жестокость и жадность.

Обвиняет тебя желудь Дионисэ, проклятый тобою и осужденный на вечную, возвращающуюся смерть.

А ты стоишь равнодушный и тайно от всех лижешь своим языком чудовища нашу жертвенную кровь, текущую по могучему стволу

Ты уничтожил стада человекобыков!

Ты боялся их власти!

Но погоди, ты задохнешься!

Я сам буду слизывать с твоего ствола взбугтрившимся, жестоким языком кровь моих буйволов-предков, а ты, убийца животных, ты, любовник жалеющих твое тело пчел, погибнешь!

Уйдешь во мрак.

Я задушу, закружу тебя Хаосом, что вырвется из моего каменного тела!.. Я, буйвол Або, сокрушу твою власть!

Нодар Шашвидзе остановился, прислушиваясь к хрипу буйвола.

— Птица Пашкунджи! — шептал дуб, опустив веки. — Не мешай кровопролитию! Не отпугивай убийц. Убирайся вон!

Птица Пашкунджи в бессильной ревности терзала железным клювом ночную извивающуюся со стоном реку Алазань.

Смеркалось. Холод и тьма окутали Нодара Шашвидзе и сына.

Нодар остановился, пораженный мощью древнего великана.

Сын крепче сжал руку Нодара.

— Отчего дуб так хмуро смотрит на тебя, отец?

Нодар Шашвидзе, не выпуская руки сына, подошел поближе к толстому стволу дерева, обмазанному медом и сверкающему каплями ранней крови.

— Он знает нас, — вымолвил Нодар Шашвидзе.

Нодар попытался заглянуть в дупло. Там кто-то дышал.

Он не знал, что в дупле сидела злящаяся на отца за малодушие дочь его, охотница Дали. Дали хотела высунуть из дупла руку и спасти жизнь Нодара. Но дуб быстро сжался и захрипел горлом.

— Ты хочешь что-то сказать? — спросил Нодар у дерева.

Но дуб молчал.

— Свины, которых ты изгнал из храма, несутся сюда, жди! — вдруг пробормотал дуб, страшась вступать в разговор с жертвой.

— Мне твоя кровь не нужна, — добавил седой патриарх, закрывая одинокие, равнодушные глаза. — Я пью кровь быков и буйволов Хаоса! Твоя человечья кровь невкусна!..

— В чем моя вина? — усмехнулся Нодар.

— Ты поднял руку на обряд! — рассердился дуб. — А я отец обрядов! Я, патриарх Кахетии, осудил тебя! И даже мироеды, нанявшие убийц, не знают об этом. Там, где кончается обряд, гибель моя! Мне тридцать веков, и я давно обречен, но не торопи события.

Мой древний закон не исчерпан! Еще не выпито небом время дуба-великана. На моих плечах народ.

Ты замахнулся на обряд!

И смерть тебе!..

Не слышал шепота листьев ночных Нодар. Только нахмурил брови, постаревшее, чужое лицо.

— Вот дуб гомборский! — тихо сказал, почернев лицом, Нодар. — Отец рода кахетинского! Отдаю тебе в жертву сына моего Паату! Пей его кровь, но спаси народ!

И захрипел в ответ дуб, словно захлебываясь юной кровью Пааты, что, хлынув, залет лес.

Буйвол Або провалился в яму.

Пытался вылезти.

Тени протянулись сзади, сгустились и связали руки сначала сына, потом Нодара Шашвидзе.

Убийцы душили Нодара. Глаза мужчины мгновенно наполнились черной кровью ужаса. Он не мог уже прижать к груди сына.

Он только хрипел, как бык умирающий, и разбудил страшным криком стада окаменелых в пещере человекобыков, принесенных дубом в жертву Времени.

Буйвол лез из ямы, скользя копытами, продирался сюда.

Умирая, Паата целовал страшные руки убийц, умоляя не трогать отца.

Нодар стоял связанный, на коленях возле умирающего, истекающего кровью мальчика, а банда из трех убийц обступила.

Людоед Какачошвили, Лаокина-Улитка и Диплипито.

Нодар не видел их. Он не чуял страха, только кровь, что пенилась из горла Пааты, потрясла.

Ужас разрывал грудь.

Дуб молчал.

Стоял как неживой.

И вот трое убийц. Людоед, жмурый верзила с низким лбом, на который натянута кепка, Лоокина-Улитка, ползучий инвалид с горбом, а также маленький и кажущийся безобидным, а на самом деле безжалостный приземистый паренек, любитель народного хорового пения и барабанщик Диплипито, обхватили Нодара, душили.

Они долго не могли одолеть жертву.

Хотя дуб своим злобным стоном пытался помочь им.

Лес слышал, как идет напролом, ломая деревья и выкорчевывая рогами пни, буйвол-предок.

Но лес держал соперника седого дуба.

Буйвол кричал, пытался разодрать свою грудь, чтоб Хаос, вырвавшись наружу, пожрал всех.

Но буйвол Або снова провалился в яму.

Гудела гора.

Крестьяне думали, слыша, как стонет гора, что Нодара Шашвидзе, набросив на голову мешок, бросили в мрачное подземелье Гурджаанского винзавода в бочку и он задыхался в ней и тонул, захлебываясь отравленной кровью бога Диониса, превращенной в скверное, губящее народ вино.

Стадо свиней, изгнанное Нодаром из древнего храма, налетело с визгом со всех сторон. Убийцы едва успели отскочить.

Свиньи рвали и пожирали валяющихся на земле под дубом отца и сына.

А дуб гомборский вздохнул с облегчением, сбросил с груди камень.

Он был счастлив, что не дал нарушить закон.

И окаменел и медленно остывал, даже не прислушиваясь к творящемуся возле его подножия убийству.

На рассвете, когда стадо свиней, утомленное, побрело прочь, на поиски покинутого ими храма, дуб встрепенулся, разбуженный шебуршанием черного дрозда в сухой прошлогодней листве. Ствол обрызган кровью Нодара Шашвидзе.

Хриплым и уставшим от ночи тяжелым языком дуб стал медленно слизывать долгожданную остывшую кровь.

Не будет слышно причитаний плакальщиц, когда Маро обмоет истерзанные останки Нодара Шашвидзе.

Плотник станет подгонять буйвола, запряженного повозкой, скрипящей громадными деревянными колесами, к пещере Джоджохэти, ждущей своего мертвеца.

А на лечебных грязях курорта Ахтала, голые и брюхатые, лежа в грязи и попивая холодное вино из бутылок, праздновали уничтожение врага мироеды.

Тамадой выбрали Янго Лазуришвили.

Собрался высший свет, даже разбивший свои ходули-протезы при подавлении недавнего бунта Судья-сифилитик с гниющим лицом, полза-

ющий среди кушаний на обрубках, полковник милиции Навхудоносор Адамия, ожидающий с волнением генеральского чина, Корнелий, небожитель Телавской Свободной тюрьмы и заочный заведующий велисцхской хлебной лавкой, человек испорченный, братья-кровопийцы Саша, Вова и Бахчо Бежиашвили, капитан-попрошайка Абесалом. Они голышом ползали, как жирные черви, в целебной грязи от пороков, где были расставлены закуски, блюдо с сациви и кипящее харчо в закопченной ржавой кастрюле.

Кидаясь шутовски грязью, напиваясь, ежась и закрывая стыдливо фиговыми листками срамные места, пресмыкаясь, мироеды угодливо громко кричали здравицы в честь директора винзавода № 1, радостно проклиная растерзанного стадом свиней Нодара Шашвидзе.

Да будет проклята память о нем! Слава Янго, Мадли Янгос!
 Да здравствует вечнозеленый дуб гомборский, наш вечный раб!
 Раб наш седокрылый, исполинский!
 Гаумарджос!
 Авоз!..

Мертвого Нодара Шашвидзе сначала перенесла на своих крыльях птица Пашкунджи в Велисцихе. Сына Паату сожрали свиньи, не оставив даже кровинки.

Потом от окраины деревни крестьяне несли на руках осрамленное, изуродованное, страшное тело.

Но несли жертву лицом вниз, чтоб не осквернить пылающего в небе солнца.

Его завернули в баранью шкуру и трижды обнесли вокруг Велисцихе. И вот погребальный костер возле пещеры Хуца, у оврагов.

Буйвол в повозке привез сюда Нодара.

Горело тело Нодара Шашвидзе.

Бабочки кровавые рождались в полыхающем костре. Усталые глаза буйвола сжались, дымясь синим пеплом.

Страшился огня — опасного врага дуба.

Ласточки с писком кружились в огне, рождаясь от стога мертвого горящего тела.

Смешались в жутковатой пляске кровавые бабочки и черные ласточки прощания. Погребальная пляска кружила над бочкой с медом.

Пепел сожженного развеяли над медом душистым.

Потом бочку, громыхающую и бьющуюся об утесы, бросили в пещеру.

Охотники рассказали, что ночью видели окаменевшее лицо Нодара Шашвидзе на могучем стволе гомборского дуба.

Лицо смотрело немым, слепым взором на охотников, гоняющихся за кабанами.

А птицегадатель Арзуман уверял, что подглядел, как дух убитого Нодара улетает к Алазанской долине на муравье, подхваченном ветром.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СТАДА

Одичало изгнанное из Алавердского храма стадо домашних свиней.

Стадо разбрелось, Геронтий никак не мог уследить за ним, все чаще свиньи уходили в дубравы, пожирая найденные на земле желуди, ели они землю и подгрызали корни дуба. Дубы валились набок с ужасающим стоном.

Стадо бросилось на раненого, рвало на куски, грызя крепкий ствол.

Иногда стадо сталкивалось с кабанами, своими древними собратьями, но даже кабаны отступали от одичалого бешеного стада, от чужой ярости.

Животные свинофермы, изгнанные Нодаром Шашвидзе, вновь дичая, сохранили свойства паразитов, развращенных мироедами, они и не слышали никогда про строгий закон кабанов, живших в лесах вместе с вождем, старым кабаном с громадной головой и острыми клыками.

Потерявшие своего свинопаса Геронтия, они были необузданны, алчны и своевольны. Кабан-вожак вступил однажды в битву с кабанами и, порезав и растерзав клыками множество их, повелел кабанам отходить поглубже в гомборский шумящий лес, чтоб не встречаться с прожорливыми безумцами, страстью которых была только жратва.

Великий гомборский лес вместе с патриархом крылатым опасался изгнанного из храма, все на своем пути пожирающего, ненасытного стада, которое и лес древний могло обглодать до последнего листа.

Недовольны были велисцихцы, лишившиеся свиного мяса, ругались с ними крестьяне соседних деревень, вынужденные вести затяжную войну с напавшим на их добро, на поля и сады чужое стадо. Они кричали, чтоб велисцихцы забрали в свою деревню стадо, раз Геронтий был из Велисцихе.

Если они находили угрюмого, опустившегося, печального Геронтия в винном подвале, хашной, столовой, они орали, чтоб он тотчас шел к изголодавшимся обезумевшим свиньям, гнал их вон. Колотили пастуха.

Геронтий оброс щетиной, жалобно убеждал, что и сам не рад, потеряв ремесло, а свиньи так обнаглели, что у него нет над ними власти и он, как нищий, побирается по чужим дворам, бросил играть на дудке, а семья прокляла неудачника.

К кому только не обращался за помощью Геронтий.

Даже ветер просил, ветер был блудным сыном Велисцихе с вьлланканными на чужбине холодными, ввалившимися от скорби глазами, в юности он исчез, а пожилым вернулся, бедняком искал очаг, целовал родное пепелище, обгорелые очажные камни.

Геронтий молил ветер подуть так, чтоб стадо, распавшись, вновь собралось, напуганное диким воем ветра. И искало у Геронтия убежища.

Дуб тоже обращался к ветру.

Несчастный ветер жил в деревне Велисцихе неприкаянным, все кружил вокруг разрушенного временем и судьбой жилища, все ворошил сухими пальцами пепел очага, надеясь найти хоть одну окаменевшую слезу матери, чтоб отогреться, прижавшись к ней дряблой щекой.

Дуб останавливал пролетающий ветер.

— Эй, послушай, брат! — объяснял дуб. — Я боюсь, что меня сожрет стадо изгнанных из храма свиней! Посмотри, что они сделали с молодой дубравой. Они пожирают кору, грызут корни! Люди, страшась наткнуться на свиней, не ходят в мой одинокий лес, не носят мне еду, я голодаю, я худею и слабею с каждым днем! Я могу пасть бездыханным!

— А как быть храму? — свистел ветер, кружа. — Бывшие монахи, которых мироеды заставили оформиться рабочими-скотниками свинофермы, наконец сменили грязную спецодежду и ватники на черные рясы и поют целыми днями и ночами гимны богу виноградников своими земляными, изможденными голосами.

Они вымаливают у неба прощение за осквернение храма и посылают песню солнцу!

Дуб гомборский рассердился и хрипло, запальчиво крикнул лукавому ветру, что песни крестьянам надо посылать не богу неба в оскверненном, загаженном храме, а лучше вместе с жертвой и обильной едой возносить славословия ему, дубу времени, отцу и патриарху Кахетии, седому отцу крестьянского леса-кормильца!

— Я дуб! Я бог! Я родил быков и кахетинцев!

Я научил Тархнишвили из глины лепить первых людей! Племя кахетинское!

Меня обожает шумная, бурнопенная, камни швыряющая Алазань, кровавыми, истерзанными слезами по мне плачущая!

— Лети, ветер! Ищи по кабакам и забегаловкам и подвалам свинопаса Геронтия, тоску свою кислым вином заливающего!

Тащи его за шиворот, пусть собирает свое стадо и возвращается в храм. Место свиней в храме!..

И отбежал ветер от дуба, подавленный тем, что дуб боится быть сожранным стадом одичавшим и не может одолеть наглое, распущенное стадо. А ведь и люди и свиньи рабы его!

Чуяли себя хозяевами свиньи, разжиревшие в храме, только в нем они согласны размножаться, пожирать друг друга, валяться в навозе. Пусть их даже режут, но в храме, чтоб кровью гадить стены.

И послало небо проклятие на них.

Вот где боролся дуб с небом!

Молния в гневе может дотла сжечь старое малодушное дерево. Где твоя былая мощь, дуб?

Куда всё подевалось?

Пусть дуб рассыплется пеплом! Пусть терзает Великана молния, дочь яростного неба.

Свиньи должны вернуться в Алаверди!

Или сожрут желуди и не родится в Кахетии от дуба Дионисэ.

А без младенца Дионисэ почернеют листья дуба, не зазеленеют весной ветки и порывы одинокого быстрого ветра не оживят увядшую душу.

Дуб любит величие. Жаждет вечно стоять отцом умирающих богов.

— Я дуб обрядов! — рычит он. — Эй, Геронтий! Собери стадо.

Слышит крик дуба в поле пахарь Ваню и не может сдвинуть плуг. Плуг страшится возвращения в храм диких свиней.

Замерло колесо арбы Ило — завоевателя пространств.

А Геронтий пил где-нибудь в духане. Сидел на лавке, опустив на стол измученное, небритое лицо, обтянутое серой кожей, на голове включенные, жесткие волосы.

Сидел Геронтий молча, на нем старая, выгоревшая и дырявая солдатская гимнастерка, в которой он ходил на одну из прошлых войн, весь пропахший духом курящейся водки, жженым углем, свиной щетиной, голодом, ветром и крошками хлеба.

Шел он и на войну, сжав заскорузлыми пальцами пастушескую дудку.

Сейчас он сидел с дудкой на коленях, здесь гнали чачу.

Гул котла с кипящей и рождающейся и по капле стекающей в бутылку водкой. Каждая слеза новорожденной водки обжигала голодное сердце Геронтия.

Казалось, всеми брошенное сердце гудит котлом. Истекает горячей болью.

Ходил по деревне Геронтий сгорбившись, опустив кудлатую голову, словно кабан придавил его к земле, растоптал копытами.

Слепой червь однажды прошептал мертвецки пьяному Геронтию, спящему там, где упал, в поле:

— Сделался ты, как и я, ничтожным червем, а был человеком и свинопасом! Доход имел!.. Я хоть могу каплю пота родить, пот — это дыхание и жизнь, а ты кто?

Ты не заступился за свиней, когда их резали в храме.

Ты пил вместе со всеми горячую кровь и обжирался хаши из требухи. Вместе с другими ходил кланяться дубу гомборскому, когда народ нес ему в бочке солонину, чтоб дуб зимой не издох с голода! А я, червь, никогда не ползал на поклон к дубу!

Я сам бог, бог земли, я хозяин каменной рыбы, что дарит своими судорогами плодородие Кахетии!

Иди, дурачина, собирай свое стадо! Становись человеком, говорят, некому больше спасать от свиней Алаверди!

Свиньи растерзали своего врага!..

Думал об этом разговоре Геронтий, вспоминал в харчевне, приподняв лохматую, заспанную голову, запухшее лицо с буграми и прыщами; чужими глазами оглядывал мир Геронтий — дым и перегар кругом, водочный перегар выел глаза, на углях пеклось твердое, несъедобное мясо, он не мог жевать и, встав и почесавшись, нетвердым шагом, спотыкаясь, сжав в руке тяжелую дудку, толкнул дощатую дверь злачного заведения и шагнул наружу; свежий ветер надавал ему несколько пощечин, провизжал, чтоб шел и занялся делом и добывал прокорм отчаявшейся семье; очутился мужлан возле края земли на отшибе, а чуть подалее кругом замерли слегка прозябшие и застигнутые золотистым вечереющим солнцем, звенящие лучами велисцихские родные виноградники. Они стояли, как бы прислушавшись к сдавленному дыханию несчастного Геронтия, к хрипам его простуженной груди. Они ждали, чтоб их погладила на сон отеческая добрая рука.

Геронтий крепче сжал в темной, жилистой руке большую дудку, на которой не играл с того ужасного вечера, когда, потрясенный избиением свиней, побоищем кровавым, вместе с безумно орущим стадом бежал к Алазани.

Но стадо не бросилось с обрыва в шумящую пеной реку, река не могла топить в себе животных, хоть нечистых, она отшатнулась и ушла, затопив деревни на другом берегу.

Очумело стадо. Бежало прочь, рассыпаясь горохом.

И вот Геронтий стоит на земле, возле готовых ко сну освещенных низким розоватым солнцем виноградников; тоска сжала горло, предвечерние лучи ударили его по вялым глазам, ожгли их, пробудили огонь жизни.

Геронтий отшатнулся, схватился рукою за грудь и вдруг разглядел, как бегут через дальнее поле крестьянские парни, машут руками и что-то хрипло кричат.

Мол, пусть не валяет дурака, а идет назад в деревню, мироеды хотят взять его в общину свинопасом. Мол, народ собрал Геронтию по зернышку хлеба, мяса, принесли семян, а осенью прикатят большую бочку с вином. И семья и он не подохнут с голода!

Вот что кричали издали бегущие сюда и спотыкающиеся парни, а за ними с хриплым лаем увязался пес и тоже лаял о том же.

Геронтий не торопился, он был обижен на крестьян, они ведь не помогли, когда из древнего храма изгоняли свиней, не полезли в драку с чужаком Нодаром Шашвидзе, не кормили его голодающую семью, и Геронтий расстегнул сваливающиеся штаны из обветшалой холстины и стал мочиться на высохшую без дождя землю.

Мочился долго и с голодным, жадным удовольствием, выпуская искрящуюся, веселую пену, мощной струей как бы высвободая мочевой пузырь от обиды и тоски.

Теперь Геронтий свободно мочился широкой струей, в этом один только соперник — Бнело-Темный брадобрей, хвастающийся конским, лошадиным потоком, многопенной жаркой рекой, изливающейся из него. Слепой червь, смеявшийся над бедняком Геронтием, теперь задыхался, тонул.

И, освободившись от горестной обиды в мочевом пузыре, свинопас ждал, пока к нему шли разгневанные его нахальством крестьянские парни. Дал каждому из них такую затрещину, что они, перекувыркнувшись в воздухе, бежали от очумелого свинопаса Геронтия врассыпную с плачем: «Черт тебя дерь, бей, только возвращайся!»

Трепка совсем избавила от обиды сердце, гудящее горой, а он был мужланом дюжим и крепким, мог в кулачных боях побить три деревни. Геронтий, распрямив могучие плечи, гаркнул шумящей реке Алазани, чтоб она закричала своему дубу.

Геронтий идет за свиньями. Пусть за него молится великан! И со сдвленной, неуверенной улыбкой, севшей на кривой рот, хозяин шагнул по родной велисцихской земле, пахнувшей палыми листьями и коровами.

Шел гордо, как могучий буйвол Або, никого не боящийся и самый сильный в Кахетии, прижал к широким губам дудку и заиграл на ней, зовя разбежавшееся стадо.

Песня глуховатой дудки обрекала на позор освобожденный Нодаром от нечистот и хрюканья храм, в котором народ снова поклонится свинье, влезшей на алтарь. И поставят ей корыто с отрубями.

Ветер разнес по темнеющим полям и рощам немую, горемычную песню дудки деревянной. Песню хрипло подтянул сорванным низким голосом обрадовавшийся дуб. Дуб радовался чужому позору.

Геронтий играл на дудке. Хозяин шел по земле.

Вано-пахарь, увидев гордо шагающего краем вспаханного и засеянного поля свинопаса Геронтия, перепугался, чтоб не примчались откуда ни возьмись изгнанные прожорливые свиньи, не потравили и не ископытили поле, и, поднатужившись, поднял, как не раз, на свои широченные плечи родное поле. И стоял пошатываясь, выпучив глаза и оглядываясь, не бегут ли животные.

Но Геронтий шагал легко и мощно, играл на дудке все громче, оставившись возле здоровяка пахаря, подул еще в свою дудку и даже шутки ради предложил пахарю помочь держать вместе поле на плечах.

— Вано, бедолага! Чего ты его поднял, грыжу хочешь заработать? На кого шею гнешь, труженик! Пот твой пролитый давно превратился в камень. Надрываешься на общинном поле, а две трети урожая отдашь мироедам? Пусть лучше свиньи сожрут пшеницу!

И снова пошел к дубняку, а Вано, шатаясь, до ночи держал поле на изболевшихся плечах.

Заиграл возле дубняка Геронтий, из дальнего гомборского леса в ответ обрадованно простонал мечтающий избавиться от страха голодной смерти дуб.

И может, не смог бы собрать всех разбежавшихся, гибнущих тварей общинного стада из бывшей совхозной свинофермы в храме Геронтий, если б не лежащий посередине Старой Кахетинской дороги змей, раздавленный переехавшим его колесом арбы Ило.

Знал хитрый и коварный змей, пожиратель хлебных полей и злаков, что аробщик Ило на своей арбе, запряженной задумчивым волом, хочет объехать и завоевать все пространство кругом Велисцихе и одомашнить его.

Змей ползающий и летающий страшился потерять землю и небо, себя одного считал хозяином и мешал каждому кахетинцу вырубать лес, осушать болота, захватывать участки и завоевать мир.

Однажды змея перехитрил Ило. Раздавлив его колесом арбы.

С разрубленным надвое туловищем несчастный змей, закатывая от боли глаза, истекал кровью и издыхал, а чтоб спастись, надо ему заползти в колючие кусты ежевики, напиться ежевичного сока, смазать страшные зияющие раны!

Однако сам он не мог.

Едва завидев шагающего по дороге с дудкой бодрого, стряхнувшего с плеч грусть Геронтия, змей шевельнулся и, харкая черной, смрадной кровью, с шипением умолял Геронтия, чтоб тот схватил его и отшвырнул в кусты.

За это змей обещал, что он дунет в ухо Геронтию и свинопас найдет свое разбежавшееся стадо, лучше прежнего понимая свинячий язык.

Почесался Геронтий, чуя, как опасно верить коварному змею-искусителю, но махнул рукой.

В голодный год пространство вокруг деревни сжималось, а в урожай росло вширь.

Схватив змея за кровавый чешуйчатый хвост, Геронтий потащил его волоком в кусты, покраснев от натуги, с выпученной на лбу жилой.

Змей в благодарность дунул, шипя, в ухо Геронтия, заросшее рыжими волосьями.

Отшатнулся напуганный Геронтий и вдруг расслышал визги обезумевших свиней, каждую свинью он слышал. И в яму силосную свалившуюся. И тонущую в реке. И обжирающуюся грязью.

Кричали свиньи, если не соберет он стадо и не ответит и не запрет их в храме Алавердском, они саранчой сожрут все деревни Гурджаанского района, а потом примутся за Кварельский.

И придут в Кахетию голод и смерть.

Размахивая пастушеским посохом, неизвестно кем брошенным к его ножницам в разваливающихся чувяках, дудя в свою дудку, бежал Геронтий сгонять к храму стадо.

И дрожала земля и пыль от тяжелых его шагов.

Дуб гомборский веселила эта глупая и прожорливая, как свинья, песня

Теперь дуб не помрет с голодухи, а из желудя родится сын Диониса будущей весной.

Свиньи с визгами сбегались к любимому вожаку.

Молчал дуб. Чтоб успокоить великана, снова и снова дул в свою громадную дудку свинопас.

Стадо с хрюканьем и визгами оглушило весь район.

Шумно двинулось через деревню Велисцихе.

Петухи и козы здоровались с пропавшими друзьями.

Шарахались в стороны мимо проезжающие повозки.

Возле деревни три мироеда Бежишвили, Саша, Вова и Бахчо, вышли кланяться и встречать свиней хлебом-солью и бочонком пива.

Пробиваясь дальше, к храму, стадо заночевало в деревеньке Чумлаки, у какого-то хозяина, мелкого мироеда, который настойчиво просил Геронтия за своими подопечными доглядывать, потому что он, с его слов, очень дорожил имеющимся у него винным погребом марани и опасался, чтоб свиньи, наголодавшись в изгнании, не опустошили запасов.

Геронтий обещал, а ночью полез сам в этот погреб, напился, захрапел, а потом и свиньи, привлеченные его громким посапыванием, ринулись в погреб и чуть было не разнесли подвал и бутылки и бочки с чудным вином. Пожрали окороки, колбасы, хлеба и мешки с мукой.

Насмерть перепуганный хозяин вместе со сбежавшимися домочадцами, вопя от горя, расталкивал и пихал храпящего брюхом свинопаса.

Утром стадо, весело помахивая хвостами, резво бежало по Старой Кахетинской дороге, а Геронтий, прихрамывая и матерясь, весь в перьях и муке, заспанный, поспешал за ним, злой с похмелья.

Древний храм сжался сырыми стенами.

Храм осыпался фресками. Глаза святых мерцали со сводов.

Глаза были грустные, как у кахетинских святых, рожденных в бедности, в хлеву, среди мычащих овец. При свечах.

Древние взоры на стенах догадались, что их теперь снова замажут белой известью или выколуют гвоздем.

Рать скорбных святителей чуяла, что изгнанные свиньи вернутся назад, вслед за убийством мироедами Нодара Шашвидзе.

Расцветшая на стене лоза пела холодную военную песню, пытаюсь спасти душу народа. Но даже вечная, горящая истиной гроздь бессильна спасти древний храм.

Опустевший после изгнания бесов храм оплакивал гибель спасителя Нодара Шашвидзе. Случилась в лесу жестокая расправа.

Храм Алаверди не успел исцелить свою душу и здоровье.
Тяжкий, тошнотворный запах не сразу выветрился из помещения.
Тянуло изо всех углов хлевом, навозом, грязью. Зловонием.

Как будто храм Алаверди боялся начинать собственную свободную жизнь.

Может, жертва свиньями в пещерном капище Некреси, зарезанис свиней и поедание сала мироедами, сделало храм Алаверди бессильным.
Языческое капище победило храм виноградной лозы!

А подсобные рабочие и скотники в черных сатиновых халатах и ватниках, сапогах и грязных, рваных полушубках, бывшие монахи, чернецы, страшились снимать эту спецодежду, резиновые сапоги, выданные совхозом, не сдавали пока лопаты и ножи на склад, храня по-прежнему тайно и с опаской в карманах халатов и ватников огарки недогоревших, погасших, обуглившихся свечей.

Оглядываясь в страхе, вынужденные скотники затепливали огарок, чтоб воском окурить смрад.

Стадо было уже близко.

Геронтий воспрянул духом. Гордо поднял нечесаную голову, распрямил плечи.

Оставалось только принести свиноферме жертву возвращения блудного стада.

Выхолостить злого хряка, дать ему попить собственной крови, а потом насытить ею других свиней и снова напиться самому.

Это было причастие стада. Жертва беженцев своему загаженному алтарю.

Враг приближался к храму. Стадо разоряло окрестные виноградники.
Лезло сюда напролом.

Народ прятался кто где, бежал кто куда, только куча простоволосых женщин с палками и вилами пыталась преградить путь шумной ораве.

И вот загудел сиротливо колокол.

Рев заглушал молитву.

И вот они ворвались, носились по опустошенному гулкому помещению, мочились от радости, бросались на стены, грызли их, чесались, хрюкали, глотали валяющиеся под копытами слипшиеся восковые огарки, принюхивались к животному духу.

Визжали, голосили и стонали от радости. Закатывая мутные от опьянения свободой глаза, пытались подражать церковному пению.

Со страхом жались к голым стенам подсобные рабочие-скотники.

А потом под дудку Геронтия и с его согласия рабочие выгнали к алтарю древнего храма громадного хряка, повалили его скопом на каменный пол, связали, блеснули ножом и охолостили!..

Дудка Геронтия не смолкала. Дудка надрывалась.

ЭТО БЫЛА ЖЕРТВА СТАДА СВИНЕЙ СВОИМ СОБРАТОМ-РОДИЧЕМ ХРАМУ, КУДА ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ТЕПЕРЬ УЖЕ НАВСЕГДА!

До нового пришествия Виноградаря.

Хряк визжал остервенело, вырывался, но стадо не бросилось на его спасение. Не стало спасать родственника.

Свиньи замерли в нерешительности, принюхались, вздрагивая клочкастой щетиной, а потом, когда брызнула кровь, стадо ринулось на своего раненого и поваленного собрата, пытаясь пожрать.

Все кружилось перед почерневшими глазами Геронтия. Но он не отнимал дудки от своих похолодевших губ и ошалело дул.

Его рвало кровью, тошнило, но он играл разухабистую песенку.

Может, думал, что это гимн лозе, нисходящей в бездну.

Окровавленный хряк выживет, превратится в борова, жирного, тупого увальня, салом заплывут мутные, некогда горящие злобой глазки, а потом и совсем утонет в жирной душе память о свободе.

За жратву и похлебку раздобревший боров простит Геронтию и оскверненному храму позор, пережитый им при возвращении в алтарь.

Кружилась чернеющая земля во взоре Геронтия. Такими же черными сделались взоры загаженных кахетинских святых на стенах и сводах. Лица святых набухли кровью нечистого выхолощенного бывшими монахами хряка.

Зрачки монахов напоены кровью.

Рабочим-скотникам чудилось, что это не хряк издыхает, барахтаясь в жирной крови, а Нодар Шашвидзе корчится на каменном полу собора в предсмертных судорогах, пожираемый свиньями. Он поднял на них немощную руку.

Храму ножом вырезали горло. Чтоб он никогда уже не пел.

Храм молчал. Дудел в дудку Геронтий. Чавкали свиньи.

Деревянная дудка пастуха издавала утробные, глухие стоны.

Мироеды устроили крестьянам маленький праздник по случаю возвращения изгнанных свиней в храм божий.

Народ выкатил бочку вина, мироеды дали мяса и велели гулять и радоваться всей Кахетии.

Крестьяне жгли чучело свиньи из соломы. Крестьяне плясали вокруг костра, взявшись за руки.

Сжигание божества свиньи снова возвращало власть стада.

Крестьяне всю зиму голодали без засоленной свинины, они пухли от голода, град побил урожай винограда.

Поэтому, сжигая большую свинью, божество, крестьяне словно просили прощения за изгнание стада. Просили божество не гневаться, когда крестьяне будут резать его и жечь в годину голода. Засаливать в бочке.

Дуб гомборский в своем мрачном лесу задышался от дыма горячей соломы. Кашлял! Но дуб был доволен, что нынешней зимой крестьяне накормят и его солониной.

Хрипло пела деревянная дудка Геронтия. Он водил хоровод возле гибнущего горящего божества, приплясывал, смешно пригибался и падал набок, на землю.

Крестьянские глаза слезились.

Крестьянам мерещилось, что сама Кахетия приняла облик горячей в соломе толстой свиньи и выпрыгивала из гудящего огня. Хохот крестьян гнул гудящее пламя к земле.

Кахетия, обгорелая, как свинья, с несчастным визгом бежала от крестьян по деревне, в поисках зверски изувеченного Нодара Шашвидзе.

ПОХОРОНЫ АНИКО

Плотник вместе с Маро хоронил свою первую жену Анико.

Урожай груш на ветке, выросшей из спинки кровати, высох.

Свеча почернела.

Маро помогла плотнику. Она могла одна палкой отбиться от стаи голодных волков. Могла одна вспахать поле.

Маро стояла молча, держась руками за заднее колесо погребальной повозки. В громадную повозку запрягли буйвола Або.

Маро не поднимала тяжелой головы в черном платке. Слезы поблескивали в мертвых глазах первой жены плотника.

Буйвол не двигался, ждал.

Накануне Маро обмыла покойную. Плотник налил в корыто вскипяченную воду. Он сгорбился возле грушевой кровати с мертвой.

— Уйди! — сказала Маро.

Опустив стыдливо голову, плотник отправился курить во двор.

Маро взяла кусок черного мыла. Этим мылом она провела по давно засохшей, лишенной молока и крови груди Анико.

Она погладила лоб и щеки женщины, умершей с горя, в тоске по не вернувшемуся с войны сыну. Мыло слепыми радужными пузырями разошлось по холодному телу женщины. Земляной пол залило пеной, желтой, выдохшейся водой.

Черные тени лежали в подглазьях спящей Анико. Слюнявые губы сжаты.

Буйвол тащил повозку к пещере Хуца. Дышала желудями роща. Опечалилось большое сокрушенное сердце буйвола. Буйвол слегка подергивал хвостом. Мрак окутывал повозку с гробом.

Пещера ждала. Плотник шел позади повозки. Опирался на посох.

Складка прорезала лоб. Он хмурился. Уголки высохших губ посинели. Колючий порывистый ветер мучил глаза. Колеса скрипели.

Погонщик Ашот подгонял безмолвное животное. Плотник выпрямил грудь, поднял подбородок. Страх перед мраком пещеры пожирал старика.

Дрогнула грудь плотника от гула земли. Оглушенный свистом настывшего ветра, плотник решил, что он расслышал в этом гуле шаги идущего с войны сына. Плотник огляделся. Лоб его взмок. Кругом пусто. Усталый плотник молча звал сына. Медленно текла река.

Горой вздымалась над людьми и над деревней спина буйвола.

Буйвол помрачнел. Остановился. Чудилось, гора сейчас рухнет.

— Буйвол оплакивает Анико! — объяснила Маро.

Погонщик колотил его палкой. Петух сидел на горбе буйвола и глядел вдаль сонными глазами.

Все были удручены горем. Но все хотели жить. Чтоб родить жизнь, надо съесть смерть. Если хочешь превратиться в свадьбу, съешь горячего, дымного мяса. Мир вдруг сделался тесным.

Не слышно, как животное медленно перебирает копытами.

Гроб сняли с повозки.

— Ты покойница, а я корова! — вымолвила Маро, прощаясь с первой женой плотника.

Плотник сел на землю и обхватил голову руками.

Ясень шелестел листьями. Письмами, отправленными плотником по свету, на поиски пропавшего сына.

Маро поднесла ко рту плотника медную ложку с поминальным вареным рисом.

Он вяло пожевал рис.

Маро надвинулась на плотника.

Как ножом резануло по дрогнувшим ноздрям плотника навозно-сладким духом коровы. Потянуло греющей сердце старика коровьей шкурой. Он отшатнулся. Дрожал рот. Ни едкий дым, ни душистый аромат свежих стружек не могли подавить в жене плотника животный дух коровы.

Маро напуганно смотрела на плотника из тьмы веков.

Понюхав ложку с варевом, отказался есть и буйвол. Плотник отшвырнул ложку на землю. Сел на колени, закрыл лицо жилистыми темными руками. Слезинка блеснула, сжатая костлявыми пальцами.

Он был утрашен в первый раз в жизни, что женился на корове.

Но раскаиваться было поздно. Он еще ниже опустил голову.

Плотник Тархнишвили сдался.

Гроб отнесли к оврагу плотник и погонщик Ашот.

Пещера сожрала гроб.

Хуц принял его.

Во тьме пещеры Анико вечно ищет пропавшего сына.

Ночью плотник и Маро лежали в грушевой кровати обнявшись.

Оба не шевелились.

Кровать стонала.

Гниские груши исходило от кровати, от спинки с увядшими ветками и облетелыми листьями.

Петух, крича, вскочил на спинку кровати. И замер нахохлившись.

Плотник прощался с урожаем поминальных медовых груш.

Во сне корова бодала его острыми рогами.

Плотник просыпался и снова проваливался в цветущий грушевый сад. Звал Анико, кружащуюся в хороводе.

На рассвете он, шаркая ногами, согбенный, побрел в винный погреб марани, нашарил там во тьме старый кувшин с отбитыми горлышком, из которого давно вытекло вино, и долго остервенело кричал в пустоту грязного кувшина сиплым голосом.

В ответ гудела глина.

Да хлопал раздраженно крыльями петух.

ГИБЕЛЬ ВОЛКА

Встревожена Пашкунджи!

Птица тяжелая, как гора, носится над бушующей рекой Алазанью!

Могучими, в судорожном рывке раздираемыми воздухом свистящими крыльями с острыми, как ножи, сверкающими перьями пытается птица хищная разорвать клубы чернеющего дыма дальних и ближних пожаров!

Напугана птица грозными событиями, что окружают землю, засыпанную споревшими пепельными, сизыми листьями.

Горят судьбы и жизни.

Чует разодранный в крике и клекоте железный клюв птицы, что готовятся люди убить волка.

Волка, хранителя рода волчьего.

Великого волка гомборского мрачного леса.

Старца леса, родившего дуб тысячелетий наших.

Ох, горько на душе крестьянина-виноградаря!

Опершись руками о мотыгу, замер в винограднике, обильно политом потом черным и черной кровью предков, зажмурившись от солнца, сощуренным взором, дымящимся пеплом ужаса, пытается разглядеть глаза хищной птицы Пашкунджи, хозяйки гнезда на верхушке многорукого дуба.

Видит Тархнишвили клюв из железа темного; ярость сочится желтым стукотом из одиноких птичьих глаз.

Пашкунджи — птица, беременная горою!

Клюв Пашкунджи уstraшен волчьим воем. Убивают волка молодого, вечно молодого!

Хотя из бродячего беспутного бога, широкоплечего, с крепкой шеей борца Квириа, окропив его ненасытной волчьей кровью, сделать Зверобога!..

— Ари! Ариииииии! — поют гулкие роги охотников. — Ари... ара... аралооо! оооо! арии! ай!.. убивают волка молодого с хищным, растущим, неистовым, как сокол, сердцем!

Спит ястреб, лежит волк возле камня, не движется, только встревожено подергивает ушами. Спит ястреб. Вскольхнется ястреб, весь перепачканный кровью и пеплом, и тотчас вскакивает на громадные пружинистые одинокие лапы волк.

Потрясена птица Пашкунджи!.. Бросается грудью, когтями чугунными на высокие силы, сражаясь с воздухом.

Не спасти, не уберечь птице Пашкунджи Волка молодого, властью над судьбами зверей и птиц наделенного!

Всебога зверей и птиц кахетинских!

Смерть Волка отравит Алазань желтой, злой, холодной кровью.

— Люди-кахетинцы! Опомнитесь! — клекотом каркающим сиротливо зовет Пашкунджи.

Гонятся кахетинские ослепленные яростным бегом и страстью охотники со стрелами и копьями, карабкаются по шуршащим ольховой листвой склонам оврагов.

Вот послали люди Кахетии охотников вслед за Волком, схватить и связать зверя, ощерившегося страшной пастью смерти, с ямами тени смертной, со страхом в мешках, вдавленных под заросшими бурой шестью, голодными от тоски и пьяными давно от чужой крови глазами!

Слышите, велено вам, охотники быстроногие, приволочь Волка в каменные подвалы Гурджаанского винзавода № 1, а там рассечь тело зверя кривым острым ножом, отсечь тяжкие лапы с когтями, много пыли бездорожной, колючей, репейной, а также овец и ягнят раскровенивших!

Лапы вечно бегущего Волка с вечно раскрытой пастью, дышащей зноем и холодом; пастью, держащей крепко зубами солнце!

Эй!.. Ээээээ!..

Солнце — жертва вечно бегущего Волка. Солнце, рожденное мохнатой исполинской пьяной пчелой.

Загнать Волка в каменный подвал винзавода Янго Лазуришвили, где в темноте, исцарапанной писком летучих слепых мышей, ждет Волка связанным пленник подвала бог Квириа!..

Волк с солнцем, мертвецки пьяным, в зубах! На стене пещеры.

Всех обгонял в пещере Волк, всю каменную летопись, замурованную наглухо в подземелье. Быков и буйволов. Оленей и орлов.

Шумный поток Алазани бросается на бегущего Волка!

Алазань, ты река и божество реки! Осиротевшая без жертв любви!..

Пожалей несчастного клыкастого, мечущегося во мраке пещеры зверя!

Люди захотели убить Волка, люди захотели оставить зверей без своего властелина.

Хотят разорвать лапы бегущие!

Вместо Волка хозяином станет Квириа. Квириа жаждет быть Зверобогом! Квириа свергнет власть Дионисэ.

Янго оседлает Квириа-Зверобога, а тот усядется на голову поверженного бога Дионисэ!

Янго расслышал гул могучих, разламывающих землю быстрых лап когтистых! Все громоздится друг на друга. Холм на холме.

Янго уселся на плечи Зверобога, раба, и погоняет его бичом свистящим! А ну-ка! Разнесись раскатистым эхом, пой, Квириа!

Пой гимны, Зверобог!

Надрывайся в хриплой песне, а народ подхватит твои плачи, твой рев. Крестьянский народ оглушит горы стадом напуганным и мычащим.

Пусть стадо человекобыков, провалившихся в бездну, очумелым голосом зовет Квириа!

Вот песни среди полей и лесов!

Вот песня разграбленной и разворошенной пахоты, умирающей пахоты, выклеванной измученными голодом воробьями смерти.

Обезумела Пашкунджи! Она теряет власть!..

Квириа, крестьянский бродячий бог, силач, простолюдин и жаждущий сбросить своего хозяина Дионисэ, нападает на Волка!

Растерзает он Волка, и похолодеет сердце Пашкунджи.

Пашкунджи кружит. И воет. Уже не может она в остервенении и бешенстве клевать печень Амирани, прикованного к скале за то, что отдал кахетинцам огонь.

Вор огня, польхающего осенними кострами в поле среди воскресающих виноградников, устал, опустил веки.

Саднит рана, стонет от боли, дрожит клюв!..

Чья кровь струится в реку, голодную без божества, голодную и не накормленную прачками?!

Это кровь птенца великой неистойвой птицы. Птенцов убивает любовник и старший сын птицы, всех крестьян держащий в чумном страхе Арзуман-птицегадатель!

И взлетела тяжелая, как стадо быков, птица Пашкунджи с окровавленными, плачущими, выклеванными тоской глазами, тоской по убитым птенцам, и, взмахнув крылом, ободранном о скалу снежную, развернулась она над Алазанской долиной, ударилась глухо всем телом об утес-ледник, изнутри прозрачно-синий, как крыло невинной стрекозы, и не дрогнул от горя несчастной птицы родник, родящий реку Алазань в поднебесье, а птица ветров, молний и ураганов, взревев одиноким быком, рванула к облаку мглы, рассекая раненым клювом свистящий ураган, зависая над пропастью, останавливая время.

Страждет птица, хочет камнем ринуться вниз, разбить лоб буйволу Або, защитнику Маро, матери-земли, сопернице.

Хочет разбить клювом лоб буйволу, мечтает упасть на исполинскую рыбу, родящую в земле плодородие!

Птица разбивает лоб буйволу, буйвол пятится, копытом ранит рыбу, рыба, дергаясь, рождает землетрясение. Гул землетрясения рождает Время!

Убьешь Волка, Квириа, получишь место директора винодельческого совхоза!

Вот что означает гибель Волка!

Ведь хозяева земли, лесов и воздуха связаны одной цепью!

Горла всех невинных девушек Кахетии обмотаны одной жгучей косой!

Птица, несущая в груди вместо сердца другую птицу — коршуна!

Коршун-сердце бьется в груди Пашкунджи!

— Я первочеловек Кахетии, я боюсь, я не могу отстоять вашу свободу, люди, за которую я бился столько времени, сколько течет Алазань, давно не кормленная нашим сухим хлебом Алазань, оставшаяся без божества! Река, сожравшая свою любовь к дубу, изголодалась в страдании, она нуждается в возах корзин с хлебом.

Эй, вы, кахетинки-плакальщицы в черном, с распущенными волосами, несите скорей на берег реки корзины, пусть громче всех и безутешнее рыдает, исцарапав свое лицо ногтями, плакальщица Маквала, дочь Кеонии, необузданной любовницы Кахетии, рожающей нам потомство от камня, от дуба, от ветра и колеса!

Квириа становится Зверобогом! Квириа поклялся убить хозяина своего Дионисэ, из молодого желудя три тысячи раз рожденного!.. Квириа становится Зверобогом!

Квириа станет страшным Зверобогом. Захватит Время всех в Кахетии!

Время быка, время камня, время воды!

Эй, Квириа! Новые поколения придут, Квириа поведет их за собой!

Он проложит им путь! В скалах Времени общекахетинского!

Квириа преодолет круг времен кружащегося в ночном лесу дуба!

Эй! Пойте Зверобогу Квириа!

Ай, Квириа!..

Эй, жена Маро! Женщина с глазами коровы! Сидишь с пряжей во тьме, среди сырых сумерек, не слышишь, как в земле, под жилищем плотника, возится, шевелится слепой червь, прячущий в своем скрюченном жалком теле капельку времени!

Ничтожный и тленный червь, а кажется, он один владеет временем, бережет его, не дает смешать время червей с общекахетинским звериным и крестьянским временем!..

Может, червь и есть хозяин времени, а?

Червь слышит предсмертный вой волка!

Мироеды-хищники приволокут его связанным в каменные винные подвалы Гурджаанского винзавода.

Из глубины веков охотники на разгоряченных, взмыленных конях, с копьями и мечами гонятся за Волком. Из мрака.

Из забвения вырвавшиеся на просторы гона мертвые охотники, сами разрываемые клыками волков, скачут на конях.

Мертвые охотники скачут за живым Волком.

Эй, люди мои, кахетинцы мои, велисцихцы. Согнутые Спины деревень, прячьтесь!

Мертвые охотники на живых лошадях разгоряченных!

Мертвые старики и юноши, женщины-охотницы с разбитыми чернеющими висками и вытекшими глазами гонятся за охрипшим, несчастным задыхающимся волком, охотники с вырванными и выклеванными коршунами смерти глазами, брызги крови разлетаются на скаку. Слюни желтые смешиваются с кровавым сапом коней, идет охота мертвых всадников на горячих конях на убегающего, умирающего от одиночества Волка.

Громко и глухо кричат охотники.

Топот сотен копыт.

Догнать бы вечным охотникам Живого Волка, бога волков.

Освободить людей, живых потомков, от гона Волка вокруг дуба гомборского, властелина кахетинского времени и пространства!.. Из бега по кругу потащить за собою род кахетинцев, взявшихся за руки, в погоню, снова сплетающуюся в одну дорожку, в один путь за волком, вперед лапами с когтями вытягивающимся!

Ради вас, живые кахетинцы, потомки, мы в подземелье неустанно несемся испокон веков за Волком!

Вы не слышите по ночам гудение деревьев? Ураган, сотрясающий деревни! Это воют наши холодные рты, смеются обезображенные лица!

Пытается догнать табун лошадей коротышка Бнело-Темный, лошадь заливает покрасневшее блестящее лицо Всадника соленой и кислой мочой, заливает его взбудораженные, счастливые глаза!

Пыль несется из-под копыт в радостные глаза Бнело-Коня.

— Я живой! — перекрикивает цирюльник ураган. — Живой!

И не боюсь всадника-мертвеца!

Я тоже мечтаю охотиться на Волка!

Я сам конь, а не придурок брадобрей из Велисцихе, смерд-любовник неутомной Кеонии!

Я был лошадью! Конем! Табуны кахетинских лошадей мои братья.

Моя моча пахнет лошадью, сладко и вонюче!

Я радуюсь, лоб мой блестит от конского пота, влажный от хлопьев взмыленной пены. А на губах моих, поющих и восторженных, дымитесь соль конской мочи.

Мы скачем, и солнце дымитесь, бурое от пыли.

Аяаяя! Ооооооиййй! Ээээ! Авооооэ! Эвоэ! Оэ!!! Ээээээ!!! Воэ!..

Мертвые всадники несутся за устремившимся вперед Волком!

Кони вырвались из стены пещеры!

Я не боюсь их храпа! Я живая лошадь! Меня разбудил охотничий рог, в рог трубят каменные всадники!

Моча и слезы горят в моих восторженных глазах!

Конская моча и горячие конские слезы!..

Охваченный паникой и страхом от топота копыт, скрючился в земле слепой червь, он слышал, как охотники трубят в рог.

Гул раздавил деревню. От гула погас очажный огонь.

Волк с воем носился вокруг гомборского дуба. Умолял пощадить, спасти. Дымящаяся жаром и потом шерсть клочьями встала на задривке.

Крылатый великан сжал седые глаза.
 Дуб-властелин не мог спасти Волка. Наплывал круг волчьей смерти.
 Ах, как кричал, как хрипел волк кровью, как звал, как сверкал горящими окровавленными глазами.

— Поздно, Волк! — шептал дуб. — Иди!
 Иди! Отдай свою шкуру, когти и лапы другому! Иди, смерть ждет тебя!
 Отдай свои клыки!
 Кровью твоей пенится тело!
 Квириа ждет тебя.

Иди, Волк!..

УЖАС ПЕРВОЧЕЛОВЕКА КАХЕТИИ

Когда скотина, изнемогая от ярма, слабела, люди ее съедали.
 А кости не выбрасывали. Закон предков. Кости собирали во дворах, а потом закапывали в землю.

И во дворах кахетинцев валялись груды пожелтелых и побелевших от солнца и ветра костей, выжженных ураганом.

Лежали горы — память о копытных родственниках крестьян. Родственники отдали им свое жесткое несоленое мясо.

Бык надорвал в труде спину ради горящего очага крестьянина. А потом кости напоминали очагу о бездне. Держался страхом бездны род.

Крестьяне знали, что они сами — такая же скотина, носящая на шее ярмо убивающего их труда.

Хозяин дома шел к свалке костей жадно съеденных копытных братьев. Нес им зерно в миске или гроздь виноградную!

Поил вином родные кости, ждал от них помощи, хмуро молчал.

Со страхом слушал тягостный их стон.

Когда крестьянин покупал новую корову, быка или барана, он приводил животное к свалке костей и заставлял слушать стон костей съеденных предков.

Когда от костей негде становилось пройти, крестьянин зарывал их в землю, пусть набираются другие.

Пока не падет, изнемогая, молодая телка, сделавшаяся старухой, или не погибнет в пене ярости бык, превратившийся на барщине в слепого, оглохшего старика.

Во дворе каждого кахетинца зарыто целое стадо съеденных подземных предков.

Возле каждого жилища — домашнее кладбище животных!

Стадам-предкам молились, им приносили жертвы.

Подземные стада приветствовали молодое животное, купленное и приведенное хозяином на свой двор.

Купленный бык напуганный ошарашенно, волнуясь сгибал колени под ударами палки, ходил по кругу во дворе, пригибая рогатую голову, сопя и пятясь.

Руки плотника Тархнишвили, старейшины, сморщенные и повисшие как плети, напоминали мертвые кости.

Но даже в дряхлых руках дышала необоримая сила.

Несмотря на преклонный возраст, руки старика молодели.

Сердце древнего человека ни на миг не прекращало борьбу с родовым Временем!

Свалют старика враги — свалют Кахетию!

Но близится его погребальный день!

Надвигается на Тархнишвили нисхождение во мрак!

Первочеловек Кахетии, как и все жители края, несмотря на свой чудовищный возраст, равный каменной глыбе, боялся мрака и жаждал спастись, избавиться от него в своей лодке-гробе, которую он, изнемогая, выдалбливал, сколачивал уже много веков.

Пусть река Алазань унесет старика к свету.
К последнему свету!..

Страх желтыми опилками забивался под сморщенные ногти.

Чуяли домашние животные, что плотник начал терять власть.

Плотник побаивался смотреть в глаза корове.

Страшился перехватить обращенное к нему сострадание.

Ненавидел жалость коровы к его ветхому телу.

Жалость мычащего, дающего белое молоко бессмертия стада.

Все чаще, идя со двора, плотник брал свой здоровенный посох старейшины велисцихского рода. Опирался на него.

Он страшился рогов, думал, что, если стадо быков и коров окружит его, чтоб убить, растоптать копытами, не желая, чтоб в деревне оставался немощный, слепой поводырь, он отобьется посохом, вырвется из плена орущей, дикой смерти.

Это позор — валяться на земле в пыли, сваленный ударом рога, беспомощно лежать в прахе и слабым голосом звать жену, чтоб она пришла и поволокла его домой на глазах всей молчащей деревни.

Пусть тащит Маро в сарай, кладет в недостроенный гроб, в стружки липкие и душистые.

Страшился плотник мести буйвола Або, обуянного ревностью и тоской.

Древний человек, возмужалый столетия назад, окрепший грудью на рассвете виноградарской жизни, с сердцем слабеющим, едва дышащим, одиноким, на согбенных плечах которого и на жилистой крестьянской шее лежал весь род.

Первочеловек, который из грязи, на самом берегу Алазани, стоя в ней по колена, лепил из сырой, влажной глины гнездо деревни Велисцихе, а потом первых жителей; он вместе со слабеющим зрением и остывающими, больными ногами, разбитыми жизнью, борьбой за черствый кусок хлеба и за душу этого хлеба, начал с годами ощущать страх.

Это была не боязнь людей, того, что они крепче и моложе, грубее и циничнее. Ведь он еле ходил, в глазах появилась белая муть немощи. Это страх, чтоб они не оскорбили его открыто.

Себя обманывал, мол, другие не видят, как он дубину выволакивает из дому словно для загона стада, а на самом деле для защиты своей чести и спасения от позора.

От насмешек соседей и кривых ртов крестьян.

Пусть люди думают, что плотник выдохся и не может дать отпора. Пусть не стесняются его чудовищного возраста, перед которым им в ужасе пасть на колени. Посмеивайтесь, велисцихцы! Берите другого старейшину. Плотник не станет спасать вас, сжатых кругами мутного времени.

Пропадайте, очаги, судьбы и виноградники!

Плотник Тархнишвили пережевывал беззубым, шамкающим ртом растущую вражду и подлые насмешки парней и пожилых крестьян. Они все вместе годились ему в правнуки.

Из-за их подлой неблагодарности смердов, развращенных мироедами, стала хиреть лоза. Издеваться открыто он им не даст, щенкам!

Никому!

Недаром плотник волочил с собой посох-дубину, что раньше лежал себе без движения в чулане не один десяток лет.

Из дуба посох!

Символ родовой власти!

Орудие вождя!

Щенки!

Тархнишвили ходил с посохом, когда земля еще была горяча от родов!

Тархнишвили-первочеловек боролся с хищной птицей Пашкунджи, пьющей кровь человечесю и бычью.

Пашкунджи — хищница, рожденная ветром, вихрями, смерчем.

Она рождена, пернатая и кричащая, во мгле восходящими и нисходящими кружащимися потоками смятенного воздуха.

Воздух заберменел пылью, пыль кружилась, сгущаясь в зародыш с клювом и перьями. Земляная пыль обросла перьями.

Новорожденная птица вырвалась на свободу, выучилась летать в бездне. Она ужасалась и радовалась бездне.

Отец хищной птицы — вихрь!..

Народы будут веками поклоняться ей. Отдавать железному клюву и железным когтям птицы в жертву своих живых и мертвых юношей.

Пашкунджи будет рвать их клювом, терзать, хрипеть от счастья.

Пашкунджи будет наедаться телами юношей, их нежным, непросоленным мясом.

Плотник спасал род.

Терзалась много веков птица. Ведь не свершилась судьба.

Где ее бездна?

Она всего-навсего дочь вихря и праха.

Рожденная в воздухе из праха в пыль уйдет. Пылью обернется.

И будет кружиться над рекой последнее падающее, летящее вниз черное погребальное перо.

Прощай, хозяйка верхнего неба!

Ты не стала женой дуба крылатого!

Не вырывала когтями любовь немого, одинокого великана.

Праотца древнего леса!

Прощай, Пашкунджи!

Я, Тархнишвили с посохом вождя, отпеваю твои беспомощные, страшные крылья.

Могучих птенцов своих ты рожала живьем.

Ты пожирала их жадно, боясь соперничества.

Ты скидывала их крыльями из гнезда, устроенного на верхушке великого дуба.

Птенцы падали на землю, к подножию дуба, убивались.

Черный бык затапывал их, хрипя.

Дуб молча терпел птицу, хоть и чуял к ней отвращение.

Тысячу раз она пыталась завладеть его сердцем и грудью! Птица Пашкунджи била его крыльями, царапала когтями, но он ни разу не обнял ее, рожденную вихрем.

Дуб хранил верность реке Алазань.

Дуб любил Алазань три тысячи лет!..

— А я? — плакала, выла птица Пашкунджи.

Дуб не гнал ее.

Дуб знал, что птица хищная должна увенчать его, держащего на своих плечах род кахетинский.

— А я? — тосковала птица.

Жена-корова не слышит старика.

Пропасть отделяет от нее. А холод этой женщины — страшное одиночество. Обреченность на скитание тенью в пещере.

Но даже подземный мир Джоджохэти боится тени плотника.

Сам плотник Тархнишвили никогда не рассказывал, кто были предки, кто родил его.

Хотя жители деревни равнодушны: были у него предки? У окаменевшего от древности старика?

Хотя, если б даже община стала требовать с него родословную, он не выдал бы из своей немощной, а на самом деле крепкой груди ни слова!..

Пусть люди думают, что их предки — боги и реки, иначе они потеряют свою гордость и упорство в борьбе за выживание.

Они были обезумели, пораженные известием, что не бог родил их.

Первочеловек Тархнишвили вылепил их из грязи. Из глины сырой.

— Кто ж отец мой? — тосковал Тархнишвили. — Я сам себе отец?

Такой беспощадный ответ давил старика к земле, он брел устало, глядя под спотыкающиеся ноги.

Тяжкая, угнетающая дума душила старика: я сам свое тело вылепил? Или родился из червя слепого?

Червь себя вылепил из праха земного, из песчинки, зернышка пыли, появился на свет слепорожденный, а потом родил из своего скрюченного ползучего тела первочеловека, громадного человека с могучими руками и криво ступающими ножищами.

Новорожденный закрыл лицо, родившись, чтоб капля солнца не сожгла взор.

Надо привыкать, а потом свет согреет, превратит его из червя в Великого глиночеловека!

Глиночеловек резко отличался от червя-родителя, живущего много тысячелетий слепым.

Из-за этого червь не признал Тархнишвили сыном.

Жажда солнца заставила червя вылепить из слюны отца кахетинцев, будущего плотника и виноградаря. Ненавидел будущего хозяина червь, он создал его против воли, луч солнца согрел червя, и вот он копошился, жаждал увидеть светило. Он вытолкнул из себя человека, чтоб самому не погибнуть, не задохнуться!

Беременный солнечным светом, влекомый чужеродной силой, неясным зовом, он сотворил из своей мокрой слюны и праха Глиночеловека. Первочеловека Кахетии! Двуногое неповоротливое зверя.

Червь освободился навечно от гнетущего бремени.

Лишенный зрения, чуждый родственного чувства к своему огромному сыну-человеку, червь навсегда остался червем и притворялся, что он никогда не стремился ни к солнцу, ни к власти.

Тысячи червей родились после этого в Кахетии. Они сами себя лепили из слюны и праха, умирали, исчезали, снова смешиваясь с землей.

А этот червь, творец плотника Тархнишвили, оставался бессмертным и первородным.

Червь не дал своим детям и потомкам жажды любви и прозрения, не дал сердца и души.

Он сам, первым явившись на свет, забрал себе навсегда общую душу всех червей Кахетии. Он был самым древним и юным.

Но ложь, что он был безразличен к своей судьбе и равнодушен к солнцу и к голосам животных и стад людских, которые, разрастаясь, как саранча, поедали бездну.

Великий кахетинский червь жил своим родовым разумом, это была мудрость тьмы червей, которые, рождаясь, проживали в черной земле свои

беспробудные жизни и снова смешивались с прахом ночи. Червь гордился, что сотворил хозяина жизни, будущего виноградаря, Глиночеловека! Гордился, что он сам пожрал всех червей, один захватил судьбы своих сородичей. Червь жил как бы своей единственной жизнью, но это была жизнь всех его предков и потомков. Хвастал он, что солнце вынудило его вылепить из грязи человека природного. Иногда червь мнил, что он родил даже богов и реки Кахетии!.. Видел себя отцом Времени.

Червь не желал признавать Тархнишвили своим сыном.

Скрюченный, он родил его, подарив солнце, которым дышал, лежа бездыханно на берегу реки, первый Глиночеловек Кахетии.

— Ты мне никто! — стонал червь, слепо корчась.

Просто солнцу понадобилось, чтоб червь вылепил это страшное существо.

Червь был удобен, он лепил из праха живую жизнь.

И вот скрюченный слепой праотец медленно уползал поближе к реке, чтоб там спрятаться и замереть в верхнем слое сырой желтой глины, отдохнуть от надорвавшего душу усилия, пусть плеск воды успокоит его истерзанную чудовищным усилием маленькую, слабую душу. Пусть мокрая глина даст отдых потрясенному сердцу червя!

Им еще не раз сражаться, червю и Первочеловеку и богу бродячему Дионисэ, сыну солнца и дуба!

Ведь жизни их шли по расширяющемуся кругу разрыва.

Лето сменялось осенью, рождение смертью, гибелью мрачного бога разрыва!

Червь ползет уже через многие поколения на всекахетинский всепраздник Ртвели. И вот перед последней гибелью уходящего во мрак пещеры бога червь залезет в горящий виноградник.

Червь пожрет поколения и встретит Дионисэ и крестьянина и батрака Тархнишвили!

Червь упорно ползет, он ведет свою невыносимо долгую и кажущуюся бессмысленной борьбу в поисках пути, крепкой, жилистой пуповиной соединяющего червя с цветущей многовековой жизнью, возделанной натруженными руками виноградарей.

Виноградари — потомки тех, кого вылепил из грязи Тархнишвили, сам рожденный червем Глиночеловек.

Никто не знает, кто победит в этой войне дорог, в диком столкновении судеб измазанных кровью поколений.

Кровь червя всегда холодна, а кровь человека остывает только после неизбежной смерти.

Червь, родивший Тархнишвили, будущего виноградаря и плотника, отца рода, прислушался к току времени, которое, сгустком застыв в скрюченном теле как червя, так и первочеловека, начало уже шевелиться, дышать и разматывать свой безразличный, равнодушный кокон, нити которого, цепляясь одна за другую, прялись и расширялись и тянулись по всему пространству огнедышащей земли Кахетии.

— Мое время и время рожденного мной первочеловека не одно! — с сожалением догадался червь.

Это убедило крошечного, слепого червя, что сам он, отец и едок праха, никак не родственник человеку. Им не придется вместе, когда-нибудь сблизившись, вести войну за продление жизни или за ее скорейшую гибель!

Сжимаясь и вдавливаясь в приречную глину, чуя землю, воду и небо и боясь солнце — врага своего, червь вздохнул, сотворив из праха и слюней будущего хозяина поля и животных, а большей власти червь не захватил.

Родил прачеловека и отпустил его восвояси.

— Мне мало такого отцовства! — ныл червь, жалея сам себя.

Тархнишвили храбро взглянул в небо, потрясенный и согретый светом. Он опустил лицо к реке, с обрыва увидел свое отражение в студеной воде, чуть желтоватой от ила.

Он увидел себя. Свое окровавленное лицо и растарашенные, полные слез и черной крови, но счастливые глаза.

Пальцы его коряво сжались.

— Я Тархнишвили! — больно стучали виски. — Я первочеловек!

Он полз вниз с обрыва, съезжая вниз головой; беспомощный и дрожащий рот и полные света глаза очутились так близко от воды.

Он замер. Он боялся воды, она казалась мертвой.

И вот он коснулся воды.

И радость прикосновения к женщине, которая еще придет в Кахетию, дрожью прошла по его скрюченному, сдавшемуся телу.

Он пил воду. Это была его первая любовь.

— Я глиночеловек! — стонал мужчина.

Буйвол ненавидел врага.

Буйвол метался.

И рев одиночества потряс червя.

Каждый удар копыта буйвола о землю рождал будущие племена людей.

— Почему он так боится одиночества? — недоумевал червь. — Пусть пьет воду, чтоб снова породниться с матерью!

Червь не знал: буйволу, чтоб снова прижаться к телу матери-реки, надо броситься с обрыва.

И погибнуть.

Глиночеловек Тархнишвили шел от буйвола прочь по сырому прибрежному песку. Он думал, что больше они никогда не увидятся.

Но буйвол чуял их будущие тяжкие встречи.

Оба шли по кругу. Первочеловек по малому, буйвол по большому!

Когда голод стал мучить врагов, каждый припал к земле, зажмурившись, и ел землю, давился.

Им чудилось, что они поедают один другого.

А земля кахетинская стонала от радости. Она породнилась с ними.

Она забеременет от их голода и родит дуб.

Хотел бежать плотник, но бежать некуда.

— Это моя война! Самая большая война! Она съела моего сына!

Кто спасет меня?

Земля!

Ночью, лежа рядом с Маро в громадной кровати, где снова можно родить Кахетию, плотник чуял запах роженицы-земли.

Кажется, брось зерно на грудь жены, и взойдет колос.

— Это не любовь, — терзался плотник от ревности. — Это первородная близость!

Бежать от лозы и жены?!..

Он не проживет ни дня без коровы.

Он погибнет.

Бежать от лозы, когда сам плотник Тархнишвили был лозой.

Кости съеденных животных валялись грудой во дворе, у забора.

Плотник, в белой ночной рубашке, босой, вылез из кровати и шел во двор. Старик прижался старым, сморщенным лбом к бычьей кости и, зажмурившись, слушал Время.

Ветер гудел в лежащей на земле кости давно павшего быка. Пахло чем-то угарным, горелым, давил лоб старика тошнотворный запах быка, отданного в жертву.

Жертва солнцу. Жертва, испеченная на углях. Стада быков ревели, металась, кружась призраками на стене пещеры Хуца.

Разбегались и возвращались кругами солнца. Стада звали старика на помощь из голой, облизанной жарой и морозами кости.

Остервенело тянуло полынью, истоптанной тысячью копыт.

Пустота и ярость гремели в поверженных костях.

Это были съеденные коровы, быки и бараны. Стада. Чужие слезы и вздохи. Каждая сожранная жизнь — черная шкура, распятая на дубе.

Шкура рода, сожженная солнцем. В ожогах древнего солнца корчится грудь плотника Тархнишвили.

Огромная бычья кость гудит голосами поколений.

Лицо плотника разрушено ветром. Плотник умирал, рождался и, снова умирая, вел за собой в пещеру род.

Плотник закрыл лицо дрожащими руками. Это бычья кость жадно поедала все его радости.

— Эй, пейте! — Плотник омыл черным вином кости предков-животных. Пьяные кости шевельнулись. Плотник расслышал хор костей. Кости гремели боевой песней. Кости гудели чужим Временем.

— Я сам кость! — кричал плотник.

Человекобык Иштар искал мать.

— Маро! Маро! — звал он.

Но Маро не слышала своего искалеченного судьбой сына.

Она лежала широкой спиной на земле и рожала исполинскую каменную рыбу. Рот был искровавлен, разодран в немом крике роженицы.

Стадо велисцихских коров встревожено в эту ночь.

Скуластое крестьянское лицо Маро в холодном поту. Животные глаза засыпаны золой смерти. От стопа роженицы вспыхивала, тлея, черная рассыпанная кругом солома.

Алазань в ужасе взмыла сторбленным телом над долиной.

Гудел седой уstraшенный дуб.

Мать рыб рождалась из чрева Маро.

Женщина заплакала. Замычали в ответ коровы. Крушил двери загона взбешенный буйвол. В луже крови трепыхалась каменная слепая рыба. Она чуть было не раздавила телом роженицу.

Сдавленные глаза рыбы текли кровью. Она плакала.

Рыба билась в судорогах и ползла к реке. Язык роженицы разбух.

Женщина родила каменную глыбу.

Плакал безутешно старый плотник. Алазань со страхом ждала безумную от одиночества рыбу. Рыба могла сожрать время.

— Мравалжамьер! — хором пели кахетинцы.

Исполинская рыба, чуя горячую траву, ползла по Кахетии на брюхе, тяжело дыша жабрами.

Плотник Тархнишвили сыпал золу в недостроенный гроб.

Быки и коровы, как женихи и невесты, кружились в хороводе, украшенные венками и гирляндами.

Это хоровод костей.

Гудела радостью битвы великая бычья кость.

Сдвинулся камень в душе старого плотника. Пресные слезы, катясь, жгли дряблые щеки.

Плотник вылил из кувшина горькое вино на свалку костей.
Омытые вином кости медленно затанули гимн богу.
— Ты виноградник! — пели кости. — Шен хар венахи!

Это была вечная тоска по зеленеющей соком виноградине.

Буйвол Або, стуча копытами, мотая грузной головой с острыми рогами, рвал пряжу, сотканную Маро и повешенную на дуб.

Пряжа — это жизнь рода.

Буйвол стонал. Песня мертвых костей оглушила его.

ПЕЧАЛЬ КОРОВЫ

Темнеющий тревожно жесткими травмами луг молчаливо ждал нападения ночи. Тревожно перебегал судорожными, отчаянными рывками черный дрозд. Осторожно возился в мертвых колочках слепой червь — вечный свидетель борьбы ночного бесплодия и дневного, выжженного солнцем плодородия.

Равнодушный свидетель жизни и смерти Алазанской долины.

Прошуршали по горячим, за день не остывшим еще сухим стеблям, выдохшимся от пыли и солнца, первые капли зыбкого, пересыхающего, голодного, как бродяга, дождя.

Луг наполнился легким замирающим шелестом летнего дождя. Луг тонул в волнах набегающей липкой тьмы.

Буйвол Або замер на краю обрыва. Ямы, присыпанной гнилыми черными листьями, куда охотники заманивали животных, и когда животные сваливались в нее, их, ревуших и мычащих, добивали, а потом с криками хмельной радости тащили наверх, резали, разделявали и с окровавленной шкурой волокни в деревню, к женщинам, старикам и детям, ожидающим их с голодным хриплым, неистовым воем, и приходилось охотникам отгонять их дубинами и палками.

Старики, голые, выжившие, лаяли, как голодные псы, кружась как бы в тяжком опьянении от потного и сладкого запаха пролитой крови могучего покалеченного, истерзанного животного.

Деревня орала, стонущая от голода, с очумелыми от жадности широкими рваными ноздрями.

Буйвол был древним жителем Кахетии, он слышал тьму такой охотничьей ночи, чуял нюхом смерть собратьев, осторожно обходил ямыловушки стороной, сдвигая в горести брови.

Он помнил каждого быка, буйвола или даже человекобыка, упавшего нечаянно в яму и забитого палками и дубинами насмерть, безжалостно.

Быка охотники не щадили. Убивали и его. Плачущего детскими, теплыми, невинными слезами.

Стоны и крики, плач и горловые просьбы о пощаде копытных родственников буйвола Або застыли и отвердели навсегда в задубленных складках на груди, шее и плечах, в пыльной шкуре Або-гиганта. Окаменели стоны жертв, которых убивали.

Крепкое, словно из камня выдолбленное тело буйвола Або было иссечено старыми и едва затянувшимися ранами от этих безнадежных, страшных, обрывающихся криков копытных родственников.

Часто он маялся, не мог сомкнуть глаз, заснуть, отогнать взмахом ресниц облако липнущих на веки мошек, прогнать слепней крепким коротким хвостом, раны жертв-родственников терзали его, он вставал на все четыре копыта, мотал головой, низко опуская голову к земле, рыл землю, сопел, принохивался, кружил рогами по земле, никак не мог

расслышать запаха крови своих убитых потомков и далеких собратьев. Буйвол-предок грустил.

Прах земной таил эту много раз пролитую кровь быков, что не обогатила землю, а, наоборот, сделала ее несчастной. Буйвол-предок осторожно нюхал землю.

А ведь Маро, мать, часто бывала беременна кровью съеденных и вероломно убитых быков, она мучилась чудовищными болями, когда поле давало первые острые всходы. Посвежевшей и помолодевшей кровью жертв блестели тогда растарашенные глаза женщины-коровы.

Верил великий Або-предок, буйвол рода, первый муж кахетинской женщины, что не пропали, не исчезли в нем чужие крики, они застыли в его затянувшихся ранах, но когда он вззоет от тоски в ночь своего последнего боя в виноградунике за свою судьбу, за судьбу Маро, то чудовищный немой, сотрясающий стон убиенного стада раздавит всю кахетинскую землю. Это будет гул провалившихся в ямы сотен и тысяч обреченных на вымирание животных.

Наскальный художник и каменотес Хуц, высекающий на стене пещеры рождения и смерти жителей, не забудет ни одного канувшего во мрак несчастного забитого животного и высечет их крики беспомощные там, где темнели сцены охоты, ловли и приручения диких быков, сбор урожая, смерть лозы и убийство и поедание бога Дионисэ.

Буйвол-предок Або искал свою сбежавшую жену Маро.

Плотник Тархнишвили вырвал ее из мира копытных, она сделалась наконец женщиной. Он пытался захватить душу коровы, чуял, что отнял эту душу у первого мужа своей любимой, отнял у скотины и она теперь навсегда крестьянская жена и работница.

Она станет матерью земли, великой крестьянской богиней, жницей с серпом.

От буйвола родила Маро сына — человекобыка Иштара, а плотник Тархнишвили по дряхлости уже не мог иметь с нею детей.

Это была крепкая земля, на которой рос и держался великий буйвол. И рос его земляной дух, смешанное дыхание буйвола и женщины, что грел кахетинскую землю, дарил ей плодородие.

Буйвол-предок Або дышал огнем, высекал копытом из камня огонь жизни. Бил копытом по голове исполинской каменной рыбы. Рыба пробуждалась и дарила мощь земле.

Тархнишвили ревновал женщину, в ней еще мало женского, она дышала, как животное; он часто просыпался ночью и со страхом слушал ее дыхание.

Она не понимала и не видела тоски и любви старика, обсыпанного стружкой и опилками, она сторонилась его ревности, она ежечасно принюхивалась к следам копыт своего первого мужа-буйвола, которого, как батрака, избивал маленький, грязный, голодный погонщик Ашот, недоумевающий, как накормить ему свою большую семью, одиннадцать голодных птичьих глоток.

Маро прислушивалась к ударам копыт о твердую землю.

Это буйвола вели рабом по спящей, устало задремавшей после тяжелых полевых работ деревне.

Деревня была безразлична к загнанному животному. Маро просыпалась, вставала в громадной кровати из срубленного во дворе поникшего грушевого дерева, переставшего давать после смерти Анико на спинке, проросшей ветками, урожаем медовых, источающих горечь груш.

Маро замирала над сжавшимся от тоски плотником. Одеало сползло, она в ночной рубашке, под которой болтались ее потемневшие, стиснутые отчаянием груди. Плотник, не разжимая увядших, слезящихся глаз, мучился, охваченный угрюмой ревностью, пугался бездны. Одиночество тянуло его в бездну.

Он сжимал изнуренно наработавшуюся руку в кулак.

Молчал. Не дышал. Слышал, как шаркают по деревенской дороге тяжкие копыта.

Плотнику чудилось, что буйвол с каждым шагом бьет его копытом в старое, мрачное, детское сердце. Каждый шаг буйвола — это удар судьбы. Глухой, беспощадный удар. Плотник защищал кулаком свою грудь, закрывался, а другой рукой закрывал сморщенную шею.

Искал спасения.

Удар копыта будил рыбу. Рыба рожала юный виноградный лист.

Плотник Тархнишвили звал на помощь седого дуба гомборского.

— Я просыпаюсь каждую ночь в холодном поту! — шептал плотник. — Я уверен, что я завоевал корову.

Плотнику хотелось обнять жену, держать в стариковских малодушных объятиях, но он не решался, не знал, кто она ночью — женщина или мычащая тупая корова, не знал, пойдет ли она с ним на кровавое побоище в осенних горящих виноградниках, на убийство Дионисэ, из желудя рожденного.

Плотник дышал позорной старческой ревностью и позорной тоской. Никак не мог унять дрожь. Маро кисло усмехнулась сильно сжатым ртом.

Маро ушла на встречу с буйволом.

Буйвол Або уперся рогами в землю возле босых ног женщины в длинной ночной рубашке.

Женщина, охваченная страстью и тоской, сама прибежала к нему, прямо из супружеской кровати, бросив в ней тихо плачущего обиженного седенького плотника.

Волосы Маро растрепались, пахнувшие мылом и душистым сеном.

Бывшая жена, крестьянка Маро, с грудью, дышащей полынью, не хотела, чтоб гордый буйвол падал перед ней на колени.

Пусть знает, что он еще никем не побежден. Даже старейшиной-плотником.

Пусть надеется мрачный и нелюдимый батрак и раб, избиваемый палкой придурка погонщика, что, может, вернется еще страшная для крестьян темная, древняя жизнь!

Буйвол рогами рыхлил круг вокруг лежащей на земле и протягивающей ему голые жаркие руки женщины. Буйвол хотел сжать женщину в круг великого буйволиного времени.

Поди-ка вырвись!

Она должна верить в буйвола Або, иначе он смешается с прахом. Иначе он навечно превратится в холм, гудящий кровавой пеной!

Иначе он превратится в золу, в песчинку, в зернышко, летящее над полем вспаханным.

Если буйвол-предок потеряет надежду на любовь Маро, на верность, он провалится в бездну.

Пусть она ушла с сыном Иштаром к старику-плотнику. Корова должна победить женщину. Корова вернется к буйволу!

Буйвол-бог и корова-богиня снова жених и невеста!..

Маро коснулась потемневшей сжавшейся ладонью острого конца рога. Рог дрогнул. Буйвол, слепой от ревности и тоски, пожираемый мраком тупой работы, забитый палками, под ярмом, обуреваемый любовью к Маро, глубоко вздохнув, попятился от женщины, ноздри почуяли запах ее сладкого пота, смешанного с запахом мужа-крестьянина, понесло горьким табаком; тяжело буйволу вдыхать дух чужого жилища, совместной очажной жизни плотника и Маро, буйвол пятился назад, к ивовым кустам, прячась в орешнике.

Маро потянулась за ним. Женщина с хмурыми складками горестного рта, с мешками печали в темнеющих подглазьях, глина раздумий темнела на серых щеках.

— Она чужая! — вздохнул буйвол. — Навечно чужая! А я превращен в тягловую скотину.

От ужаса Або снова рывком пятился назад, от ужаса, с черной водой закипевшего взора, он рванул копытом по земле, растревожив прислушавшегося к томлению буйвола слепого червя.

Червь испуганно сжался, чтоб ударом копыта не убил его полоумный. Даже сочувствие шевельнулось в черве над раздавленным тоской, с дымящейся испарениями шерстью, обездоленным животным.

В орешнике отдыхали после пьянки бродячие боги. Они посмеивались над страданиями буйвола, его любовью к Маро.

Сощурил свои отливающие виноградной зеленью усталые, невыспавшиеся глаза Дионисэ. Он устал от жажды земледельцев и животных, виноградарей, мелких собственников, батраков. Бога угнетала жажда. Жажда любви, чужого тела, жажда власти, жажда мудрости, жажда собственной смерти. Жажда, как горячий навоз землю, переполняла души крестьян-кахетинцев.

Жажда поражения охватила буйвола Або. Он рыхлил копытами землю, все ниже опуская рогатую голову перед бежавшей к нему женщиной в ночной рубашке, босой.

— Я Або! Я — муж! Ты бросила меня!

Я вождь стад! Я не смог спасти стадо быков! Стадо диких наших быков!

Они бежали, как обезумевшие дети, в вихрящейся из-под копыт черной пыли.

Ловцы накидывали на острые рога веревки, тянули нас и пригибали к земле рога, зрачки наши раскровенило от черной стены плена, растущей перед нами!

Мы все бежали по кругу, пытаясь удрать от врагов, а они свистели и орали, пытаясь нас запугать!

Мы погибали!..

Нас сделали рабами!

Ты бросила меня, корова Маро!..

Шорох мертвых свернувшихся листьев слышал оставшийся один в кровати плотник Тархнишвили, листья сбились в кучку на осиротевшей осенней земле, неугомонный гул остывающей, влажной от сока земли будил старика, одинокого в грушевой, чужой холодной кровати, откуда изгнал он в смерть Анико; кровожадные, но уже бессильные от осени гроздя царпали и ранили его грудь с торчащими стариковскими ребрами, нюхом старого мужа сильной, молодой пока телом женщины плотник почувал измену, дышал изменой и горечью в глубоком обморочном сне, проваливаясь в сон, как в громадную пустую бочку; женщина, которая грела каждую ночь его зябнущее, высыхающее от возраста тело и стынувшие худые ноги, лежала сейчас на берегу реки с буйволом-предком, плотник спросонья протягивал в ночь свои холодные, одинокие руки, цепкими скрюченными пальцами пытался коснуться ее крепкой, дышавшей жаром и бродильным винным закипающим соком любви груди. Ласкал мощное тело отцветающей, но все еще зрелой женщины, а она бежала в ночной рубашке, босая, на позор, на свидание с буйволом, и шаги изменщицы, любимые шаги, отзывались гулом в седой, разбухшей ужасом от измены жены голове, он слышал с удивлением свой стариковский, беззубый плач, слезы текли по небритым щекам цвета гнилой сливы-падалицы, он царпал желтыми от табака-самосада, грязными и обломанными ногтями жесткую щеку, отчего оставались на ней сочащиеся засыхающей кровью полосы, и жмурил подслеповатые глаза, страхась оторваться от сна.

Иеремия, Сторож Виноградников, стучал палкой в окошко его жилища, глупым мычанием извещал плотника о случившемся, о бегстве Маро, а плотник, взволнованный, никак не мог нащупать дышащее в груди мужество.

Появление Иеремии перед жилищем плотника в стылую рань, с зеленоватой росой на отгоревшей полыни двора тревожило. Листья лозы

шумели, целуясь с гроздьями, шемая тревога с набегавшим давно пробудившимся ветром звала плотника не зевать, не тереть помутневших, озабоченных глаз в сонной одуре, чуя истерзанными ноздрями душисто-прогорклый дух наплывающей осени, когда золотые, медовые опавшие листья ветер хмельной будет кружить ворохами по дворам.

— Эй, Тархнишвили, проснись! — стучал палкой в окошко Иеремия. — Жена твоя с буйволом!

Сгрудились рядом с жилищем крестьяне и кое-кто из бродячих богов. Хохот, глумление, шум.

— Идем искать! — орали крестьяне. — Вставай, дурачина!

Вот тогда стало страшно плотнику, он одним махом вылез из сна, как из ямы, весь в золе и пыли сторевших ночных сновидений, дрожа и натягивая на худые волосатые ноги штаны, надевая через голову широкую с дырами и заплатами рубаху, задыхаясь от мокрого назойливого ветра, налетевшего на зардевшиеся под седой щетиной щеки и со смехом налепившего на его нечастное, оваянное стыдом лицо черные колючки отчаяния.

Плотник жевал, шамкая перепуганными ночным страхом раздавленными губами. Сочилась кровь страданий на шелушащихся губах в язвах и струпьях. Не удивлялся тому, что крови выкипевшей за ночь, за самую тоскливую и ревнивую ночь, был полон рот.

Крестьяне и бродячие хохочущие боги тащили упирающегося плотника к лесу, к берегу реки с любовником, со смехом и озорными, похабными шутками издеваясь над коровой, которую, наверное, обнимал громадный буйвол.

— Корова была женой плотника! — выкрикивал, захлебываясь в судорожном, прерывистом дребезжащем смехе, Панто козлоногий и козлобородый, падая в сухую траву. Агуна мрачно посмеивался и тащился за толпой. Сопели ноздри нахмурившегося Квириа. Дионисэ шел медленно, недовольный глумлением, но брезгуя увещевать оголтелых дружков и смердов. Шаг его был тяжел, лоб гудел, а во рту вязко нлыло, будто он объелся с вечера ядовитых грибов.

И донесся стон буйвола-предка.

Буйвол стонал, словно он свалился в яму-западню и его сейчас будут убивать кольями, вилами и рогатиной. Кидать в яму тяжелые камни. Горящую паклю.

— Пожалейте, люди! — стучали в ознобе зубы бога Дионисэ. Ему чудилось, что осень в разгаре и на шею его набросили веревку.

Шуршали в длинных волосах бога Дионисэ, скрипели чернокрылые жуки. Гул слюдяной ржавчиной отдавался в затылке. Жуки радовались, истязая богов и людей.

Досадой гудящей давили на виски.

Это была растущая мечта, поющая проливным дождем сухих шевелящихся и возящихся, спящих жуков.

Целое облако жуков стремилось захватить влажную, удобренную навозом и потом быков, беременную урожаем землю. Стая жуков обескровила гроздь. Умерла гроздь.

Жук пожирал летящую в синь виноградину с крыльями. Жук смерти, родившийся из камня, завидовал золотистой пчеле, родившейся из слезы Дионисэ.

Каменный жук Кахетии гудел. Каменный жук, пробуждающийся из пещеры, из заточения, каждое мгновение лета воскресающий, кровотокающий, кровопьющий и снова уходящий в камень.

Чтоб орнаментом в капищах, в алтарях пещерных в лесу мерцать садящимся закатом, когда крестьяне гонят мычащий, стонущий скот на убой.

Буйвол Або замер, расслышав гул каменеющих и вновь просыпающихся с кровью жуков.

Это был многоголосый, из бездны, из облаков огненных, бушующих, гул жизни и пламенной любви.

Буйвол Або стоял горой, дрожа изнутри разбуженным и растревоженным, царапающим его внутренности горящим жуком с каменными, в синей буйволиной крови крыльями.

Проваливаясь в бездне, замирал стон жуков.

Погибал зов тысячелетий!..

Крик голода земли рождал гул жуков.

Жуки жили, ползали, шевелились с раздавленными копытами буйвола крыльями. Безглазые жуки, облаком летящие в небо. Ветер кружил их и оставлял одних, и они сыпались вниз, на верхушку гомборского дуба, беспомощные и равнодушные к смерти, и дуб жевал их, загорающихся в сизом воздухе алыми ягодами шиповника. Смешивались с угарным зноем буреющих на земле опавших жасминных лепестков.

Дышащий бездной пражук убежден, что он один бог зябко жмущейся и мерзнувшей зимой лозы!

Жук — отец и бог!..

А с ним уже пытался соперничать наивнокрылый жук-юнец!..

Замирая от собственной дерзости, от тоски по схватке с отцом-жуком, живородящим время из камня пещеры.

Лежал жук-юнец на земле, прячась и дыша винными листьями.

Облезлый от капель жук, катящийся под ветром, как пустая винограда, замирая, пытался выдавить из слюдяного сердца каплю дождя, ливневые паучьи серебристые нити, чтобы опутать ими отца-скарабея!

Каждый сам по себе в Кахетии рожал время. Кто ты? — Я?!..

Зерно душистой спелой кукурузы. Черное семечко. Жук.

Плотник бежал на поиски Маро. В груди старика возится дыхание хмельного жука.

Страшился плотник встречи с буйволом-соперником, которого обняла крепкими крестьянскими руками Маро с глазами печальной коровы, с соломой в жестких волосах, пропахших сухой землей.

Не хотел идти дальше старик на согнутых ногах, но грубоватые спутники его, Панто и Агуна, крестьяне деревни, толкали его кулачищами в спину.

Вспоминал плотник, как покрывала на ночь Маро плотника рогожей в кровати, как согревала его мерзнувшую, в синих пятнах спину, как он, благодарный, в ответ мял руками ее разбухшую коровьим выменем грудь.

Плотник оттолкнул бродяг. Он один идет к ней, на берег реки, шумящей ужасом. Провалившийся рот плотника задышал, лицо было обстругано ножом страха, в клейких опилках, рот дышал смущенной горечью, намокшие слезами старика стружки набились в задыхающийся рот, в сожженные глаза, остывающие куриным пухом. Он жевал душистую стружку.

Он ел синюю сливу обиды.

Старик знал, увидев в кровати рядом с собой пустоту, что он не выдержит, сбросит с себя ватное одеяло и рогожу, тяжело съехавшую на земляной пол, и пойдет голый через всю деревню, зябнувший, как идущий в капище на заклатие, за своей неверной женой, которая сбежала из его кровати и жилища, как животное, на четвереньках уползла в мрачный лес.

Плотник шел за ней как пьяный, шатаясь, дрожа лицом, облепленным сладкими стружками сна.

Несчастный рот обманутого женой старика дышал пшеничным запахом воскресения.

Вино в бочонке, зарытое под дубом, давно превратилось в дух предков. Горькая зола прошедшей, сгоревшей любви душила плотника.

Съеденные смертью губы в кровавых язвах дрожали.

Он бы пожевал сейчас сухую изюмину, душу прошлых урожаев.

Тоска искровенила зрачок плотника.

— Где сейчас моя жена Анико? — низко опустил старик повинную голову. Бесстрастно шурша траурным платьем, бродит среди полей малых и больших войн, ищет сына, сожженного огнем. Отбивается худыми руками от хищных птиц смерти. А птицы рвут в клочья ее черное от горя тело.

— Ищи, Анико, нашего сына! — униженно прохрипел плотник.

Подними камень, может, сын стал дождевым червем, извивается в сырой ямке!

И ждет твоих шагов!

Твоей ласковой дрожащей руки.

Белый куриный пух с кровинкой снова залепил дрожащее веко старика.

Свечение окружало лозу, нисходящую в пещеру!

Плотник звал из опустелого виноградника каждую ночь пьяных птиц Кахетии!..

— Где Маро? Может, она ушла с ведром доить корову?!

Корова доила корову.

Звенела о жестяное ведро кипящая паром струйка брызнувшего молока.

Сейчас она скажет мужу:

— Чего стоишь ты голый и плачешь от обиды?

По-детски дрожишь, прижав к вдавленной груди худые замерзшие руки? Весь пропахший рогожей и густой землей ночной ревности!.. Я здесь! Я твоя женщина с глазами коровы!

Я дою корову! Хочешь молока?

Пей!

Воскреси душу!

Белый огонь молока ослепил его свежестью.

Он засмеялся, зубы его стучали о край холодного ведра.

Захлебывался плачем и молоком старик. Ныли зубы.

Он упал на землю, нюхал родную землю, беременную урожаем!

Молоко горящее рождало быков, воскресало исчезнувшие в пещере стада.

Пахучие живые стружки, окрашенные светлой кровью, горели в жестких волосах плотника.

Пропахшее золой горечи сердце старика дрожало.

Неподалеку застонал буйвол.

Мычал вдали лес.

Корова доила корову.

Мычали две коровы, стояли друг против друга, упиравшись рогами в рога со скрежетом, одна корова черная, это Маро, крестьянская жена, женщина, накрытая отсыревшей, испачканной в глине и мокрой золе рогожей, а другая корова — одна из многих коров большого, разбитого на маленькие семьи стада, белая, пятнистая, с густыми, расплывающимися, как последождевая грязь, пятнами, купил ее недавно плотник, а до нее была серая с подпалинами и загнутыми рогами, хилая и жалобно мычащая и неустанно от морозящихся, серых, зябких рассветов просящаяся на свободу хоть в голодные, чихлые, давно изжеванные кустарники и перелески, хоть в овраг,

где можно разбиться, сломать шею и ноги; плотник сам ее зарезал, чтоб она не мучилась и не беспокоила соседей раздирающим душу стоном, а Маро доила одну из многих живших годами у них в жилище коров, потом исчезающих, умирающих; женщина с глазами печальной коровы доила корову, опустив низко голову, повязанную черным погребальным платком, хмурясь, разглядывая землю под копытами дергающейся коровы, корова мычала, и Маро поднимала взволнованный, поблескивающий терпимостью взор, сталкиваясь с враждебно дышащими глазами подневольной коровы, со зрачками злыми и красными, как листочки осины, проклятого древа повешенного; касаясь взором чужого зрачка, плачущего черной, кровавой слезой, Маро крепче сжимала в руках напряженных горячие соски набухшего вымени, и вдруг острая и пронзительная струя белого, алмазного молока звенела о дно ведра, сиротливо стоящего на черствой земле.

КОРОВА МОЛИЛА О ПОЩАДЕ КОРОВУ.

Молила о пощаде белая корова с серыми исчезающими пятнами; прежде чем Маро возьмется за доение, корова долго и пристально, бесстрастно, напряженно, с вызовом смотрела в холодные глаза Маро, в глаза другой коровы, хозяйки и матери, жены старика, сильной и зрелой женщины, и просила, чтоб Маро, с волосами, повязанными черным погребальным платком, не все молоко отбирала у нее, не всю душу, переплавленную в белую дышащую пеной кровь, не всю душу живую, молочную, которой поят детей и взрослых мужчин, не всю белую коровью кровь отжимала из вымени, а оставила ей хоть одну каплю.

Маро поглядывала на плотника, тот равнодушно и сникло жевал сухими губами, как-то беспомощно сутулясь, наверное, не одобряя жалости хозяйки к корове, которая должна приносить пользу людям, крестьянам, но, впрочем, он по равнодушию не имел ничего против, чтоб жена сохранила этой корове с молящими глазами молоко горячее и мучительное, а хочет, пусть даже норовистая беспокойная корова уходит, бежит в голодные перелески и холмы, все равно другая корова из великого кахетинского стада на другой день замычит в их дворе.

Может, она твоя дочь, Маро? Дочь коровы коров! Твоя дочь, а? Посмотри ей в измученные глаза, научи мудрости и мужеству, ободри, объясни, что она родилась, чтоб жевать траву и своей плотью кормить и поить род кахетинский, от этого никуда не деться, без этого изгнанную из стада и строптивую ни один яростный бык не покроет весной, не утолит жадной, стонущей любви скотины.

Ладно, пусть уходит, пусть уходит эта белая корова с рассветными тусклыми пятнами на боках, хватит ей пить, отбери у нее ведро молока, дай ей шататься, дышать свежим, студеным воздухом, несущимся порывами ветра; прощаясь, взгляните друг дружке в глаза — вы ведь родственницы, мать и потомство. И пусть уходит во мрак пещеры. К пастухам подземного стада.

Бродячие, бродяжничающие боги заночевали на сеновале плотника, а утром, посмеиваясь, окружили корову и доярку Маро, сидящую на корточках.

Бродяги тесно сдавили их со всех сторон. Панто даже кулак бесшабашный опустил на спину коровы, а Квириа своей босой ножищей прижал к земле ей копыто, корова застонала, задергалась, брызнуло в лицо молоком, Агуна исподтишка хворостиной царапал корове бедро, но она успокоилась, стояла спокойно, глаза бледные сделались очень глубоки, в них тонуло время целого стада, погибало безликое утро с мглистыми облаками.

Маро торопливо сжимала сосцы, вытягивала из них белую, несчастную, похолодевшую жизнь. Пар жизни из тела, из живота своей дочери или дальней родственницы.

Каждый из беспутных гостей хотел чего-то от подневольной коровы: напиться паром, молочным дыханием, даже повалить и сбить на землю, навалиться и вырезать острым ножом ее дрожащее разбухшее вымя, ра-

зорвать грудь немой мученицы, растоптать в земле ее судьбу, с навозом и кровью.

А Маро, с дрожью в спине, ниже опустив повязанную черным платком голову, доила корову крестьянскими крепкими от труда пальцами; пальцы были мокрыми и сладкими, вкусно пахли, а бродяги-мужланы теснили и теснили корову, стоявшую неподвижно и даже не помахивающую хвостом, она мотала головой с большими уставшими от бесполезной печали глазами, детскими и беспомощными, зовущими кого-то.

Маро молча, спиной просила у плотника помощи, но муж, сторбившись, стоял и не двигался, как и доимая корова; потемнели и вздрагивали скулы.

Плотник не мог гнать со своего скотного двора Дионисэ, а свора дружков-бродяг его мало трогала, плотник отпихнет их ногами или, схватив вилы навозные, исколет им лица, но он молчал, прислушиваясь к тому, что хмуро объяснял Маро великий бог Дионисэ. Дионисэ протягивал ей свою руку, чтоб погладить чужую жену по голове и прижать к себе крепко и по-хозяйски, равнодушный к плотнику, словно плотник чурбан. А плотник онемел от удивления и тоски, язык выпал от страха, он ощущал себя поруганным и выгнанным из курятника, измазанным в собственном малодушном помете, опозоренным петухом с увядшими когтями!

— Ничего! — бормотал в сжатые черные зубы плотник. — Пусть себе думает, что рожден твоим осенним любовником! Он хочет взять тебя или Кеонию в жены на празднике, на три дня, но это будут не брачные счастливые и обессиленные ночи, охрипшие ночи, раздравшие свои похмельные, сладострастные голоса. Это настанет жуткий светящийся праздник — виноградник смерти, на котором он захочет заколоть тебя ножом, зарезать или отдать на убой крестьянам, озверелым и буйным от пьянства, прежде чем самому упасть на мягкую, в виноградных листьях землю под бешеными ножами крестьян; между твоей кровью на палой золотистой, чернеющей листве и своей кровью, брызнувшей из груди, он надеется сделаться навечно твоим мужем, твоим любовником и быком черным, этот умирающий зеленоглазый юноша-бог в венке из дубовых и виноградных листьев на повинной низко опущенной голове, уверенный, что ты согласишься отдать ему, царю, изнемогающему от желания смерти и сладости, отдаться юноше, дрожащему и напуганному, чтоб сделать тебя матерью, рождающей землю крестьян, но он утонет в тебе, самонадеянный юнец, задохнется в твоём огнедышащем лоне, не бойся смельчака, дай ему напиться окровавленными губами горячего молока коровы, пусть он крепко сожмет твою руку и изнуренным, мертвеющим взором вцепится в твои холодные от умирающей любви зрачки!

Маро плеснула из ведра молоком в обнаглевших богов-мужланов, и Квириа с Панто отпрянули назад, заскулил Агуна — чучело огородное в рваной шляпе, собрат подсолнечников, вертящий, как и они, лохматой головой в поисках медленно улывающего, кружащего в небе солнца.

Маро привстала и протянула Дионисэ ведро с белой сладкой пеленой, с теплой коровьей влагой, он все смотрел на нее, на свою будущую осеннюю возлюбленную, в глазах его заблеставших мелькнула тень Кеонии, он сомневался, кому отдать себя перед самоубийством, кого назвать сезонной женой бога, но к Маро он протягивал руки и заглянул в ведро, дышал земным молоком, растерянно крикнул что-то, а Маро прошептала ему:

— Еще рано, мальчик с зелеными глазами, умирающая гроздь, — но завтра, когда наступит осень, он протянет руку к матери: ведь я мать земли, а ты из желудя родился, из земли и в землю уйдешь, прольешься своей темной кровью, сведет судорогой твое несчастное тело, червем, застигну-

тым дождем в опустелом винограднике, смятом холодными дождями прощания с летом; на гроздьях срезанных, в крови ты захочешь лечь со мной на листья, захочешь последней близости с женой плотника, с матерью земли, с матерью твоей и женой, женой крестьянского умирающего бога на три дня и три глубоких ночи.

Буйвол Або внимательно слушал. Он ненавидел плотника. Ненавидел Дионисэ.

— Я крепче обоих! — стонал буйвол. — Я крепче, я не ревную, вынесу свою муку! А вот Дионисэ изойдет кровью. И плотник почернеет от страданий.

— Слушай, Маро! — хрипел плотник. — Никому ты не достанешься! Я не пожалею твоего помраченного взгляда, тебя, корова! Не гляди на меня с испугом и надеждой! Я ударю ножом тебя в горло, и захлебнись в кровавом отчаянном вопле!.. Я, плотник Тархнишвили, убью тебя!

И волочили, волочили плотника ослабевшего, невинного, напуганного бродячие боги-крестьяне из мешка туманного, сырого, опустелого утра, оглушенного свистом раздраженных птиц, тащили на опушку мрачного, овейного облаком ночи букового леса, где любили друг друга буйвол и женщина с нахмуренными, тусклыми глазами коровы.

Разбудили старика, вытащили из кровати, не дали пожевать ломкого, рассыпающегося, вязкого, влажного, кислого овечьего сыра шамкающим, беззубым, дырявым ртом, сделать один глоток кукурузной водки чистой, незамутненной, чтоб согреть дрожашую от ревности и страха стариковскую грудь.

— Эй, Тархнишвили! Рога вырастут на твоей голове, еще малость — и ты замычишь, хрипло застонешь в стаде, гонимом в сумерки, овейные каштановым духом полей. Ты согласен затеряться в стаде, лишь бы всегда дышать и бродить рядом с Маро, слышать коровье горячее дыхание! Очнись!..

— Эй, Тархнишвили! Жук каменнокрылый свидетель твоего падения!

— Первочеловек! Ужаснулась твоему горю взревевшая от тоски Алазань. Река кричит от ужаса перед бездной, которую сама породила!

Жутко сделалось всем богам кахетинским, хоть они сами тащили старика в лес, волокли падающего плотника, упирающегося ослабевшими ногами, пропахшего холодным потом смертного страха, запах табака на дрожавших шероховатых губах, в язвах и трещинах; несет изо рта прожеванными зернами испеченной на очажном камне кукурузы, и вот отступил в тень даже Иеремия, поднявший на ноги всю деревню, пожалели и боги крестьянские бродяжничающие дрожавшего, умирающего, белого как мел старика, который стоял ни жив ни мертв, остановился под буковой веткой, осыпавшей на отживающее, земляное лицо старика крупные, душистые капли ночной влаги.

Он смотрел тоскливыми от холода глазами на Маро, обнимающую любимого буйвола.

Он видел огромные глазищи Або.

И не ревность и не гнев охватили страхом его иссушенное горло.

Он потерпел поражение.

Он проиграл битву за женщину с буйволом с самого начала, когда принял Маро в свое жилище, к очагу.

Он не мог вмешаться в их древнюю кровную любовь копытных животных, он был бессилён завоевать сердце коровы, хоть и осмелился взять корову в свой пустой после гибели сына и болезни жены дом, пропахший золой, кислым духом овчины, одиночеством.

Дом дышал горьким, заплесневелым хлебом. Маро жила в доме плотника хозяйкой, но кровная любовь к первобуйволу была неистребима, к отцу чудовищного Иштара, которого она звала каждую ночь с истерзанными тоской глазами.

Через измученную душу Маро прошла великая борьба между кочевым скотоводством и оседлым земледелием.

Что же осталось старому плотнику, оглохшему от растущего гула каменнокрылых живых, дышащих жуков: просить с пеной кровавой, пузырящейся на измученных ревностью губах, обнимая ее отяжелевший, горячий живот, валяясь спиной на ворохе прошлогодних перетнойных листьев:

— Роди меня, Маро! Роди меня, корова, я буду твоим теленком!

Спаси меня! Я умираю! Я, плотник и первочеловек, умоляю — роди меня!

На остром кончике буйволиного рога корчился слепой червь.

Маро подняла старика. Улыбнулась ему кроткой улыбкой и негромко сказала, что им пора домой, ей шерсть чесать надо, вязать, посуду мыть, а ему стругать доску, сколачивать гроб.

И пусть все расступятся.

Плотник оперся о тяжелую руку женщины, листья зашуршали под их усталыми босыми ногами, они побрели вдвоем в деревню, назад.

Буковый лес, устыженный страшной встречей под его деревьями, светлел и дрожал, гул утреннего леса медленно захватывал собою ширящуюся долину.

Омытые заревом, блестели виноградники.

Лежал на лесной земле в сырости, окаменевающая, великий буйвол.

ПАСТУХ СТАДА КОСТЕЙ

Дуб молился за Тархнишвили.

Дуб страдал оттого, что плотник и старейшина не мог уже вернуть свою необъятную власть в Велисцихе.

Виноградные бродяжничавшие боги, мироеды, крестьяне становились более могучими, чем древний человек Кахетии, насадивший лозу и разбивший сады по берегам быстронесущейся, шумящей пеной и скорбями Алазани!..

Дуб страшился, что Тархнишвили отдаст край виноградников на разграбление и не успеет смастерить свой круглый гроб-бочку.

Дуб гомборский просил небо, чтоб хотя бы жена плотника Маро, женщина-корова, мать земли, вынесла на себе, вытащила из бед и погибели Кахетию!..

— Дуб! — молили крестьяне. — Помоги нам родить, написать на твоих вечнозеленых, молодых, горящих солнцем листьях книгу рода кахетинского!.. Эй, дуб!

— Ариаралэээ!.. Оровелаоооо!.. Мравалжамьер!.. Наш дуб!

— Для чего живешь? — часто спрашивал кахетинца какой-нибудь заезжий торговец, чужак, бродяга, шатающийся по дворам.

— Живу для винограда! — с гордостью отвечал крестьянин велисцихский. — Для чего ж еще жив человек, а? Чтоб вместе с детьми и внуками выращивать лозу очага нашего! Зайди в дом, гость!

Пригуби нашего вина, стань другом! Поймешь, для чего живу!

— Для винограда живем! — хором пели стар и млад.

Тархнишвили пришел в отчаяние, увидев на крыше своего дома черного голубя, он закрыл лицо старческими руками, не хотел видеть новой беды, схватив палку, попытался согнать голубя, но Маро отняла палку у малодушного старика и дала голубю поклевать пшена.

Рассердился петух, видя, как чужого, дальнего голубя кормят пшеном, захлопал крыльями, сам потребовал корма, бессмертной пищи, и вот Маро намочила в водке зерна и дала ему клевать, и петух клевал влажное зерно яростно, насыщаясь отвагой и храбростью, чтоб нападать и бросаться на кур кричащих, чтоб продолжать род свой, и даже взлетел сердито на седую голову Тархнишвили, клюнул в темя — пусть старик взбодрится и не впадает в слабоумие и горе!..

— Жить надо! — кричал петух гневно своему белому от возраста хозяину.

— Оровелоооо! Оровела! Орайдаааа! — пел петух задорную, хриплую песню жизни!..

А река тоже захотела корма, увидев, как, наевшись зерна, смоченного в водке, заклокотал крыльями петух и воодушевил на жизнь своего старика хозяина и тот снова взялся долбить бочку-гроб!..

Река пересохшим горлом, мелея и высыхая, ждала зерна, напившегося кукурузной водки, и Маро бросила ей зерно, ветер донес его до вскипающей мутной волны, и проглотила зерно река, блеснув своим яростным, напоенным кровью глазом!..

Страдал от обмеления реки Иштар, ведь он мог пить только Алазань, а другая вода, из ручья или колодца, не могла насытить его, утолить жажду, погасить черный огонь одиночества.

Алазань-река металась, билась высыхающим телом об острые камни, что могла сделать она? Она сама была пленницей времени, хоть и поговаривали крестьяне, что она родит время, что она уносит и возвращает загубленные чужие жизни!.. Вода поит лозу, и голоса поколений цветут в листьях лозы.

Ждал плотник Тархнишвили плодородия, возил навоз бычий на вспаханное черное поле, кормил беременное поле хлебом и виноградными косточками, страшился, что земля может высохнуть. Бугор отчаяния вырос в горле плотника, мешал дышать, и, сокрушаясь, малодушно звал старик на помощь земле брюхатых демонов плодородия.

Соглашаясь отдать в их волосатые лапы какого-нибудь паренька. Мальчика велисцихского.

Позор и срам для Тархнишвили сдать и призывать брюхатых жадных демонов плодородия, чтоб они ложились на свежевспаханную землю и с горячей страстью, задыхаясь от соленого пота и темного желания, обнимались с нею, совокуплялись, а земля стонала, вырывалась, мычала, как изможденная неравной борьбой короля, высунув мокрый, взбухший от плача и бессильных криков язык.

Демоны требовали отдать им за плодородие земли не одного ребенка, а несколько голых младенцев, если земля хотела стать роженицей.

На младенцев демоны натравливали стадо хищных муравьев, и вот Тархнишвили стоял на коленях у края поля, пахнувшего червями дождевыми и жиром земли, и видел, как муравьи и младенцы сражаются, душат и кусают друг друга.

Молился о младенцах дуб, молился старик. Кусались яростно рыжие прожорливые муравьи, рожденные саранчой и разучившиеся летать.

Недаром крестьяне велисцихские страшились ночной Алазанской долины, им казалось, что, взрыхленная и ухоженная, цветущая и горящая гроздьями, она ночью становится рабыней, отдается в рабство иссыхающей реке, сожранной временом.

Крестьяне боялись охваченной мраком ночной долины, выхоженной их огрубелыми, тяжелыми руками, они боялись, что демоны плодородия и раздора пожрут ее, перегрызут гроздья и станут веселиться, празднуя свой ночной шабаш сбора урожая тьмы, и приглашают на него черную са-

ранчу, муравьев, наевшихся голыми телами младенцев, а также слепых червей, своих дальних родственников.

Поют и пляшут демоны с обвисающими животами, прыгая с камня на камень!

— Простите меня, крестьяне велисцихские! — просит старик немым языком. — Я вызвал брюхатых демонов плодородия, я уstraшен, что зло чаще родовое иссушит долину и не родится больше гроздь.

Старик молился дубу, а дуб сам просил помощи у старика.

Даже священные буковые, дубовые и грабовые рощи молились старику Тархнишвили.

А что он мог, с лицом и руками, осыпающимися сухой темной глиной, безнадежно и глухо влюбленный в Маро с чужим, холодным сердцем и пораженными одиночеством глазами коровы!..

Проводил деревянной рукой по седым волосам на своей голове Тархнишвили, рассматривал слабеющим взором траву под усталыми ногами, знал, что трава — это долголетие, здоровье.

Трава, как волосы земли, росла белая и несчастная на глиняной голове первочеловека, первокахетинца!

А тот первый житель, которого вылепил, весь в поту, Тархнишвили, древний человек давно разрушился от годов и старости, а из разлетевшихся по полю глиняных слепков его тела родилась страна виноградников.

Виноградник молился старику Тархнишвили, а старик не слышал стыдливого шепота. Сам он стоял у края поля, согбенный, опираясь на свой посох старейшины, упершись ножищами босыми в горячую, растрескавшуюся землю, и зрачки его вспыхивали и молодели. Подступала к горлу злоба на петуха, что с утра до сумерек издевался над плотником.

Но сражаться с петухами плотнику тяжело.

Одного поймает, догонит, схватит, оторвет голову с гребнем дрожащим, бросит в котел, сварит, и тотчас рождается во дворе плотника другой, еще более наглый, орет оглушительно над самым ухом престарелого селянина. Кричит петух:

— Не сдавайся немощи, старик! Ты вылепил кахетинца из глины, ты родил гроздь, ты взял в жены громадную, сильную корову, могущую унести на своем хребте от смерти всю Кахетию!

Выше голову, плотник!

Мучило Тархнишвили, что он был первым Глиночеловеком рожденной им Кахетии, чуть ли не сам себя родил из глины и капельки воды, пота, как червь, отец рода, а вот сейчас он словно связан по рукам и ногам немощью, страхом, малодушием, побежденный и развращенный мироедами род уже вышел из-под власти, плотнику не одолеть его, не вернуть к терпению, не загнать в подъяремно вечный труд, все хотят и ищут легкой и быстрой наживы, а крестьяне стали выкорчевывать виноградники, вырубать лозу, избегая ухаживать за лозой многострадальной, решив на бахче с арбузами заработать мешок денег, продавать невкусные, вялые арбузы изголодавшимся, замученным горожанам, обливающимся потом и грязью.

Дионисэ тоже не мог поддержать плотника.

Одoleвали его мироеды, побеждал Янго Лазуришвили, отравил кровь рождающегося и умирающего бога и напоил его крестьян.

Нодар Шашвидзе убит, растерзан.

Что ж еще оставалось плотнику — сколачивать гроб, лодку, бочку, чтоб уплыть в ней по реке Алазани с деревней, пусть Квириа с парнями возрождает Гурджаанский район!

Но еще оставались осенние битвы, схватки богов, крестьян, мироедов, животных.

— Эй, люди! Готовьтесь к празднику урожая Ртвели! Оровелааа!..

Древний Тархнишвили не знал, что в глазах буйвола Або, своего врага, у которого он отбил жену, он, великий крестьянин и народный герой, — всего-навсего голый мальчик с гроздьё винограда!

Младенец! Гений осени!

Буйвол Або сдерживал ярость, прятал Хаос, бушующий в его черной необъятной туше!..

Не знал плотник Тархнишвили, кто его теперь утешит: сына съела у него большая война, а жена Анико, которой он изменил с коровой, давно превратилась в грушевое дерево в поле.

Маро — настоящая корова, она все чаще уходила и горячо шепталась со своим первым мужем-буйволом, и тогда, чтоб немножко успокоить рану, открывшуюся в груди, старик, как истерзанный, умирающий бог Дионисэ, брел к своему маленькому заброшенному винограднику в тени, возле притока искусственного Алазани — речонки Арх, и там, прижавшись к лозе грудью, жаловался один, шептался до позднего вечера с горячим, винным ветром, тихо вздрагивая немощной осутулившейся спиной, слезинки поблескивали в щетине на щеках; наплакавшись сдавленно листьям, он тащился нехотя назад к дому, тяжело опираясь на посох старейшины, и грудь его расправлялась и спина снова становилась крепкой.

В нем жил голый младенец с гроздьё и древний великий крестьянин!

Бредет по деревне Велисцихе старик Тархнишвили, зорко поблескивая нахмуренным глазом, почтительно здороваются с ним крестьяне, знают, что он пока еще не утратил власть старейшины, кое-кто даже побаивается, что не возьмет его с собой в бочке-гробе вниз по быстрой Алазани, а молодежь посмеивается, говорят громко парни, что спятил старик, но Тархнишвили не собирается пока сдавать свою власть, он хозяин Велисцихе, он заглядывает в дома, спрашивает хозяев, как их виноградники, как скотина и собираются ли отдавать невест к последнему празднику Ртвели, пусть готовят приданое, и слышит в ответ старик Тархнишвили, древний человек, как велисцихские девушки, невесты осенних богов, гремят в узлы связанными простынями с костями съеденных коров.

Эти кости — самое большое богатство деревни. Семья, съевшая больше коров, чем другие, самая древняя в районе, она крепко стоит на земле, и сильнее такую семью любят боги бродяжные, и стада их будут расти, а девушку, у которой громче гремят в простыне свадебной большие кости, возьмут с охотой крестьянские парни, а отцы их выкатят самые большие бочки со старым, любимым бродячими богами вином.

Маро сидит во дворе, видит, как муж ее с посохом бродит по деревне, прислушиваясь, как гремят в узелках девушек-невест кости съеденных коров, каждая невинная девушка, заслышав шаги старейшины, старается сильнее трясти мешок с костями, чтоб остановился старик, пораженный, и запомнил, какую из девушек выдавать за самого крепкого и мужественного парня, какую благословить на счастье и урожай!..

Маро перебирает темными, сухими руками овечью шерсть. Вечерами прядет она. Маро зажмурила горестные глаза, она должна радоваться свадьбам осенним, тому, что рождаются в деревне дети и не захиреет Велисцихе, ставшее ее родиной. Ведь крестьяне иногда Маро называют деревней.

Маро-деревня. Женщина-деревня. Корова-деревня!..

Но грустно сердцу, пропахшему соломой и землей, коровьим молоком, ведь достатком и почетом обладает тот очаг, где больше костей от стада, а коровы, съеденные людьми, — ее предки и родня. Плотник Тархнишвили по ночам хмурится, она, тоскуя и не засыпая, шепчет ему об этом.

— Забудь! — вскрикивает плотник хрипло. — Никакая ты не корова! Ты — женщина! Моя жена!.. Слышишь?!.. Моя единственная жена, и пусть

осмелится кто-нибудь напомнить о буйволе Або — убью! Прибью посохом! Хватит! Скоро последний всепраздник Ргвели!

Я старейшина рода, посмотрим, кто кого!.. Иди ко мне!

Он обнимает ее своими натруженными, тяжкими руками.

Оттолкнув плотника, Маро встала в ночной длинной белой рубахе до самой земли и шла во двор, стояла там одна, при луне, заглядывая в хлев, прислушиваясь к ветру, не донесет ли встревоженное дыхание сына Иштара, всеми презираемого и отверженного юноши-быка, которому запрещали входить в деревню крестьяне.

Маро звала его, но сын лежал ничком, прижавшись к валуну, что повис над рекой, на обрывистом берегу, а в ответ она чужла горячее сопление буйвола, который готов простить ей измену и бегство, сам живя под ярмом у маленького тупого погонщика Ашота, голодного, избивающего его нещадно палкой.

Буйвол звал женщину вернуться к нему, обещал разворошить своими могучими, не боящимися солнца палящего рогами всю деревню и унести Маро на себе, чтоб снова она рожала от него, немного великана, детей-быков.

Маро вернет всей Кахетии время буйволов, плененных крестьянами, время быков. И быки закабалят крестьян.

— Маро! Маро! — сопел горячими ноздрями Або, но погонщик Ашот не спал, вскакивал и избивал покорного буйвола длинной палкой, не давал корма и воды.

— Не слушай разъяренного, одержимого страстью и угнетенного ярмом буйвола! Забудь! — звал плотник.

— Забудь! — шумел и звал Маро темный крестьянский гомборский лес.

— Иди к нам! — волновались священные рощи. — Иди к нам, женщина Маро! Женщина с глазами коровы! У тебя только глаза коровы, а сердце молодой крестьянки! Забудь буйвола великого, его скоро забудут на мясо-заготовку! Забудь сына своего, чудовище Иштара! Думай только о деревне! Ты — женщина-деревня!

И часто уходила Маро одна в священные рощи ольховые, грабовые и буковые и жаловалась там на судьбу, и прислушивались к ней рощи, принимали с благодарностью в дар белого плачущего, невинного ягненка, которого она резала ножом, а свежей кровью поила деревья!

Ужасался такой жертве сын Иштар, человекобык:

— Мать, что творишь ты? Зачем разбрызгиваешь кровь ягненка по лесу? Это ведь моя кровь, мать!..

Луна с рогами глядела на Маро, прижавшуюся к обрызганным детской кровью молодым деревьям.

Помнит плотник Тархнишвили, ворочаясь в опустевшей без Маро кровати, как над базарными мясными рядами повисло на ржавом крюке кровоточащее бедро коровы, которое потом сожгли, и старик страшился глядеть на этот железный крюк, на сожженное бедро уселась зловонная страшная муха, горящая черным золотом, и плотник замахал встревоженно руками и не мог согнать муху, она впилась в бедро зарезанной жены, и кричал плотник, старик звал на помощь народ, а торговцы базарные посмеивались над стариком, думали, что он напился чачи крепчайшей в жару и красные круги плывут у него перед глазами слезящимися и плачущими, как у забуддыги пропавшего на опустелом базаре в сумерки, пришедшего в поздний час продавать украденного гуся.

— Дурни! — задыхаясь, отбивался старик от капитана порядка, обиралы Абесалома. — Гоните муху! Она всех вас сожрет! Чихнуть не успеете!

Мухи и насекомые, саранча родились из сожженного бедра коровы! Сожгли корову — и родилась саранча! Вот она! — кричал старик, спотыкаясь о бульжник, капитан толкал его в спину кулаком, старик терял посох, ронял, шарил, нагибаясь, торговцы удивлялись, как мог пить водку по такой жаре неугомонный загорелый старик, вдохновенно подбирающийся по винным лавкам.

— Мама! Это моя кровь! — кричал в священной роще человекобык Иштар.

Но Маро зарезала белого плачущего ягненка.

Маро не обращала внимания на встревоженный шепот сына, юноши с рогами.

Маро прислушивалась к плачу в льдистых горах Амирани, израненного железным клювом безжалостной, хищной, мстящей птицы Пашкунджи, свившей гнездо на верхушке седого дуба.

Птица Пашкунджи выклевала Амирани печень и глаза, ведь он украл у богов и отдал крестьянам очажный огонь.

Маро — храбрая женщина. Она не боится бороться с целым стадом быков, хрипящих пеной, кровью, низко опустив головы, бегущих по кругу, не желающих отдавать людям своего бычьего времени.

Стадо несущихся во тьме быков, пытающихся спасти от рабства своим никем в древности не завоеванное время.

Маро сражается со стадом быков кахетинских... Маро борется на празднике народа с буйволом, напоенным кукурузной водкой.

Она хватала его поперек туловища и бросала оземь.

Буйвол, круша все рогами, бросался на нее, но Маро ловка!

— Кто ты, женщина или корова? — стонал буйвол, сраженный ею, подавленный, несчастный.

Маро молчала, потом она ложилась на растерзанную копытами землю, и ее били страшные судороги, изо рта лилась кровь темная, она закатывала от боли глаза и кусала от страданий губы, потому что она, беременная от буйвола, напоенного водкой, рожала ему сына-чудовище, юношу-быка, которого он ненавидел, хотел сокрушить, раздавить, но Маро закрывала сына своим телом и бросала в буйвола камни.

Маро рожала Иштара, она ползла на коленях на вспаханное крестьянами поле. Пусть он родится в поле!.. Она рвала от боли волосы на голове и царапала грязное широкое, скуластое лицо сломанными ногтями. Крик страдания вырвался из разодранного горла. Священная роща буков услышала боль женщины и помогла ей освободиться от бремени.

А рогатая луна схлестнулась с рогами буйвола, отбрасывая его прочь от роженицы, лежащей обессиленно на свежевспаханном поле, раскинув тяжелые ноги.

— Ты слаб, чтоб сразиться с солнцем! Ты слаб биться со мной! — холодно вздыхала луна, поглядывая одним глазом на поверженного буйвола Або.

И буйвол отступал, пятясь от лежащей на борозде роженицы, своей жены, любимой, он молчал и униженно сопел, и колени его разбиты и расцарапаны, морда в крови, а один рог треснул!..

Маро рожала Иштара, юношу-быка, захлебываясь черной кровью.

Маро ела мокрым от крови ртом черную, холодную землю.

Холодную, как ночь.

Соха, брошенная пахарем Ваню в поле, звала на помощь.

Дуб молится за Маро.

Дуб просит небо не отнимать у женщины-роженицы дыхания.

Пусть крик животный освободит грудь женщины с черным, кровавым молоком!..

Маро, стельная корова, слышала, как мычит стадо, потрясенное рождением Иштара.

Стадо не признало его. Стадо шарахнулось от юноши-быка, от чудовища.

Дуб просил небо не убивать Маро.

Несчастный и одинокий дуб гомборский.

А на рассвете, сизом и горячем от изнуренного пара дыхания роженицы, крестьяне разглядели на холме обмазанную сохнувшей глиной голову коровы с черными впадинами глаз. Череп коровы, обмазанный приречной глиной. И крестьяне принесли сюда ведро вина и омыли вином страшный череп коровы рода.

— Это наша мать! Наша деревня! — пели крестьяне низкими голосами, крепко держась руками и опускаясь возле подножия холма на колени.

Мать земли слушала их. Мать земли, покровительница кукурузы, огурцов, лука. Когда она медленно шла по огороду, огурцы и помидоры улыбались ей.

Маро благословляла бараньи и овечьи черепа, насаженные на колья крестьянских заборов. Это были пожранные людьми поколения животных. Она сощурившись разглядывала холм с черепом древней коровы, обмазанным темнеющей глиной.

Маро боялась приближаться к черепу с мерцающими провалами смерти.

Это была она сама, будущая ее судьба, и когда пора будет сменить ветхий, истлевающий череп пращавых, она сама отдаст на холм свою несчастную голову.

И крестьяне принесут ей жертвы, заколют теленка, опустят к подножию холма гудящего. Опрокинут там корзины сочных, лопающихся красной мякотью помидоров и хрустящих, спелых длинных огурцов.

Плотник ночью тяжко сопел.

— Жена! — вздыхал он в сердцах. — Что жена, она ведь корова?

Маро не то чтобы не любила его, она первородно близка ему, хоть она корова, а он древний человек, и он сам лепил первых людей на берегу Алазани из глины влажной, однако ведь животные и люди превратились в одно стадо на много веков, жили одной семьей, одним родом.

Плотник и корова были близки.

Это не любовь, а именно первородная близость.

Но плотник боялся этой близости, она уводила его душу назад, в потемки, в бездну, в те времена, когда он жил один на один с водой и глиной, это было грозное время, когда Хаос властвовал и плотник мог погибнуть каждую ночь, и он зорко вглядывался во мрак, пытаясь лепить кахетинцев, а потом дуть в горло вылепленного, чтоб разбудить в нем жизнь.

И то же пытался сделать соперник, слепой червь, который хвастал тем, что якобы он вылепил из праха самого Тархнишвили, но плотник кричал ему: ложь, он, плотник, сам родил себя из капли воды!..

Маро тесно прижималась к плотнику ночью, пытаясь напомнить о родстве, и бездна стерегла их, но плотник страшился воспоминаний, он отворачивался от жены в кровати, закрывал лицо подрагивающими грубыми руками, тянул на себя одеяло-рогожу, сплевывая, харкал на земляной раздавленный пол, лежал злой и сердитый, невыспавшийся, он не знал, где черпать силу, чтоб дожить до утра, не свалиться с кровати, он голый вылезал и хватался за посох и стоял до утра, опираясь на посох, задумчивый и одинокий, как столб.

Плотник со страхом ждал последнего всепраздника виноградарей Кахетии Ртвели — сбора урожая винограда, и надо родить в груди мужество, страшны на Ртвели безобразия и бунты, что погубят Велисцихе, он должен увести лучших жителей деревни к своей бочке, гробу и лодке, и

уплыть с ними вниз по Алазани, чтоб на стене Хуца, на каменной летописи, застыли их души, плывущие в бочке в бездну.

— Маро! Не гони меня в воспоминания о Хаосе! Я ведь капелька воды! Как я могу бороться с Хаосом! Я устал!

Тягостные воспоминания рождения жизни душили плотника, он не мог от них освободиться, отчаяние охватывало его, он босиком ковьялял к окошку, пытался разглядеть ночью зеленое, закипающее зарево осеннего огня над виноградниками, дышащими хмельной сладостью, он боялся ночной Алазанской долины, охваченной мраком, жалел, что позвал на помощь весной брюхатых демонов плодородия, чтоб они, совокупляясь с полем, сделали его беременным новым урожаем.

Старик не мигая слабыми, усталыми глазами глядел в ночь и содрогался оттого, что ночью в Алазанской долине демоны брюхатые и боги беспутные хозяйничают вовсю!

Первочеловек Тархнишвили насадил лозу, выдавил вино из грозди, и вот уже столько веков прошло, долина зацвела виноградниками, она много раз рожала корзины гроздей и дала людям тысячи и тысячи бочек вечного вина, а вот ночью чудилось, что Хаос пожирает долину и вся дневная работа, труд виноградаря погибал, недаром часто утром виноградники выглядели такими вымученными.

Отчаяние охватило Тархнишвили.

Надо все бросить и бежать, оставить очаг! Маро одна будет вести хозяйство. Можно попроситься к бродячим богам, прибиться к беспутным бездельникам; но боги полей и лугов засмеют старика, поиздеваются над ним, кто захочет взять в свою компанию побираться такого шатающегося от старости, оглохшего и капризного, привыкшего к власти над крестьянами старика, он посмешище!..

Самим богам бродяжничающим станет хуже, их перестанут кормить, подавать милостыню и вино с сыром заплесневелым, будут гнать прочь и натравливать громадных пастушеских свирепых псов-мцеварни.

Однажды старик пытался прибиться к ним, плелся позади пылящей под босыми ножищами богов дороге, а они стали ругать и обзывать его, кидаться мелкими камнями; пришлось несчастному старику, выжившему из ума, убежать с плачем, закрывая от позора и срама небритое морщинистое лицо.

Как же ему быть, теряющему силы и власть, впадающему в слабоумие?!

Может, сказаться больным и залечь в громадную кровать из срубленного во дворе грушевого дерева, плачущего слезами по памяти Анико; не выходить никуда из своего жилища, запереть дверь, задвинуть засов, пусть селяне бьют ногами в дверь и зовут его охрипшими глотками, народ не поверит в хворь, разобьет дверь в щепы и ворвется, выволакивая старейшину из кровати на праздник Ртвели, осыпая насмешками и бранью.

Нет, нельзя выпускать из слабеющих рук посоха.

Но дома, у очага, Маро раньше казалась ему спасением от холодной, одинокой старости, было беспокойно, в ней все меньше оставалось от женщины и крепче проглядывала корова, она мычала по утрам, она чаще тосковала по буйволу Або и убегала от мужа шепталась с буйволом в хлеву, где держал его общинный бедняк, погонщик Ашот в лохмотьях, отец голодных ртов.

Плотник растерянно глядел ей вслед на рассвете. Ему надоело приглядывать за ней, следить, гнать палкой назад к очагу.

Плотник опускался на колени и обращался к дубу, своему ровеснику.

Старик просил дуб сделать его немым, слепым, даже соглашался стать копытным животным, которое могли забыть на мясопоставку. Куда ему теперь деться, древнему человеку, родившему из глины предков Кахетии!..

В какую сторону он скроется, какая чужая лоза плодоносящая скроет от огня и бури, даст тень, покой, кусок хлеба и напоит перед смертью

своим закипающим молодой страстью, веселящим сердце искрящимся вином?!..

Кахетия — это весь мир. Не убежишь от нее, как от мычащей, зовущей голодной коровы! Не уйдешь один больше никогда на берег реки плакать по сыну, жаловаться Алазани, кормящейся солеными слезами старика. Он вытряхивал ей из карманов крошки хлеба, а она, слизав их жадным языком и не получив еще, сердито гнала его вон за целым возом пшеницы душистой и спелой!

— Эй, река! Не гони! Я — Глиночеловек!..

Вот убьют Дионисэ, и бог уже больше никогда не вернется из мрака. И останется одна, без богов, земля виноградников, не родит, засохнет, мироеды захватят в рабство селян. Страшился оргий и шумных празднеств плотник, ведь Ртвели может вырасти в жестокую, беспощадную крестьянскую войну.

Обращался за советом плотник Тархнишвили и к груде костей быков, коров и овец, баранов, что валялись во дворе каждого велисцихца неухоженными, это были родовые кладбища каждой семьи, кладбища съеденных семей стад, предки-кости охраняли очаг, спасали от чумы и бедствий, по ним можно было гадать.

Но у свалки останков мертвых животных плотника ждала неудача. Кости, громадные, искривленные, валяющиеся в беспорядке, молчали. Они были давно мертвы и думали о тех ночах, слившихся со всеобщим мраком над Алазанской долиной, когда они, как могучие и горячие животные, были хозяевами лугов и пастбищ, они сами, коровы и быки, были старейшинами и рабовладельцами, а люди жили у них в батраках, жалкие и трусливые, задавленные нуждой, голодом и забитые страхом, люди не сразу освободились от власти быков, от пожирающего людей стадного времени!..

И вот чем древнее кости на родовом кладбище, тем более враждебно и угрюмо глядят они на плотника, бредущего к ним спотыкаясь, опираясь на посох и вымаливая детской ладошкой и малодушной слезой уходящую власть над родом и над Хаосом, снова побеждающим долину.

Однажды плотник попытался стовориться с кучей костей у себя во дворе, желтых, слизанных ветром и ливнями, чернеющими и мрачными, он дал им клятву, что, как только кончится Ртвели, он навсегда станет их рабом, пусть они берут его назад, в обратную сторону движения времени, в бездну, в которой родился всепожирающий Хаос, он согласен стать рабом костей, будет их послушным батраком, а если кости вымерших животных, ревущих, поведут его назад, через века, в ту ночь, когда свершался ужасный мор человекобыков Кахетии и буйволы сражались с ними, пытаясь захватить власть, он, Тархнишвили, будет вместе со стадом, он будет пасти буйволов, отгонять диких зверей, он поведет стада костей хрипящих на сочные луга, где они смогут есть вкусную, душистую нагретую траву, высокую и рослую.

Но буйвол Або нарушил согласие плотника со свалкой костей.

Однажды, когда плотник стоял на коленях и молился, одряхлевший, пытался подружиться со съеденными животными, буйвол Або ворвался во двор старика и разворошил рогами эту груду.

Чуть не растоптал самого плотника. Маро отогнала буйвола палкой.

Вести переговоры плотник вынужден не со стадом костей, обглоданных древними умершими людьми, а с ним — буйволом-предком Або, у которого отбил жену.

Буйвол сдерживал в своей громадной туше Хаос, он отдавал ему всю свою невероятную силу великана, которую он мог бы подарить Маро, если б она не бросила его и не бежала к тщедушному человеку!

Пусть убирается вон, пусть вернет ему жену, а сам обретет голову, пеплом посыплет и в одной длинной ночной белой рубашке босиком идет на площадь сельскую и падает перед буйволом на колени и признает себя

рабом Або-предка, пусть перед всеми откажется от Маро, прокричит, что он не мужчина, а жалкий раб выхолощенный, совсем не старейшина деревни, которую хочет якобы в бочке спасти, плывущей по Алазани, тонущей! В круглом гробе родовом! Притвора и лжец! Хочет утопить народ в дырявой бочке!

Вот его спасение!..

Изводит всех стуком молотка, долбящим денно и ночью смехотворный ковчег!

Пусть пылью и прахом осыплет свое сморщенное, изжеванное невздами лицо обманщика и труса, пусть золой засыплет свои унылые глаза!

Тогда буйвол Або еще подумает и решит, как ему быть с презренным рабом, укравшим у него жену!

А сейчас он не даст плотнику разговаривать с грудой костей.

Он разворошил их, разметал кости кричащие, валяющиеся по двору плотника, пока подоспевший погонщик Ашот и крестьяне насилу не уняли животное, не отогнали его палками.

Буйвола увели избитого, а плотник сидел во дворе на земле, возле разбитых и раскиданных костей, потерявший над ними последнюю власть и нить разговора, нить оборвалась, и жалкую просьбу о братстве уже не могли прошептать его пузырящиеся черной смолой отчаяния, раздавленные срамом и обидой губы.

Плотник все сидел на земле, не обращая внимания на жену Маро, которая увидела его немощь и позор и стала прибираться во дворе, подметать растерзанную крепкими копытами буйвола землю, а плотник сидел жалко улыбаясь, закрывая дрожащими корявыми пальцами заплаканные глаза и пытался хотя бы подслушать время костей, но кости молчали. Казалось, время съеденных животных разворошено бешеным буйволом, как ворох слежалой соломы.

Тогда плотник Тархнишвили начал слушать свои, человечьи, кости.

Но кости плотника тоже молчали.

Наверное, из них вытекло время.

— Ах, Маро! Маро! — вздыхал плотник, слепо глядя в ее нахмуренное широкое лицо. Он вспомнил, как страшился встречаться с холмом, на котором замер череп древней коровы-матери, замазанный побуревшей глиной. Он думал, что Маро ждала его день и ночь, год за годом, много веков, настоящая мать земли, великая мать урожаяев. Маро к нему, одинокому плотнику, сожранному зубами возраста, послала на время жить свою душу, одну из оболочек души, и от этого он, даже в кровати лежа с ней, под рогожей, не мог согреться и летом: стынет спина и стынут ноги, а когда он пытался обнять женщину и заглянуть ей в черные, глубокие глаза, он встречался с зияющей смертью взором черепа коровы на холме, которому крестьяне приносят на праздник зерно в корыте и жир бараний. Жир таял на солнце.

Голодный погонщик Ашот избивал буйвола Або, погонщик немый с грязной и нечесаной шевелюрой, а на самом деле буйвол всегда, даже под ярмом, в рабстве, оставался гордым предком всех буйволов и быков.

Хозяином и пастухом стад. Он был одновременно хозяином и рабом подземного стада.

Ради исчезнувших стад в пещере подземного мира буйвол Або соглашался пока терпеть унижения и колотью палкой, ради расширяющихся и возвращающихся кругов времени буйвол Або сдерживал в своей груди Хаос, что мог разметать по пустырям свалку костей животных.

Но настанет день, когда все мертвые стада соберутся вместе.

Придут с ревом и мычаньем из нижнего подземного мира Джоджохэти с буйволом-предком Або, ринутся захватывать пастбища и луга, побеждая пространства Кахетии.

Хаос вырвется тогда из тела буйвола Або. Буйвол пожрет Хаос, и снова стада животных захватят деревни и пленят время крестьян.

Но ревность мучила и терзала буйвола.

Маро спала с плотником в одной кровати, расцветающей грушевыми пахучими листьями!..

Когда буйвол собирался нападать на крестьян деревни, устав от побоев, голода и обид, Маро не обнимала его на людях, она просто выносила из дома пряжу и садилась перебирать пальцами, что-то тихо напевая.

И буйвол Або успокаивался. Пряжа в ее руках давала покой. Она надевала пряжу на рога буйвола, бывшего мужа.

Это была не пряжа, а Время. Она ткала Время. Она приближала власть буйвола-предка!..

Иногда плотнику Тархнишвили, обуреваемому ответной ненавистью к буйволу Або, хотелось броситься на него, обхватить мощный торс и бороться с ним, сопя и задыхаясь, взмокнув от пахучего пота, бороться по всем правилам крестьянской борьбы, когда быка или буйвола, замотав рога тряпками и напоив водкой, выставляли против смельчака, и в молодости Тархнишвили иногда выходил победителем над яростным животным из такой схватки под барабанный бой и пение дудок, с годами он уже реже решался на такое побоище, в котором разорвешь от натуги жилы и останешься валяться на пустыре растерзанный.

Но во сне, душимый ревностью, плотник, зажмурив глаза, шел на такой бой с рогатым соперником, вступал в кровавую схватку, и каждый раз, даже во сне, буйвол опрокидывал его, побеждал, убивал копытом, и плотник кричал, а жена Маро толкала испуганно мужа храпящего.

— Что с тобой, плотник? — спрашивала она.

Плотник задыхался под громадным телом врага, задушенный, и тер кулаками съеденные криком немощи глаза, чесал до красноты, до мутных слез, поглядывая на лежащую рядом жену со злобой, словно она подглядела его страшное поражение во сне.

Закуривая черный горький табак, уходил, бросая кровать. Маро недоумевала.

Рассвет не грел серую ветошь низкого, пахнущего холстом неба, сады еще не дышали зелеными брызгами.

Река молчала. Гуси гоготали, и пели петухи, но не звонко и нагло, а пристыженные неудачей плотника. Они хрипели свою петушиную обиду с опаской, побаиваясь, чтоб не убила их голодную мечту нахрапистая, как лошадь, ночь.

Плотник уходил к стене сарая, разжигал табак, закуривал задумчиво, потом шел к хлеву, к свиньям, давно проснувшимся от голода и повизгивающим, кидал им отруби, перетертые и смешанные с гнилыми картофельными очистками и сырой, мокрой мякиной, кидал сена быкам, хватал одного из них за рог и долго глядел на быка исподлобья, пока тот злым рывком не убирал голову, низко склонившись над корытом; надо было гнать быков и свиней к Арху, на водопой.

Шел старик в свой плотницкий сарай, садился в недостроенный круглый гроб-бочку, сидел в этой бочке молча, как в пещере, утробе матери или коровы, и не откликался на зов Маро, он не любил, когда его тревожили, сидящего в задумчивости в бочке, среди стружек. Он мастерил эту великую бочку уже несколько десятилетий, в бочке он закрывался от деревни Велисцихе, от всех голосов и забот, оставался один на один со своим крестьянским временем и кричал гулко, поджидая ответного эха, и время иногда гудело ему, оглушало старика, и старик зажимал голову исцарапанными бугристыми руками.

Сидя в бочке оглохший, зажмурив глаза, плотник Тархнишвили вел великую войну с мироедами, он принимал участие как вождь в битвах богов, крестьян, животных, напрягая вздувшийся страшной кровавой жилой лоб с могучей шишкой раздумий, с поперечной ножом режущей лоб складкой.

И каждый раз в таких раздумьях о судьбе рода он терпел поражение.

А ведь когда-то крестьяне побеждали диких быков.

Они занимались ловлей и приручением быков к работе в поле.

Они палками забивали их, выколачивая из них ярость, не давали есть и только после тяжелого дня кидали им жалкий корм. А дети тех первых диких, плененных быков рождались более терпеливыми и загнанными, и так мало-помалу крестьяне отнимали у диких быков свободу, время.

Плотник сидел в бочке-гробе.

Хотел спастись вместе с деревней после опустошительного и ужасного праздника праздников Ртвели, уплыть вниз по бурнопенной Алазани. Плотник сидел в бочке, крепко закрыв лицо ладонями, темный страх перед животными подкатывал к горлу. Страх перед изменениями и превращениями стада в животных и людей, по кругу, разрывал душу плотника.

Сколько раз это колесо вернется в деревню!

После мора человекобыков Кахетии, древних исчадий земли, наступает время быков, время скотины, побеждающей Время Крестьян, и людей обращали в рабство быки и коровы.

Потом крестьяне снова пытались приручить скотину к пахоте, к подъемному труду, запрягали их в повозки, в плуг, в арбу, и снова чумой пожирала луга и пастбища стада человекобыков, а коровы проваливались в пещеру и кричали, окаменевая на стене Хуца. Дикие быки давили крестьян насмерть копытами, убивали детей, загоняли виноградарей и пастухов в дикое рабство!

Плотник сам не раз за века превращался в ничтожного, униженного раба и только с помощью молодой и неистой реки Алазани, утопившей дикие стада копытных, обретал свободу и шел освобождать закабаленные деревни!

И вот снова крестьяне становятся рабами.

На этот раз рабами рожденных в общине и разбогатевших крестьян, выродившихся в мироедов!..

Сейчас уже не разберешь, кто животное поганое, а кто человек, виноградарь и труженик: все смешалось в Кахетии. Жадность, похоть, корысть пожрали народ.

Плотник Тархнишвили хочет вступить в последнюю схватку со временем, а потом умереть.

В чем видел спасение сидящий во тьме, в бочке, и закрыв голову натруженными руками плотник Тархнишвили?!

Надо снова вернуться к кочевому скотоводству? Туда толкала Маро. Или породнить стада и деревни и связать одной жилой, соединить побратски законы быков, крестьян-тружеников и дубовых рош?

Чтоб честно разделить скорбь борьбы за хлеб, за продление рода!

Иштар, человекобык, для селения держат низменное и ужасное чудовище, недаром родился?!

Может, он нужен Велисцихе, а деревня боялась его, страшась, что снова разведутся на полях и лугах и в лесах Кахетии стада свирепых человекобыков?!

И крестьяне погрузятся во тьму пещеры, в Хаос допервобытной жизни.

Крестьяне страшились, что в этом скрещивании быков и людей люди потеряют себя и мрак сожрет их и зерно и гроздь цветущую!

— Не бойся смешения крови людей и быков! — вздыхала Маро, она шла к сараю плотника, пыталась открыть дверь, стучала долго, но плотник заперся, задвинул засов, прежде чем залезть в бочку.

Маро взволнованно дышала, она чувяла, что плотник сейчас упрямо думает, как ему быть: погнать людей на избивание стад или натравить войной на мироедов? Породнить стада животных и деревню?

Пусть смешается кровь бычья и крестьянская! Их соленый и сладкий пот. И время потечет венозной тягучей глиной в их души. Время животных и людей, смешавшись, одолеет древний мрак.

— Не надо бояться рабства! Крестьяне не станут рабами быков. Они могут превратиться в своих собственных рабов, рождая мироедов, пожирающих их!

Стада быков, коров и буйволов спасут род велисцихский!

— Не понимаешь? Эй, муж! Плотник! Открой!

Но плотник не дышал в бочке, все ниже опускал седую голову.

— Я один! — бормотал старик. — Я рожаю себя из капли пота! Из глины.

Ему скучно без соперника — слепого червя.

Червь упрямо полз на праздник осени Ргвели и в этот раз успеет к пожару, к костру!.. К пеплу.

Червь хочет прозреть на всепразднике и отобрать у старейшины власть.

— Не бойся человекобыков, плотник! — шептала в щель Маро. — Пусть сын мой Иштар женится на девушке из Велисцихе, он спасет деревню, сын мой станет отцом нового рода человекобыков, и они раздавят в прах мироедов Бежиашвили! — стучала Маро в дверь.

— Нет! — кричал плотник. Он захлебнулся черной, как земля, кровью.

Сын твой изгой! Он отверженный! Он проклят судьбой! Крестьяне заколют его вилами! Рождать новых человекобыков, этих страшилищ, — гибель! Мрак сожрет народ!

Я боюсь, чтоб не срослись души людей и копытных животных!

— Дурачина! — ругалась Маро. — Стадо мудрое, оно не охвачено жадностью! Подчинись быкам, прими их время, быки спасут и очистят кровь крестьянскую! Слышишь, муж!

— Сын твой изгой! — отмахивался плотник. — Оставь меня!

— А потомки его станут властью Кахетии!

— Нет! — задыхался плотник. Он боялся, что она уговорит его.

Хриплый шепот любимой женщины брал старика в плен. Материнский шепот грел ему душу, лень растекалась по телу. Надо отдаться ей. Маро возьмет в свои руки судьбу Кахетии! Плотнику хотелось сдать ей в плен. Пусть женщина забирает власть в деревне.

Недаром он сидел в бочке и думал, что это пещера, лоно материкоровы, что теплым словом своим, пахнущим ячменем и молоком, она спасет старика.

Маро могла унести Кахетию на своем хребте.

Она могла, сама того не желая, задавить плотника, лечь на него сверху своим погрузневшим телом, он задохнется, и деревня Велисцихе проклянет старика за то, что он дал свободу жить и хозяйничать человекобыкам!..

Плотник ослаб духом, он униженно просил женщину изгнать из своего сердца буйвола с длинными тяжелыми рогами.

Но время плотника треснуло. Животные первые почували, но пока молчали, чтоб не забили их вилами и топорами крестьяне.

Мироеды закабалят Кахетию. Они не страшатся никого. Ни хищной птицы Пашкунджи, ни мертвых стад человекобыков, что из тьмы пещеры Джоджохэти, владений Хуца, могли наслать проклятие:

— Шлем проклятие — и опустеют дороги ваши!

И станете пожирать сынов ваших. И желудей не останется у вас! Сожрут вас свиньи!

И бросят трупы ваши на обломки идолов и жертвенных камней!

Рыба исполинская, каменная, пожрет потомство!

Как мясо без соли загнивает, наполняется великим зловонием, и из-за смрада страшного отвращаются крестьяне от него, и в загнивающем мясе вашем черви земли пресмыкаются, терзают и поедают вас. «Где же соль наша? — кричат из тьмы стада. — Ило-аробщик не дал вам соли, убийцы народа!»

От посыпанной на мясо соли сдыхают черви, вы же сами превратитесь в издыхающих, еле ползущих по Старой Кахетинской дороге червей!

А без соли народной зловонный запах ваш, мироеды, не прекращается, и всякая душа кахетинская, не окрапленная духом виноградным, светлым и бессмертным, загнивает и наполняется смертью!

Кто оплачет Иштара?

Только слепые внебрачные дети кахетинские, родившиеся после разнужданных осенних гульбищ на виноградниках.

А одна девочка спасла юношу-быка от стрелы охотника, который, натянув тетиву, выпустил острую стрелу в сердце чудовища с головой быка.

— Нет вам возврата на землю кахетинскую! Чудовища! Исчадия земли! — хрипел охотник.

Но девочка закрыла Иштара, подставила грудь. Она валялась в пыли с простреленным невинным сердцем. Из сердца струйкой брызнувшей крови вырвались на свободу, в воздух окровавленные пчелы. И жалили человекобыка, потрясенного, с посиневшими, в белой пене губами.

Велисцихе погибало от голода.

И тогда крестьяне позвали на помощь старейшину, давно презираемого плотника Тархнишвили, и плотник ради спасения крестьян от голода, сам терзаясь и мучась ревностью, вел за руку, тащил на веревке на свежеспаханное поле жену свою, грузную, медлительную, неповоротливую Маро с печальными, холодными глазами коровы; она упиралась, он бил жену палкой и подтаскивал к связанному ремнями и цепями громадному и страшному от одиночества и тоски буйволу Або, бывшему мужу, от которого она родила когда-то Иштара, человекобыка.

И заставил старый плотник лечь Маро на землю, а потом крестьяне, палками и дубинами избивая буйвола, принуждали животное возлечь сзади на Маро, хрипя от позора, страха и могучего, бешеного желания.

Маро закрывала темные холодные глаза и ради урожая, чтоб народ не умер с голода и родился хлебный колос, терпела рогатое животное, сопящее широкими ноздрями.

Хрипел несчастный буйвол, и кровавые слезы катились из обезумевших пьяных глаз.

И вот ликующие крестьяне гнали стадо коров и выпускали быков, которые рядом с Маро и буйволом любили и терзали друг друга.

И в коме свежей земли, срезанной плугом, рождалось зерно

Надрывая от боли грудь, стонала радостно земля.

Земля готовилась родить урожай.

Время дышало в костях людей и животных!

Готово ли время бычьих костей захватить власть в Кахетии?!..

И вот плотник вылезал из бочки, сдавшись Маро, тащился отодвигая засов на двери сарая, шурил подслеповатое лицо: сейчас Маро, пофыркивая, войдет в темноватый сарай, лениво помахивая коровьим хвостом, остановится, шевельнет ноздрями, вдыхая запах свежей стружки, столярного клея, дубовых досок и плесени, и надвинется на старого плотника острыми рогами, которые плотник спиливал каждой осеңью, прижмет плотника к стене, надавит на его грудь острыми кончиками ленивых рогов, поглядывая на убиваемого с равнодушной безразличной жалостью, застонут кости старика грудные, черная кровь брызнет, а плотник не почувствует острой, обжигающей боли, боль окажется глухой.

— Это я сделала так, что ты не удержишь моих враждебных рогов! — мычала Маро. — Но прежде чем умрешь, дай власть сыну моему Иштару, человекобыку!

И глаза плотника при этих страшных словах дымят ужасом, черной кровью, но, даже пригвожденный к стене сарая рогами жены, он не отречется от преданной, рабской любви к ней, а потом Маро станет крушить сарай, доски, бочку-гроб, ломать все вокруг, плотник медленно

сползет на земляной пол в стружках, будет валяться забытый, никчемный, с застывшими, усталыми глазами.

Если окажется, что Анико не умерла и тень ее мешает любви плотника, он с топором станет охотиться за этой тенью и рубить голос первой жены, как грушевое дерево тоски, что росло во дворе, в саду, из которого он сделал громадную супружескую кровать.

А если Дионисэ шепнет плотнику, что сын его вернется с войны, только надо прогнать Маро, плотник, пораженный, не двинется с места, а Дионисэ, обождав, скажет, что тогда он возвращает ему сына, мертвого, в обожженной солдатской гимнастерке.

Но плотник смолчит. А сам даст корове приблизиться к себе, шурша копытами по соломе, даст вылизать свои небритые дряблые щеки горячим шершавым языком.

— Дуб! Отдайся дубу! — кричал шепотом плотник женщине. — К отцу неба и рода я не ревную! Дуб спасет тебя, женщина!

Дуб родит тебе сына! Он станет хозяином Кахетии!

Маро повесила на дерево пряжу.

Пряжа — род велисских, предки и потомки, буйвол неукротимо бродил вокруг дуба и пряжи, кидался на крылатого великана с седой головой, хочет сорвать пряжу с ветви. Пряжу, вервие, шкуру всех поколений велисскихцев. Дуб крыльями отбивался от сердитого буйвола Або, мрачного от своей крови. Пьяного. Одержавшего в древности победу над Хаосом.

Буйвол может разорвать себя и выпустить Хаос. Хаос пожрет Кахетию.

Содрогнулась земля. Содрогнулись крестьяне и быки.

Даже быки догадались, что сдвинули камень в душе плотника. Трещина чернела в кости. Он терял свою власть.

Но не сдавался, как слепой червь, ползущий на всепрздник Ргвели.

В виноградник горящий.

Червь лез к сверкающей кровавой капле.

— Маро! — хрипло звал плотник, вылезал из бочки. И никак не мог выбраться, не хватало сил. Он испугался, что задохнется во тьме громадной бочки, в которой надеялся найти себе и велисским спасение. — Маро, вытащи меня!..

Взяв Маро в дом батрачкой, плотник целый год ждал, когда она, понесшая от него в первую же ночь, разрешится от бремени.

Но Маро, издыхая, в страшных муках родила большой камень.

И на камне этом, принесенном к берегу, крестьяне стали приносить жертвы!

Кровавые жертвы!

Плотник много раз пытался ночью один своими негнушимися, когда-то могучими руками спихнуть камень с обрыва в реку, утопить его, но плакал, рвались жилы, глухо стучало сердце, кровь давила на виски, и слепли от усилия глаза, заливало черным потом, надрывалось от ужаса побелевшее небо, а камень стоял недвижим, дожидаясь новых кровавых жертв!

Нового кровавого урожая! Казни бога Дионисэ!

— Будь проклят! — кричал плотник, приликая плачущим лицом к камню.

Может, это был сын, ушедший на фронт, а потом родившийся от женщины с ленивыми глазами коровы.

— Сын! Будь проклят ты! Зачем ушел на прожорливую войну?..

Котел, висящий на дубе, стонал от ужаса перед запахом гниющих и ползущих по пыльной дороге мироедов.

Закипающий на солнце котел гудел зарождающейся в нем крестьянской жизнью.

Родовой котел гудел, в чудовищных муках рожал из брошенного в него бычьего сердца — водку!

Самую крепкую в Кахетии!

— Эй! Котел на дубе родил из бычьего сердца чачу! — кричали крестьяне, сбегааясь, и ждали, когда дуб, нахмурившись лбом, с глухим, тяжким вздохом выплеснет на разгоряченные напуганные лица капли великой водки, зажигающей их жизни спасающим, бодрящим весельем!..

Котел гудящий на дубе побеждал мироедов!..

— Эй! Ариаралэээ! Орайда! Эээ!..

ПОСВЯЩЕНИЕ КВИРИА В ВОЛКА

На коленях стоял Квириа, обмотанный цепями, задыхаясь от гнева.

Задыхаясь от угарного паленого запаха загнанного волка, весь пропахший волчьей бледно-желтой мочой страха, соленой, как темная кровь.

А напротив Квириа связан громадный волк, выловленный охотниками в гомборском лесу по воле Янго Лазуришвили.

Не успел спастись волк, мчался он, чуя страшную опасность, к своему единственному спасителю — дубу!

Хозяину и отцу леса!

Бежал, проваливаясь в ямах, присыпанных мертвой листвой.

Хрипел, задыхался зверь.

Пена черная, смешанная с горячим потом, капала с оскаленной пасти!

Глаза волка-жертвы сверкают, как нож.

Отчаяние стянуло горло. Глаза сверкают криками зарезанных в лесу жертв!

Ждал смерти волк.

Дымился горб.

Ключьями встала на спине шерсть.

Услышь меня, дуб, мой единокровный и ожесточившийся брат!

Дуб, дышащий желто-красной пеной волчьей!

Дай мне еще три года свободы!

Еще три года резать и раздирать врагов зубами, острыми, ножевными, стальными!..

— Поздно! — шептал дуб. — Я окружен! Мы оба жертвы! Поздно!

И молнией, прожигающей ночь, летел волк, яростно и устало перебирая лапами, кружил вокруг дуба, оглохший и обалдевший от гона охотников, а сзади догоняли его и рвали в ключья шкуру и мясо бывшие братья, грозные пастушеские псы-волкодавы, псы-мцеварни.

Взвыл волк!

Дал клятву дубу, что, если спасется, перестанет резать овец, пожирать живое мясо, дышащее, клыками рвать его, а станет нюхать дубовые листья и этим будет сыт, алчный!

Волк ослеп, он не различал в тумане дуба, запутался, в изнеможении бросался в ночь, искал путь вокруг дуба седого с упавшими ручищами-крыльями, не мог никак доползти до спасителя! Великана.

А ведь только так уходил он много раз от страшного смертного гона!

Раньше, когда стрела, пущенная рукой охотника, искала волка, он большими прыжками начинал бежать в обратную сторону, и псы, взмокшие

и замороженные, как и мстительные охотники, останавливались и пытались преследовать волка в обратную времени годовому сторону, разрушая свой путь, время своего рода!

И надрывающиеся охотники и их изнемогающие собаки исчезали, крича от страха и зарываясь в яму ночи, так что даже костей их не валялось нигде кругом!..

И вот дуб захрипел и застонал, как волк умирающий!

— Не могу, сын! — хрипел дуб. — Ведь и я волк!

И я бегу, кружась от злобы людской! На мое время родовое давно охотятся люди-медведи!

Спасайся сам!

Прощай!

— Отец! — задышался волк, устало перебирая лапами, а ключья горячей от жара погоны шерсти разлетались во все стороны, уносились ветром, опаляя яростные лица преследующих!

Настигающих!

— Отец волков! — кричал волк падающий. — Они снова хотят смешать человеческую кровь с нашей, волчьей!

Они хотят отдать власть над деревней рождающемуся Зверобогу-Квириа!

Но поздно!.. Они не успевают бежать назад, обратно по кругу расширяющегося времени!.. Они совсем одичали! Мою родовую волчью кровь они хотят испить!..

Они хотят унижить нашу волчью стаю!

И вот теперь схваченный, связанный и притащенный сюда волк сидел на каменном холодном полу подвала винзавода среди громадных бочек, озаренных факелами дрожащими.

Волк задышался.

Он сидел на задних лапах, боясь приоткрыть темно-желтые от тоски надрытой глаза. Пленник впал в печаль, почуял, как мироеды в подвале надели на себя волчьи шкуры, сунули в рот волчьи клыки, привязали сзади волчьи хвосты, а к рукам и ногам когти страшные и вот завывали страшной стаей.

Это было хуже чем смерть!

Они убивают нас и хотят казаться нами!

Они хотят отнять у нас боевой дух охоты и убийств!

Они хотят лишить нас древней и вечной, как гомборский лес, храбрости! Они мечтают отнять у нас волка-предка!

— Дуб! Ты наш волк волков! Спаси нас, дуб, во тьме спящий и бодрствующий!

Квириа хмуро глядел на связанного волка.

С мрачной угрюмостью.

Завыл волк. Застонал Квириа в цепях.

Один встречал смерть. Другой власть волка. В разорванные ужасом, дымящиеся кровавые глаза волка глядел Квириа исподлобья.

Квириа становился волком.

— Эй, дуб! — говорил он ошалело. — Думаешь, я родовую судьбу свою бродячую продаю?

Нет!..

Я сам становлюсь богом!

Я свергаю Дионисэ в этот миг посвященья в хищника!

Я Всебог! Я Зверобог! Я хищник лесов!

Кахетинцы, одурманенные испорченной кровью Дионисэ, станут мне поклоняться!

Они сделаются моими рабами.
 Слушай меня, дуб седокрылый!
 Слушай меня верхушкой, гнездами и корнями!
 Внимай мне онемевшими от холодной тоски листьями!
 Я с тобой!
 Я брат твой!
 Но я не паду на колени у твоего корня, властелин униженный!
 Ты придешь ко мне на поклон и опустишь к моим ногам голову седую!

Или я сожгу тебя!
 Я заставлю сына твоего, из желудя рожденного, осквернить твою
 возлюбленную реку Алазань! Реку-мать!

И застонал, взвыл от боли и срама дуб!

Окружили волка плененного мироеды в волчьих шкурах.
 Нож вонзился в разбухшее тугое горло волка.
 Жадно пил Квириа, приведенный к умирающему раненому волку,
 горячую, отчаявшуюся, тоскующую кровь!
 А потом, как Дионисэ осенью, в подземелье мрачном разрывали живьем
 волка из леса и понуждали Квириа поедать страшное, дымное волчье мясо!
 И, содрав шкуру живьем с волка, напялили кровоточащую на Квириа!
 Факелами опалили лицо Квириа, чуть не выжгли глаза, он сжал их.
 Янго кусал спину Квириа, сопя от жадности.
 И кружились, кружились, как волки вокруг дуба, мироеды.
 Выли и кричали!
 Отдали клык волчий Квириа! И развязали его. И славили его.
 — Зверобог! Зверобог! — кричали они.
 Гудели своды подвала.

— Зверобог! — сдался седой дуб, униженно уронив несчастную голову
 на грудь.

— Зверобог! — гудели горы и холмы.

Вставала, пенясь и кружась, неистовая Алазань.
 Просыпались сады и деревни. Где-то горели леса. Пожары окружали
 Кахетию. Сдвинулись с места камни. Метались в загонах быки.
 Ревели быки.

Хуц сжатым судорожно камнем высекал на великой стене нового
 могучего Зверобога-Квириа, который поклялся убить уходящего в преис-
 поднюю кругами времен Дионисэ! Квириа, Волкочеловек, Волкобог, ста-
 новился хозяином горсти праха кахетинской.

Вывалась из гнезда и кружила в тучах Пашкунджи.

Ванг-пахарь никак не мог поднять на плечи засеянное поле.

Содрогалась в земле слепая каменная рыба. Слепые глаза рыбы кро-
 воточили.

Червь ждал сладкого, жирного духа земли.

— Зверобог наш родился! — пели в ужасе холмы.

Нодар Шашвидзе содрогнулся в смерти. Он не спал ночь. Чудилось,
 что ползет он на груди по дороге пыльной, со связанными сзади руками,
 ищет языком распухшим, вывалившимся каплю реки, чтоб напиться, уто-
 лить жар. Зовет на помощь оглохшую алазанскую долину.

— Не бойся! — шепчет ему слепой червь. — Будем жить в земле.

Я научу тебя ползать слепым. Будем с тобой наедаться вкусной землей
 мертвых. Жирная земля ночи так вкусна! Ты получил от Зверобога дар!

Слава новорожденному червю! Гаумарджос! — ликовал червь.

— Эй, Нодар Шашвидзе! — ободрился червь. — Теперь мы с тобой
 можем съесть всю землю!

Вместе с горами и садами! А они, глупые люди, не знают и не слышат
 нас!

Мы съедим все их виноградники и леса, мы проглотим янтарные связки медовых поющих пчел! Легких, заснувших от голода, сверкающих солнцем жалящих пчел!

Эй, Нодар Шашвидзе!

Теперь мы оба с тобой — черви!

Ты даже не знаешь еще, какое это счастье — родиться червем!

Проснись! Эй!

А в подвале винзавода № 1 оргия загремела могучим взлетом пламени. Дымился, умирая, последний факел. Почернело вино.

Зверобог стоял на бочке, подняв руки с привязанными когтями, и выл.

Мироеды кружились в страшном волчьем хороводе, кусая друг друга, выли и набрасывались на овец, ягнят, пожирали живьем согнанные сюда, к винзаводу № 1, стада домашних животных! Каждый крестьянский двор даровал корову, свинью, барана!

И они глотали живьем мычащих, блеющих, визжащих, хрюкающих животных, задыхаясь от жира и жадности.

Кровь и жир текли по их грязным исцарапанным лицам, по обнаженным раздувшимся животам!..

— Мравалжамиер, Квириа, великий Зверобог!

— Зверобог родился! — ворочались в колыбелях младенцы.

— Зверобог! — стонала каменная рыба.

СТОН БЫЧЬЕЙ КОСТИ

Громадный черный буйвол держал в рогах пылающее солнце!

Солнце обливало кровью Диониса.

Буйвол Або — победитель Хаоса. Буйвол, рожденный мраком. Он одолел ночи мятежные — всех страждущих в пещере буйволов. Або сожрал Хаос.

Або стоит на холме и держит в рогах солнце урожая.

Каменное стадо слушает предка. Стадо хочет растоптать солнце копытами. Гудит земля.

Буйволы хотят пить. Они жаждут, задыхаясь от соленого пота.

Но вода прячется. Только раскаленную кровь Або, если буйволы победят предка, смогут пить. Но горячей кровью не напешься!

Горящая кровь предка сожжет их изнемогающие тела.

Буйволы молятся солнцу. Хмурые взоры буйволов синеют от тоски.

Або волочит за собой в повозке многопудовую крестьянскую книгу «Песнь Виноградаря Осенью».

Або подневольный перепашет копытами всю землю и отдаст ей пожрать Книгу Народа!

Ком горячий раздувает горло буйвола.

Рев умирающих, пожранных Хаосом буйволов.

Або, избитый палками, изнуренный, пропах потом и зерном.

Буйвол сам рождает из земли зерно. Острый зеленый росток на лбу животного. Вместо плута по полю волочит он под мычанье крестьян народную Книжищу, пропахшую горячим навозом.

Книга цветет, дышит хлебным духом!

Истекая черной слюной, Або подъяремный, тяговая сила, волочит Книгу. Червь пытается пожрать Книгу.

— Слепой ты! — вздыхает Або.

— Я мечтаю сделаться буйволом-богом! — ревет Або. — Хозяином древнего времени!

Слепой червь насмеяется над мрачным великаном.

Кахетинцы не отдадут свободу буйволу-предку!

Даже Квириа-бродяга поколотил самоуверенного буйвола голыми кулаками.

— Не задавайся, Або! Помни свое ярмо и палку погонщика!

На сына своего не остывала злоба у буйвола. Он ревновал человекобыка Иштара к Маро.

Взбесило буйвола, когда юноша-бык возлег однажды в лесу, обнаженный, с матерью на листья. Погонщик Ашот велел буйволу, чтоб тот не сердился на сына; Иштар встречает пору возмужания. Хочет стать мужчиной, человекобыком, не боящимся вооруженных топорами, луками и копьями охотников!

Маро три дня после излившейся крови пряталась во тьме каменеющего от стыда леса, страшилась света, чтоб не осквернить черной кровью животной страсти свет!

Вернулась в деревню, похудела, осунулась, но глаза посветлели.

А Иштар метался в колочках берега реки Алазани, погибая от жажды. Терся мордой бычьей об острые камни, хотел избавиться от скверны.

Река шарахнулась от чудовища, осквернившего мать.

С пересохшим ртом, погибая от жажды, он бродил среди камней. Палило солнце. Иштар ловил ящериц, разрывал, но в ящерицах не было крови.

И только Арх, коротконогий, несчастный сын Алазани, пенясь, бросился под босые ноги измученного, умирающего Иштара.

— Пей! — сердито крикнул Арх.

Молодые рожи жалели Иштара. Они веяли в морду быка прохладой. Человекобык любил обниматься на рассвете с приречной плакучей ивой. Солеными губами мужчины-быка он страстно целует тонкие вздрагивающие ветви. Жалобно, задыхаясь от горького счастья, дышат листья.

А вддали плачет бедный крестьянин над сломавшим ногу рабочим быком. Гнал его в поле, хотел вспахать нищий надел.

Зовет хозяина-бедняка на помощь раненый бык.

Виновато темнеет холодным, остывающим глазом.

Нет у крестьянина жалости к попавшей в беду скотине.

Теперь поле останется невспаханным.

— Говорил, гляди под копыта! — ругается крестьянин сиротливым голосом. — Остается мне зарезать тебя и продать мясо!

Крестьянин бьет быка обухом. Долго убивает животное, устав, зовет на помощь сыновей.

Бык затих. Весь истерзанный. Окровавленный.

— Мог бы я полечить ему ногу! — вздыхает крестьянин. — Да где взять хлеба, ячменя, чтоб кормить и выхаживать!

Содрогается Иштар.

Отводит взор от забитого хозяином быка, нечаянно сломавшего ногу.

Страшно ему. Страшно окаменевшему в земле стаду.

Молчат немые холмы. Гудит лес.

Або кружит вокруг деревни Велисцихе. Або волочит Книгу Виноградарей. Она написана кровью и вином на виноградных, кукурузных листьях. Кровь дымится. На Камне Пишет Книгу Народ Ножом.

Книга Народа пахнет сожженным солнцем. Червь слепо шевелится в копыте буйвола.

— Эй, буйвол! Ты рождаешь зерно! — бессильно кричит червь. — Твое копыто пашет поле! А можешь родить вино? Слышишь, вино зеленое? Чуешь?

Можешь родить вино, что разбудит в земле окаменелое стадо?!

Время гудит в костях людей и быков. Страшится друг друга кости человека и быка. Боятся, не хотят лежать в земле вперемешку, в одной свалке.

Идет плотник Тархнишвили, первочеловек, полем вспаханным.
 В одной руке сжал кость человечесью, в другой бычью!
 Он очертил круг этими костями. Опускается на колени. Пленник
 Времени. Просит кости, ненавидящие одна другую, благословить первый
 всход. Зеленый, брызнувший на солнце росток.
 Гудит поле. Гудит кость человечесья. Стонет кость быка.
 Восходит горящая золотым и знойным пеплом пшеница.
 Прячется в колосьях душистых кость предка.
 Набухает зерно пахучим и черным вином! Поет вино!
 Плещется! Не нарадуется глаз изнуренного трудом крестьянина!
 Жадно посапывает он, волнуясь от нетерпения. Урожай!
 Вот-вот возьмется крестьянин за кривой наточенный нож срезать
 набухшие солнцем и духом хлебным колосья.
 Друг стадо костей двинулось на цветущее колосьями поле.
 Истоптало стадо, ископятило тучные молочные колосья.
 Страшно и похмельно глядеть. Дрожит глаз обездоленного крестьянина.
 Гудит в костях предков раздавленное Время.
 Хрипят ноздри мертвого быка, сломавшего ногу. Забитого и зарублен-
 ного.
 Дышат ноздри убитого живой пшеницей. Каменный бык умирает в
 погубленных им колосьях.

Буйвол должен родить другого буйвола.
 Если не хочет, чтоб его кости были засыпаны в яме золой забвения.
 Сожженной соломой, травой, сожранной саранчой. Тяжко костям Або
 быть погребенными в плевелах. В злаках нерождающих.
 В шелухе и соре хлебном.
 Буйвол должен родить буйвола.
 Стадо каменное рождает живое стадо.
 Кости забитого, зарезанного буйвола рождают буйвола.
 Окровавленные кости предков рождают дышащие кости детей.
 — Что вы сделали с моим Временем, крестьяне? — сонно бормочет,
 пьет свою черную кровь в земле буйвол Або.
 Я держал для вас солнце в моих рогах! Я вспахал ваше поле!

Истекает солью смертной буйвол. Он хотел родить в земле, в соломе
 живого сына, пьющего вино, не боящегося держать в рогах светило.
 Буйвола, подбрасывающего на рогах пьяное солнце.

Не хватает мощи у буйвола, чтоб родить немного, обращенного в рабство
 великана. Не может родить хлебное зерно буйвол.

Зерно знойное, восковое, пропахшее полевой пылью, глиной сухой и
 ветрами прелыми.

Камень родит камень. Подземное стадо родит стадо.

— Я хочу родить буйвола! — хрипит Або, терзая копытами дышащую
 ячменной шелухой землю. Разбрызгав слюну ярости.

Мрачнеет оком.

— Я хочу родить живого сына! Пусть он бьется рогами с мертвым
 братом!

Пусть содрогнется от схватки поле ячменное!

Я убью человекобыка Иштара! Он — исчадие земли, пожирающее
 землю! Я, буйвол Або, — сыноубийца! Я убью Иштара, терзающего землю!

Я спасу хлебный росток!

— Хватит бездельничать! — колотит палкой буйвола погонщик Ашот.

Осыпает великана бранью.

— Поднимайся, лентяй! — Маленький Ашот с нечесаными волосьями
 и голодной дырой рта пинает босыми ногами лежащего на соломе и
 медленно жующего Або. Грязный пот ручьями слепит взор буйвола. Он
 задыхается. Медленно встает и тащится полем, волочит за собой по борозде
 многопудовую, как гора, Книгу.

Гудит в недрах поля слепая исполинская рыба. Бьет хвостом, дергает туловищем. Гудит из земли глухая песня плененных ярмом преисподней быков. Быки и буйволы во тьме пещеры продолжают битву за свое время. Каменная слепая рыба бесится. Кровь сочится из слепых глаз. Ярость рыбы рождает землетрясение.

Бредет во мраке пещеры по кругу стадо. Доносится до деревень кахетинских глухой топот тысяч копыт. Стадо быков и буйволов понуро поет хриплыми, холодными голосами. Они оплакивают свою свободу!

Рыбина молчала, поедая железными челюстями растущий мертвой травой сон.

Дуб стоит, устрешенный гулом бычьей песни.

РТВЕЛИ — ВСЕПРАЗДНИК ВИНОГРАДАРЕЙ!

Гений осени ехал на осле, с рогом, в который он трубит, а из другого рога рассыпает цветы, благоухающие сладкой медовой осенью, а из третьего рога летит рой виноградин с пчелиными крыльями.

Осел остановился возле деревни Велисцихе, переступает копытами.

Великие Дионисии кахетинские начинаются!..

Эй, все виноградари и жены, дочери и любовницы!

Бегите к виноградникам, оцепите лес, обшарьте кустарники колючие ягодные, ищите и тащите сюда Дионисэ печальноглазого, зеленоглазого!

Топот ног, крики, вопли, блеянье овец, ржанье коней!

Эвоз! Авоз! Ари! Аралэээ!

Гроздь набухла вином светлым, вином черным и вином красным!

Слизывайте капли сока с мясистой грозди, целуйте слезы лозы, выступившей на плодах сочных, золотисто-желтых, желто-рудых, хмельных!

Дионисэ вздрогнул и увидел головы двух коршунов.

Коршуны вцепились в груди женские. Они их терзали.

Под когтями валялась груда костей.

— Два коршуна терзают мою грудь, налитую виноградной истомой! — вспотел лоб Дионисэ. — Один коршун хочет убить во мне женщину, другой мужчину!

Ведь скоро моя свадьба, я женюсь три раза за три дня.

Это будет смерть, это любовь!

Я женюсь на Маро-корове, на Кеонии-распутнице, на дочери ее — яростной и жестокой Медее, которая убьет мать!..

Мы соединимся одним зверем, голым, стонущим от наслаждения и крови зверем, и два коршуна будут терзать нас!

Два коршуна! — дрожат бездомные, сиротливые тонкие губы бога умирающего. — Птицы хищные сцепились когтями и терзают груди женские! Земные! Родящие колосья!..

Дионисэ поднял голову, усталый лоб взмокший и заметил, что коршуны оказались двумя орлами черными с белыми дымчатыми хвостами. Эти две могучие птицы давно искали друг друга, кружили, бились клювами, парили над головой Дионисэ, и, соединившись, они хрипели замершему внизу, в поле, богу зеленоглазому, что он в сердцевине кахетинского мира!

Деревня Велисцихе — земная ось Кахетии, и пленнику-богу никогда уж не вырваться, сколько бы ни кружил!

Я готов утонуть в бочке, полной крови зарубленного быка, страждущего, мы оба утопленники, я вождь виноградарей, а ты бык черный, замученный, смешаем нашу пролитую кровь, породнимся на дне страшной, кровавой бочки бытия!

Вино — это кровь моя. Кровь мою отравили!
 Листья черных тополей сморщены желанием пьянства!
 Жажнут листья. Пейте небо, листья! Дышите облаками из крови.
 Винодел срезает гроздь. Гроздь кровоточит. Винодел-убийца!
 Убийца сам оплакивает смерть грозди жизни.
 Винодел, прощаясь, целует сверкающую слезами и росой гроздь!

Черный тополь, зажмурившись на солнце осеннем, еще жгучем, закрывающая лицо стыдливое, кричит богу Дионисэ:

— А ты и бог и виноградарь, и гроздь и убийца, не так?

Сам себя вращиваешь, чтоб быть убитым! Ты Виноградарь, жаждущий своей смерти! Ты — гроздь-самоубийца!

Напившаяся солнца и света!

Закричал, надрывая горло, в ответ бог-жертва:

— Тополь черный! Тополь стыдливый!

Не оскверненный жаждой власти над травой!.. Я боюсь, мне страшно!

Не в первый раз скрутят мне руки за спиной, зажмут плачущий рот грязными страшными ладонями! Смахни ветвями твоими крепкими, молодыми, упругими капли страха животного на моем лбу.

Закрой мои глаза, когда мне будут резать горло, взгляни в мой взор невинным оком! Успокой мой животный крик. Обезглавь страх, что слепнем впился в мое детское сердце!

Я жертва и жрец!

Дионисэ помнил, как в середине лета Маро сжигала дубовое полено в очаге дома плотника, каждый раз с песней и стаканом водки сжигала полено, а над очагом кружился хоровод девочек в белых платьях.

Это ритуал лишения божества плодородия силы до зимы.

Живущая в дупле дуба, в роднике звенящем форель глотала дубовую сожженную пыль, чтоб родиться через год!

Сожженное полено раскидывали горстями по земле, кидали вслед уходящему лету, чтоб будущей весной поле снова забеременело.

Горстью сожженного полена посыпали раны воинов-кахетинцев, седые головы плачущих над убитыми сыновьями матерей.

Скворец, случившийся поблизости, прыгнул Дионисэ на голову.

— Вот! — неожиданного закричал скворец. — Люди гонятся за тобой! Хотят расправиться, они сделались слепыми и темными! Скажи мне, Виноградарь, мне и моему семейству скворцов, ты отнял у них, людей, дар предвидения, а?

Каким лекарством пресек ты эту болезнь?

— Я наделил их слепыми надеждами, — усмехнулся Дионисэ.

Скворца как ветром сдуло.

— Эй! — закричал хрипло Дионисэ. — Что видишь кругом, скворец?

Близко ли ищущие меня крестьяне?

— Крестьян не вижу! В глазах моих брезжит алазанский виноградный свет! От этого света, стелющегося над долиной, можно сойти с ума!

— Знаю! — низко опустил голову Дионисэ. — Я сам болен меланхолией умирающей лозы.

— Кто ты? — улетающая, пропищал скворец.

— Я не человек, я устал быть бессильным от времени и тысячелетий богом! — бормотал Дионисэ. — Я деревня.

Я виноградина! Я Велисцихе, плющом и лозой обвитый!

Дионисэ примерещилось, как однажды Ваню-пахарь, богатырь, волочил его, раненного, по вспаханному полю, окровавленного, а когда мироеды нагнали мычащую скотину, чтоб растоптать хор народа — Книгу, в поле

поющую, растерзать копытами и рогами, Ваню отогнал ревушее стадо назад, и оно бросилось давить мироедов Бежиашвили.

— Черная ночь моя придет коровьей чумой! — дрожал Дионисэ.

Страх холодным потом садился на его лоб.

Черной коровой придет чума!

Пусть народ прогонит мою смерть, как страшного змея из деревни Велисцихе!..

ВИНОГРАД МРАКА

Смотрите, женщины! Дионисэ разделся догола и моет в бычьей крови рубашку! Весь избитый в жестоких игрищах бог богов, с шишками и синяками на лице, кровоподтеками и ссадинами.

Он плачет сквозь смех и благодарит за все отца своего, крылатый вечнозеленый дуб с седой верхушкой, на которой свила гнездо хищная птица Пашкунджи!

Да будет благословенна тень твоя, отец!
Я прыгаю в бочку с медом вниз головой!
Я утоплюсь в бочке с медом, отец мой дуб!
Я давно мечтаю превратиться в мед!

— Эй, камни! Эй, люди! Эй, люди погребальные и праздничные!

Я высекаю во мгле каменную летопись рода кахетинского!

Я рожаю на стене живой и мертвый виноград!

Виноград красный от крови и черный от жизни похмельной!

Виноград мрака! Виноград бездны!

Ад наш кахетинский, Джоджохэти, — это умерщвленные людьми за-сохшие, ржавые от тоски виноградники!..

Небо — цветущая лоза!..

Резец мой каменный идет вслед за жизнью, шумящей в вашей долине, вот младенец, вот девочка, становится старухой беззубой, жующей юную виноградину.

Старуха давится изюмом сухим, пыльным, кишмишем, испачканным в сизой паутине!

Старуха ест изюмину, давится и думает, что проглотила ядовитого паука!

— Я проглотила живьем Янго Лазуришвили! — кричит старуха.

— Я Хуц, борющийся с Хаосом!

Видел я человека, опутанного корнями дуба, сросшегося с ними!

Это был Дионисэ, человек погребальный и связанный.

Он задыхался, звал на помощь, а змея пила кровь из его горла!

— Я, Хуц, видел в пещере Дионисэ с выдранный из груди кровавой гроздью!

— Бог-дуб! Мы несем тебе бочку с вином! Пей из нее!

Горлань вместе с нами песни-гимны!

Напивайся вином-песней многоголосой!

Пригуби из бочки громадной песню многоцветную, кружащую!

Напивайся и кружись, дуб!

Пеплом страха задыхался подземный лес страстей, живущий глубоко в земле, под гомборским дубом!

Лес подземный, мрачно поющий, скован корнями живого, верхнего, леса, гомборского.

Кровь леса пещерного окаменела. Корни — окаменелые страдания людей. Подземный притихший лес с вырванный языком.

Беды людские, мучения, язвы погубили лес мрака. Лес пещерный — многообразие судеб крестьянских. С тревогой вслушивается в бас могучего дуба, опоенного черным вином из громадной бочки, нижний, каменный, лес!

Дышат в гнездах на его ветвях мертвые одинокие птицы.

Слепая крыса — время грызет его корни.

Грызет судьбу горящего зеленым огнем живого раскидистого дуба!

Лес мрака не может отозваться на хор птичий, живой, дневной.

Двойник дуба, живущий в пещере, ронял каменные, ночные слезы.

Дуб слышит хрип своего брата в аду.

Плачет малодушно бессильный гомборский пьяный дуб!

Вздрагивает беспомощно могучая спина великана.

Тархнишвили ревновал Маро к богу-царю.

К черному быку, к буйволу.

— Я дубина рода! Я посох! — ревел он медведем. — Дрогнула во мне родовая власть!

Я герой, рождающий героев! Я сам себя родил из капли воды, из капли пота! Из кома глины!

Я пробыл в утробе глины триста лет, я вышел на свет из левого подреберья матери-коровы!

Я был рожден сливовым деревом, через триста лет имел все признаки старейшины Кахетии: крутой лоб с поперечной морщиной, зоркие властные глаза, могучую грудь, крепкие руки, торс быкоборца!

Я появился среди лугов кахетинских в образе черного круторогого барана, а потом превратился в черного быка, а еще через триста лет в плотника, вождя деревни!

Но вот прошли века, и дрогнула во мне родовая власть.

Босая нога моя раздавила ящерицу.

— Маро, жена моя, идущая к Дионисэ, слышишь ли ты меня?

Вот я надел на голову дубовый венок! Вернись домой!

Ревность гложет дряхлые кости мои!

Бог богов прольет твою кровь из лона, а мне нельзя смотреть на кровь невинную, жертвенную, остывающую на земле!

Я Глиночеловек!..

Тархнишвили хватался за любую соломинку.

Даже к первому мужу Маро-коровы, униженный, пришел.

— Великий буйвол! Я погибаю от ревности!

Я отдаю себя мертвому, съеденному мною за много веков стаду. Я хочу сделаться рабом времени костей мертвого стада!

Пусть на мне падут мертвые люди, запрягают меня в плуг, обрабатывают поля смерти!

Где мой посох? Я потерял власть! Я червь!

Это — расплата людей за власть над закабаленным копытным животным. Это — жернов!

Никто не бери в залог жернов, такой человек отдает душу!

Помни, кахетинец!

Ты был рабом глины, и я, первочеловек Тархнишвили, вылепил тебя и освободил от вечного мрака!

А ты освободи и накорми буйвола своего, быка своего, осла и корову!

Когда будешь жать и забудешь сноп на поле духмяном и жарком, то не возвращайся взять его!

Пусть оно останется пришельцу из древней глубокой смерти, перво-буйволу!

Время, горящее в мертвых костях, разбудило тебя!

Не собирай остатков с лозы твоей.

Оставь ее, пусть посядет гроздь сочную, красной кровью кипящую, мертвое стадо быков твоих!

Быков, съеденных тобой и предками твоими!

Леса, окружающие Велисцихе, горели. Горят леса буковые, грабовые, платановые, ясеневые! Задыхаются дымом. Горит свадьба Дионисэ, плющом и лозой обвитого!

Агуна в честь свадьбы хозяина, бродяги лесов и полей, как жертву убил черного дрозда. Двоюродного брата Арзумана. Квириа-Волк, соперник умирающего хозяина, зарезал и посвятил ему белую овцу. Это жертва свету, солнцу, а подземной пещере в честь венчающегося бога Панто козлоногий и краснорожий принес умерщвленную им черную овцу.

На поле остывает от жара земли соха. На сохе шевелится выплывший из глубин червь.

Соха заступает за буйвола-предка.

Соха зовет стоящую на вспаханной полосе колыбель.

Кахетинцы ранят насмерть связанное орущее животное, в кровь его пролившуюся горячую кладут мертвеца своего холодного. Мечтают душу храброго, отважного буйвола вселить в мертвеца родного, пожираемого мраком.

Во льдах гор застыл голубь.

Маро ждет жениха. Дионисэ обнимает голую женщину.

Маро и Дионисэ впрягаются в плуг и, изнемогая, пот катится градом по взмокшим лицам, поволокли плуг по обнаженной земле, выпрашивая у земли урожай!

Виноградарь женился на корове, пахнувшей навозом, на женщине с черными смертными глазами.

Пахло горелой соломой, горящим полем. Опаленной шерстью.

Пела чья-то свирель. Гудели большие дудки волопасов.

Ныла волынка нищего. Жатва винограда и хлебных злаков.

Свадьба солнца и бегущей с высунутым мокрым языком мычащей напуганной коровы.

— Да здравствует война с голодом!

Голод — это черный голос смерти! Жених и невеста! Раб и рабыня!

Их связали веревкой, избивали и пинали. Валили ничком на увядающие листья. Обливали молоком. Кормили овсом.

Ячменем. Просом.

Обнаженного жениха омывали виноградным соком. Натирали грудь невесты медом.

— Ах, Дионисэ! Выходи борцом со смертью! Ты бог, уходящий во тьму! Ты бог-звероборец! Ты победитель смерти зерна!

С холма смотрел на Маро череп коровы, измазанный глиной.

Чернели глазные впадины, съеденные тьмой.

Мальчик гений осени, в оранжевом женском платье, ездит на ослице. Мальчик в венке из красных виноградин и красных поющих листьев на голове.

— Ах, Жених обнял Невесту! Ай! Ой! Больно! Страшно! Кровь!..

Крестьяне, подбежав, быстро накрыли их рогожами, на земле яростно обнимающихся жениха и корову.

— Кто ты? — шепчет юноша, иступленно целуя ее испачканный, в глине и соломе, искусанный рот. — Жена моя?

— Нет! — отталкивает она печального любовника. — Я земля!

Я корова, зарытая до пояса в преисподней, расцветающая весной.

Буйвол Або задумчиво жует овес. Овес рассыпан на обнаженной груди лежащей в поле Маро. Она лежит перед буйволом.

Або обнюхивает и жует овес. Это его безумная мечта!

Это снится его ослепленным черной кровью тоски глазам!

Погонщик Ашот, умирающий от голода, колотит его дубиной.

— Я жених! Я жених мрака! — несчастным голосом жалуется Дионисэ.

— Дионисэ вкусил запретный плод! — со слезами радости кричал мальчик в шафрановом платье в осеннее душистое небо.

— Корова родит землю! — гудели длинные трубы пастухов. Дионисэ сидит с Маро, обняв ее крепкие плечи рукой, оба сидят на шкуре жертвенной овцы. Лица жениха и невесты грустны, но спокойны. Их ждет забвение. Новобрачные сидят с покрытыми головами и съедают выпеченный горячий хлеб.

— Мы поедем смерть! — радуются они.

Мальчик в шафрановом женском платье привез им на кричащей неспокойной ослице корзинку желудей, собранных в гомборском лесу. Вкусно пахнут желуди и хлеб. Мальчик увещивает жениха и невесту осенними пестрыми цветами.

— Вот вы муж и жена! — смеется мальчик.

И дрожит гений осени от зависти, от страха.

Он осыпает молодоженов желудями и лепестками.

Крестьяне несут хлеба на головах.

ГУСЬ — ОТЕЦ ХАОСА

Ведьмы, оседлав прутья бузины, как табун лошадей, погоняли их.

Песни ведьм, несущихся галопом по полям смерти, превращались в мох, в старость, в забвение.

Молодые женщины и девушки деревни издеваются, смеются над плотником, сделавшимся рогносцем.

— Эй, старейшина! Плотник! — хохочут подвыпившие женщины и хватают его за края рубахи, пытаясь стянуть через седую голову.

— Где твой посох, старейшина?! — визжат девушки. — Одолжил Виноградарю, что повалил жену твою на сноп?!..

Крестьяне волочат, теснят, обнимают плотника.

— Срам какой! Опомнитесь! — хрипит старик.

— Огонь и вода! — поют девушки. — Огонь любви пожрал старика! Вода утопила память!

Сдался несчастный сгорбившийся старик. Тащили его девушки. Немым одиноким взором он выискивал Маро. Прошел плотник через издевки, через разоблачение, растерзание, сожжение!

Столкнули старика шутники в яму, похоронили заживо древнего человека, а он разрыл яму и ушел.

— Ушел плотник! — недовольно орут девицы с разметавшимися рыжими, огнистыми волосами. — Смотрите!.. Мы похоронили в яме древнего человека, а он сбежал из земли осенней!

Мы разрыли яму, а там вместо старика стоит живая лошадь!..

На стене Хуца сочтется горячей кровью тело зарезанного буйвола.

Умиравший черный буйвол поедал, обжигаясь, солнце!

И снова, как на свадьбе Дионисэ и Маро, бежали, обгоняя поющих пастухов, ряженые, дураки, балбесы, нищие, уроды.

Они шли вприскокку, вприскачку, привзбрыкивали, приплясывали, лягались.

Ксония, прежде чем завладеть Женихом осени, помчалась к дубу гомборскому за благословением.

Дуб ведь был ее великим вечным любовником. Ни река Алазань, ни птица Пашкунджи хищная не могли одержать верх над ненасытной, необузданной!..

Дуб гомборский был ее могучим покровителем.

Дуб слышал стоны и визги пьяных людей и животных.

Кеония, добежав, обняла могучее тело хозяина леса.

— Я женщина! — бормотала она горячо, задыхаясь. — Я хочу выйти замуж за твоего сына на одну ночь! Он умрет. Он погибнет, твой желудь! Помолись за мою близость с ним. Он еще молод, зеленоглазый красавец! А я старею. Я хочу возродить ненасытное любовное чрево!

— Иди! — задрожал седыми крыльями великан. — Ты свободна!

Кеония помчалась назад через ожесточившийся, дымящийся страхом лес.

— Я боюсь молнии! — хрипел дуб. — Огня!

Кеония разодрала платье, исцарапала свое лицо, колени и руки о кустарник. Она спешила, боясь, чтоб корова снова не перехватила жениха.

— Эй, Дионисэ, зеленым огнем пылающий! — Крик женщины вырвался из глухого леса и повис над Алазанской долиной.

Я, Кеония, жажду родить героя!

Под ноги бегущей Кеонии бросался рассерженный шипящий гусь, отец Хаоса. Хаос-Гусь пытался выщипать клочок из крика Кеонии. В пещере Хуч обгладывал окаменелую человеческую кость.

Обглодав, он кидал кость из пещеры в небо хищной птице Пашкунджи, несущей в когтях извивающуюся змею над сверкающей рекой.

— Эй, ай, Дионисэ! — выла Кеония. — Отдай мне свое гибкое тело!

— Эй, бог зеленоглазый с двойным топором! — грянул с новой мощью крестьянский хор. — Эй, бык Человекорастерзатель! Сокруши чрево Кеонии! Овладей быком хрипящим Кеонией, великой и ненасытной любовницей из деревни Велисихе! Эй, царь!

— Виноград смерти, Дионисэ! Выйди навстречу с двойным топором жизни и смерти!.. Бык умирающий, захлебывающийся черной, горячей кровью!

Бык, из мрака пещеры воскресший! Подними с холма череп коровы, обмазанный засохшей глиной! Разбей череп, увитый песнями, как дрожащей расцветшей лозой!

Пей черное вино из черепа коровы, любившей тебя вчера!

Эй, черный бык зеленоглазый, нисходящий в черную ночь разъяренную!

Эвоэ!..

— Эй, люди! Эй, крестьяне! — кричал в ответ Дионисэ, прижавшись к голому животу стонущей земли-матери, ставшей его любовницей. — Я уйду в утробу матери, в лоно живородящее, в пещеру мрака. Пещера снова родит меня весной!

Я хочу жить! Эй, крестьяне! Я вам жертвенный бык с зелеными несчастными глазами! Пожалейте меня!

Эй, люди!

Заройте в землю черную меланхолию, вы, напоившие меня черным вином!

Я слаб! Я жалок! Я червь!

Я страшусь орла, что несет в кровавых когтях тень реки Алазани мечущейся! Извивающейся змеей умирающей!

Я, Дионисэ, гроздь света, боюсь тьмы!
 Я уже не бык-боец, я превратился в козла!
 Я уйду в пещеру навечно!..
 Кипели кровью жаркие губы Дионисэ.
 — Эй, бык! Эй, козел! — шумно, возбужденно подхватили крестьяне.

— Я боюсь света! Я боюсь огня пожирающего!
 Я боюсь мрака! Я раб двойного топора, перевитого лозой цветущей!
 Двойной топор давит на мое плечо! Топор — небо и земля! Это разрушение и созидание! Это смерть и рождение!
 Я боюсь веретена! Я боюсь пряжи, подвешенной к дубу!
 Пряжа на дубе — плодородие земли! Это моя рождающая гроздь смерти!
 Пожирающая хлеб смерть!

— Ваша! Ваша! Авоэ! — водили хороводы кругом бога-жертвы ошалелые крестьяне. — Слава хлебу! Хлебу, лозой обвитому! Слава виноградине, кружащейся солнцем!

Слава вину! Ты — Виноградник! Ты — бог! Шен хар венахи!..

Снова игрища, драки, состязания.
 Боги сражались с крестьянами озверелыми, пьяными.
 Веселые побоища! Кулачные бои!
 Кто дальше кинет камень через шумящую волной и пеной Алазань!
 Кто тяжелей поднимет с земли мешок. Кто одолеет в любовной похоти деревню голодных до ласк женщин! Кто выпьет бочку шипящего молодого вина! Кто громче крикнет АВОЭ! на всю долину!

...Вот приехал на ослике пьяный лукавый, смеющийся старик, босой, в венке из абрикосовых листьев на лысой голове, лицо сморщенное, детское, смешливое. Это добрый старенький пьяница, объезжающий на осле все кахетинские гуляющие деревни и селенья.

Народ угощает его вином из рога и ведра, каждый очаг выносит кувшин.

Пригубит винца забулдыга на ослике, утрет рукавом мокрые довольные губы, подмигнет хозяйке — не скиснет винцо, продадут с выгодой хозяева!

Пьяница Ладо, несущий нежную любовь и веселие. Незлобив, улыбчив, добрая примета его приезд. Приятен пьяница Ладо кахетинцам.

ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕКОБЫКА

Иштар бежал к обрыву над рекой в густой выбеленной измученным, потным, отяжелевшим солнцем траве.

Иштар выпрямился во весь рост голого крепкого молодого человека с напуганной бычьей мордой, блестя темными от прильнувшей крови глазами, глядел на мать.

Слеза отчаяния дрожала на реснице.

Под босыми исколотыми колючками ногами шуршала опавшая листва.

Маро медленно шла к сыну. Она остановилась возле большого мшистого камня. Маро тоскливо посмотрела на обреченного на позор, на позорную смерть сына.

Рот ее горел струпами страха, лихорадки.

Иштар опустил голову.

— Сделай меня мужчиной! — горло чудовища выдавило немую просьбу. — Прими меня на свою грудь! — скулил он, забывшись.

Ему мерещилось, что он все еще мечется в сжимающемся круге загоняющей в смерть орущей толпы, последний человекобык из пропавшего в пещере стада.

— Я потомок древних исчадий земли! — стонал он.

Иштар рванулся к женщине-корове.

В черных изнуренных страданием сжимающихся глазах загоралось темное, страшное для Маро желание.

Маро остановилась. Сделала шаг назад.
 Спасаясь от сына. Малодушная.
 Она почувяла, как холодеет спина.
 Лоб горел каплями смертного пота.
 На широком лбу женщины мокрая испарина.

Иштар мучился. Сдвинулись взмокшие брови. Маро усмехнулась. Что-то безжалостное, равнодушное к помраченному рассудком сыну надвинулось на нее. Она тяжело, глухо вздохнула. Словно со дна свежевырытой ямы глядело на Иштара ее широкое, скуластое лицо.

Эта тягость и равнодушие к сыну дрожат слезами в похолодевших глазах.

Слеза по тяжелой щеке заскользила к губам.

Застыл сдавленным криком упрямый рот.

Иштар подбирался к ней рывками, осторожно, выставив вперед тупые рога. Оба, задыхаясь, тяжело дышали. Маро, откинувшись назад, все еще нелепо и бессмысленно отступала, дыша прерывисто, глубокими вздохами. Улыбка тронула истерзанный страхом и ужасом рот. Маро протянула к нему материнскую руку.

Она любила его. И если бы даже он был камнем и ему грозила опасность, она бросится на его защиту, придавится к нему лбом.

— Мать! — прошептал Иштар из глубины мрака. Ветка орешника, качаясь над головой, ложилась на лоб пятнистой запылившейся тенью. На губе сына копошилась пчела, безжалостно кусая чудовище. Слепни терзали его голое тело.

Он сторбился.

Иштар хотел вырваться из страшного загона судьбы. Из мрака, куда провалилось стадо его собратьев.

Человекобык рванулся к ней. Он жаждал уйти в лоно своей матери. Коровы!..

Снова спрятаться в горячем животе коровы, как в пещере.

Как в яме. Чтоб потом родиться мужчиной, победителем, а не рабом и чудовищем.

Или погибнуть навечно, уйдя в лоно матери, как в преисподнюю.

Вернуться в ночь, откуда она спасла сына однажды. К несчастью!

Рот Иштара исковеркан постыдным желанием.

На глазах выступила пелена ужаса.

Иштар с криком отчаяния бросился к матери.

Над рекой Алазанью устыженной желтый, спекшийся зной.

Дымилась зноем опустошенные виноградники.

Прыгал в ворохе слежалой соломы черный дрозд. Остывающим зноем дышало небо.

Мать и сын задыхались в пыли, в духоте, в хрипе и жаре.

Маро шершавой мозолистой ладонью труженицы пыталась закрыть его задыхающийся безобразным, животным криком рот. Она уперлась лбом в валун. Иштар наседали на нее сзади.

Маро жевала грязную от пыли, вскипающую страстью солому.

Враждебно остановилась тишина, заставила их опомниться.

Маро, изнемогая, стояла на четвереньках.

Мычала коровой. Она ненавидела жалкое, животное тело новоиспеченного мужчины с сокрушенной головой быка. Маро вздрагивала.

Сукровичная, кровавая слюна повисла на нижней бесстыдно обнаженной вздрагивающей губе.

Крестьяне напуганно замерли в праздничных виноградниках.

Маро упала ничком в сухую истерзанную землю. В бурьян.

Она слепо смотрела на сына обезображенным лицом.

Запавший взор израненной коровы не мог разговаривать с отшатнувшимся небом. Иштар пропах кровью и липким холодеющим материнским потом.

— Я родился, — нечленораздельно бормотал он, еле ворочая распухшим, чужим языком. — Я мужчина!

Ненавистью расширился дергающийся его зрачок, налитый черной смолой ужаса.

— Ты ушел в бездну! — стонала мать.

Что-то было раздавлено в нем, в животе и груди.

Он сам себя растерзал, надругался над своей душой.

Теперь надо Иштару, отцу его буйволу и матери-корове вернуться назад, в преисподнюю, в пещеру, где носятся по кругу, побежденные человеческим временем много веков назад, страшные и слепые погибающие и не погибшие чудовища. Исчадия земли. Древние властелины долины и гомборского леса.

— Не убивай его! — застонала Маро, захлебываясь горловой кровью. — Это его возмужание!

— Ненавижу! — хрипел буйвол Або.

Буйвол неся вдоль отгоревших одиноких, угасших виноградников.

Мчался на деревню, ломая заборы, изгороди. Сокрушая деревья.

Напал на яблоневый старый сад, уничтожил его ударами звенящих могучих рогов. Стволы деревьев, вздрагивая от каждого яростного удара взбесившегося буйвола, осыпали его спину золотистым дождем душистых яблок.

Иштар удирал от отца.

— Я возвращаюсь к родному стаду в землю! — болели виски беглеца. — Я спасаю Время человекобыков, ждущих меня во мраке!

Женщины и мужчины с визгом и криками разбежались.

Крестьяне бросились врассыпную.

Обезумевший буйвол громил деревню. Искал оскорбившего его сына.

Слепая исполинская каменная рыба пыталась перегородить путь впадшему в дикое безумие буйволу-великану!

Рыба хотела спасти Иштара.

— Або! Остановись! — звала бывшего мужа Маро, поверженная на землю.

Но могучий разгневанный буйвол настиг сына Иштара и опрокинул на пустыре. Страшными ударами острых рогов он свалил чудовищного человекобыка, как младенца.

А потом стал топтать его каменеющими от тоски копытами.

Иштар не оправдывался, не плакал.

— Я умираю, — харкал он черной кровью.

Закрывая глаза, умирающий, он старался думать о стаде, ждущем его в бездне.

Буйвол Або не догадался, что взор сына — взор погибающего стада чудовищ. Изгнанных властителей Кахетии. Пожирателей времени рода.

Стада человекобыков — предки мироедов-кровопийц...

Тяжелый сердцем и пропахший кровью растерзанной яростными копытами земли буйвол Або набросился на сына своего Иштара и отнял у него душу!..

Он забрал душу тотемного, родового животного!

— Я один хозяин Времени наших костей! — ярился он, пятясь, приседая на задних копытах.

Река Алазань, оглохшая от животного рева буйвола-предка и жалобного мычания коровы, после нападения сына волна за волной слизывала страшные материнские раны.

Слизывала мокрым языком побуревший от чужой пролившейся крови берег.

Алазань, родная всем животным Кахетии, смыла черную срамную кровь с лона Маро.

Алазань мечтала родить сына гомборскому крылатому дубу.

Потрясенная увиденным, надувалась оглушительным криком жаба с брюхом, раздувшимся ужасом.

Жаба ненавидела небо. Она мечтала, чтоб небо оглохло от ее прерывистого хохота.

Маро собирала с плачем свои разодранные одежды.

Буйвол Або сначала отвез на сторбившейся спине душу убитого им сына Иштара в пещеру.

А потом долго во внезапно опустившейся ночи неприкаянно ходил по берегу вдоль несущейся ветром реки, с тяжким вздохом принюхиваясь к темной воде, напившейся родной крови.

РАЗРЫВ АБО

— Хочешь, я накормлю тебя засоленным мясом убитого мной сына Иштара? — захрипел буйвол, обращаясь к гомборскому дубу.

Дуб молчал, насупленный. Кровавые слезинки текли по могучему стволу.

Кричащую от сострадания Алазань плакальщица в черном Маквала кормила последним куском хлеба.

— Кровь — носитель души! — плакал буйвол-сыноубийца. — Я не могу смотреть на кровь. — Он зажмурился. На рогах буйвола кровоточило солнце. Кровь заливала вспотевшие, солью горящие глаза.

Юноша-бог почувал и свою надвинувшуюся смерть.

— Не хочу умирать, — шевельнул Дионисэ губами. — Я плющ. Я тирс. Я змей. Я бык.

— Мы победим змея при помощи змея! — криво усмехнулись крестьяне.

Буйвол застыл. Он внимательно, черным огнем горящим глазом напряженно следил за похмельной, празднично гудящей толпой. Хмуро ждущей новых жертв земле осенней.

Нападение было неожиданным. Буйвол отступил, рассвирепев.

Ночь буйвола тонула в бездне.

Он вспомнил, как его горячей кровью однажды напоили умирающего мальчика.

— Оставьте меня! — метался по кругу буйвол.

Он вырвался из толпы и понесся к лесу, налетел на дуб.

Удар рога о дуб был чудовищным. Дуб выстоял.

— Я сокрушен! — хрипел Або, валяясь на черных листьях, потрясенный поражением.

Маро сидела в яме, закрыв голову руками. Она окаменела от горя.

Плотник искал жену.

— Меня рассекают на части! — дрожал плотник.

— Меня рубят топором двойным! — металась деревня Велисцихе, вино текло из раздавленных гроздьев.

Мясо зарубленного животного пересыпали ячменем.

Разожгли огонь. Народ давился горьким дымом. Чернеет солнце.

Народ опустился на колени, в клятве поднял к солнцу руки.

Возлияние вином. Медом. Водой из Алазани. Солнце жадно лизало обуглившееся мясо. На требухе не к добру проступили зловещие жилы. Гудел опасностью котел.

Плотник Тархнишвили наступил босой ногой на отрубленную голову буйвола Або. Но в плотнике уже дрогнула родовая власть.

Он стоял неуверенно, задумчивый, придавил пяткой грязный лоб погибшего за Кахетию буйвола.

— Я победитель! — хрипел он.

Но ревность разрывала его грудь. Чернел мраком вытекший глаз мертвого буйвола.

Кахетинцы поют стройными, протяжными голосами мужественную песню о схватке окаменевших, пленных животных с живыми стадами. Многоголосье!

Они поют про праздник виноградарей Ртвели, на который пришли немым загробным стадом черепа баранов и кружатся в хороводах.

По деревне Велисцихе, заваленной переспелыми гроздьями, движется стадо мертвых, пробуждающихся из сна, съеденных поколениями кахетинцев баранов. В их честь гремит погребальная песнь у жертвенного костра. Крестьяне тяжело потрудились в виноградниках.

Теперь они славословят божественную гроздь огня, пытаются победить песней смерть урожая!

Крестьяне не хотят становиться рабами быков, которых они закабалили еще в седой древности.

— Эй! Солнце! — гремит над похмельной Алазанской долиной гимн пастухов и виноградарей.

Маро ищет в поле разорванного мужа-буйвола. Она зовет.

Женщина-корова везет на спине Кахетию. Она тоскливо прислушивается к погребальным заунывным песнопениям.

К одинокому рыданию над рекой плакальщицы Маквалы.

Корова родила мужа и сына, а бродячий кружащийся бог Кахетии ввергает их обратно в лоно родившей матери-земли с рогами.

В пещере, во мраке, мучается на стене высеченная камнем Хуца тень великого буйвола.

Тень буйвола напоена черным вином. Это кровь его.

Буйвол Або жаждет воскреснуть, пробудиться зеленым ростком и яростно пьет свою холодную кровь. Тоскует свирель пастуха подземного стада.

В подземном мире каменные предки на стене пьют из чаш вино.

Предки тоже поют гимны, подтягивая хору живых крестьян наверху, греющихся ночью возле костра. Предки оплакивают свои загубленные судьбы. Солнце с дымящимися рогами кружит над поминальным костром. Задыхаясь, солнце зовет ночь.

— Возвышает река Алазань, возвышает голос свой!

— Возвышает река волны свои!..

ПЛАЧ ПО МАРО

Красный петух клевал Дионисэ в лоб.

— Я предвестник солнца! — хрипел взволнованный петух. — А ты хочешь, чтоб нас вместе сожрал мрак!

В поле пели кривые дудки с загнутым верхним концом и широким раструбом.

— Ртвели! Ртвели! Жатва винограда! Кровавый пир! — горланили дудки.

Пьяный лес, раскачиваясь, угрюмо наблюдал за плясками крестьян, вслушивался в состязание дудки и барабана-доли!

Слеза убитого Нодара Шашвидзе догорала в остывающем пепле.

Бабочка, полыхая красным огнем, превращалась в горящее зарей облако.

Первочеловек Тархнишвили заплаканными глазами смотрел на пламя костра.

Смерть кахетинца, не оставившего сына, несчастье!

Кто зажжет свечу над чашей с поблескивающим в ночной тьме вином? Кто разрыхлит мотыгой виноградник?!..

Неужели прощай лоза твоего рода?

Тархнишвили стоял в винограднике. Ночь держала его за плечи.

— Тархнишвили! — позвала Маро.

Она почти совсем превратилась в корову.

— Где ты? — дрогнул рот плотника.

Она затихла. Потом снова замычала.

— Я в яме! — хрипела она. — Убей меня, отруби голову, отнеси на холм.

Плотник не дышал. Маро стояла в глубокой яме.

— Где ты? — спросил он, хотя уже нашел ее. В руке он сжал свой плотницкий топор.

Он подошел к краю страшной ямы, заглянул.

Лоб старика заныл.

— Теперь я совсем один!

Маро стояла в яме по грудь. Она осыпала себя мукой.

Мука — родящая жизнь сила. Яма — это материнское лоно.

Плотник зажег свечу и вонзил ее в рог коровий.

— Уходишь к буйволу? — спросил он.

— Я уйду искать Иштара! — Слезы стояли в холодных глазах.

Плотник, хмурясь, погладил лезвие блеснувшего топора.

Она уходила в глубокую яму.

Свеча, задымив, гасла. Плотник пытался разглядеть обезображенные тоской чужие глаза коровы. Он начал забывать свою жену.

Жена-корова ждала. Плотник поднял топор обеими руками.

Замахнувшись, ударил по темени.

Глухой удар сокрушил корову.

Корова уходила в землю, которую сама родила. Она искала свою несчастную семью. Буйвола Або и человекобыка Иштара.

Яму с тушей убитой им коровы плотник закидал зерном, а окровавленную отрубленную топором голову понес к холму, где осыпался от ветра глиняный череп. Шатаясь, он нес тяжелую от немого крика голову жены.

Поставил ее на холм, отгоняя рычащего от сладкого запаха свежей крови пастушеского пса-мцеварни.

Плотник упал на колени перед холмом. Голова Маро в ночи чудилась давно спящей. Тяжелой боли стоил ей переход в этот вечный безрадостный сон.

Язык раздавлен каменной челюстью. Глаза родные сжаты.

Плотник бежал в ужасе в деревню.

— Жена моя! — стонал плотник, поедая землю.

БОЧКА БЫТИЯ

Голова Маро превращалась в череп коровы, обмазанный приречной глиной.

— Время в костях животных сожрало меня! — кричал плотник и, замахнувшись посохом, принялся крушить и разбивать череп обезглавленной им жены.

— Мы сокрушим Время в костях черного быка! — бесновались очумелые крестьяне. — Мы пожрем Дионисэ!

Бнело-Темный помчался догонять приснившийся ему табун взмыленных лошадей.

— Эй, вы! Кахетинцы! Глупцы! Как вы не видите, что за каждым из вас прячется не рожденный еще конь! — надывается он криком. — Да здравствует наша жертва — лошадь!

Она падает, кружится, захлебывается соленой кровью. Одинокая лошадь!

Она прискакала сюда, на алазанские влажные луга, из глубокой древности.

Плотник Тархнишвили убивал каждую случайно пришедшую к его очагу отбившуюся от табуна лошадь.

Вот нюхает лошадь доверчивыми ноздрями очажный камень.

Выпей чарку водки за помин ее души, а потом зарежь!

Крестьяне привели в жертву лошадь. Лошадь зарезали на рассвете, сначала дав мальчишке проскакать на ней по мокрому лугу, горящему росой и тюльпанами, а потом лошадь, задыхающуюся от бега, хрипящую, в розовом мыле резали ножом по горлу, хотя с крестьянами дрался, пытаясь спасти жертву, кривой, с большущей головой брадобрей Бнело-Темный!

Он кричал всем, что он сам конь, он из табуна и скоро, бросив ножницы и бритву, раз Кеония мертва, унесется в луга, к вольным и резвым коням-братьям, сверкая золотыми искрами из пьяных, безумных глаз.

— Не надо резать моего брата! — вопил он.

Над Бнело-Темным смеялись, отталкивали, колотили, он падал.

Лошадь, связанная, задыхалась, билась в своей горячей крови, и когда она еще трепетала, живая и вдохновенная, в раненое брюхо ее вкладывали голого младенца, рожденного из желудя дуба гомборского, чтоб он, измазанный кровью жертвенной лошади, гибнущей в беге кровавом, проснулся под громкий перестук копыт боевого коня.

Кружилась на стене Хуца виноградина. Вся Кахетия может в ней уместиться. На стене пещеры виноград мертвый и засохший, что растет вверх из тьмы, к солнечному свету!

Живая и мертвая лоза переплелись!

Каменные змеи на стене тоже сплетались. Это были судьбы.

Это вода, рассеченная посохом на ломающиеся лучи света.

Рука каменотеса пыталась бороться с Хаосом!

Это умерщвленный свет!

Змея в когтях хищной птицы Пашкунджи.

Птица Пашкунджи кружит над виноградником.

Борьба души и сердца.

Стервятник с огромными крыльями и человеческими ногами терзал обезглавленного Виноградаря.

Буйвол вдыхает в грудь огонь осени!

Тело умершего кахетинца в маленькой бочке. Душа ищет выхода из пещеры, а тень бредет за свирелью Оника.

Бредет за мертвой свирелью в пещере!

Сыпался с неба дождь пьяных, крылатых виноградин.

ИЗГНАНИЕ МИРОЕДОВ

Мироеды вышли против народа с открытым забралом.

Они шли на кахетинцев великой армией, вооруженные до зубов.

Мироеды пытались устрашить народ Амбарной Книгой. Но толпы бунтующих, орущих кахетинцев обступили и брали приступом ненавистную Книжищу, душераздирающе голосающую могучей напуганной глоткой.

Свалить, победить, растоптать этот ненавистный всем кахетинским крестьянам свод штрафов, налогов и поборов, залитый вином и водкой, измазанный засохшими объедками, сациви, горчицей, бараньим жиром, зеленым и красным соусом, было не так-то просто!

Вступить с Амбарной Книжищей в побоище могла только

Народная Книга Виноградаря!

И толпы крестьян волочили ее по разваливающейся под тяжестью земле.

Книга Народная слеталась со всех сторон птицами и горящими листьями дубов.

Каждый крестьянин пел и хрипел одно слово.

Из горячей земли, вина и навоза крестьяне лепили Книгу.

Каждый смерд хранил зарытое под своим очажным камнем одно слово или даже одну песню.

И вот Книга рождалась вновь осенью, вытканная из вздохов животных, пения и криков возбужденных птиц, озаренная счастьем цветущей алазанской долины.

И вот Книга Народа, гордо распрямив плечи и подняв лоб, храбро двинулась на врага.

Трое силачей Кахетии, Ванопахарь, Велиджана и Квириа, поднатужились, рывком подняли ее с помощью народа и понесли на поле битвы.

Амбарная Книжища, увидев это, задрожала перепачканной зеленым соусом мордой и завывала от ужаса.

Янго восседал на Книжище верхом ни жив ни мертв, с пылающим факелом. Под гул толпы и бой барабанов и пение визгливых дудок Книга Жизни и Пота боролась с Книгой Гнета.

Вспаханная и разваленная от тяжести борцов земля сама была Книгой.

Рев несмолкаемый стоял над Алазанской долиной.

— Давай! Давай! — голосили крестьяне. — Бей! Вали! Души!

Обе Книги обхватили друг друга, упираясь лбами, пот градом катился по раскрасневшимся лицам, обе задыхались.

Каждая Книга пыталась подбить другую подножкой. Книга Виноградаря пахла землей, человеком, хлебом.

Книга Мироедов — костью, волком, кровью.

Одна ревела быками, другая волчьей стаей. Обе задыхались.

Книга Крестьян боролась честно. Амбарная пыталась душить, хитрить, кусаться, грызть.

Народ шумел, орал.

А под землей, в пещере, слыша гул поля и крики, боролись во мраке великий буйвол Або со своим ослепшим от одиночества сыном.

Боролся первочеловек Тархнишвили и убитая им женщина-корова.

Сражался отец с матерью. Билась земля с копытом.

Зерно с водой.

Оседлое земледелие с кочевым скотоводством.

Схватка эта никогда не иссякала, как скрип мельничного жернова.

Завопили люди, обнимаясь и плача, смеясь от радости.

Книга Виноградаря, набрав полной грудью горячего воздуха, крепко обхватила Амбарную Книгу здоровенными ручищами и вдруг с ревом неожиданно перебросила соперницу через себя.

Книга Мироедов валялась на земле раздавленная и побежденная. В смертном поту.

Крестьяне с криками и радостным воем подхватили Книгу-победительницу и, ликуя, понесли кругом поля.

Парни крестьянские палками сгоняли остатки сбежавших мироедов к валяющейся Книжище и добивали.

Из Амбарной поверженной Книги, из избитых мироедов сочился жир, горчица и красный соус.

Загаженные страницы Кабальной Книги подыхали.

Янго, обделавшись от страха, подхватывая падающие штаны, как полумумный несся по полю.

Он шипел, раздувался пауком, пока три богатыря, Ванопахарь, Квириа и Велиджана, не раздавили его босыми ножищами.

Свалка мироедов Бежиашвили, копошась насекомыми, поедала друг друга. Слепые музыканты с дудками окружили их. Саша Бежиашвили догрызал Вову, а тот душил и рвал жир когтями с живота зажиточного бухгалтера конторы Бахчо.

Трупы мироедов, предавая их посмертному позору, волочили по полю.

Вано-пахарь, шатаясь от усталости, нес на своих плечах назад, в Велисцихе, Книгу Виноградаря.

Книга гудела:

— Как мясо без соли загнивает, так и всякая душа крестьянина, не омытая потом труда, наполняется зловонием!

— Ари! Аралоооо! — вторили ей низкими усталыми голосами бредущие за Книгой по земле крестьяне.

ДУБ ИДЕТ К РЕКЕ АЛАЗАНЬ

Дуб взревел, набычившись, напрягая спину
Дуб покраснел жилистым, старым лицом.

Ныла грудь от удара рога буйвола.

Буйвол-предок несся от него сломя голову, задыхаясь горячей, кровавой слюной.

Тридцать веков выстоял дуб. И уходил он медленно и глухо в бездну земли с песней.

Буйвол не смог сокрушить дуб гомборский, отца обрядов. Даже солнце не помогло Або.

— Остановись! — молил солнце буйвол.

Солнце блистало во взмыленных черных глазах обреченного громадного буйвола.

Пеплом тоски дымилась верхушка дуба. Буйвол сражался с солнцем.

— Солнце ходит вокруг меня и не может сжечь мой ствол! — вздохнул дуб. — А ты хочешь сокрушить его!

Что же важнее: стоять на одном месте беспомощно, загоняя свою дикую, необузданную трехтысячелетнюю тоску в оглохшую, каменистую землю, или медленно, хрипя отвагой, кружить за солнцем, как несчастный буйвол?

Дуб зажмурился. Ныла рана от удара рога буйвола.

— Дуб гомборский! — кричала река Алазань. — Я жду!

Осиновые леса на холмах сражались с грабовыми. Каштановый лес с шелестом и взволнованным шорохом напал на ореховый.

Буковый лес душил ольховый.

Гомборский непроходимый древний лес темнел первородной глиной.

Листья дубовой рощи превращались в черную глину раздумий.

— Уйдешь от меня — погибнешь! — гудел горой дубу несчастный родной его лес.

Глиняный лес с замазанным горлом бился руками, задыхаясь.

— Дуб! — неистовствовала Алазань с вспухшим от слез лицом. — Я погашу огонь, пожирающий душу твою!

Гомборский дуб, хмурясь, сдвинул седые брови.

Алазань разметала свои длинные волосы с ручьями и притоками.

— Я погибаю без твоей любви! — кричала она. — Я давлюсь камнями, которые устала волочить!

И заревел дуб-исполин хриплым стоголовым взбесившимся стадом. И двинулся, зажмурив плачущие глаза, на крик Алазани.

Заспешили вслед за ним, смешавшись и толпясь, давя друг друга, все малые леса, потомки гомборского, гудящего глиной.

Разрывая грудь, ломая широченную спину, рванулся из навеки обхватившей его земли дуб наш с искаженным от страдания и боли несчастным лицом. Горестно сжал рот. Гудела гора.

В ужасе зажмурился в земле слепой червь, отец воды.

Проснулись и носились в пещере, в древнем мертвом мире, стада умерщвленных бездной человекобыков.

Гремел в бочках хор вина!

Катилась впереди дуба поющая виноградина.

Леса, идущие за дубом с нахмуренными мужскими лицами, пели походную песню воинов, эхом давящую долину.

Гомборский дуб, по-бычьему нагнув тяжелую голову, шел вперед.

Дуб-великан хрипло смеялся запекшимся ртом.

— Алазань! — хрипело бычье сердце.

Дали-охотница, выпрыгнув из дупла, мчалась рядом с отцом.

Звала назад. В скорбный лес детства. Стреляла из лука.

— Отец! — звала Дали.

Но дуб оглох, охваченный страстью.

Дуб ревел, думая, что поет со всеми песню народа.

Волк-муж бежал рядом с охотницей.

Кружились птицы.

Все гудело, стонало, кричало.

Рядом с идущими за дубом лесами бежали звери.

Олени, кабан с громадной головой вожака. Козы пугливые и быстрый, как огонь, джейран, за ним серна с косулей.

А птиц по кустам носилось и вилось на солнце десятки и сотни. Витютни, горлицы, болотные курочки, перепелки.

Взлетали в беспокойстве и кружили тетеревы, стрепеты. Парили в небе беркуты, дерзкие белохвостые орланы.

Ламия, девушка-змея, плескалась в сиротливо сверкающем Архе, коротконогом притоке Алазани; Ламия жила с ним при ярком солнечном блеске, а по ночам бродила по деревне, ища убитого Иштара. Ламия наводила ужас на людей, насылала смерть и болезни. Ламия кормила грудью свинью.

Гребешок и веретено сделались ее атрибутами. Тело змеи, грудь развратной женщины. Она выла в ночи, звала Иштара.

Она ползала среди охваченных мглой виноградников, шипела, а утомленная, чтоб заснуть на рассвете в высокой и свежей траве, вынимала свои окровавленные горем глаза.

Она соблазняла пьяных, ослепленных желанием мужчин.

Ламия разоряла птичьи и человеческие гнезда. Вся Кахетия боролась с ней, пыталась добить в шумной воде Арха, кидала в нее камни.

Громко, тревожно раскричались лягушки.

Маквала-плакальщица стояла голая на коленях, у берега, распустив длинные косы. Маквала жалела реку.

— Алазань! — звал дуб. — Жена моя! — стонал кровью дуб.

Дуб-властелин шел впереди гомборского леса к реке. Снова окрепла гордая походная песня дуба!

Он бросился в реку. Он пил жадным разодранным ртом реку времени.

КАЗНЬ ДИОНИСЭ

Прощай, Алазанская долина!

Я, умирающий, обессиленный сын твой Дионисэ, прощаюсь с тобой! Мне тяжело, мне горько, кровь моя прольется среди твоих виноградников, но она не спасет тебя!.. Вон вестник Сандро несется по Старой Кахетинской дороге, взметая из-под ног сгоревшую, бурю пыль.

Он кричит, задыхаясь, о моей казни, что со всех сторон окружила меня!.. Он обращается к пыльным увядшим листьям, чернеющим и вздрагивающим от взмысленных, смятенных, задыхающихся выкриков Сандро. Эй, вестник! Не кричи так протяжно и с такой болью, я сам прошепчу, сам буду, сжимая глаза, петь о страхе и мраке, что ждет меня.

Мрак зовет меня!

Вот я поднимаю камень, выпавший из костлявых рук безумной Эки, и швыряю его в хор Нищих! Замолчите, нет вам никому отдохновения с моим уходом в бездну, не вернете вы мертвых и свободу!.. Меня хотят раздавить живьем?

Вон запустили с холма тяжелую налитую молодым вином бочку, что катится на меня, а следом за нею, поскрипывая, несется на мою грудь оторвавшееся колесо арбы, и жернов наезжает на мое голое тело, сейчас раздавит кости бога виноделия и одиночества!

Я — Арзуман! Я жрец!

Я буду плясать на кладбище всех убитых мною птиц.

Моя пляска раскроет мне прошедшее и будущее.

Я дышу тревогой смерти, что обрушится на бога Дионисэ!

Я буду кружиться на трупке поверженного, растерзанного врага с криком победы и гнева, наводя страх на жителей Алазанской долины. Моя грозная пляска коршуна-могильника с поднятыми крыльями над трупом обезглавленного Дионисэ, моя пляска жреца-царя птиц Кахетии раскроет мне тайну жизни и смерти.

Я загоню в каменеющий мрак стадо вновь рождающихся человекобыков.

Я один! Я хозяин, я птица с хищным сердцем матери, над которой надругался!..

Я не боюсь огня!

Я изрыгаю из раскрытого клюва огонь, опаляющий долину!

Я вечно сражаюсь с черным подземным буйволом!

Я бросаюсь, распростерши крылья, на буйвола-предка Або:

— Отдай мне подземный мир, ты, буйвол поверженный!

Я побеждаю солнце, кровоточащее в твоих острых рогах!

Я, жрец-птицегадатель Арзуман, пляшу на твоём разорванном моим железным клювом теле, и хриплый стон мужества оглашает долину!..

Я, ДИОНИСЭ, разделил стадо и пастухов. Я отнял у коровы ее несчастного, чудовищного подземного сына с телом стыдливого юноши и грузной головой быка со страшными рогами кружащей дымом смерти!

Все в Кахетии захвачено крушением.

Рождение младенца или безжалостная гибель осы, увядание грушевого дерева во дворе, падение раненного копьем быка — все захвачено обрядовой пляской.

Я, ДИОНИСЭ, рассек души ваши, и это мое преступление!

Стадо облаков и людей разбегается в будущее и прошлое!

Я, ДИОНИСЭ, разделил ягненка и женщину с распущенными волосами грешницы, жену плодородия.

Я, ДИОНИСЭ, отшелушил зерно из колоса, я отнял у колоса воду, я разогнал по свету крестьян кахетинских.

Я виновен перед дубом, отцом обрядов, хмурым слушающим гудящее горой небо, виновен в последнем, необратимом, разделении тварности!..

Я, ДИОНИСЭ, — хохочущая голодная, объедающаяся хлебом крестьянских рук смерть.

Я заставил их, рассекая мое тело, колесованный, рассечь заодно самих себя, свой род, деревню, проваливающуюся в пещеру — страну плодоносящих виноградников.

Ни у кого из крестьян, дико пляшущих, нет жалости к молочной слезе, дышащей в напуганном глазе ягненка.

Вот великие колеса, на которых мы колесованы.

Они катятся с холмов в виноградники! Каждый крестьянин с семьей вертится в колесе рода!

Мы родили в животе нашем, большом и толстом, буйвола-предка!

Бык, дикий бык, вырвавшийся на волю, в нивы колосающиеся, бык, израненный острыми палками женщин голых, опьяненных, — вот наш праздник!

**ТЫ, ДИОНИСЭ, ТЫ НАШ ТЯЖЕЛОРОГИЙ БЫК, ПРАЗДНИК НАШ!
ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ ВСЕПРАЗДНИК СМЕРТИ, УХОДЯЩИЙ
В ПЕЩЕРУ!**

Мы, народ пахарей и скотоводов, мы, виноградари бездны, с комьями горячей земли в жестких волосьях, мы и есть гибель и рождение мира!

Мы рожаем плуг! Мы рожаем пахаря!

КАЖДЫЙ КАХЕТИНЕЦ ЧЕЛОВЕК-ПЛУГ!..

Мы рожаем стадо, мы рожаем гибель древнего уставшего от первоплощений мира! Слышите, как устало шумят листья раскидистых исполинских орехов на берегу голосащей Алазани!

**ДРЕВНИЙ МИР КАХЕТИИ, ДРЕВНЕЕ ВРЕМЯ, СПЯЩЕЕ В КОС-
ТЯХ ЖИВОТНЫХ, ИЗНОСИЛОСЬ!..**

Кости разрушаются. Время быков разрушается.

Мы смеемся и плачем, как дети, мы объявили траур по долине Алазанской, плывущей вместе с беспокойной рекой в ночь, мы обрезаем волосы, закрываем мрачные лица черными платками.

Мы едим хлеб и чеснок, мы ждем, когда свалится в корзину первая гроздь праздника Ртвели, сверкающая золотыми слезами счастья!

Вот умирают снопы, умирают поля, готовятся ко сну буковые, грабовые и ясеневые рощи! Обезлюдуют наши виноградники!

Древний пастух, древний земледелец, старый муж, старая жена обессили.

В мехи, в бурдюк надо лить молодое, козлиное, резво прыгающее копытами вино голосистое!.. Задиристое!

Выжатое из грозди погибающей, плачущей красным соком осени!

Все эти арбы и повозки, тачки и линейки, колымаги, скрипя отчаянно, съезжались на одну Старую Кахетинскую дорогу, любимую всеми обожающими ее пыль и жаркий воздух последними чудаками.

На арбах и в громадных повозках сидели, свесив босые ноги, крестьяне, теребили и таскали их за волосы дети, жевали груши мягкие, сочные и хлеб, рвали зубами звонкие, поющие грозди гурджаанского праздничного, сияющего винограда, люди били в ведра и горшки, радостно приветствуя встречающих и выбегающих к повозкам старожиллов, хозяев и жителей деревни Велисцихе.

— Народ едет! Еще народ едет сюда! — радостно мычали валяющиеся прямо на дороге, изрядно нагружившиеся вином лукавые загорелые старики, пастыри седого, уходящего в землю многошумного, орущего глотками Времени.

Толстые косари валялись в канавах. Им лень жевать вареных кур и полусваренных гогочущих гусей. Жены и любовницы, лоснящиеся жирными подбородками, пихали еду в их огромные рты.

С повозок и арб, медленно кружащих вокруг горящего праздником священного виноградника, раздавалась вновь и вновь обрядовая брань всепраздника!

Обряды глумления. Срама. Хохот неприличный и срамные телодвижения!

Эта хрипкая брань старух и срам должны возбудить уставшую кахетинскую землю к новой беременности, к большому будущему урожаю.

Ревели быки, стонали тяжело буйволы и волы синешкурые. С кудахтаньем разбегались от гонящихся мужицких ног куры.

Ворковали по-осеннему сизые упитанные голуби.

С повозок доносились и звенели эхом в пустующих рощах ругательства.

ДЭДА ШЕНИ! МАМАО ЧВЕНИ!

ШЭВЭЦИ! ШЭГЭЦИ! МИВЭЦИ!

Крестьяне с плывущих повозок, тяжелых яблоками и сливами, сыпали прибаутками, пословицами, поговорками и шутками, а стоящие на земле велисшихцы с хохотом гулко им отвечали.

Лезли в драки подростки и тотчас мирились, отпив из бочонка.

Женщины с едущих повозок показывали мужчинам срамные места и распутно кривлялись.

— Я корова! — голосила женщина с едущей издалека арбы.

— А мы быки! — ревели ей вслед мужчины.

Кахетинские женщины срамили божество смерти. Они поносили быка смерти, издевались и оскорбляли Дионисэ.

— Эй, ты, козел вонючий!

— Иди в свою смерть! И не возвращайся!

Голые разнузданные женщины кидали в бога кости собачьи и камни, комья глины, гнилые яблоки, навозные коровьи лепешки.

А Дионисэ молчал, обнимаясь с Медеей. Медея сорвала с крепкого тела платье, сидела голая.

Бедная сирота становится богачкой.

Смерть с разукрашенным винным сусликом лицом плачущим надевает маску цветущей жизни. Жених дуба на реке.

Бег. Бег вооруженного ножами и топорами рода вокруг дерева жизни и гибели. Деревя кахетинцев.

Ветвь. Вербя. Горящая омега. Ива плакучая. Дуб.

Жених-солнце в рогах быка. Невеста — убийца матери Медея.

Царица Кухни, Скотного двора, Рынка, Базара выходит замуж за пьяного Виноградаря.

Жених — пылающий свет. Брак неба и земли.

Свадьба Дионисэ и Медеи черноокой, волоокой — день равноденствия, или солнцеворот. Поединок солнца, петуха огня и ворона ночи.

Коршуна тьмы с белой куропаткой.

Поедание мяса кровавого — совокупление! Муж-бык, муж-любовник, муж-козел. Пляшущие, кричащие козлы. Убийство козлов.

Отпущение зла на волю. Еда — главный культ брака. Легенда о растении, о злаках, о хлебе. Трапеза нисходящих во тьму нижнего мира новобрачных. Жених смерти с обезглавленным петухом в руке.

Петух хлопает крыльями. Умиравшему любовнику невеста огня и мрака приносит хлеб венчания. Жених поедает поминальный хлеб, политый кровью козла.

Царь, бог Дионисэ, свирепый дикий бык, зверь хищный, превращается в домашнюю тягловую скотину. Молча принужденно уходит на барщину, пашет поля мрака. Бык уже не предок, а богочеловек, богобык, отдающий свое тело на разрыв обеспамятевшей, разъяренной от страха голода и запустения деревне.

Арбы тащатся по дороге. Повозки гремят, запряженные волами, рабами, победителями пространства, — это солнце плывет по холодеющему небу. Арба-солнце преодолевает врата мрака.

Шествие солнца-зверя — звериная борьба. Разрывание солнца-зверя. Шествие кахетинцев к еде, к убитому быку, к мраку подземного мира мертвых предков.

Мы поедаем быка, мы рождаем могучего быка плодородия.

Черный бык набросится на землю, ляжет на нее, совокупится с землей и родит урожай.

Еда, хлеб, колос, лоза — подземное рождающее начало.

Смерть виноградаря, смерть лозы, нисхождение лозы в ад.

Земледельческий культ. Возрождение. Свет струится на листьях.

Невеста — деревня. Жених — чучело с рогами. Обход с трапезой вечнозеленого древнего дуба жизни. Мы погибам от грядущего голода и чумы. Голод — голос смерти. Дионисэ, поверженный, на коленях, раненный, продолжает сражаться с воинственной, вооруженной топорами и дубинами деревней Велисцихе.

— Я — ДИОНИСЭ, раб Кахетии! Я раб колеса! Раб дороги! Вечное возвращение! Уничтожьте вечное возвращение!

Я опустошен. Кровь вытекла из моего горла.

Я гонец. Я конь запаренный, изнемогающий, падающий от усталости.

Я конь, уходящий в могилу и живущий в могиле.

Смерть — счастье загнанного коня.

Но кто подарит мне смерть?!..

Я как борец народа сражаюсь со смертью. Я пытаюсь преодолеть смерть в рукопашном бою или сдать в рабство...

Псы пожирают меня, как падаль. Шакал терзает меня.

Дуб кружится и плачет погребальным голосом.

Эхо несется над долиной. Плачут священные буковые и грабовые леса.

Меня разрывают зубами мужчины и женщины.

Я ваш бог! Я кружусь! Я сгораю росой!

Я ДИОНИСЭ, под звуки труб и дудок растерзанный!

Это не меня, а свою деревню, свой род, очаг рассекли!

Я в агонии! Я бьюсь на земле лягушкой, камнем!

Я слышу стоны!

Это женские самоубийства поздней осенью в пустынных горах!

Меня, быка Дионисэ, разрывают голыми руками. Меня, солнце, разрывают!

Я божество! Я светило! Я небо!

Я облако, рассеченное клювом орла!

Охотник разрывает меня и соединяется с моим телом, поедая мое мясо!

Да здравствует единоборство! Слава единоборству! Гаумарджос!

Голые руки. Зубы. Когти. Зубы хищные. Ошерившаяся пасть. Я борюсь с волком рода. Я волкоубийца. Вы богоубийцы!..

Еда. Борьба. Рукопашная. Смерть. Пробуждение. Песня охотника.

Стон Времени в костях борющихся зверя и человека.

Слава Человеку Праздничному! Гаумарджос!

Да здравствует разрывание зверя!

Крестьяне, пойте гимн страшной гибели бога!

Где наши мясники и повара? Готовьте еду из разрубленного тела бога! Вино сочится на траву из изувеченного тела!

Слава разрыванию! Убийству! Вареву!

Сварить, изжарить в огне быка. Это омоложение!

Бык рождается молодым и крепким.

Слава умирающему царю! Слава рабу, умирающему вместо царя!

Царь в маске бога остается! Раб умирает! Раб-бык!

Разъятие тела народа — забвение народа! На стене Хуца каменная фреска: разорванный Дионисэ жаждет превратиться в гроздь человеческую, но люди гонят его прочь.

И ДИОНИСЭ МСТИТ. Он насылает на долину зеленых виноградников ХАОС.

Я, ДИОНИСЭ, ПРОКЛЯЛ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!

Я, ДИОНИСЭ, БЫК В МИРЕ ЖИВЫХ И ЗМЕЯ В ПОДЗЕМНОМ МИРЕ ТЕНЕЙ!

Погребальный пожар пожирает Кахетию. Костер оживляет гроздь.

Горит и воскресает гроздь кахетинская. Сочится светлым вином бес-смертия. Погребальный костер ползет по деревне, лижет виноградники Велисцихе.

Кеонию крестьяне повесили на дубе вниз головой.

Пламя жжет мертвое лицо богини.

Слепая каменная рыба плодородия и землетрясения ворочается в земле.

Исполинская рыба утрашена встречей с богом Дионисэ с изуродованным лицом и вырванными глазами.

Дионисэ хрипло поет прощальный гимн осени.

Рот слепого забит глиной.

Одиночество бога в пещере!

Обезглавленный петух бьется крылами, ищет тень бога в пещере Джоджохэти.

Каменная рыба, ворочаясь, со стоном рождает плодородие.

В слепом глазе рыбы шевелится червь.

Подземные ласточки с писком носятся в пещере теней.

Полет ласточки во мраке — это мольба богу умерщвленному

Ласточки всегда голодны. Ласточки вечно страдают.

Подземный хор каменной стены пещеры отпевает Дионисэ.

Хор поет о том, что после убийства Дионисэ тень над Алазанской долиной никогда не уйдет.

Каменные люди и стада быков поют.

Время в костях людей и животных поет гимны смерти.

Эвэ! Авоэ!.. Мравалжамиер!..

Буйвол-предок жует каменное зерно.

ВЕЛИКИЙ КУТЕЖ

Великий прощальный кутеж гремит и поет над поверженной в страх и ужас, охваченной пожаром Алазанской долиной.

Могучие вздохи и ошалелые крики праздника!

Бродит молодое, пенистое вино в громадных дубовых бочках!..

Напиваются крестьяне и быки сонные, кричащие.

Празднуют стада уход Дионисэ!

Эй, кацо, напивайтесь, скотоводы и земледельцы!

Смеясь, оплакивайте уход от нас разорванного зубами Дионисэ!

Вай! Вай! Ловите в пещере его мечущуюся, кружащую тень! Авоэ! Авоэ!

Над опустевшими засыпающими полями и виноградниками, над велесящимися, дерущимися, борющимися крестьянами, загорелыми и здоровенными, в ободранной одежде, катятся раскаты могучего крестьянского хохота!..

Блеянье, мычанье, ржанье, звон разбитой посуды, тяжкие истомные вздохи раскупоренных бочонков, катящихся с гор и холмов на деревню.

Гаумарджос, слава вам, крестьяне! Пусть земля, гудящая пением, раскалывается надвое от нашего громогласного великого хохота!

Сотрясаются смехом даже погруженные в хмельную, липкую одурь притомившиеся грушевые и сливовые деревья!

Пусть стонут от счастья сбивающие коров с копыт их мужья и любовники, быки.

Пусть визжат одурело жирные свиньи!

Ай! Вай!..

Хохот могучий, сотрясающий долину и горы, заставлял дрожать дуб трехтысячелетний, пробуждая исполинскую слепую рыбину землетрясений!..

Смех встряхивал кости давно рассыпавшихся от древности быков черных, превратившихся в золу кострищ.

Хохот крестьян, распираемых здоровьем, возбуждал к новым рожденьям землю!

Вьли, единоборствуя, кто громче, буйвол и крестьянин с мотыгой!
Ааааайййй! Аааааах! Ой! Вай мээээ! Шаууууу! Эаааа!

Ух, ууууух, фух!

Взрывы, раскаты могучего хохота — бездна для рассудка крестьянского!
Ураган багряного, пьяного, сгорающего землей рожаящей хохота —
великое хмельное, неукротимое движение жизни!

Пойте жизнь крестьян!

Слава земле нашей, с крестьянином и быком совокупающейся!

Мы, кахетинские виноградари и пастухи, хохочем, обливаясь грязным,
жирным потом на заре новой, родовой, жизни!

У буйвола Або, ушедшего во мрак, изнуренного тяжелой ревностью,
крестьяне похитили рог, сломанный ударом о железный, широкий ствол
дуба гомборского!

Крестьяне пьют из него за буйство праздника беременной урожаем
земли-женщины, с грудями, налитыми соком!

Рог великий переходит из рук в руки, расплескивая молодое, горящее
вино на оглошную от топота ног и хора мужицкого землю.

Вот и наступил наш родной, долгожданный праздник!

Всеппраздник виноградарей Ртвели, лозой горящей, душистой сплетен-
ный!

Кружение древа жизни! Кружение дуба мрачного, поющего басом,
гибнущего от любви к реке быстроногой, Алазани свежеглазой!

Кружение дуба с истекающими кровью словами нашей КНИГИ ПОТА,
НАВОЗА И ТРУДА!

Слава вину алазанскому! Слава вину ахашенскому!

Ура вину велисцхскому!

Слава долине любви и бычьих стонов!

Слава брызгами огненными летящей омеle!..

Вах! Вах! Грандиозный кутеж виноградарей кряжистых с загорелыми
широкими лицами, обезумевших от прощания с богом-жертвой, Виногра-
дарем, накормившим телом и напоившим своей кровью лозу и землю,
жадно пьющую!

Виноградник-тамада поет заздравные тосты!

**Я КАХЕТИНЕЦ! Я КРЕСТЬЯНИН АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ! Я
ВИНОГРАДАРЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ!**

Я не боюсь голода! Не боюсь бездны пещеры! Не страшусь стада костей
обглоданных, ревуших во тьме животных!

Я, КРЕСТЬЯНИН ПРАЗДНИЧНЫЙ, НЕ БОЮСЬ ПОЖИРАЮЩЕГО
МОЮ ЖИЗНЬ ВРЕМЕНИ В КОСТЯХ УБИТЫХ МНОЮ ЖИВОТНЫХ!..

Я ПОБЕДИЛ МРАК, Я ПОБЕДИЛ ЗЕМЛЮ ГОЛОДА И ПОЛЯ
ИСТОЩЕНИЯ!

Я ПОБЕДИЛ МИР! Я ПОБЕДИЛ НЕБО И ПЕЩЕРУ!

ГАУМАРДЖОС ГЛЕХС! Да здравствует смерд-крестьянин!

Я пью и поедаю смерть, как хлеб!

Я победил мир — и я его вкушаю!

Ари... аралэ... аралооооо!.. Авоэ!

Да здравствует глаз козлиный с желтым ободком!

Слава шерсти бычьей! Опаленной! Славьте Время Первопраздника!

Перворожденное, родовое Время!.. Время в костях предков!

Время, отнятое людьми у подземных исчадий земли — всепожирющих
человекобыков!

**Я — КРЕСТЬЯНИН! Я — ВИНОГРАДАРЬ! Я — ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ! Я —
ТРУЖЕНИК!**

Я кровь и пот проливающий! Я зерно очищающий!

Я глину приречную месящий! Я тяговая скотина, запряженная в плуг!
Я плуг! Я соха! Я колыбель! Я герой! Я древнее копытное животное
племени, меня убивают каждой осенью!

Я червь слепой! Я пчела-труженица! Я оса! Я молоко! Я вино!

Я земля! Я овес! Я мед! Я гроздь! Я навоз! Я зола! Я страх!
 Я баран, вырвавший свой кругой рог из безжалостной руки крестьянина,
 приносящего жертву дубу! Я сын дуба! Я желудь!
 Я Дионисэ многострадальный, многоглазый, зеленоогненный!
 Я бог, наказанный за свое рождение смертью! Я бог-баран, во мрак
 уходящий! В ночи сыпучей, вязкой тонуший!
 Я погибающий в болоте ужаса!
 Я сын бога! Я сын буйвола и женщины! Я чудовище с рогами!
 Я — ЮНОША-ДЕВСТВЕННИК, ПРЕВРАЩЕННЫЙ В ЗЕРНО, ИЗ
 КОТОРОГО РОЖДАЕТСЯ ВИНОГРАД!
 Я — одиночество! Я — смерть! Я — солнце, сгорающее в рогах быка
 ночи!
 — ШЕН ХАР ВЕНАХИ! — тянули гимн богу крестьяне. — ТЫ ВИ-
 НОГРАДНИК!..
 Я — Виноградник! Я человек из глины и крови! Я животное!
 Я — КРЕСТЬЯНИН ПРАЗДНУЮЩИЙ!

Я — глина! Я — вода! Я — пот!

Гигантские бочки с вином катятся с холмов на нас.
 Гудят пьяные горы! Горы жаждут плясать и кутить вместе с нами,
 кахетинцами!
 Человекобыки пьянствуют и дерутся на подземном кутеже смерти при
 факелах в рогах пылающих!
 ПЬЯНОЕ СТАДО ЧЕЛОВЕКОБЫКОВ КРУЖИТ В ПЕЩЕРЕ, РАС-
 ПЛЕСКИВАЯ ИЗ СВОИХ КОСТЕЙ СТРАШНОЕ ВРЕМЯ!..
 Голод земли! Голод земли и оргии!
 ЗВЕРИНЫЕ И ЗВЕРОПОДОБНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА.
 ЗМЕЕБОРСТВО! ЗВЕРОБОРСТВО!
 Бнело-Темный несется во мраке пещеры с табуном коней!
 Кричит в ночи умирающий табун, громче лошадей кричит, захлебыва-
 ваясь пеной смерти, ночной конь. Вождь коней-богоборцев, Бнело-Тем-
 ный!
 Нодара Шашвидзе растоптали мчащиеся кони с черными, горящими
 смертью гривами!
 Стук тысячи копыт. Дрожит пещера. Сотрясает своды пещеры стон и
 ржанье и грохот копыт табуна, что несется на связанного бога.
 — Я никогда не был брадобреем! — хрипит в мыле и розовой пене
 Бнело, несущийся в пропасть. — Я родился конем!

— Я — Конь!..

Эка безумная собирает урожай камней на пыльной дороге, чтоб вы-
 малить за них у случайного прохожего в пещере смерти хотя бы тень
 своего сына.
 Хоть клочок сгоревших волос.
 Сгоревшую в пожарах войны седую прядь юноши-новобранца.
 Камни давно ненавидят Эку. Они страшатся ее, сумасшедшую старуху
 с распущенными волосами.
 — Мы камни! — орут они. — Оставь наши души!
 Камни, как улитки, ползут от безумной в разные стороны, пятясь.
 Но костлявая рука изможденной Эки со страшным, распухшим от
 криков лицом ловит камни, как птиц с выдранными крыльями.
 — Камни! — хрипло умоляет Эка. — Родите мне сына!
 Камни угрюмо молчат.
 — Верните его с вырванными глазами и с разорванным криком, ост-
 тывшим горлом! — воет Эка, пугая голодных птиц, коршунов смерти.
 — Сын! Сын! — голосит Эка, валяясь в пыли дороги, в лохмотьях,
 нищенка.

— Тело сгоревшего сына спит в урне! — поют хором камни. — Душа улетела на небо, а тень мучается и не находит гнезда родного в пещере!

Ешьте смех, едоки!
Мертвый, хватай живого!
Слава беременным старухам, жующим хлеб рождений!

На каменной стене Хуца, во тьме пещеры, хрипит черный бык с расколовшимся в рогах черным солнцем.

БЫЧИЙ РЕВ ПРАЗДНИКА

Каждый кахетинец, каждый баран, овес и даже старый дырявый лист дуба имеет свою судьбу.

Свою очень долгую, много раз повторяющуюся судьбу!

Каждый клочок бараньей шерсти, корень, каждая виноградина рано или поздно становится богом!

— Верь и держай! — стонет бык.
— Верь и держай! — кричит, рухнув в яму, буйвол.
— Верь и держай! — хохочет Ваню, борющийся с полем.

Ваню. Человек-Плуг!..

Каждый глоток солнца — зажмурив глаза! Каждый вздох тяжелой КНИГИ ПОТА, ТРУДА И НАВОЗА — на пределе!

Гремите, барабаны, до разрыва бычьей кожи!

Дуй, дудка, пока не охрипнешь!

Гаснут последние костры горящего вином и песнями, обрастающего цветами праздника!

Гремящий твой хохот, кахетинец, — это бездна для мироедов и лентяев! Для трутней, жизнь превращающих в сухую траву!

Твой хохот и бычий рев — это бездна для рассудка!

Хохот твой, Крестьянин Кахетинский, погоняет вечно рождающегося быка.

Дионисэ снова сражается за корову плодородия.

Хохот твой, пастух, — это возвращение коровы света.

Это разрушение пещеры мрака!

Без песен, гремящих на рассвете, без криков погонщиков и пастухов — Кахетия задыхается!

Без песен народных не дышит вкусным теплом овечьих шкур дуб!

Дуб, зажмурив от наслаждения выплывшие глаза, вдыхает в грудь запах растянутой на нем бараньей шкуры!

Дуб — муж овцы!

Маро и буйвол, предок Або, сжали с двух сторон сына-чудовище Иштара.

— Теперь мы навечно вместе! — мычат и стонут они.

Но Иштар вырывается с воплем.

— Я хочу к людям! Я человек! — задыхается он. — Где свет?

Плотник Тархнишвили закапывает череп в землю на берегу реки.

— Эй, люди! Родственники! Лейте на череп молодое вино!

Обрызгайте череп крестьянина свежей бараньей кровью.

Живорождение Книги Навоза! Навозом быков и коров дышит каждая страница Книги!

— Ариаралооо! Аралэээ! — поет аробщик, везущий Книгу.

— Кто я? Что за животное из земли и пота? — стонет грудью Книга.

Живорождение Книги! Мертвый Навоз рождается горящим и мычащим радостью жизни!

Я, Дионисэ, огнем зеленым объятый, кружащийся факелом во тьме пещеры, — Живородящая Книга Виноградаря!

Я Каменная Слепая Исполинская Рыба плодородия!

Я Лоза, ушедшая в пещеру!

Кахетия — мать всеобщего разрушения, запустения.

Гибель кахетинцев — прощание с лозой!

Прощание с душой винограда! Прощание с душой крестьянской!

ВЕЛИКАЯ КАТАСТРОФА

Стены и своды пещеры обрушиваются.

Пещера залита кровью пастухов и животных!

Кровью зарезанного бога уходов и возвращений Дионисэ, плющом и лозой черной обвитого!

Умирает не только человек, но рушится камень очага.

Мертвый хватает живого! Мертвый хочет победить страх!

Гремят катящиеся с холмов бочки с вином. Бочки давят деревню Велисцихе. Год завершен, и вершина его — увядание лозы!

Гибель Тархнишвили — смерть рода!

С уходом Тархнишвили исчезают думы о зерне пшеничном.

Завершаются круги земледелия, отпечатанные годовыми кольцами на широком стволе мрачного дуба!

Завершаются эпохи малые и большие. Меняется жизнь людей.

Смерть первочеловека Тархнишвили, вождя, виноградаря, — это не уход в мир теней.

Это крушение жажды кахетинца!

Отмирание грозди света.

Память — наш Плуг! Плугом памяти вспашем жизнь рода!

Эй, люди! Зовите на помощь брюхатых демонов плодородия!

Слава бесстрашию одинокого земледельца! Хватай, мертвый, земледельца!

Вот уходит навечно старый Тархнишвили.

Деревня прощается с ним. Никто не хочет плыть с ним в бочке-гробе в вечность. Даже Иеремия, немой и полоумный чудак оборванный, бежал прочь от реки.

Лучше сторожить сохнущую лозу и пить желчь из измученной желтеющей грозди, чем плыть с каменеющим плотником вниз по черной Алазани!

Дыши пока здесь, Иеремия! Сторожи увядающий виноградник!

Раб Картлос не хочет легкой свободы. Пусть потомок его родится свободным!

Перед уходом Тархнишвили надевает связанные женой из бараньей шерсти теплые носки. Надевает на больные ноги рваные резиновые, в засохшей грязи калоши.

Сейчас он бросит жилище, сарай плотницкий и унесет в руке мешок писем, пропахших стружкой и столярным клеем.

На фронт, к погибшему сыну.

Он всю жизнь слепнул и писал вином и бараньей кровью на листьях кружащегося дуба вести мертвому.

Но вестник Сандра, вихрастый паренек, собирал их по полям и приносил назад.

ШЕН ХАР ВЕНАХИ! ТЫ — ВИНОГРАДНИК!

— Кто из нас бог? Буйвол, предок Або? Дионисэ? Плотник?
 Мы все, крестьяне, Кахетинский Народ, и есть Бог!
 Мы лоза бога!
 Мы поле хлеба колосающегося. Мы стадо свиней. Стадо быков.
 Стадо быков — это бог! Дуб гомборский — бог!
 Мы, крестьяне кахетинские, рождаемся и растем!
 Мы Крестьяне виноградников и злаков!
 Мы еще только в росте, как и наши молодые дубовые рощи!
 Мы колосья пшеницы! Мы растем, слышите дыхание горячее наших
 поющих гимны глоток?!..
 Слышите, как раздрается песней труда наш окровавленный рот?!..
 Эй, Враги Книги Пота, Труда и Навоза! Слышите, как тяжелеют
 хлебными колосьями страницы?!..
 Это кровь нашей Книги!
 Эй, дудка свинопаса Геронтия! Пой!
 Эй, дудка!
 Слава живорождению навоза и земли!

Люди! Кахетинцы!
 Завершаются круги земледельческих десятилетий и веков!
 Обряды. Праздники. Всепраздники. Катастрофы. Потопы.

Орнаментом веков и жизней и судеб, как лозой, увит посох первоче-
 ловека Тархнишвили!

Уход кружащегося Дионисэ. Лозы, сгорающей во мраке.
 Гибель Дионисэ зеленоглазого, с зеленым проросшим листком дуба
 сердцем, — неутолимая жажда Кахетии!

Кахетия слепнет и глохнет без виноградника.

Проваливается во мрак поющий виноградник!

— ШЕН ХАР ВЕНАХИ! — поют люди и овцы богу. — Ты Виноградник!
 Алазанская долина поет красными, сгорающими виноградниками.
 Алазанская долина рождает родовое Время.
 Река осени вмешивается в жизни и судьбы кахетинцев.
 Земля наша и горячий навоз рождает поющую виноградину.
 Из рта Иеремии катятся горящие виноградины.
 Иеремия замер, нелепо раскорячившись у поваленного забора.
 Кричат потрясенные огнем праздника лягушки.
 Великое молчание и великое пение долины!
 Цветистое, дымящееся, озаренное осенним золотистым дождем мно-
 гоголосье!..

— Возвышают реки, возвышают реки голос свой!..
 Возвышает река Алазань, зеленая, пенистая, волны свои!..

Дымящиеся пеплом, осыпаются над Алазанской долиной страницы
 Книги!

КАМЕННОЕ ВИНО

Тархнишвили в пещере перед гибелью мира поит буйвола Або черным,
 каменным вином.

Буйвол взбесился и несется во мраке, жаждет раздавить копытами
 Велисцихе.

Все жители деревни и лохматые, шелудивые собаки прячутся.

Пьянство и буйство животных в загробном мире.
 Пьянство домашних собак и диких кабанов.
 Кабан-вепрь с клыками — тамада мертвых!
 Вождь застолья с ощерившимися, страшными клыками!
 Стада пьяных мертвых кабанов жаждут разорвать живых охотников!
 Гудит рог!..
 Эй!
 Гудит котел, подвешенный на дубе.
 Котел поет гимн Кахетии!
 Шкура барана пожирает дуб!
 Не умирай, дуб!
 — Ариаралээээ! — завывает ветер.
 Шумят пьяные листья дуба, отца обрядов.
 Сторают седые крылья.
 Вечная память крылатому дубу! Мужу реки Алазани, стражу долины!
 Эй!..
 Авоэ!..
 Слепой мальчик играет на дудке.
 Дудка тяжелая вздрагивает в маленьких руках бедняка.
 Стадо свиней пожирает опавшие с дуба желуди, подбирается к под-
 ножию дуба.

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ПИР

На каменной стене — покойник с женой, за столом.
 На столе хлеб и вино. Муж с головой лошади.
 Жена с головой змеи.
 Смерть — это поедание хлеба. Это еда.
 Муж с головой лошади умер за людей.
 С ним умер древний мир.
 Эй, живые! Слышите, как медленно, глухо, со стоном ворочается
 мельничный жернов.
 Струится, журча каплями, проточная вода.
 ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ПИР.
 Мельничный жернов. Зерно.
 Муж и жена сдавлены со всех сторон глыбами.
 Сверху и снизу.
 Под глыбами табуны несущихся в степи лошадей с развевающимися
 ветром гривами.
 На лошадях мертвые и живые всадники.

Они — кахетинцы.

Маро и плотник Тархнишвили застыли с чашами поминальными в
 осторожно поднятых руках.
 Вино дымится.
 Маро с глазами коровы задыхается от дыма.
 Холодные глаза женщины слезятся, распухшие.
 Несется под землей табун лошадей. Впереди счастливый хрипящий
 конь. Это чудак Бнело-Темный!
 Конское ржанье, ошметья розового взмыленного пота.
 Молча слушают топот копыт муж и жена.
 Поминают лозу древние люди.

Поминальная трапеза длится вечность.

Муж и жена жарят зерно. Камнем размалывают.
 Дым очага выедаёт глаза.
 Глиняные чаши с вином забвения подняты.
 Мрак налетает в пещеру.

С поднятыми чашами муж и жена тонут в бездне.
Прощай, Велисцихе!.. Глаза слезятся!

Мравалжамиер!..

Эй!

МЫ ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

— МЫ НАРОД ПОЮЩИЙ! МЫ КАХЕТИНЦЫ, ЖИВОРОДЯЩИЕ
ЗЕМЛЮ! — слышен гул шагов, толпы идут Алазанской долиной. — МЫ
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ! МЫ НАРОД КАХЕТИНСКИЙ! Мы несем по
свежевспаханному полю КНИГУ ПОТА, ЗЕМЛИ И НАВОЗА!..

С нами, земледельцами, виноградарями и пастухами, идут наши дети
с дудками, радостью поющими, наши коровы печальные и хрипящие
мощью быки!..

Слава земле и мотыге! Слава винограду и вину!
Слава красному, горящему соусу!..

МРАВАЛЖАМИЕР! МРАВАЛЖАМИЕР! МРАВАЛЖАМИЕР!..

1980 — 1991.



*Поздравляем
Владимира Маканина
с присуждением ему премии Букера
1993 года*

Редакция «Нового мира».

МИХАИЛ КУКИН

*

И НЕ ДВИЖЕТСЯ ВРЕМЯ

* *
*

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Державин.

Коль колесо времен свершило полный круг,
Средь русских гениев, где всяк другому равен,
Теперь хочу избрать, испробовав твой звук,
Тебя в наставники, Державин.

И странно ли сие? Ты, живший на холме,
Над синим Волховом, от дел уединенно,
Как вдуматься, так впрямь во многом сроден мне,
Глядящу утром восхищенно

На ширь и даль небес... Высокий мой этаж,
Моя квартирка малая в Коньково,
Дверь тонкая, что не боится краж —
Что грабить у меня такого? —

Как не похоже все на храмовидный дом!
Но лишь для тех, кто внешность лишь и знает!
Державин! Розны сколь, сколь сходно мы живем,
Теперь пусть муза рассуждает.

Пока качается на глиняных ногах
Империи колосс, кого ты часто славил,
Хочу не торопясь порассказать в стихах
О том, как я живу без правил.

Встаю я поздно. День уже высок.
Рычат моторы, вонью воздух наполняя.
Но все-таки меня ласкает ветерок,
Что веет, занавесь качая.

В окне распахнутом лесок зеленый зрю,
Домами стиснутый, как озеро берегами.
Заварка есть — пью чай, а нет — так заварю,
Зане не окружен слугами.

Работа подождет! Сажуся у стола,
Рассеянно в тетрадь, линованную в клетку,
Гляжу — но чу! строка внезапная пришла.
Ловлю ее, как рыбку в сетку.

Уже другая, третья, пятая плывут...
Я сочинять горазд! Час, два, а то и третий
Сижу, забыв про все, и все в себя берут
Закинутые мною сети.

Но поздно! Надо бы пуститься по делам —
В библиотеку ли, в пылищу и скучищу,
Или урок давать балбескам и балдам,
Иль в поиски питья и пищи.

И проходя дворами, осень вижу я —
Еще несмелую! Сентябрь лишь на пороге.
И грусть внезапная вдруг трогает меня
При виде листьев на дороге.

Потом в подземные спускаюсь я миры
И, грешен, на все стороны люблюсь
На жен! Желания встают во мне, остры!
Готов преследовать любую!

Готов следить изгибы нежных рук и шей
И грудью любоваться — сколь высока!
Как перстни для перстов, иль серьги для ушей,
Иль для лукавых взоров око,

Так весь я создан, знаю, для любви!
Я чувствую в себе заряд ее изрядный!
И часто, часто, муза, прелести твои
Готов забыть для бабищи нарядной.

Уж в ранних сумерках под крышу ворочусь.
Устал и голоден — сперва сажусь обедать.
С хозяйкою своей то спорю и ворчусь,
То нежные веду беседы.

Как опишу приятный, скромный стол?
Жена из ничего готовить мастерица!
Тем боле в сентябре! Все, что из нищих сел
Греbet к себе несытая столица,

Все вижу пред собой: суп из гороха — здесь,
В салате красные свермяют помидоры,
Вот зелень свежая, котору любо есть
С картошкой отварной, вот горы

Душистых, мяконьких блинков из кабачков,
Златою, ржавой корочкой покрытых,
Или капуста в масле — пир богов! —
Яйцом сверкающим залита!

А то предстанет вдруг очам моим кальмар,
Как овощ, иссечен на тонкие полоски,
С яйцом кругым и майонезом — дар
Далеких край приморских.

А там уже, гляди, толстенна колбаса
Срез кругл и розоват из-под бумаги кажет.
Варенье на столе — уж тут как тут оса!
Жена кричит, руками машет:

«Оса, оса, оса! Лети на небеса!» —
Я как-то сочинил такую поговорку...
Но нет, не отвлекусь: попалась на глаза
Оладьев масляная горка.

Душистый крепкий чай с смородинным листом
Иль с мятой лесной, с шиповника цветами
Пью, забелив его для вкуса молоком,
И сыто чмокаю устами.

Я добр и сонлив. На стульчике складном
Сижу себе, курю на маленьком балконе,
Сижу и вдаль смотрю, мечтаю ни о чем,
Меж тем как красно солнце тонет,

Закат распахивает сизый веер свой,
Меж облак перистых даль розова дымится.
Кругом горят огни... Машины шум иль вой
Собачий снизу доносится.

Еще мне песня хрипло-пьяная слышна
И мотоцикла рык — на нем гарцует рокер
По школьному двору. Но сходит тишина
И на него. И снова строки

Я в воздухе ночном певучие ловлю,
Я снова — за тетрадь. Жена сидит над книгой.
Нисходит ночь на мир, и музу я молю —
Она же вдруг мне кажется фигоу.

Ну что ж! Стихи нейдут. Берусь за телефон
И верных друг своих в Коньково созываю.
Вот снова стол накрыт, стеклом граненым он
Сверкает — пир я затеваю!

Гадаев входит в дверь — бутылку он принес!
И Рондарев за ним — и с ним пришла бутылка!
Да я еще припас — прозрачней водка слез!
Минута — и уж чокнулись пылко!

Стихи по кругу чем, ведем ученый спор,
Табак вовсю дымим — не здесь ли Курилы?
На дальние огни наводим томный взор.
В молчании сидим, унылы.

Глядишь, синей окно, уже редет мгла —
Что делать нам теперь? Песнь птах дошла до слуха.
Тут, полны свежих сил, встаем из-за стола
И, коль не дождь и утро сухо,

В лес ближний поспешаем, тонку сетку взяв,
Ракетки и волан, — и в бадминтон сразимся!
А дождь когда идет иль сильно перебрал,
Вповалку спать тогда валимся.

Иль славно тешимся классической борьбой —
С Гадаевым ломим друг другу крепко спины!
Иль, прозы властелин, мой Рондарев, с тобой
Сидим перед утра картиной —

Перед раскрытым в светло-синю даль окном,
Как жизни нашей перед вечною загадкой,
И по последней курим над пустым столом,
Остановив мгновенье кратко.

* *
*

Подняла голову птица сна,
Полетела над крышами, над фонарями,
Синими крыльями-морями
Плеснула у твоего окна.
С правого крыла тебе — тихий берег,
С левого крыла — вещей сон.
Сизое перышко — мой поклон.
Снится, не снится? Как проверить?
Спи, спи, не торопи,
Думы-раздумы в море топи.

Птица поет или дождь идет?
Ночной таксист по Москве везет
Не меня к тебе, не тебя ко мне —
Кого везет, не видно во сне.
По ночным витринам рыба-такси
Нырять, уплывает, след замечает,
Не допросишься, проси не проси:
Таксист по городу ночь катает.
Лиса-чернобурка, золотые сережки —
Положила ноченька ножку на ножку,
Сigaretкой дымит, пальчиком манит,
Мальчику-зайчику спать не велит.
Обнимет, поцелует, с собой заберет —
Наутро и следа никто не найдет!

А еще птица
Пряжу прясть мастерица:
С улицы — лучик, из подушки — пух,
Ниточка бежит — не рвется,
В руки никому не дается.
Повисишь на ней, покачаешься,
Пока мама не увидала,
По городу покатаешься
И — под одеяло.

На ветвях не русалки косы заплетают —
Друзья мои хорошие сидят, выпивают!
Прямо из горлышка, до самого доньшка.
Отведи от них, Господи, красного околыша.
Буль-буль, а закусить-то и нечем!
Синий воздух на закуску, зеленый вечер.
Жаль, нас там не было — тебе бы понравилось,
Зеленого бы вечера в Москве поубавилось.

Поет птица, колыбель качает,
Еще один сон вить начинает.
Собрались друзья — один не пришел.
Где потерялся?
Девушку нашел,
С ней загулялся.
Она юбкой вертит, как черт хвостом,
Сушит посулом, а потом — постом,
А он рад стараться, за ней увиваться —
Не долго юбке-то шелестеть-красоваться:
На стул отброшена, пеплом припорошена...
Главное, чтоб на радость все, по-хорошему.

Птица новое перышко уронила —
 Темно стало, Господи.
 Не сон — могила.
 Давит на грудь — ни позвать, ни вздохнуть.
 Где милый? Не слышно!
 Всю ночь обшарь, все углы обзвони...
 За подкладкою где-нибудь?
 Вот как оно все вышло-то!
 Был — как не был. Был, да пропал.
 Двух слов не сказал.

Музыканты по улице идут, веселятся,
 Девушкам подмигивают, парней не боятся!
 Один в дудку дует, другой скрипкой машет:
 Правда — ваша! А веселье — наше!

Что еще видно-то? Перышко новое.
 Дома сиди, не гуляй, чернобровая.
 Сиди, разговаривай, чай заваривай,
 Крути-переворачивай концерты да арии.
 Это птица-певунья, синяя да нежная,
 Горло серебряное, перышко снежное:
 Зима, зима... Вот и зима!
 Снегу навалит — ума прибавится.
 А не прибавится — хороша и без ума.
 Сама без ума, а умному нравится.
 Умный-то умный, а стал безумный.
 Что это, Господи?
 Праздник шумный!

Все кругом — белое. Что не белое, то черное.
 Катится по блюдцу кольцо проворное,
 Снутри — серебряное, снаружи — золотое.
 Пьют, поют, пляшут — пир горою!
 На горе — терем. В тереме — тесто.
 Зима, зима...
 Черный жених, белая невеста.
 Тут уж не до ума!
 Сквозняк дверью хлопает —
 Дядька ногами топает,
 Пьет, поет, пляшет —
 Кулаком машет!
 Куда тут деваться? К кому прижиматься?
 Платье потерялося — не во что одеваться...

Птица поет-распевает, перья теряет.
 Правое крыло — тает,
 Левое — тает.
 Горло соловьиное петь устало.
 Птица пропала. Пора под одеяло.
 Под одеялом тепло, хорошо.
 На дворе — первый снежок.
 Дворник старается, двор скребет.
 Сон-то ясный. Да кто разберет?

Комару

В холодный день, уже почти осенний,
 Знакомый надо мной запел рожок.
 Откуда, мимолетное виденье?
 Ужели ты, комарик мой, дружок?

Когда вас много было, легкокрылых,
Я ненавижу вас! Так что же мне
Теперь твое явление так мило
И сладок зов в печальной тишине?

Ты на руку мне сел — я не ударил,
Я сдул тебя. Лети! Куда лететь?
Куда б теперь ты крылышки направил?
Листья желтеет. И повсюду смерть.

Она, смотри, косою холодной машет —
И никнут травы. И смолкает свист
И щебет птичий. И Анютой нашей
Поставлен в вазу клена красный лист.

Мучитель мой ночной! Я не обижен.
Что было, то прошло, и летний жар
Прохладою сменился. Нынче вижу
Я твой ущерб и грусть твою, комар.

Иное было дело, как впивался
Ты в плоть живую, крови лишь хотя.
Теперь один под небом ты остался.
И что? Ты беззащитен, как дитя.

О, не грусти! Все движется по кругу.
Тебе и мне — всем смертным суждено
Оставить дом, детей, родню, подругу,
Уйти туда, где пусто и темно.

Всем суждено на атомы распасться.
Велик был Рим — и покорился Рим.
Мертва латынь. И где старик Гораций,
Лишь «Памятником» памятный своим?

Из Горация

Хорошо жить, ни о чем не заботясь.
Самого себя называть бездельник.
На диване лежать. С воскресеньем, с субботой
Путать прочие дни, например, понедельник.

Не смотреть в календарь. Проживать в коттедже.
На природе, но чтобы и город близко.
Только в старой, уютной ходить одежде.
У камина сидеть, попивая виски

Или наш коньячок армянский. Зимой
Выходить на лыжах с утра кататься.
Летом ездить на юг с молодой женою
И двумя детьми. А еще встречаться

Иногда с одной черноглазой, шустрой,
Длинноногой блядью. Звонить с дороги.
Без ненужных вздохов — при чем тут чувства? —
Приезжать и трахать — и вся недолга.

Угощать друзей, если вдруг нагрянут.
Под гитару петь. Огурцы, грибочки
Подавать своего засола. Спьяну
Анекдоты травить, засидевшись ночью.

Но все больше — быть одному. Украдкой,
Запершись от своих на ключ, в кабинете
На столе пустом разложить тетрадки
И писать, забыв обо всем на свете!

И уйти с головою в свои сюжеты.
Стать героем романа. Припомнить юность.
Черный кофе хлестать, садить сигареты
Штук по десять подряд, над листом сутулясь,

Замышляя подвох, развивая тему,
Все построить — и все опрокинуть смело...
Так мечтает в конторе Баксин. Совсем уж
Он и деньги собрал. Да пустил их в дело.

* *
*

Снова осень. Здравствуй, осень!
Облетают деревья.
Снова мы на сердце носим
Немудреные слова.

Синева в оконной раме.
Золотые дни стоят.
Желто-красными звездами
Тихо клены шелестят.

Что за ясное сиянье?
Что за чистое стекло?
До свиданья! До свиданья!
Лето быстрое прошло!

Так любуйся, улыбайся,
Жив-здоров ты, невредим.
Мимо окон поднимайся
Прямо в небо, горький дым!

Листья тлеют, перетлеют,
Пеплом станут. Знаешь ты,

Что ничто не уцелеет
От осенней красоты,

Что все хрупко это, кратко
И всего на миг один —
Дым белесый, горько-сладкий
И безоблачная синь.

Что всего на миг какой-то,
А потом дожди придут,
Потемнеет новостройка,
Грязь машины развезут.

А потом мороз ударит.
Скользко станет на дворе.
Купим новый календарик
И подарки в декабре.

А весной однажды вынем
Запыленный толстый том
И случайно в середине
Пересохший лист найдем.

* *
*

Отключена горячая вода.
Прохладна середина лета.
Приходит утро. Ночи нет следа.
Холодный душ. Сухая сигарета.

И звонкие удары по мячу
Слышны внизу, на школьном стадионе.
Я в бесконечность светлую лечу,
Прижав к глазам холодные ладони.



АНАТОЛИЙ КИМ

*

КАЗАК ДАВЛЕТ

Когда я был казаком Давлетом, я жил на юге России, убивал людей и сам много раз подвергался смертельной опасности. В Санкт-Петербурге мне пришлось быть детским писателем, и южные мои привычки на холодном Севере давали себя знать. Однажды я схватил за горло щекастого партийного чиновника, и это белое горло было таким податливым, что я еле сдержался, чтобы до конца не удушить канцелярскую крысу.

Потом, когда меня выдворили из России, я оказался в Нью-Йорке, и там на Бродвее ко мне средь бела дня пристал африканец-нищий в белой дубленке, такой же верзила, как и я, и мне пришлось стукнуть его, вложив в удар всю свою силу. При этом я высказался вслух, что у меня никогда не было такой роскошной дубленки, как у этого уличного побирушки. В ответ на это дружок нищего, тоже цветной, которого я и не заметил, воткнул мне в брюхо длинный грязный нож. И тут моя жизнь детского писателя закончилась, а негритосы убежали, смеясь и оборачиваясь на ходу, и тот, которого я ударил, вытирал рукою окровавленный рот.

Конечно, я был пьян, иначе бы я африканца и не тронул и славная детвора разных стран заполучила бы от меня еще несколько милых книжек. Но начались мои новые скитания по земле, все по той же земле, на которой мне предстоит появляться снова и снова — потому что я убивал людей, когда был казаком Давлетом, и меня после смерти никуда больше не принимают, нигде в другом мире не ждут.

В Лиссабон на всемирную литературную конференцию приехало много писателей из разных стран, и российскую литературу представляли два полуеврея, армянин и какой-то кореец. Но я с ними хотел говорить на миллом мне русском языке, звучным и вкусным петербургским выговором, и я приходил к ним в их помпезные номера гостиницы «Ритц», куда нас поселили, писателей со всего света, и поначалу не пил ни капли. На третий же день я опустошил весь мини-бар у себя в номере, затем пошел к корейцу, который оказался непьющим, выдул весь алкоголь из его мини-бара и закончил тем же самым в номере армянина. Я им показал славный аттракцион, сливая в один большой бокал виски, джин, водку и все это вместе выпивая за один прием.

После всего мне захотелось дать восемьдесят долларов корейцу, но он горделиво и нервно отказывался, так и не взял у меня денег, зато армянин, кажется, не отказался. Меня организаторы конференции решили отправить назад в Нью-Йорк, отвезли в лиссабонский аэропорт, но на самолет я почему-то не попал и на другое утро очнулся вновь в своем номере в «Ритце».

Я решительно не помнил, каким образом меня привезли назад из аэропорта, как не помнил и о том, когда и при каких обстоятельствах попал когда-то с юга России в холодный Петербург. Я был в номере совершенно один, но об этом-то ясно помнил: что всегда, кем бы я ни был и где бы ни был, всегда был один и, просыпаясь по утрам, с горечью и великим отвращением предощущал новую, уже скорую, очередную свою погибель. Меня обязательно должны были отправить в следующее путешествие посредством насильственной смерти.

Итак, эта скотина негр в белой дубленке, нищенствующий наглец, ясно предвиделся мне в то утро, и я не поехал на заседание этого дня конференции, которая проходила в старинном дворце где-то на горе, откуда открывался

ся широкий простор с видом на Лиссабон в красных черепичных крышах.. Я пошел гулять по улицам португальской столицы.

Значит, он не поехал на заседание, а отправился гулять по крутым изогнутым улицам Лиссабона. Огромного роста, широко распахнутый в плечах, с массивной темной головой как бы чугунного литья, но с робким детским взглядом своих карих казацких глаз, он вызывал изумление у встречных, и многие, пройдя мимо, оглядывались вслед ему. У него был аккуратно по-американски выстриженный затылок.

Ах как грустно мне смотреть на унылую, неуверенную фигуру, одинокое тело иностранца, бредущего по незнакомым дебрям чужого города сквозь иноземную толпу с их непонятными взглядами и движениями! Какие-то мелкие темноглазые девушки, возглавляемые монахиней, испуганно шарахнулись в сторону и обошли меня, словно им было ведомо, что я казак Давлет из русских степей, зарубивший саблей множество турок и крымских татар. И многие другие прохожие посматривали на него с опаской.

Эта встреча произошла на какой-то круглой площади, обстроенной старинными домами, украшенными заплесневелыми ампирическими завитушками. Посреди площади находился обсохший фонтан с голыми купидонами, которые также были покрыты пятнами плесени, как темной паршой. Какая-то женщина сидела на камнях фонтанного парапета, вольно раскинув по ним свою широкую юбку мутно-зеленого цвета.

Я подошел, сел рядом, вынул сигареты, закурил, а потом произнес по-русски, неспешно разглядывая незнакомку:

— Я детский писатель, хороший детский писатель. Дети любят мои книжки, меня не надо бояться.

Это была туристка, по всей видимости, американка. Рыжеватые волосы патлами, как бы немывые и нечесанные. Увядшая бурая кожа на шее, на руках, как будто бы от плохого питания и преждевременной старости. Блеклых цветов одежда, как бы выгоревшая, старая и дешевая. Но все было не так, я знал, а как раз наоборот: и волосы чистые, деланные в модную прическу, покрытые лаком, и курортный загар, и каждый день превосходное питание, и одежда добротная, с хорошим вкусом, тщательно подобранная. Прекрасные белые крупные зубы, яркая синева глаз, умных, настороженных и уверенных.

— Я не понимаю тебя, — ответила она по-английски. — Но я вижу, что ты иностранец и у тебя какие-то проблемы.. Чем я могу помочь?

— Молочница, — продолжал я по-русски. — Умница. Меня беспокоит то, что я скоро опять умру. Меня зарежет один нигер.

— Нигер? — спросила она. — Какой нигер? Я тебя не понимаю.

Казак Давлет прикрыл свои тяжелые веки и безмолвно посидел минуту с закрытыми глазами. Я смотрел на него и американку, сидя за столиком уличного кафе, в котором подавали пиво и вареных моллюсков. Я и был тем самым африканцем в белой дубленке, которого казак Давлет двинет кулаком по зубам на Бродвее. Но сейчас было жарко, никакой дубленки на мне не было, и вокруг был не Нью-Йорк, а Лиссабон, и я сидел в кругу своих приятелей за столиком уличного кафе, пил пиво и ел мясо морских улиток.

— Я не знаю, который из них, — говорил казак Давлет, указывая на компанию цветных. — Дело в том, что каждый раз, когда человек кого-нибудь убивает, он убивает сам себя.

— Не надо показывать на них рукой, — вполголоса произнесла она, строго взглянув на него синими глазами. — Они этого не любят, у тебя могут быть неприятности.

— Ничего, — отмахнулся он потухшей сигаретой, затем выкинул окурочек в сухой фонтан. — После того, что я узнал во сне сегодня утром, мне уже ничего не страшно.

Высоченный негр в открытой майке и апельсиновых шортах встал из-за столика и, сопровождаемый веселыми возгласами приятелей, двинулся в направлении фонтана, лениво приволакивая ноги в огромных пестрых кедах без шнуровки. Это был я, который подходил к казаку Давлету, чтобы разделаться с ним. Мне было весело с моими глыбами черных мускулов на

плечах, с кулаками величиною с кувалду каждый, и я скалил мокрые белые зубы, на ходу оглядываясь в сторону подзадоривающих меня дружок.

Неизвестно, чем бы все кончилось на сей раз для казака Давлета, но тут как по заказу явился из переулка, выходящего на площадь, полицейский в заломленной фуражке, с пистолетом на бедре. Остановившись недалеко от фонтана, он сложил руки за спиною и стал демонстративно наблюдать за негритянским парнем. Тот остановился, оскалился в улыбке еще шире, чем раньше, затем далеко отставил свой обтянутый оранжевыми шортами зад и сделал немислимое движение какого-то танца. Полицейский, однако, даже не улыбнулся, в упор глядя на него. Тогда парень повернулся и, все так же приволакивая огромные кеды без шнурков, вернулся назад к своей компании.

Женщина живо соскочила с фонтанной стенки и, схватив за руку казака Давлета, повлекла его за собою. И он, на две головы выше нее, послушно следовал за нею, — я проводил их своим пристальным полицейским взглядом, пока они шли в сторону переулка. И мне подумалось не без самодовольства: не зайвись я вовремя, этот черномазый мог бы натворить бед. Скверный парень. А я всегда при исполнении долга. У меня нюх на преступления: уж сколько раз бывало, что я появлялся как раз вовремя, чтобы пресечь опасные действия... Мне поверх голов снующей по краю площади толпы был виден аккуратно выстриженный американский затылок удалявшегося казака Давлета.

Они шли по запутанным улицам древней португальской столицы, и он не знал, куда они идут. Разговаривали самым странным образом: он говорил порусски, она по-английски, она не понимала его и не тяготилась, видимо, этим обстоятельством, а он и не старался, чтобы женщина его понимала.

— Мне кажется, моя голубушка, что я раза четыре уже появлялся на этом свете, и каждый раз меня убивали. И всегда ножом: то в спину, то в живот и ни разу не попали прямо в сердце.

— У тебя, оказывается, совсем маленькая рука, почти как у меня, — говорила она. — А сам ты вон какой громила. И кожа на ладонях твоих совершенно гладкая, нежная, как у женщины. Ну как мужчине можно иметь такие мягкие руки?

— Я же тебе сказал, что я детский писатель. А насчет рук вот что скажу. Здоровался я как-то с одним профессиональным боксером-тяжеловесом. Так вот, ручка-то у него была понежнее, чем у меня...

— Но эти потрясающие глаза! Я никогда ни у кого не видела таких глаз. Они у тебя как у очень хорошего послушного пятилетнего ребенка.

— И у тебя, миленькая, совершенно потрясающие глаза. Боже, да какие же они у тебя синие! Наверное, в детстве тебя звали Синеглазкой.

— Я хочу знать, кто ты. Я хочу что-нибудь подарить тебе на память. Но у меня ничего нет сейчас. Только этот медальон на золотой цепочке, вещь очень дорогая.

— Что мы можем дать другому? Да ничего. Негр, которого я вовремя не замечу, где-то крадется тихонько сзади. Вместо этой золотой безделушки, право, подарила бы ты мне какой-нибудь талисман, Синеглазка.

— Талисман? Нет. Это я купила в Аделаиде, в японском супермаркете.

— Впрочем, никакие талисманы мне не помогут. Тот, кто убивает другого, убьет самого себя. Это значит, что нигер, который проткнет меня грязным ножом, это я сам. И я сделаю это где-то осенью или будущей весной.

— Ты все время боишься какого-то негра. Что-то грозит тебе, я вижу. И ты хотел бы иметь эту вещичку как талисман. Ну что ж, я тебе дарю ее.

Она отцепила от себя золотую цепочку и, словно приподнявшись на пуантах, как балерина, надела медальон на мощную прохладную шею гиганта. Он терпеливо ждал, наклонившись и замерев перед нею.

Когда она закончила свое дело и с удовлетворенным видом полюбовалась на то, как засверкала золотая цепочка вокруг его загорелой красивой шеи, он стал осторожно снимать медальон с себя. Затем бережно проделал то же самое, что она с ним: надел на ее стройную шейку цепочку, завинтил скрепу. И заглянул в самую потаенную и беспомощную часть ее души своими карими, чистыми детскими глазами.

Я заплакала, не знаю почему. Может быть, меня ужаснула мысль, что люди так мало могут — почти что ничего не могут сделать друг для друга. Никто никого спасти не может. Я смотрела на казака Давлета, ясно понимая, что мы сейчас, в сию минуту, выяснили горчайшую правду. Она была в том, что наша встреча у фонтана на старинной площади Лиссабона была ни к чему. Казак Давлет тоже понял это, в глазах у него также сверкнули тяжкие слезы, и он отвернулся от меня.

Тут он вдруг заметил, что вид города с того места, куда они пришли, удивительно знаком. Море красных черепичных крыш, ступенчато громоздившихся на террасах отлогих холмов. Открытый футбольный стадион, по зеленому газону которого гоняли мяч игроки в красных и желтых майках — те же самые футболисты, казалось ему, которых он уже видел раньше в той же самой тренировочной игре...

Лиссабон с этого места он несомненно обзирал не раз. Оказалось, что незаметно для него они вышли к тому старинному дворцу, где проходили утренние заседания писательской конференции. Обычно ее участников привозили сюда из «Ритца» на большом автобусе.

— Вот мы и пришли, — сказала она. — Теперь я должна пойти вон в тот дом и работать. Мне надо взять интервью у нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Для этого я и прилетела вчера из Австралии.

Она ушла, на прощанье помахав ему рукой. А он стоял и смотрел ей вслед, не понимая, для чего нужна была эта случайная встреча. Женщина была стройна, шаг ее был сильным и упругим. И ему стало непонятно, что теперь делать: эта порывистая красивая австралийка рассталась с ним, не зная, что он тоже участник этой всемирной писательской конференции.

Он стоял на площади перед дворцом и растерянно улыбался, покачивая головой. Он думал: она подарила мне дорогой талисман, как дарят обычно что-нибудь близкому человеку в минуту вечного прощания. И тут казак Давлет как бы очнулся от какого-то наваждения — и увидел себя, свою несуразную громадную фигуру, торчащую посреди площади перед домом заседаний, в котором надлежало в этот час быть ему и слушать чью-нибудь речь, полную замогильного вздора.

Потом он увидел, что по двору перед дворцом расхаживает кореец из России, напялив на голову наушники карманного радио, и слушает выступления на конференции. Так он обычно и делал, этот представитель русской литературы, чтобы не томиться в зале: гулял по двору и слушал ораторов по радио.

Казак Давлет приветствовал его коротким жестом, вскинув над головою руку, затем повернулся и отправился назад в город. И я смотрел ему вслед, такому огромному и сильному на вид, столь убедительным образом существующему — и в то же время совершенно призрачному и постороннему среди господ писателей этой конференции. Там было довольно много и других людей, похожих на призраков, потому что писатели обычно похожи на них. Был седой исландец, сильно напивавшийся к вечеру. Был Салман Рушди, которого вскоре магометане приговорят к смерти за оскорбление ислама, — лысоватый чернявый щеголь в каких-то невероятных шелковых развевающихся одеждах. Еврей Зиновий Зинник, английский представитель русской литературы, — белесый горбун с вкрадчивой походкой. Мой друг армянин и я сам... Но среди всех нас, прославленных на весь мир или совершенно безвестных призраков, казак Давлет был призрачен убедительнее всех прочих.

Итак, он поцеловал руку австралийской журналистке, приветствовал меня жестом и торопливой походкой удалился восвояси в город, словно его там ждали с неотложным и срочным делом. Он мучился тем, что никто никому ничего не может дать, ни денег, ни любви. Встречи мужчин и женщин приводят к недоразумениям, восемьдесят долларов совершеннейший пустяк, если очень скоро, не пройдет и года, тебя на улице зарежет негр. И в скором времени в «Литературной газете» я однажды вдруг прочитаю, что казака Давлета не стало на свете.

ВЛАДИМИР ГОЛОВАНОВ

*

БОЛЬНОЙ УБЕГАЕТ ИЗ ЗАМКА

Жизнь такова, какова она есть,
Больше никакова.

Из ранних стихов.

* *
*

Больной убегает из замка
При свете вечерней зари.

Не вскрикнула даже цесарка,
И ключ оказался в двери.

Никто чтоб догнать не пытался, —
В редющем свете вершин
Больной над землей приподнялся
И дальше легко поспешил.

Упали от ярости на пол
Все сестры, врачи, сторожа.
И только потрескивал капор,
Как тлеющий тихо пожар.

А ночь рукава поднимала,
Ему открывала миры.

Плясали пылинки крахмала,
И бились об них комары.

И в страшном припадке вторичном
Забили ногами врачи,
К редющим стенам больничным
Они побежали в ночи.

Чертили зеленые стрелки
Их туфли в бесшумных чулках.

Следы были видны у двёрки,
Они исчезали в полях.

Которые плыли, меняли
Свой вид, как покой поправлял.

Руками, как будто рулями,
Больной направление менял.

Огромная, словно цесарка,
В танцующий круг фитильков
Погоня вскочила у замка,
Но нет на земле дураков.

Музыка

В тощую грудь скрипачка скрипку вонзила,
В толстую грудь скрипачка скрипку вонзила,
И в идеальную грудь
Скрипачка скрипку вонзила.

Люди с лицом убийцы,
Люди с лицом таракана,
С маленькими задами
И голубыми глазами
В бане сидят и слушают
Музыку из динамиков.

Пьяный директор бани —
Раз, два, три — марширует,
Раз, два, три — марширует,
Стой! — опускает ногу.

...Трезвый директор бани
Молча сидит и смотрит,
Как мозолистка Шура
Делает молча дело.

Там, в отделенье напротив,
Полное сонных банщиц,
Входит скрипачка с зонтиком,
С веником и подругой.

Молча она раздевается
И, повернувши задом,
Пухленькую подружку
Веником бьет по шее.

Тонкие пальцы скрипачки
Трут идеальные груди,
И — как смычок — предплечье
В пене скользит беззвучно.

Люди с лицом из пепла,
Шифера и гранита,
Чая, кефира и уксуса,
Водки и маргарина
Спины друг другу моют,
Волосы промывают.

Форточки все открыты,
И облака проплывают.
И во всех отделениях
Бани, где есть динамики,
Скрипки с утра играют.
Головы вытирают,
И полотенца смятые
Банщики собирают.

Стансы

Забыт художник, но не Богом
И даже не страной своей,
А тем, что каждого сильней
В своем величии убогом.

Я понимаю так любовь, пространство, время, —
Все, что мчится,
Пока не ляжет, как горчица,
На хлеб художнических дней.

Быть может, да, быть может, нет,
Но доказательством — картина,
Где черных трещин паутина
Уже таит автопортрет.

От кошек, выкидышей, жен,
От вулканического быта
Был смертью он освобожден,
А вот и выставка открыта.

Двойной небрежный ряд картин
Висит уже без паутин.

И даже буквы слов о них —
На тонких щепках золотых.

Ругает слабый верхний свет
Своей жене искусствовед.

Перила хрупкие круша,
Идут птенцы Мэсэхэша.

А вот и родственники тут,
Они, наверно, славы ждут.

А что кого интересует,
Тот это здесь перерисует.

Фотографирующий глаз
Поймет души фокусировку
И вот уже свою обновку
Назавтра выставит для нас.

А будет ли и там, как здесь,
Одна лишь комната, жарыща,
Заката смутная кровяща...
Всему на свете место есть.

Входя в каморку ли, в сарай,
В чердак, с утра залитый светом,
Жизнь существует, как мораль
Для не нуждающихся в этом.

Быть может, нет, быть может, нет,
Быть может, нет на свете правды,
А только к смерти и в парады
Стук стратегических карет.

Быть может, да, быть может, нет,
Но доказательством у стенки
Мерцают краски и оттенки —
Победы собственный портрет.

Но там не видится конца,
Где даже строчка пригодится,
Пока луна — как ягодица
Во тьму бегущего гонца.

* *
*

Тем больше понимая игру,
Чем меньше понимая ее,
Жила себе собака в миру,
А Богу было жалко ее.

Чтоб ей не загреметь к палачам
(Там рядом живодерня была),
Он лаял за нее по ночам,
Когда она охрипшей была.

Он ногу за нее волочил,
Отбитую проезжей херней,
Он даже ее плакать учил,
Чтоб легче было жить над землей.

Но кости грызть он ей уступал,
А сам светился в сонме комет.
Бывало, даже ямку копал
Для косточек и старых котлет.

Собака это знала слегка
И думала: «Ему нелегко —
Ни шерсти у него, ни клыка,
Ни глаза с одичалым райком».

И думала: «Он больше меня,
А кажется — я больше, чем он.
Вот бегаю я, цепью звеня,
А слышится его перезвон».

И думала: «Он так мне помог,
Когда ломать хотели хребет.
Я буду называть его Бог,
Ему другого имени нет».

И думала: «А если умру,
То пусть живет другое зверье...»
Тем больше понимая игру,
Чем меньше понимая ее.

* *
*

В обозримых пределах желудка
Рентгенолог не язву ль искал?
Как цветок. Лучше б он так же чутко
Возбужденную деву ласкал.

Так люблю я ее, столь нагую, —
Что и шпилек табун за углом...
Рентгенолог бы видел другую,
Но ему, в темноте, поделом.

У его неподвижной постели,
Где ночные кошмары сидят,
Пышнобедрые женские тени
Сквозь костлявые души глядят.

* *
*

Старичочек, вдруг так захотелось домой,
Как, бывает, захочется выпить перцовки,
И уже на машине лечу грузовой,
Как я сам понимаю, к печальной концовке.

Что мне дома? А снова укору семьи,
Что жена моя снова с другими по скверам
И сокровища снова транжирит свои
По каким-то притонам, квартирам и хеврам.

А сокровищ так много:
Во-первых, нога,
Если левая, то
Левизною прекрасна,
Если правая, то
Хороша правизна,
Если обе, тогда
Это просто опасно.

И могу ли винить я
Несчастных бродяг
По пустыням безножья,
Где кремль-погорелец,
Что сражение проиграно,
Крейсер «Варяг»
Погибает вдвоем
С канонеркой «Кореец».

Во-вторых, горячо же мне,
Если начну
Подниматься глазами по этому телу.
Ну а если уж трону, то чур меня, чур,
Я уж лучше чулки ей, как траур, надену.

А потом — голова. Это делу венец.
Это так все спрессовано в пику уродству,
Что вот рядом лежит, умирает юнец,
А за ним остальные
По весу и росту.

А про груди-то вспомнил — про груди забыл!
Про сосков бесконечный дышащий диалог.
Эти груди — как в горных селеньях зобы
У прекрасных горянок, у стройных горянок.

Это тело гремит по Москве, как прибой,
Оставляя разруху, разброды, бестелость.
Старичочек, вдруг так захотелось домой.
Старичок, так ужасно домой захотелось.

Это прямо туда, где страна сожжена
И, от гари медвяней,
Где мчатся по кругу
Моя цель и жена,
Моя страсть и жена
И навстречу друг другу.

Печаль по женщине

Опишу тебе женщину,
Чтобы знал ты ее,
Прорубившую трещину
Через сердце мое.

У нее ниже правильно
Обведенной щеки
Ровный срез, как у планера
И у минной чеки.

Осторожней будь в действии,
Проверяя обрез,
Я и сам к этой бестии
Только чуть не залез.

Надоела грудь Марьина
Да бока Аграфен,
Вдруг Юдифью помавило,
Благо что Олоферн.

Говорила бы армия,
Что дурак дураком,
Ну а свора бы Марьина
К сундукам прямиком.

Да плевать бы на яхонты,
На смарагды и чернь,
Как ручей из-под пахоты
Через плечи ручей.

Вкусом даже медовистой,
Только цены не те...
Только ладно, что новости
Я узнал в темноте

По дрожанию мускула,
По игре живота,
По дыханию узкого
Полусжатого рта.

По тому, что, как лезвие,
Грань лопаток пряма...
Дело война — трезвое
Состоянье ума.

Для высот полководчества
Отвлеченного нет,
Ты подумай про творчество,
Я — про цены побед.

Опишу тебе женщину,
Но не всю, а до плеч...
Прорубившую трещину,
Уронившую меч.

* *
*

Кто здесь Голованов?
Я здесь Голованов!
Спит моя любимая —
Сердце океанов.

Так мне это кажется,
Если присмотреться.
Спит моя типажница —
Маленькое сердце...

Кружит белым айсбергом
Грудь в районе сердца.
Маленькая-маленькая,
Если присмотреться.

Тонет, поднимается,
Манит флотоводца.
Что куда девается?
Где потом берется?

Плавали сиренами
Губы, улыбнувшись.
Песнями смиренными
Наводили ужас.

Снова за нырнувшими
Скрылись временами.
Мало мы послушали,
Долго вспоминали.

Спит моя любимая,
В снах своих ныряет,
Шея ее милая
Волны повторяет.

Точечка глубинная
Песен и обманов.
Спит моя любимая —
Сердце океанов.



ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

*

ДЕВОЧКИ

Рассказы

Чужие дети

О акты были таковы: первой родилась Гаянэ, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить — тяжело и болезненно.

Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаянэ мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.

Невзирая на суматоху, поднимающуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы — однойцевые и это не очень хорошо — она держалась того мнения, что однойцевые близнецы физически слабее разнояйцевых, — а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая 22 августа, а вторая, через пятнадцать минут, но уже после полуночи, 23-го...

Пока мать девочек Маргарита, не унижившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспомощства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула вопреки прогнозам врачей из промежуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой. К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме — чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем, еще безмянная, тоже заплакала — зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внукам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опрешшие складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория — она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», — яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «арач арачин», «первая», голоса вообще не давала.

Лежа валетом в кровати-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и

набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрывивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, старшая, по мнению Эммы Ашотовны, была потоньше и помилостивей.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотова девочек не показала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотова, причудливо сцепив пальцы, мелко поплеывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотова человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так с помощью этой своеобразной игры решала она обыкновенно свои житейские задачи.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвякивающими в ее крупной голове, под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей, профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, — скорее вопреки их ожиданиям... Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям — подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада сквозь просветы крупных листьев инжира и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира...

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, утрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через ко-

роткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мягкую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал он в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск укрытого от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он без предварительного извещения явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию — на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, — и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, но грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две — не предвидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания: «Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившись плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась брать их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременно появлением двух вражеских существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал

на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они... И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» — было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиногo одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе — обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немислимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-«молнией» на груди и густой россыпью розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза. Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумывавшуюся телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогаоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию за него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, и ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих...

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синееют по мере удаления, и нащупывала одновременно золотую ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась — не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. Со временем по шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно взывая к жестокосердому мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленатые, перегретые, как пирожки в духовке — Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, — девочки довольно долго спали в одной кровати. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще Феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом: агу, агу, агушеньки...

Потом внесли вторую кровать, и они росли, смотрелись друг в друга как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаянэ тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезываться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свои письма дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что тем самым он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зееловских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины. Однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике уже отданного города и вывел его ночью, когда город был уже полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок от пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

— Заговорен, — говорил его друг Филиппов...

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день для Эммы Ашотовны был днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он нагородил после рождения детей.

Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула:

— Да, да...

— Теперь Серго вернется, — неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

— Да, да, — безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

...Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет, к чертям собачьим, просто задушит руками.

Серго хрунал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен — как если бы это был запах родного тела. Поднялся во второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом отсеке. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкому рельсу — изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кровати, уголок пододеяльника, другая стояла в кровати и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплонула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаянэ отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

— Дядька плохой! — объявила она. — Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

— Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

— Марго, — позвал он тихо, — это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

— Хорошо.

И отвернулась.

— Больная. Совсем больная, — поверил он наконец.

...Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внуками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

— Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они две свечечки были за тебя...

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «би-лядь», хотя и больная, дети — чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи. Господи, сделай так! Господи, сделай! — отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

— Твой дом ждал тебя, Серго... Вот чашка твоя, смотри... Маргарита не велела трогать... Книжки твои и тетради старые стоят как стояли... Дождались мы, дождались тебя... Только Александра Арамовича нет с нами... Дети твои дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет...

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие, тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу — как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, — и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали.

Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально — он был крупный человек — и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

— Мама, почему дети плачут? Идите к ним.

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни — к слову сказать, первой болезни с довоенного времени — она едва могла помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам...

Эмме Ашотовне поставили диагноз — множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев — для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодички. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад, в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

Подкидыш

Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент — пренатальной или постнатальной — жизни Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаянэ.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но проныцательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млеял от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаянэ, и готов был мычать телянчиком, блять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаянэ, и в присутствии отца задирать сестру перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаянэ уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся для экономии жилого места по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами в вокзальном ожидании высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества — сидела в узенькой комнате в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос,

которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «доброе утро, мамочка» и «спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаянэ сильно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом по случаю простуды девочек был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда он был очень старым доктором. Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправка его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

— Так как же зовут наших барышень? — вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

— Гаянэ, — ответила робкая Гаянэ, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

— Гаянэ, Гаянэ, прекрасно, — восхитился доктор. — А вас, милая барышня? — обратился он к Виктории.

Виктория подумала, о чем — сам Фрейд не догадается, и ответила коварно:

— Гаянэ.

Истинная Гаянэ оскорбленно и тихо заплакала:

— Я, я Гаянэ...

Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного — ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

— Так, так, так, — протикал доктор медленно. — Гаянэ... прекрасно... — Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: — А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией и Гаянэ, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

— Я Виктория, — вздохнула она наконец, и Гаянэ тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, отнеся ее за счет неземного обаяния внушек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и выростившей Феню под крылом добрых хозяев. А может, тень Йогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства няnek и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах: «Сегодня с новыми детьми гуляли, с адмираловыми!» Или: «Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеры», — сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом — чего Феня не знала — каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаянэ, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называли одним именем.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских, у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных сказок и самодельных историй. Гаянэ же была наблюдательной молчаливицей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устройство «секретиков», уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаянэ предпочитала именно это единичное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми с соседних дач.

Здесь же, на кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гаянэ подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и где местные старухи продавали тугие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошастью, классически хромым цыган в огромном пиджаке, забитом орденовыми колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин непонятного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке — на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

— Они детей крадут, — шепнула Вика сестре, и пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: — В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным промыслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль. Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку — пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и

через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаянэ подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадей, пасущейся вдоль улицы на пыльной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

— Ой, что вижу, что вижу... Ой, смотри, беда идет... Дай руку, посмотрю...

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

— Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая!..

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаянэ крепко схватились за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Пообедали девочки на террасе, а потом бабушка разрешила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла, и тогда Вика сообщила сестре тайную вещь: оказывается, старуха цыганка — настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут...

Они разговаривали шепотом.

— Если она захочет, может в бабушку превратиться...

— В нашу бабушку? — ужаснулась Гаянэ.

— Ага. А захочет, так в папу... — пугала Вика. — Вон посмотри, ходят...

И она махнула рукой в сторону дачной ограды... Интересный план созревал в ее умной головке...

Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная.

— Ты не бойся, Гайка, — пожалела Виктория испуганную сестру, — я тебя спрячу.

— Куда? — спросила Гаянэ безнадежным голосом.

— В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут, — успокоила ее Вика.

— А ты как же?

— А я ее палкой ударю! — грозно сказала Вика, и Гаянэ в этом не усомнилась. Ударит.

Босиком, в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе, они прокрались к дровяному сараю. Вика отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь.

— Сиди здесь и не выглядывай. А когда они уйдут, я тебя выпущу.

Щеколда щелкнула снаружи. Гаянэ успокоилась: теперь она была в безопасности.

Вика проскользнула обратно в беседку, укрылась с головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так с улыбкой она и уснула.

Эмма Ашотовна разбудила ее в шестом часу и спросила, где Гаянэ. Виктория не сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка — заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз под горку в совсем запущенную часть участка, огороженную ветхим штакетником. Девочки нигде не было.

— Гаянэ! Гаянэ! — кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался.

Этот длинный крик, звук имени, со вмятиной посредине и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще

настоящей силы. Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола и над землей собирался после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков первый летний покой, и крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру.

Вика подползла к деревянному сараю и отодвинула щеколду.

— Выходи! — громко зашептала она внутрь. — Выходи, бабушка зовет!

Гаянэ сидела между старой бочкой и поленицей, вжавшись в стену одеревенелой спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гаянэ же, пережив страх столь огромный, что он не мог встать в ее семилетнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом.

Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гаянэ сначала вроде бы задремала, но выйдя из дремы от какого-то скрытного движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте: огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме. Бедной Гаянэ показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом вместе с сараем, поленицей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся как ослабшая резинка и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу. «Даже хуже, чем украли, — подумала Гаянэ, — меня забыли в каком-то страшном месте». Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее, и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает. «Гаянэ! Гаянэ!» — звал ее издали громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий...

— Гайка, выходи! — слышала она настойчивый шепот сестры. — Ушли цыгане, ушли. Тебя бабушка ищет!

Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратовской даче, и бабушка в синем горохеми платье уже шла к сараю, чтобы найти наконец пропавшую внучку, а Гаянэ, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в деревянном сарае, в начале лета, на седьмом году жизни...

Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика! Не уходи!» — и обхватила ее руками. Вика гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала:

— Ты что, ты что, Гаечка! Не бойся!

И ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами...

С этого самого дня, так остро запомнившегося Гаянэ и совершенно забытого Викторией, в Гаянэ проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами не называемое, открывшееся ей когда-то во тьме деревянного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась.

Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам: она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели; засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной

действительностью. А когда Гаянэ взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно:

— Ты что, дурочка, чего боишься-то?

Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры; взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси бывают подмешаны к человеческой любви.

Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимающая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Она была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но Эмма Ашотовна выстроила строгую и глубоко восточную иерархию: если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане.

Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов — ее собственной, дочерней и внучкиных, — плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугуном перегретым утюгом белье, скорый небрежный завтрак, мелкую уборку и приступала к приготовлению обеда со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом.

Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышкам кориандра и горошинам перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.

Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и полыхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, беззаконная, освещена желтым электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по длинной стороне стола, в другом торце восседала Эмма Ашотовна. Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала — она обедала на кухне и ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еды накладывали по маленькой ложечке.

На доннышко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая — ела она только по ночам, в одиночестве: два куса черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду — с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным, — брала в рот и не проглатывала.

В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блела свою честь перед соседками и не уставала им напоминать: «Я не кухарка, я детей подымаю».

Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки.

Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней. Но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий: Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни, а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог: слепого с глухим.

— Где Гаянэ? — неожиданно внятно спросила Маргарита.

— Гаянэ? — Серго как будто на полном ходу врезался в фонарный столб. — Гаянэ? — переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос. — Они учат уроки, — тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела.

— Где Гаянэ? — настойчиво переспросила Маргарита.

Серго встал и заглянул за перегородку. Вика сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и, когда она писала, локоть ее так и ходил.

— А где Гаянэ? — спросил отец.

Виктория дернула плечом, чернильная слеза вытекла из-под пера.

— Откуда я знаю? Я ее не сторожу, — не оборачиваясь ответила Виктория.

Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста.

Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гаянэ. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там как раз никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок, и в недоумении сказал теще:

— Маргарита спросила, где Гаянэ.

Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод закончился.

— Маргарита тебя спросила?

— Где Гаянэ... — закончил он.

Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила:

— Маргарита, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, мама, — тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита. — А где Гаянэ? — снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел наконец смысл вопроса.

Гаянэ не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшивой барашковой оторочкой. Опустевшие бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице.

— А где Гаянэ, Вика? — спросила бабушка.

— Откуда я знаю... Мы сидели-сидели, а потом она ушла, — ответила Вика.

— Давно? Куда? Почему же ты не спросила? — взорвалась целым веером вопросов бабушка.

— Да не знаю я. Не видела. Минут десять или сорок. Откуда я знаю... — все еще не отрываясь от тетради, ответила Вика. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картинку.

Эмма Ашотовна кинулась к Фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный калач замка: была суббота, Феня еще не вернулась от всенощной.

Времени было двадцать минут девятого, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель.

Не одеваясь Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне: он не знал, куда теперь идти.

Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гаянэ нигде не было...

Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Вика, учуяв через две двери запах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами и исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь. До обеда было еще далеко, но Вика получила одну — коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающей напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты. Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть. С увлечением жуя, она прислушивалась к разговору соседок. Мария Гиммофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с Феней ужасное происшествие: нынче утром во дворе на помойке нашли мертвого новорожденного ребенка.

— Я тебе говорю, Феня, это либо из восьмого, либо из двенадцатого, в нашем-то никто и не ходил... — выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна.

— Поди знай, — ворчала Феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения. — Утянутся, ушнуруются, и не увидишь.

И она очень натурально сплонула на пол. Невзирая на девство, о практических последствиях плотского греха она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение.

Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна, с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями, велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. И этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой с каштановыми скользкими волосиками. Но это было как-то неудовлетворительно: не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого, жгучего. Тогда Вика представила его совсем маленьким, розовым, похожим на не обросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со Славинными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла жадное Викино воображение.

Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла: о, если бы Гаянэ была тем воображаемым ребеночком на помойке! У Виктории дух захватило: конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гаянэ, убивает и выбрасывает... Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью: Гаянэ, с обвязанной розовым платком шеей, сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала растрепанного от многолетнего пользования «Робинзона Крузо».

Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было, ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Вика и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом: ей тоже было важно, чтобы колесико цеплялось за колесико, шатун давил на кривошип и машина в конечном счете двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гаянэ.

Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, произвольно двигала бровями вверх-вниз.

«Может, так? Бабушка рано утром выходит с ведром и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, а она живая. Она ее домой приносит и маме говорит — покорми ее, ей только три дня. А у мамы я, тоже три дня...» И опять вылезал дефект конструкции: кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку?..

Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки, собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству, и двор, всегда живущий по закону неспигаемой, как вечность, сиюминутности, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое и убийством не вполне считали...

И только Вика все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле и ее злой фантазии в сестру Гаянэ.

На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворничью квартиру, нашла искомого персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была на свой манер. Пила она каждый

день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатухе. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый большой простыней, взятой напрокат.

Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года. Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера — на два пальца от доньшика — вино... Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно-крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым фельдшером и надежным помощником была Таня Бекер в довоенное, допосадовое время.

Отмахав свои полторы ставки, двенадцать часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к восьми уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было тепло, и через несколько минут — она знала — тепло будет и внутри, и она медлила, потому что берегла и длила эту счастливую минуту, подаренную ей невзначай.

Дворовые люди невзлюбили ее за гордость, которую пронизательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы: в гнойной хирургии и неврологии.

Виктория начала артподготовку: она собирала вокруг себя кучку взъерошенных девочек и, тряся сдвоенным сине-красным помпоном на вязаной шапочке, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, а потом их сортируют — отдельно ноги, отдельно руки, отдельно головы, — и этим как раз делом и занята Бекериха.

Рассказы Виктории были страшны и притягательны, младшая из девчачьей компании, Лена Зенкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно; даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований: в темном треугольно-скошенном пространстве под лестницей, в закутке между деревянными сараями, на шестом, последнем, этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более... Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оставалась главной героиней.

Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая Гаянэ с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли. Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаянэ вынужденно оказывалась рядом с рассказчицей.

Истории про отрезанные конечности, черные простыни и оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гаянэ — самой впечатлительной из слушательниц. К тому же Гаянэ смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной Бекерихи и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы.

Эти три ступени вниз, в полуподвальную квартиру, казались Гаянэ входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж...

В тот памятный вечер они сели за уроки позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, и потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком друг

против друга. Вика подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гаянэ сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт.

— Ой! — сказала Гаянэ, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель.

— Что это у тебя? — вскинула любопытные брови Виктория, пока Гаянэ в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано квадратно и крупно: «Гаянэ. В собственные руки».

— Конверт какой-то. Письмо, — пробормотала Гаянэ. Она держала конверт двумя руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными.

— А в нем что? — почти равнодушно спросила Виктория.

Гаянэ положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гаянэ запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое «письмо» в две линейки с редкой косой и желтую «арифметику» в успокоительную клетку. В нее и уставилась Гаянэ.

— Тебе письмо, да? — не выдержала Виктория, которая пыталась делать вид незаинтересованной.

Гаянэ перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенной еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре:

— Я потом прочту.

Вика накрутила на палец кончик косы и уставилась в тетрадь — все шло неправильно. Письмо лежало на столе непрочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гаянэ как ни в чем не бывало скользила «восемьдесят шестым» пером по блестящему тетраднему листу. И действительно, вид Гаянэ имела безмятежный, но при этом она была полна дурного предчувствия и полностью была сосредоточена на письме. «Уйди отсюда, уйди. Пусть тебя совсем не будет», — заклинала она грядущую минуту. Однако мысль, что письмо можно выбросить не читая, даже не приходила ей в голову.

Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт.

— Тогда я сама прочту!

Гаянэ встрепенулась:

— Нет. Мое письмо.

И вскрыла конверт.

«Гаянэ! Вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, а я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха».

Сначала Гаянэ долго разбирала, что именно написано мелкими, набор заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо переживала необходимую паузу и наконец спросила:

— От кого письмо, Гайка?

Гаянэ молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом: он был хорош. Особенно нравилось начало: «Вот настало время тебе все узнать...»

О, это уже было, уже было... Это время, растянувшееся как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу. Ощущение ужасной кражи, чувство тьмы... И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду: страшная Бекериха — ее мать.

— Не бойся, — великодушно пообещала Виктория, — никто тебя твоей матери не отдаст.

— Ты, что ли, знала? — ужаснулась еще раз Гаянэ. Чужое знание усугубляло весь этот ужас.

Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру:

— Да ты не волнуйся так. Конечно, знала. И все знают.

— И Феня? — с глупой надеждой спросила Гаянэ.

— Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают.

Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно уж плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась.

— А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми! Приятно, думаешь?

— И заболела? — переспросила сестру Гаянэ.

— А ты думаешь? Она говорит «не хочу», а бабушка ей велит... Вот и заболела...

— А ты? — пыталась наладить треснувший миропорядок Гаянэ.

— Что я? Я-то родная дочь, а ты — подкидыш...

— А с какой помойки? — как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гаянэ.

— С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе, — изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасной новости и запах мастики, которой натерли коридор, — вот что еще она почувствовала в этот момент.

— А-а-а... — как-то вяло отозвалась Гаянэ, и Вика, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки: веселой она не получилась, вот что... И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачи и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию.

Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытый конверт и письмо лежали на краю стола. «Ревет за вешалкой», — предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного пореветь, а потом признаться, что это шутка.

И тут в комнату вошел отец и спросил:

— А где Гаянэ?

...А Гаянэ отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила. До самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавало длинные хриплые вопли. Начинаясь снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту: и одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника.

Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она поверила сестре сразу и неколебимо. Все объяснилось: тонкие тревоги ее жизни, беспокойство, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же, она чужая в семье, а ужасная Бекериха — ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее, Гаянэ, заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха.

Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, нисколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах.

Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гаянэ, виновата в болезни бедной настоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства, это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек — и одного ее горячего желания больше не жить достанет, чтобы никогда не проснуться.

Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычной ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищникам. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку

жила его подруга. Мясо, таким образом, оказывалось дважды краденным: у тигра и у юковской семьи.

Гаянэ постояла, пока человек не исчез из виду, легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых были давно переведены в теплые помещения.

В проходе между двух довольно высоких проволочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что был у них во дворе. Занесенные снегом брикеты спрессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гаянэ разгребла варежкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку у бабушкиных ног, разворошенным сеном покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и несправливой справедливости...

Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Виктория засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спустила в коммунальную Лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе эпохи.

В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторю. Вика смотрела честными глазами: врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра.

Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки Гаянэ, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие, более модные, были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны.

В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие — на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертоническим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом.

Несчастливая Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Бекерихе, которая была во всем виновата...

...Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольер, возле большого деревянного ларя он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, нетающий снег лежал на ее ресницах. Но была она не мерзлая, теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию.

Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул — она продолжала спать.

— Вишь, спящая царевна! И как ее сюда занесло, — ворчал Юков.

— Со дня осталась, что ли, — высказал предположение Васин.

— Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить... Или подождать, как сама проснется... — рассуждал Юков.

— Да они только приезжали. Стоят, поди, у ворот, — заметил Васин.

И правда, милицмейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались.

— Что-то не то, — решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больницы.

Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, пока дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже шестой час утра...

В доме на Мерзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты:

— А где Гаянэ?

Ей не отвечали.

Одна только Виктория спала — в сестриной кровати, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала Гаянэ в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза.

...Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно, в голос зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он впялился в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитом еще ранними дворниками в кучи, повел ее, в гордой шубе, в меховой шляпке с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перешел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы.

Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку, в бокс, однако, не впустили, сказав, что хоть она цела и невредима, но что-то с ней не в порядке и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специальные специалисты, поскольку она спит не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли: колени согнуты и ручки скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно и температуры нет.

Здесь Серго окончательно стало дурно, он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понюхав нашатыря, он пришел в себя, и тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло; служащие спешили к своим дребезжащим трамваям...

Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Да, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки либо с девочками. Взрослые же люди — Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна — произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства.

Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором, они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь сблизили их.

«Ах, дурак, дурак, — сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку. — Да и сама я дура, как просмотрела...» — трезво оценила ситуацию Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое — обратилась к нему с вопросом:

— Сережа, что же это такое с ней случилось, а?

— Бог знает, мама. Совсем ничего не понимаю: все есть у девочки, — сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выглядели ровесниками, пятидесятилетний Серго и шестидесятилетняя Эмма Ашотовна...

Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней ночи, но душевные силы были истрачены дотла, и потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, к кому приехала «скорая».

А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не слыша отзыва, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху уткнувшейся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красное вино так и осталось недопитым.

Феня сказала «по грехам». Но таких грехов не бывает. И никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда,

петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом десятилетней девочки, которую она и в глаза не видела...

Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала. Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры.

— Ну, что с Гаянэ? — спросила она сверху. Стеклянные палочки еще продолжали звенеть.

— Все в порядке. Она спит, — осторожно ответила Эмма Ашотовна.

— Я чуть с ума не сошла, — тихо сказала Маргарита. — Мамочка, сделай на обед плов.

Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много лет:

— Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная...

Виктория, проснувшись к этому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она зевнула, вытянула ноги и потянулась. «Какая все же Гайка дурочка.. Подарю ей мою американскую собачку», — великодушно решила она. Вылезла из постели, отыскала ленд-лизовскую собачку и посадила сестре на подушку. Плюшевого свидетеля беспокойной совести...

В это же самое время проснулась и Гаянэ. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой каталепсии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам. Сон с бельми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла глаза.

Когда она проснулась в следующий раз, бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно покрашенными губами, а оттого, что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады, Гаянэ поняла, что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела...



*Поздравляем нашего автора
Беллу Ахмадулину
с присуждением ей премии
независимого фонда
«Триумф»*

Редакция «Нового мира».

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ

*

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Если бы записи эти принадлежали человеку, известному чем-то другим, несомненным... — дело другое. А так, скажите мне даже, что вот жила, допустим, монашка, сестра милосердия, умерла в одиночестве, на чужбине или, хуже того, в центре отечества. И вот от нее остались поразительные записки. Я воспряну душой, сердцем, просветлею, порадуюсь, даже как-то даже почувствую предположительный стиль и дух ее записок. Даже почти что-то увижу внутренним зрением, какие-то камни, проросшие травами стены, погоду ее духа, дрова ее одиноких светлых тягот. Поверю, но не стану убеждаться. Вот так. Ну уж а если мне скажут, что вот одна там биология из такого-то института что-то там корябала по ходу своей жизнедеятельности, я просто шлону.

А вот если мне скажут, что запись есть магнитная, как Бродский утром встал один у себя дома, вернее, сначала лежит, вздыхает, читает, шуршит, не хочет вставать, судя по скрипам и томлению пленки, потом встает, тапки нащупывает, шаркает вдаль, там вода течет, потом бурлит, потом молчит почти что; — я стану прослушивать эту кассету.

Смею ли я рассчитывать быть прочитанной?

*

Играет рояль. И кажется, что дело делается. Так замечательно, единственно правильно. Одним словом, дело в надежных руках. И слава Богу. Симфоническая музыка, несмотря на призванность и способность заполнить все пространство мироощущения, так за тебя не работает. Она скорее олицетворяет все остальное, кроме тебя, вполне изумительное, но обнадеживающее только при условии твоего какого-то соответствия, — как хорошая жизнь. А этот черненький, такой элегантный, безупречный, а вот, поди ж ты, взялся раздолбать задачу моей жизни. И ничего не просит, не хочет — по законам явления из другого мира. Соло на других инструментах всегда служит их самовыражению. Можно ими восхититься, возвышенно позавидовать их сложной и сочной гармонии. Но они делают дело своей жизни. А рояль берется за все мои печали и так организует их, так излагает, что само их изложение гораздо существеннее их разрешения. Истинное утешение — это гениальная формулировка печали. Все остальное — подмена.

*

Сажу перед кабинетом врача. Линолеум — основное впечатление. Голые стены, поверхности. Стульчики с людьми, как реквизит театра теней. Все — кто как — сгорбились, скривились, читают, хотя и заговорить, но не решаются, не хотят, чтобы с ними заговорили. Все видны. Все принесли сюда из дома свои ботинки, сапоги, нелепые костюмы, свою потертость или относительное свое благополучие. А главное, свою печать своей жизни на своем облике. Вот, что это? Неужто вся жизнь до сего дня — сорок, пятьдесят, шестьдесят лет — шла для того, так долго долбила, вымывала, выдувала, чтобы сейчас так сло-

жились складки, такой приобрелся наклон, такая выросла борода, образовалась лысина, седина, близорукость, кривобокость? Неужели нас лепило, жало, мяло? И мы несем это как документ? Разрешите представиться! — вот что со мной жизнь сделала! И только это, собственно, она и сделала. Со мной. И мы интуитивно узнаем язык силуэтов. И ищем и иногда находим такую кривулину и загогулину, которая, как нам кажется, свидетельствует о подходящих, не противоречащих нашим представлениям о добре и зле мытарствах души и тела.

*

На пути к себе, к своей той жизни, ради которой живем, мы стоим, то смиренно, то бунтуя, в огромной очереди. Впереди нас — проблемы. Одних первоочередных тьма. Катастрофы подходят без очереди. Это могут быть землетрясения, смерти, болезни, клопы. Они грубо и с сознанием своего права, суя нам в нос свои удостоверения, отодвигают нас, почти совсем отчаявшихся достояться, — назад, назад, назад. Вечная жизнь начерно. Только перепишешь набело полстраницы — рок опрокинет на нее чернильницу. Эта хроническая неудача, это ускоренное отдаление линии горизонта, это издевательское откладывание жизни — прямо по голове стучит, выстукивает, что так жить неправильно. Поняв один раз, что такое жизненная проблема, и как она разрешается, и что оказывается потом, надо бросить эти игры. Надо уйти в касание, халтурить в отношении общепринятого. Но ведь страшно рискнуть не собой, а другими. Как надо измучиться неизбывными неразрешимыми заботами, чтобы понять, что в тюрьме-лагере есть своя компенсация тяготам и ужасам — избавление от ответственности за других. Ты непосредственно ничего им не можешь сделать, значит — уродливая, но свобода. Одна задача, данная нам при рождении, — забота только о собственной душе при нашем строе достигается только в лагере.

*

Как в самой крупной жизненной неудаче, смерти, есть мощный кайф освобождения от бремени, рабства жизни, от всякой необходимости, забот, долгов, тревог и страхов, так и в каждом элементарном несчастье, в каждой неприятности есть свой маленький кайф, свое крошечное удобство хотя бы не ждать уже этого. Маленькие крахи не только увеличивают груз жизни, но и по-своему его уменьшают. Кое-что уже, слава Богу, случилось, не все уже грозит обрушиться. Поэтому люди, на которых сыплются неприятности постоянно и неустанно, получают некоторое пристрастие, претендуют на некоторое освобождение от многих жизненных требований, частично хотя бы допустить смерть в некоторые свои пределы, чтобы уже там больше ничего не случилось. Почему затюканный неудачами человек не хочет яркого улучшения, сопротивляется чуждому ему (как неприятна бывает новая вещь) выходу из положения? Потому что надо тогда отказать смерти от тех углов, которые ей уже сданы, и получен некий капитал, который теперь надо неведомо где наскрести и отдать, и вновь решиться на все то, что уже смиренно проиграно.

*

Какая ласка заключена в мысли о смерти без сопротивления. Как будто все, кто тебя раньше не любил, — полюбили, все, кого ты любил, назначили тебе встречу, как будто все становится возможным, что упущено, потому что все-все дорогое твоей бывшей юной душе — все там.

И вот я сижу на стуле. (А если уже не надо думать о том, что стулья все сломаны и выпотрошены, а новые взять негде, некогда, некому, то какая, в сущности, это красота — стул. Почти музыкальный инструмент.) Я еще пью кофе, конечно, не так смачно, как у Ремарка или в политическом детективе, — какая-то бурда, но мне-то это и не важно. Важно личное время, происходящее в это время. И еще я догадалась, после невероятно долгого перерыва на

житейские судороги, — поставить Огдона, позволить себе рояль. И умер мой Огдон. И рояль — это смерть. Не рояль так плох, смерть благодаря ему так хороша. Она населена Бахом, Шопеном, Моцартом, Горовицем и вот — и Огдоном. Это уже почти моя смерть. Такая милая, близкая, родная и совсем — не крах, раз такие все уже там. И вот Огдон рассказывает мне, что он знает о жизни с высоты смерти. Способность понять и выразить понимание жизни с высоты смерти — это и есть Дар. Вот это самое, этот шаг в сторону, который мы делаем, чтобы осмыслить явление, чтобы увидеть его, — это и есть такое па, символизирующее переход на другой уровень взгляда, уровень отрешенности, уровень «после жизни». Мы судим жизнь с точки зрения смерти. Так нас научил Бог.

*

Очень смешно выглядит спасение мира. Замечательные рерихи-ламы и всякие вновь севшие полулотосом норвежцы и голландцы предлагают какие-то картинки, годные лишь на ширму, и нестерпимо гнусные звуки музыки — вой болевых точек (коленок, тазобедренных суставов, зубов и прочего). Вообще меня всегда потрясает смелость и наивность перехода от чрезвычайно частного к совершенно общему. А главное, достаточно сделать правильно какую-нибудь совершенно маленькую вещь — и не нужно всей жизни долгой. Непонятно, зачем повторять эти правильные ритуалы, если во время их свершения уже все удастся.

*

Как-то вера заставляет нас внутренне поморщиться. Да, конечно, наверно, нам всем — ну ясно, раз всем, то и нам, очень умным, — свойственна какая-то там форма веры. Такая материя, латающая дыры в наших познаниях. Ну, еще можно более симпатично воспользоваться этим понятием, имея в виду, как мы светлы изнутри, как чисты наши помыслы, полные веры во все хорошее. С надеждой все ясно, с любовью ничего не ясно, а вот вера — тут какая-то неловкость постигает образованного и полубразованного человека. Другая сторона такого же точно дикого отношения к вере, но «преодоленно-го», — это повальное нынешнее обращение всех и вся.

А ведь отсутствие веры — как отсутствие личности. Любовь разлита в мире, к ней можно только пристроиться, ну, приобщиться, но в ней гораздо меньше индивидуального, чем в вере. Любовь над опытом, она всегда его и выше и больше, а вот вера непосредственно связана с нашим опытом. В чем определенность, неумолимость устройства жизни? В отсутствии «контроля». В науке любой эксперимент состоит из «контроля» и «опыта». Жизненный опыт — без контроля. Так вот, вера — это наш контроль. Твоя вера — это контроль в твоём опыте.

*

В священных книгах приходится людям выдумывать слова Божьи. Поэтому ветхозаветный Бог страдает всеми теми грехами, что и его «оппоненты». На самом деле диалог с Богом — это исток того самого раздвоения личности, которое отличает человека от животного. Только это раздвоение принципиально. Потому что вообще сознание, конечно, есть у всех живых. Глупо думать, что мы устроены во многом по-другому. Мы отличаемся ровно на Бога. Мы почему-то считаем, что в «животном» поведении зверь примитивен, а человек сложен. Это не так. В инстинктивном человек так же прост, как зверь. Нам кажется ужасно откровенным катание кошки перед котом. Но нам так ясно ее поведение только потому, что наш взгляд — с другого уровня. Не стоит упрощать отдаленное. Это оптический обман, питающий гордыню. Еще глупее считать более сложным свое-родное. Чужое сложное нами обычно не замечается. А мы лишь радостно тычем пальцем, как они едят без вилок и ножей или рычат после совокупления. А почему у всех зверушек совершенно разные

характеры — на это есть гнусная надменная этология, которая на самом деле только разоблачает науку. В ней как нигде видно, как обрабатываются наблюдения кругозором.

*

Нельзя делать выводы из наблюдений над подопытными. То есть выводы можно делать, но не о них. Еще в детстве на уроке биологии, когда мы умучили лягушку (отрезали, кажется, голову) и раздражали ее мертвую ногу током, я очень удивилась, что при этом изучается «нормальная» физиология. Да, она дергалась, но потому ли лягушечка прыгает? Я бы хотела сказать сразу о многом. Отняв волю — нельзя судить.

Ответ на насилие в любой форме (в форме слов для людей — вполне вероятно) — это смерть. Жизнь и смерть не сменяют друг друга, они сосуществуют. На территории жизни очень велики владения смерти. Иногда смерть служит спасительной тенью, куда отползает истерзанная душа. Вспомните сказки, ведь сращивает отрезанные части именно мертвая вода, а живая потом лишь вдыхает в них... Убив походя, не бросайтесь в доказательство своей правоты использовать наблюдения над конвульсиями жертвы, она, мол, все равно дергалась.

Вот виварий — испытание мыслей и чувств. Я всегда верила, что все не так работает даже внутри у этих запертых когтистых, отчаянно пытающихся вспрыгнуть в знак протеста и только скользящих по решетке дна клетки — кроликов, у сбившихся в кучу, возлюбивших друг друга перед лицом потери основы жизни — мышек, у смотрящих тебе прямо в глаза крыс. Ничего вы не узнаете, ученые. Вы получите результат. Так устроен мир. Результат получается. Но вы не узнаете, как все на самом деле. Вы не узнаете истину, суть.

Ведь результатом усилий всегда бывает не то, что задумано получить. Это абсолютный закон безбожной жизни. Один коллега в ответ на мое изумление, зачем он берет на работу заведомо тупых барышень, сказал, что за год-полтора даже обезьяну можно обучить правильно капать из пипетки в пробирку. И когда я возразила ему, что ведь его цель на эти полтора года — не обезьяну обучить, а какие-то «результаты» получить, он был искренне поражен свежестью мысли. А может быть, это удивление — кокетство со мной? Кто знает... Так переплетены цели, пути, результаты в безбожном мире.

О знаменитых и безвестных страданиях

До сих пор не могу без муки и даже без слез читать Евангелие от Матфея — про крестные муки. Не пережить. Хотя никому не было легче умереть, чем Христу, ибо Он знал то, во что другим остается только более или менее верить. Невозможно читать о гибели царской семьи, хотя они все тоже были исполнены сознания своего предназначения, избранничества, помазанничества и т. д. Не просто жили себе. Значение их жизни кучка убийц ликвидировать не могла. Мощная потусторонняя поддержка в отношении этих людей не успокаивает почему-то нас. И еще нам так обидно, что Пушкина убили. В тридцать семь лет! Ранение в живот! Жена, царь, ненаписанные шедевры! (Кстати, религия большевизма нещадно эксплуатирует эту особенность человеческой природы — жалеть гигантов духа, положения, таланта, и подсовывает своих идиолов. Все эти мифы и сопли по поводу выстрела в Ильича и др. Это после стольких-то лет бесперывной кровавой бойни.)

И вот мы с детства принимаем эти легенды о нескольких противоестественных, противозаконных смертях-убийствах, и они стоят у нас в сознании, как слоники на буфете.

Неужто правда одни существуют для примера другим, и страдания зрителя с галерки (его нищета, его рак, его разбитое сердце, его неразрешимые проблемы, смутность его души) не так важны, как дела трех сестер? Неужто дело в сформулированности мотива страдания? Тогда что же делает человечество всем своим крестным путем как не формулирует в муках то, что было дано? Мы все живем для того, чтобы работали законы, действующие на больших числах, чтобы избранные формулировать были нами, ветеранам бронуновского движения, толкаемы под локоть — формулировать, воплотить.

Похвала самоотверженности

Что можно сказать, в конце концов? Что — так уж человек устроен. Больше все равно не узнать. Это синтез всем анализам. Ложь — его удел. Стыд — его предел. Безответственность — его страсть и идеал. Нравственная форма безответственности — религия. Безнравственная — государство. Добрый — это кто не знает, хоть выколи глаза, что он злой; или правда незлой? Злой — это, кроме всех злых, еще и умный, который знает, что он не добрый? А потому — печальный. Умный Иннокентий Анненский считает, что Печорин добрый, потому что бросил слепого одного, как злой. А умный Печорин знает, что он недобрый, но догадывается, как следует Анненскому объяснять его поведение. Вот что это все? Может, это такой спорт типа тенниса? Вечный этот спор обо всем, о сути и прочих атрибутах Бытия. Может, есть эти правила игры, да и как им не быть? Когда люди — всегда люди. И нужно им неизвестно что, но всегда одно и то же, и маскируются они всегда, чтоб незаметна была подача. Процесс, видимо, не под силу сложен для сегодняшнего дня. Любого сегодняшнего. Хочется ведь человеку себя суметь исхитриться уважать. Кто в детстве не мечтал вынести кого-нибудь поинтереснее из горящего здания. Тут и до поджога недалеко. Не то чтобы, но недалеко. Если уж наблюдается порыв, особенно экстренный, — дело нечисто. Правда, есть такие профессионалы исключительных обстоятельств, люди, ловящие кайф от риска, нереальности, обычно в силу событий своей прежней жизни пристрастившиеся к неординарным условиям существования, летучие бригады. Правда, видимо, есть этому предел. Вот космонавты как будто сильно страдают. Там, где нет кайфа, начинается труд. Что же такое, в сущности, порыв? Это прорыв в бытие без принуждения, без самопринуждения, это безумная мечта о слиянии собственного интереса с потребностью в тебе. В последнем откровении — это дезертирство оттого, что некому, кроме тебя, делать.

Дыра Борьбы

Противостояние, конфликт, схватка, борьба, бой, война... Раньше как-то больше рассматривались участники всех этих дел, стороны — борцы, бойцы, воины, противостоянцы. Мол, за что идет борьба, во имя чего и прочая, прочая. А теперь — подустали тяжелые народы, стали подсчитывать количество жертв. А эти уже — ни за что, никакие, никто. Одинаковые жертвы, так страстно вожделенное равенство.

Да вот ведь возьмите законы природы: борьба противоположностей, борьба за существование, казалось бы. Ведь с кем-то, надо полагать, а не просто такая физкультура.

Так за что же боролись нанайские мальчики? Ходят слухи — их даже распространяют ведущие теленовостей — про влияние солнечной активности на агрессивность народов и народцев. Но так далеко отсылать можно куда угодно. Марс, так сказать, покрыл Нептуна — и, извольте видеть, опять перестрелка. А главное — жертвы, жертвы. Старики, женщины, дети.

Что это? Регуляция численности популяции? Смутные, бестелесные законы природы стучат в окошко, зовут пойти ограбить склад оружия, напасть на поезд, подложить динамит? Может быть, это, наоборот, вполне в теле, якобы отстраняемые от власти, от кормушки, от корыта — вербуют, мутят, подговаривают, науськивают? Их вполне рациональное и экономическое желание хорошо жрать вечно и вечно отдыхать красиво правит миром? Не может быть. Леня даже говорить почему.

Хаос, разрушение структуры... Тепловая смерть Вселенной — это не то, что лежим мы на шелковых кушетках, изнывая от жары, ни ветерочка, опахала не помогают. Нет, нет, это не отдых. Несовершение работы — не отдых, а как бы беспричинная, следовательно, бесцельная возня, пауки в банке. Волки от испуга скушали друг друга... Никто им не подсказал. Вот именно что Никто не подсказал, Никто не научил.

Все просто. Только всего очень много и потому уже — сложно. Раздражение, принятое за отношение... Борьба в доме, в семье, конечно, всегда идет: с курением, питьем, ленью, то есть вполне созидательная такая борьба. Иными

словами, никто не хочет, чтобы, закурив, некто сразу помер или, не вынеся помойное ведро, потерял ногу. Такая борьба — с безволием, оскудением и, в первую очередь, своим — нормальна. Нельзя расширять сферу борьбы — вот в чем секрет. Самый милый вариант — это борьба добра и зла в собственном сердце. Тем более что и эта борьба приобретает несколько иной смысл, если согласиться, что нет нигде такого-сякого Зла, а есть оскудение Добра, успешно выполняющее функцию Зла. Все сводится лишь к умению генерировать Добро, все конфликты гаснут только так, только Добро закрывает глаза на обиду, требует с себя... Да что пытаться переплюнуть сказанное апостолом Павлом о Любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Возвращается, и...?

Да, так под сурдинку, пожалуй, и Второе Пришествие состоится. Небольшая группа будет оповещена, а, собственно, оповещены будут все, да только сочтут себя оповещенными лишь немногие — собьются в кучку и предоставят себя во власть истинной жизни. А остальные, которые в целом не хуже и не лучше, будут продолжать жить нечаянно, не споткнувшись на серьезности момента.

Казалось бы — Чудо! Приехал впервые в Москву после четырнадцати лет изгнания в Рай — Владимир Буковский. Один из одного. Явление не частное, во всяком случае. И вот общество «Мемориал» его встречает. К Юрию Долгорукому поданы два «Икаруса». Суть мероприятия — создать встречу в Шереметьеве. Выборка людей — это уровень нашего понимания. Если мы не ощущаем, что роднит этих людей, значит, мы просто не понимаем этого. Мужчины делятся на несколько категорий. Первыми бросаются в глаза фоновые — типа старых туристов с рюкзаками, потом совершенно цирковая труппа сумасшедших — несчастье с вычурностью, длинные волосы и малый рост. Их серьезность и причастность к самому главному нерву жизни бьет в глаза. Некоторое количество взаимозаменяемых постных лиц с аккуратными бородами, похожих на изображение чиновника в экранизации по А. П. Чехову, такие носители степенности и катара желудка. Есть героини-одиночки. Явный «отсидент» с ужасными отеками вокруг глаз, но с шевелюрой поклонника театра, маленький, слабовыраженный всеобщий любимец. Один из «основных» — серый, усталый, неаккуратный, но все же цивилизованный, вялый политический. И наконец кучка молоденьких еврейчиков, победителей на школьной олимпиаде-викторине. Шустрые, с диктофонами и все в делах. Они — отдельно. Они уже имеют свое дело. Им нужно задать ЕМУ три вопроса, один из которых — телефон. Возможно, они — для газеты какой-нибудь и очень для своего круга. Одним словом, молодежь. Забыла еще об одной паре. Папа с сыном. Очень простые, тронувшие, помню, мое сердце еще на похоронах Сахарова. Только тогда мне показалось, будто речь шла, что они из Орла. Может быть, опять приехали? И хоть невольно вспоминаешь старого и молодого Митричей, я удивилась новому в жизни, когда на узком выходе, откуда катят свои импортные товары на самсунгах форины и явные наши, я увидела молодого Митрича, скромно стоящего с диктофоном, сразу вслед за внедрившимися за стекло победителями олимпиад. Что они собирались записать на диктофон в этой валютной давке, оснащенные тимуровцы эпохи перестройки? Что они успели, когда в преисподней зала прилетов толпа несчастных сдвинула и понесла человека, принадлежащего всему миру? С диким скандированием «Буковский!» его бешено протащили до выхода (кто-то догадался кричать «на улицу!»). Там, на улице, его опять стиснули, приперли. И наконец — седой, толстоватый, наяву с явными следами, несмотря на долгий отдых, красивый, русский, герой — опять «достал лампочку», залез на какой-то заборчик, спасаясь, находя выход из положения и в то же время не отказывая самоотверженным бедолагам. Он залез и сказал: «Давайте я вам скажу несколько слов, и мы разойдемся». И он сказал, что четырнадцать лет назад его провожали двенадцать человек, и все — чекисты. Что ехать до сих пор не было смысла. Что радужные надежды начала перестройки не волновали и ехать к

народу, поддерживающему коммунистов, не стоило. А теперь — другое дело. Вот, собственно, и все. Ему дали уйти и даже сесть в белую машину, где его обсадили с двух сторон на заднем сиденье настоящие встречающие — какой-то демократический конвой.

За время встречи прошел дождь. «Мемориал» тяжело, но быстро (чтобы занять места получше) двинулся к своим далеко стоящим «Икарусам». Меня никто не знал, но никто во мне не усомнился. Организаторша мероприятия, бедная цыганистая женщина за пятьдесят лет, без передних зубов, очень радушно и заботливо всех информировала о ЕГО программе на последующие дни и, соответственно, о наших возможностях опшиваться. Я вспомнила нашу организаторшу фирменного симпозиума в Париже мадам де Л., такого же возраста парижанку, всегда показывающую в улыбке неправдоподобное количество зубов, предельно любезную, очень недобрую даму. Тоже информировала нас в автобусе. Обе бедные, обе старые, обе крепкие. Но эта, состарившаяся бог знает по каким мукам, — мне милей. Та — понятней и дальше, эта — непонятней и ближе. Соотечественница. Вообще дамы были разные, не тихие, но грязные. Несколько надменных сундучно-интеллигентных старух (не более трех); страстные, бодрые пионервожатые; несколько каменных баб — многодетные верующие или бездетные идеологи собственного мужа; были толстые, очень бедные, говорящие несусветные глупости — громко и что получится. Были две — побольше и поменьше, похожие на провинциальных фарцовщиц, на головах «модно» накручены — у одной малиновый, у другой бирюзовый шарфик. С молодежью была их «своя» — с патлами, с огромными чертами лица, близоруко задранного в поисках «наших». Да, нельзя подходить к людям с позиций вкуса. Это почти то же, что с позиций моды. Мы все инвалиды, все как один. Вопрос только в том, делаем ли мы еще что-нибудь, кроме того, что мы инвалиды. И — что.

Серый день преобразился от события, как в XVIII веке. Серое, дождливое полотно сменилось безудержным богатством форм и красок просветлевшего предвечернего неба. Задралась воланы над горизонтом, пошел золотой свет, пространство стало слоистым и бескрайним — одним словом, возникла перспектива. И наша страшная реальность стала менее пустой оттого, что в нее внедрил, в ней завелся подлинный (среди нас, выпотрошенных, ходульных, недееспособных), внушающий, конечно, не надежду, это было бы слишком большой халтурой, но — веру, герой именно нашего времени. Он населил незримой опорой этот распад пионерской империи, город Москву. Как идиотам, пенсионерам духа, ждущим вечера ради следующей серии «Спрута», даже нам, бессильным умным, как бы появилось чего ждать.

Конечно, потом состоялось, но все не то, что предполагалось, что обещалось в автобусе. Встреча с «общественностью», то есть с обыкновенными людьми, отменилась. Было выступление в ВС РСФСР, которое вырезали из трансляции по ТВ. Был радиоразговор по «Эху Москвы» со старшими братьями тех деток с диктофонами — на кухне у Андрея Черкизова. (Кстати, эти сопли о «кухонной свободе» да о том, что на московских кухнях зарождалась перестройка, эти сопли справедливы в том смысле, что кухонный уровень достигнут и он же пока сохранен. Основная особенность кухонной философии — ее безответственность и невыстраданность. Эти качества так и остались клеймом на нашей перестроечной свободе.) Там, на кухне, они задавали естественные для их брежневского воспитания хамские вопросы. Они старались забежать вперед, обогнать не только «так называемых демократов», но и так называемых диссидентов. Они спрашивали Буковского, не является ли его максимализм большевизмом наизнанку. Что тут можно добавить. Они солидничали интонациями, а он был прям, умнее всех и очень быстр на ответ.

Было «Пятое колесо», где среди участников какого-то обтекаемого стола мелькнул как «знай наших» — ОН с сигаретой. Но в целом передачу сделали из проповедей Бакатина как «коммуниста в здравом уме» и Максимова как патриарха мировой скорби по русскому отделению. Тоска. Не нашлось тех самых, для кого он приехал. Может быть, наши бедолаги из «Мемориала» все же имеют к нему отношение большее, чем другие. И правильно они его встретили-проводили. А тогда, когда автобусы пришли обратно к Юрию Долгорукому, им ведь, бедным, не хватило событийности, они еще по-детски помитинговали под князем. Один дядечка, оказалось, написал стишок в честь

приезда. Требовал, чтобы все выслушали, объяснив, что там он никогда бы не осмелился прочесть, а тут — давайте. Прослушали. Стерпели, ждали еще худшего. Покричали друг перед другом, как в народных переплясах-хоровах: «Буковский!» Моссовет молчал, как красная жаба. Фрустрация от встречи переходила в исчерпанность форм настоящего. Я пошла извиняющейся походкой к метро. По уже слегка стемневшему небу летали серые доски грубых городских облаков, в страшной преисподней перехода жила эта новая столица, в которую ехать стало уже пора. В жуткой грязи и дыму чередовались побирающиеся музыканты, газетчики-патриоты, панки — продавцы книг, он и она, он сзади приставленный к ней вполне откровенно, оба раскачиваются, никто у них не покупает; потоки москвичей, основная функция которых — не обращать внимания; барьер из кооперативных гвоздик, суতোлка подземных развязок линий метро, — и кончен бал.

Я видела возвращение Буковского. Я только видела. Если бы я услышала, что он вернулся, мои представления об этом были бы, пожалуй, преувеличенными. Когда слышишь — то только об этом. Когда видишь — видишь все.

Поднимите мне веки

По телевизору выступает Н. Из-под прикрытых Господом Богом век как бы выглядывает такое-сякое понимание уже многого. Он сначала что-то врет давно опровергнутое свидетелями о своих благородных сношениях с Классиком, то есть вешает свой номерочек на крючок. Потом он говорит, что сейчас надо писать стихи про нитраты, забывая, что сейчас можно писать стихи про нитраты. Он привык это подменять еще где-то до коры головного мозга. Он дитя балованное своей эпохи. Но это присказка. Затем у него спрашивают про некую рогатину, лежащую у него на столе. И тут сразу много всего оказывается. Конечно, не кто иной, как он, был в Ипатьевском доме, был в том самом подвале, где убита царская семья. Ну, конечно, его туда пустили неохотно. Не так же совсем уж легко дается ему его благородная миссия, которая сама собой разумеется. Он нам, сиротам, не ведающим толком своего родства, сладострастно рассказывает, где они стояли — все одиннадцать человек (в дальнем торце подвала), — где стояли расстрельщики (в дверях в другом торце). И вот эту рогатину он, рискуя чем-то, выломал из решетки наддверного оконца. Он художественно себе представил, что узор этой решетки и был последним, на что, по его команде, смотрели одиннадцать членов царской семьи. Он даже сказал, что этот узор у них запечатлелся на — чуть не сказал «всю жизнь». Вы скажете, это слабоумие искусства? Нет, увы. Это слабоумие трусости. Оголтелой советской трусости. Он привык отколупывать от всех страшных бездн нашей страшной истории и географии такие узорчики и выдавать это за художественное восприятие. И кругом он говно и в говне. И про нитраты необязательно писать стихи, и ложны все его догадки, так как они не искренни, а симулированы на потребу хорошо просчитанного ожидания. И все они, эти левые клоуны нашей литературы, решившие, что карьеру надо делать во что бы то ни стало, раз они чем-то там одарены, — все они таковы. Конечно, они чем-то там успели обольститься в хрущевские времена, но и успели пристраститься к жизненной удаче-даче, а главное, сочли ту якобы первую ступень честности-правдивости, которая стала тогда разрешенной, — не первой позорной ступенью из ада, а окончательной мерой честности и глубины. Причем они так и остались, а публика проследовала дальше с остановками по всем пунктам. Они сейчас симулируют эту глубину, а видят их почти до дна, во всяком случае до той густой жижи, которая свидетельствует о близком дне. Эти рыцари, эти донкихоты, эти самодовольные и глухие динозавры хрущевской весны.

Постгероизм

Да, ощутили, слава Богу. Кое-что ощутили такое, одновременность происходящего и зримого. Это редкое явление, на самом деле. Наш кротовый застой с легким запахом... Жизнь настолько не происходила, что, кроме режима пьянства, никаких, пожалуй, не было рамок у Бытия для множества людей

самых разных слоев и профессий. Только индивидуальные графики, как у Венички на ремонтных работах в Шереметьеве. Так вот, и понимать приходилось все долго — всю жизнь. Будь ты хоть какой умный и тонкий, а можно так за всю, так сказать, сознательную жизнь никакой реальной жизни и не увидеть. Надо было очень рваться и очень жертвовать, чтобы заставить события — происходить. Чтоб посадили, чтоб заметили и посадили, чтоб посадили — и заметили. Легче природу уговорить шелестеть, течь, сверкать, струиться и порхать. Но — не вечно же стоять перед ней истуканом и наблюдать ее со скоростью ее существования. А наезжать — тот же ритуал, что и сауна, только чище изнутри. Так жили-были. Теперь страница перевернута. Вместо злодеев-выродков путем нашей жизни пришли другие кормчие.

Что ж за начальники пришли поуправлять в эпоху постгероизма? Вот Бакатин на одной половинке в кресле полулежит, такой несведущий голубчик наш. Буковский напротив. Дело на Лубянке. Буковский мурлыкает ласково ему про чудовищные преступления международные, про папу римского, про Кеннеди (мы на диване — ах, ведь это даже мы не подумали!), про наркобизнес, а сам в ручке сигарету прячет и коготочки совсем не выпускает, даже когда ключевые слова произносит, — зажился в своей Англии, простил, солнышко, сердцем. Ах! А Бакатин и того не знает, и про это не слышал, и тут ухом не ведет, а на это просто забывает ответить, так все это чуждо ему, такому хорошему и нормальному, что даже и не верится. Он ведь т о г д а ничего не знал такого, да и сейчас вот, став председателем КГБ, узнал только, кто на его дедушку донес, и, конечно, твердо решил не знать и этого. Так, ну ладно, к этому впечатлению можно и нужно вернуться, только сначала надо проверить, что нам по другой программе предлагают. Ба! А там еще один постгерой — Шапошников, наш новый министр обороны. В штатском сидит, от улыбок лоснится и на вопросы корреспондентов унылых сплошь независимых газет отвечает как умеет. Боже! До чего же он на кого-то похож. Знаю, знаю! На Штоколова! Ну да! Стояли мы на берегу Невы... Вы руку жали мне... Да, да. Вы не вы и я не я — такое от него впечатление. То-то ж он смеется все время, заливаясь. Ну схожил, прикинулся среди нас министром обороны какого-то еще СССР. Так и кажется, сейчас скажет: «Ну ладно, ребята, я пошел, мне к главному режиссеру надо успеть еще, договориться, как дальше «реформировать», гы-гы-гы». А шкодливые попытки коров поиронизировать — вязнут, не достигая лучистых смехуечков главного героя комедии с переодеванием. Тут им не над Макашовым ощетилившимся издеваться. Тут перед ними постгерой. Что тут можно возразить по существу от лица независимых газет?

Да, только сами события происходят сказочно быстро, но это и есть чудо — когда не глаза происходит Событие. Когда не ожидание, не обсуждение, не организация, а само событие — со-Бытие наблюдающего и превращающегося. А в свободное от чуда время все вязнет и удивительно подтверждает и матрешку, и ваньку-встаньку, и сказку про белого бычка. Что же внутри последней матрешки? Что значит — сплошная?

Затянувшиеся прелиминеры геймз

Когда вам обещают, причем во всех смыслах — и в смысле похвальбы и в смысле угрозы, — вы невольно верите и как бы чуть-чуть собираетесь, шею вытягиваете и за узелки хватаетесь. Однако еще Павлов I знал, что все-таки несколько раз надо дать пожрать после звонка, а потом т о л ь к о звонить. Теперь процедура с подопытными упростилась до предела. Для них только звонят, в остальном предоставляют их самим себе. Рынок нас спасет, рынок нас накормит и обует, рынок сделает нас безработными, цены вырастут, руки развяжутся и т. д. и т. п. Короче, нам намекают, что страшнее рынка нет ничего, но что он нас спасет. Такой сказочный урод из «Аленького цветочка». Его надо, этот рынок, полюбить, несмотря на все его уродство. Надо полюбить «лиц кавказской национальности», которые не только устанавливают баснословные цены, но и подсовывают испорченные фрукты, обвешивают и кроют матом. Надо полюбить спекулянтов, наперсточников, воров, рэкетиров, сутенеров, брокеров, менеджеров, богатых, противных — и все это не вместо коммунистов и кагебистов (то бы еще куда ни шло, вроде контрастного душа), а вповалку. Вот э т и в с е, это чудовище, которое надо нам своей доброй

простой русской народной душой полюбить, — оно уже есть и отнюдь не прячется или прячется с подмигиванием (мол, сам знаешь сказку, дурак необучаемый), а вот то самое никак не наступает. Мы уж, прямо скажем, истомились, уж не дождемся, когда же наконец «больно будет, а потом хорошо!». Нам уж так плохо, так плохо, но мы ж русские — это еще не больно. О н и уже есть, но вроде еще не начали, мы ведь его и в глаза не видали, рынка-то этого. А они нас все готовят-подготавливают, в особо эrogenных зонах цены на отдельные продукты поднимают. Мы уж заходимся и от любопытства и от ожидания, а кто попроще — от шекотки. А есть и такие склонные к фригидности граждане, которые, видишь ли, уже уста-а-ли. А надо же отдаться рыночной стихии наконец, расслабиться, забыть трудовой день, постараться найти привлекательные черты у наступающего на вас рынка. Конечно, нам хочется есть, но рынок даст вам это, но только после т о г о. Надо уметь забывать о посторонних ощущениях, не имеющих прямого отношения к делу.

Ну, распалились мы, прямо скажем, кто как умел и ждем-пождем торжественного в в е д е н и я рыночной экономики, рынка этого самого. А он-то? Вот то-то и дело, что вроде е му уже хорошо. Н а м е ще не так уж совсем больно, а е му уже хорошо.

А вдруг он уже ввелся или ввести-то — нечего? Помните анекдот про Ваньку с Манькой? «Вань, ты уже там?» — «Нет, Мань, еще пока никак...» — «Вань, уже?..» — «Нет еще, Мань, потерпи, никак не пробьюсь...» — «Вань?» — «Нет, еще никак... Вот, Мань, кажись, тама!» — «Тады — о-о-ой!!!»

Письмо эмигрантам

Нет-нет да и чирикнет хрипло кто-нибудь из дошедших совков, как по асфальту чиркнет: что ж вы, мол, не едете обратно к нам уже теперь, после того, после этого и разэтакого, вы, такие патриархальные, такие патриоты и скорбно следящие. А и действительно, почему? Да каждому нормальному, нарочно не выворачивающему себе мозги человеку совершенно очевидно, ощутимо и представимо, что это невозможно. Ну невозможно, пожив там от своего имени, вернуться сюда. Так вот бы вы, дорогие, обладающие таким драгоценным опытом, не вернулись бы (зачем?), а ч е с т н о нам, охреневшим вконец, объяснили бы эту н е в о з м о ж н о с т ь. Вы были такие же калеки, как мы, носили этот горб, теперь ваша спинка жива, пряма и вертлява, как у молодого зверька, — конечно, горб взвалить опять немислимо и невозможно. Но расскажите нам про него. Он ведь вам так мешал вначале там, вы так хорошо его знаете — откуда он растет, чему мешает, что заслоняет и где кончается. Помогите нам узнать, что с нами! А то все какие-то детские отговорки — вот сейчас, только допишу все строчки, дочки привыкли, гастроли все расписаны на годы вперед. Это все очень важно, но для человека всегда дело только в самом главном. А самого главного вы нам сказать не хотите. Почему?

Вы — как вылечившиеся у знахаря, у травника. Кто-то был на последней стадии, полгода пил эту смесь, — врачи упали: они уж уверены были, что он того, а он — здоров. Но все почему-то не могут сойти на этой дальней станции, пойти по той тропинке, стукнуть в ту калитку, показаться, записаться, строго выполнять все предписания. Всем не хватает травы и времени, и поэтому лежит такой плотный туман неясных слухов вместо информации. Но вы не указывайте адрес — Бог с ним, с помогающим спастись. Вы скажите, что же было с вами и есть с нами. Диагноз!

Бойтесь нас обидеть, вызвать зависть, обольстить, соблазнить? Полно. Вы ведь тоже не счастливы, как большинство людей на свете. Это вы и подчеркнуть не упускаете — кислым видом. Я бы вообще советовала лоснящемуся красивому богатому человеку, проходя вдруг случайно среди бедных, хромать отчаянно, дергаться, высовывать язык — сигналить, чтоб не завидовали. А ведь вы знаете секрет, нехорошо молчать. Что ж вы ничего о с в о б о д е не воспеваете — нам это не вредно, а нужно. Нужно нам знать, в чем дело с нами. Я помню, моя сестра очень хорошо выразилась про летнюю жизнь на даче (имеющих роскошные дачи прошу не напрягать воображение, имеется в виду нищий

интеллигентский вывоз семейства на снятую дачу, керосинки, раскладушки): «У меня такое ощущение, как будто мы там ходим на четвереньках — так это все трудно, неудобно, насильственно». Вот и мы живем — так. Но вам это понятно и заметно как никому. Что же вы молчите? Что же на свободе никто не совершит подвига свободы и не объяснит нам, несвободным, что с нами?

Факультативные эмигранты, годами читающие лекции подопытным американским студентам, правда, пописывают иронические заметки — Эпштейн сравнивает значение половой жизни тут и там, Толстая уравнивает идиотизм американской жизни с идиотизмом советской. Ну не деньги же все-таки их там держат. Правда, Толстая объясняет именно так — муж-профессор получал тут 300 р., сидели на кашах (профессор кислых щей да каши?), вот и пришлось свалить попреподавать. Нет, право, такие секреты можно держать при себе.

Самый замечательный примчался сюда, «может быть, умереть» — Ростропович. Может быть, нашлись бы еще, кто «придет умирать». Но жить — никто!

Сергей Бардин, уезжая, кричал, что это — зона и долго еще будет выветриваться из уехавших барачная вонь. Он утверждает, что в ОБИРе прошел лагерный опыт, который, по Шаламову, отрицательный, ненужный. Я верю, я знаю. Только захоти чего-нибудь, не начальством предложенного, — сразу получишь сполна, проштудируешь «свободу воли» каждым нейроном. Но где эту зону прошел Франц Кафка? И все-таки они, и Шаламов и Кафка, как жертвы, так сказать, нам многое объяснили, а вы, спасшиеся, — нет. Вы, напротив, не упускаете случая выказать пренебрежение свое к стране пребывания: мол, и язык не нужен, их проблемы не колышут, и не пахнет клубника, и французы — говно, и американцы — идиоты. Так что же сотворили на своей земле эти говенные идиоты такое волшебное, что и произнести нельзя?! Может быть, жизнь? Просто жизнь? А мы — мертвы, тогда понятно, могилку можно нежно посетить, но не ложиться же в нее к покойнику. Тогда свал — Воскресение. И если Харон Овирович повез вас в обратном направлении один раз в порядке исключения, то решиться следовать его нормальным маршрутом... тут уж... как-то...

Так вот, не бойтесь, ребята, загробная жизнь есть, мы вам об этом свидетельствуем!

Вторая смерть

Что я могу? Еще раз написать, что жизнь ушла, что действительность умирает? Что даже пейзаж только благодаря тому, что имеет другие меры Времени, еще как бы есть. Но это конец. Не грех ли писать, когда это то же, что содрать уникальный наличник, никому не нужное свидетельство былого мастерства, с подошедшей избы; внутри уже нет пола, развалена, растащена предыдущими гостями печь. Опишу-ка и я кусочек повалившегося забора, падающего в объятия куста, который некогда рос у забора. Ведь и сейчас красиво, а я воспользуюсь, что еще красиво, что еще есть кто-то, кому хочется умирающей красоты, и украду для него этот заборчик. И вот будет поп-арт. Искусство протяженности смерти. Ведь безумна еще красота сплетенья трав, шизофренически просты узоры кружев отцветшей сурепки. Она светла, а клевер грозно темен, богат листом и только что зацвел. А сныть — уж эта только не проста. Она сложна, и невесома, и высока, как пена над землей. Куда ни кинь. А липы угадали когда-то много лет назад, что следует стоять по две. Береза же одна, густа, тут вам не роща. Тут умерла свобода. На животах лежат дома-улитки, раковины-дома. Тут запустение доступно. Ушла жизнь, дома умерли и лежат на суше. Почему нежилой дом мгновенно рушится? Ведь не чинят же ежедневно-ежегодно жилые! Разве не видно, что умрет природа? Вот бревна. Как долго они жили после жизни дерева, а теперь ясно, что они — умерли второй смертью. Вот drankа. Она была жива, как лоснящаяся шерсть холеного домашнего зверька. И умерла — труха. Вот вам — тело без души. Еще служат ностальгии органические остатки русского духа, еще минеральное царство не настало совсем. Что будет потом? Археология? Каким словом накроется слой нашей псевдореальности? Здесь жили люди, которые вобрали в себя столько отравы, пропаганды, бессмыслицы, водки, и они отложат все это слоем в землю, очищая экологическую среду — для кого? Нужно ли нам

будущее? Так болит сердце по недавно еще бывшему. Такая любовь — к прошлому или к его красивой смерти? Ответов нет. Есть невидимый жаворонок в бездонном небе.

Когда мы умрем, мы тоже умрем второй смертью.

Родина

Где Родина? Да вот она и есть. Разве не было понятно самому автору, сколь выразительна подпись под таким письмом — 23 года, домохозяйка. А как все понимает. Да и знает. А стиль... Только как бы не находит связи между Медведковым, неотоваренными талонами на сахар и Наташей Ростовой на балу. (Что касается до «Аптека, улица, фонарь», то там, на этой улице, уже ни один талон не был отоварен.) Культура, жалуется автор письма, призрачна — орем на мать, толкуя о Гуссерле. Да, вот в чем штука. Не мешает Гуссерль орать и толкать в трамвае. И не мешают возвышенной жизни талоны. Некрасиво вокруг. Ну, можно с этим отчасти согласиться, но боль за красоту и выскивание ее клочков по закоулочкам — это тоже духовная жизнь. Кто занимается культурой как спортом или бизнесом, тот не в счет, тот в лучшем случае служит беспроволочным телеграфом для неопитов: мол, культура, есть такое понятие, она была, и мы погружены в ее изучение. А тот «нежный толчок» душе, о котором говорит Набоков в «Подвиге», дает все же не специальная литература, как правило, во всяком случае не она. Наша Родина — это все, что у нас в душе, и все тут. И правильно, что русские писатели пытались родить Россию из себя. Чем не Родина? Чем не Россия? Что значит была она или не была? Где?

Искусство, литература — это не истина. Это, конечно, делание, но не единственное, а лишь часть такая. Духовное делание может оказаться потом и литературой, и философией, и музыкой, и живописью, но обратный переход не так прост. Не надо преувеличивать роль искусства. И потому предьявлять ему претензии. Как и во всякой деятельности, в нем так много прикладных задач, много воспроизводства атрибутики нашего мира. Искусство делают люди. Феллини — вот кто в своем замечательном искусстве замечательно просвещает об искусстве. Почему же не наорать на мать? Что там такого запрещающего? А что наши Толстые — Достоевские, что ли, не наорали ни на кого?

А что до зависти, что, мол, там, в Европе, все так давно и плотно происходит, одно на почве другого развивается, новое старым питается, и культура на культуре растет, — так это и правильно и неправильно. Ну да, там тесновато и трудно не заметить следы вчерашних достижений, да, есть, конечно, непрерывность, если плюнуть на Французскую революцию, — нам бы их проблемы. Вот там Пруст пишет — такое на пустом месте не напишешь, столько намеков на то, что следует уже тысячу лет знать в тонких подробностях. Казалось бы, это — культура. А Пушкин не культура? Так что ж, Пруст на мировой цивилизации взошел, а Пушкин — на байках Арины Родионовны? Да нет, каждый из них — сам, один. **В ы р а ж е н н о е с о з н а н и е и е с т ь с р е д а о б и т а н и я к у л ь т у р ы.** А сознание может бог знает чем питаться, бог знает где ютиться.

Да, нет у нас отчего дома. Не умираем мы, где родились. Как правило, наше личное прошлое исчезает без следа, даже наша «миргородская лужа» из детства, увы, исчерпана и на ее месте возведено или низведено. Дворик, где мы играли, перекроен, заасфальтирован. Школьный переулок просто стерт с лица земли, на его месте стоят какие-то гаражи, зады новых передов. Про сельскую смерть домов я и не заикаюсь. В лучшем случае — крапива. Но все это было в нашей жизни: и двор побыл, и дом, и сад-огород. И везде-то мы поискали и понаходили «красоту» и — отложили. И она живет, заветная, в сознании. И никто нам не мешает с этим жить и выражать свое сознание как умеем. А если еще хотим, а если жаждем — это ли не Родина!

Мы — общий враг

В очень раннем, еще сталинском детстве мне достались, не от сестры, а от кого-то сбоку, в наследство карточки с изображением национальных кос-

тлюмов народов СССР. Сейчас я не помню многого: были там карточки только с женскими костюмами или с мужскими тоже, было их шестнадцать, по тогдашнему числу союзных республик, или были и автономные национальности. Мне упорно сквозит неправдоподобную толщу времени чудится Тувинская АССР. Что я о ней знала очень рано, это точно. Но откуда, если не из этих карточек? Это были фигурки, нарисованные на тусклой сортирной бумаге тусклыми красками. Для твердости сортирная бумага была наклеена на такой же нищенский синевато-серый картон, похожий по цвету и фактуре на тогдашние теплые трико с начесом. Это была вполне уместная вещь для своего времени. Правда, у нас дома, в нищем контрреволюционном подполье, я стремилась к более изысканным и родным орудиям игры, и все же эти необыкновенно примитивные картинки задевали мое сознание. Недаром я их запомнила на всю жизнь, как отложила до осмысления. (Правда, еще лучше я помню свинью — доску с ручками и ножками на штырьках — и серо-черного сатинового мишку со швами от произведенных мною операций по поводу аппендицита, грыжи и заворота кишок. И многое другое. Однако назначение ободранных еще моей сестрой до войны игрушек не вызывало сомнения — играть дальше, а вот эти штуки надо было либо вовлечь в свой процесс и сделать их просто персонажами своей игры, либо отдать должное являемой ими теме и как-то освоить ее. Кажется, было и то и другое.) Мне было семь лет, когда сдох Сталин. И то ли детство, то ли сталинизм — это эпоха, когда каждая вещь воспитывала и поучала. Уже тогда, могу поклясться, я ощущала упругую волну назидания со стороны Советов в стилистике этих картинок. Детским чутьем я просекала пропаганду, я их не любила, но часто к ним возвращалась, пыталась совместить их дух с духом моих игр, как бы чтоб добро не пропадало. Я их разглядывала, я выбирала из них наиболее приемлемые, тосковала от собственной непримиримости к латышскому дурацкому кокошнику, переживала инопланетную чуждость многих косичек на фоне искренней тяги к восточному халату и т. п. Самым свойским был украинский костюм, этот вечный атрибут тогдашних школьных карнавалов. (Но и — «Ночь перед Рождеством».) Я хорошо помню, что ощущала свою обязанность любить братские народы. Не желая подчиняться приказу, я рассчитывала, что я сама там, впереди, в жизни, полоблю их по-своему, частным образом, в своей жизненной ситуации. Они должны будут оказаться замечательными отчасти благодаря моей способности их понять. Потом такие именно случаи и бывали, только они прошли, и кто сейчас поручится, что выводы были сделаны правильно.

Если бы сейчас нашлись эти карточки! Сколько раз, сидя больная в кровати, я раскладывала их на чертежной доске, лежащей на ногах, ожидая чего-то от созерцания и перетасовывания своего игрового хозяйства. Ах, если бы теперь убедиться, что эти убогие рисунки выражали национальную сущность каждого народа, теперь, когда так изменился ракурс...

Ход времени еще с детства напоминал мне головокружительный фокус, который делает с пространством поезд. Помните ли вы, как зарождается в пространстве город, до которого еще ехать и ехать? Как гигантская воронка от взрыва, заполненная сизым туманом и броуновским движением огоньков. Постепенно раскручивается мировая спираль, призраки города исчезают, появляются пригороды, растянутые тонким слоем вдоль железной дороги (им не видна пристанционность их жизни, нам из поезда она очевидна), и наконец — городской мост, из-под него выезжает троллейбус, черед неких задов не существующих передов и — каменный таинственный вокзал. Фонарь, киоск, скамейка. Бедные люди, ужасные сочетания цветов в одежде, колючий холод или неожиданная, как в комнате, теплынь. И этот русский асфальт, покрытый археологическим слоем запустения, сортир — ожидаемый и случающийся шок. Но там, за декорацией вокзала, угадывается, кудрявится и манит тоска чужого места жительства. Заплеванная площадь, гористые боковые улочки, гнусный дом власти, стеклянный универмаг с одинокими товарами из кожзаменителя и искусственного шелка. До или после города — горушка с оградками и крестами, до или после города — садовые участки, очень сильно смахивающие на те оградки, только с домиками-скворечниками вместо крестов и в низине, а не на горе. Все это и мерцало вдальке дымной чашей. Так и идет время. Сначала — дымно предстоит, потом начинается тонким слоем, встречает фасадом, уводит в подробности и детали, свидетельствует о существовании

глубины, микромира, проводит мимо, позволяет долго провожать взглядом, и вот уже — горюшка с крестами.

Это чудо — ракурс. Ничего особенного я не узнала с тех пор моего детства и картинок, нигде от своего лица не пожила, ничьих колоритов не изучила, но что-то отложилось, какой-то ил незаметного опыта, и мне кажется, что теперь я бы увидела по-настоящему, зрело и трезво, те грубые и выразительные образы разных народов.

Я не знаю как следует русской истории, но если бы я ее знала, я бы легко подвела базу под обнаруженное мною без труда свойство русских нуждаться в других народах. Я утверждаю, что общение с инородцами является настоящей потребностью русской души. Не зря Лермонтов на Кавказе торчал. Нам нужны Хаджи-Мураты, нужна вязь чужого узора, чужое многоголосье, иное отношение к жизни, иной моральный кодекс. Это все нужно не как экзотика, а как поиски себя, глядя на других, уже себя нашедших. Ибо для нас каждый другой народ истинен и самим собой обретен, и только мы — в становлении-томлении и под вопросом. Мы — то ли были, то ли будем, тогда как другие очевидно есть. Правда, не существующие в данную минуту, а лишь предназначенные существовать, мы не имеем недостатков, тогда как все другие имеют завершённый образ и обременены кучей недостатков и достоинств — наглядные пособия, чтобы мы выбрали из них себя. И мы отталкиваем и бракуем всех, и за спиной злобно-агрессивных обличителей — тошнотворная перспектива победы и поворота на сто восемьдесят градусов. Мы встанем тогда в тот же круг, но уже лицом друг к другу, и увидим, с чем остались, кто да кто. Это будет так же приятно обнаружить, как давно забытый бульон в кастрюльке. Это будет пустая еще внутренняя Россия, где каждый только что воевал и продолжает ненавидеть. И всякое слово созидания будет вызывать тошноту, и разить ложью будет от каждого жеста. И никто нам не поможет. Мир расхристианился. Ненавидят врага, боятся врага, но никто уже не боится з а этого врага, как патриарх Тихон. Совершенно прозрачна суть озабоченности нами: если у них станет совсем плохо, они станут опасны. Теперь такая мораль — многое простить, чтобы поскорее обезвредить, а не для того простить, чтобы не увеличивать зло, чтобы любить, чтобы забыть, чтоб — отошло. Конечно, и это немало. Мы — о б щ и й в р а г, у которого отнимают не только колонии, территории, пушечное мясо, вассалов, мощь, но и цапки. Наше родное грузинское кино, нашу дюнно-сосновую родину Балтику, наше чудо — Азию, наши пристрастия, нашу эстетику, высоко задирающую нос, чтобы не чуют флюиды ненависти к нам. Нам вас подарили в детстве, подарки неприлично забирать обратно. А уж не будь у нас евреев, не было бы даже и Розанова. Немыслима наша культура не только без евреев — ее деятелей, но и без евреев — ее ценителей. Ведь адрес есть у всякого слова и дела. Ведь вдохновение только наполовину подперто изнутри, а наполовину заказано снаружи...

И хочется, чтобы пожалели этих нетопырей, не умеющих жить складно, впадающих в крайности, мрачных и злобных, коварных и простодушных, нуждающихся и презирающих, которые, собравшись вместе, могут только соборно напиться, да и то — в полнейшем несогласии и готовности в любом сколь угодно малом коллективе выявить врага. Даже в одиночку.

Но нет, мы хотим рассказать-показать, какие мы на самом деле, но показать не своим (мы скучнее всего сами себе), а другим, которые зависимы от нас, и только в оценке нашей гениальности они — начальство. На них, на зависимых судьях, мы отработаем, обкатаем свою будущую мировую известность среди независимых равнодушных.

В глубине этих замашек и отторжений лежит, конечно, зависть и удивление, что такие неполноценные д р у г и е все время более полноценно-реально живы. От зависти и похвальба далеким прошлым (не проверить) и далеким будущим (не дожить). Но зависть — это не дно русской души. Это мелочная реакция на боль. От чего боль? От неверия. Может быть, ни одной национальной душе так не больно — не верить. Либо они могут не верить и жить, либо их вера гораздо прочнее. Но русская потребность в вере огромна и почти неутолима. Те русские, кому эта вера давалась в полном объеме, и составили наших святых. А толпа верит тому, кто ей льстит. Народы, нам было лестно, что вы — наши братья! Как вам не стыдно!

Моя генетика

Нет, я не собираюсь торговать местом на кладбище. И не потому, что это Хованское — советское холерное, в глине, гранитных плитах и детских игрушках, но без деревьев. Продать можно и эту мерзлую глину — один уже продал именно эту могилу. Не потому, что другие могилы — братские, тайные, неизвестные. Этим тоже можно торговать. Тех предков я не видела. Я знала, и долго, только одну бабушку, тезку, на которую я вполне похожа лицом, плоскими волосами, любовью похотать и — дальше больше. Нет, примазаться к ней нет даже и малейшего намерения. Это совершенно невозможно. Мне хотелось только напомнить всем то чувство, которое может быть и стыдным, и праздничным, и даже торжественным или щекотным — это зависит от сути происходящего и наличия у вас чувства юмора, — это чувство присутствия в вас вашего старшего родственника. Доводилось ли вам сказать что-нибудь как-нибудь — и вдруг почувствовать, что в вас это сказал ваш отец или кто-то другой родной старший. Да и не только в словах. Вдруг с какого-то возраста начинаешь мочь взглянуть на себя со стороны и видишь свои ужимки, манеры, способ жизни, и видишь одновременно, что прямо блоками кое-что получено от родителей. Так вот, моя любимая бабушка. Кулички она пекла до пяти утра. Я — тоже. Все делала очень медленно, захватывала все пространство. Я — тоже. Прежде чем мыть жирную посуду, вытирала ее бумагой (горячей воды не было тогда и там). Я, попав в негородские условия, «придумала» сразу такой же способ, а уж потом то ли вспомнила, то ли мне сказали. Как и у меня, у моей бабушки было полно подруг. Они назывались по имени-отчеству и были в моем детстве не людьми, даже и не образами, а какими-то непреложными понятиями или предметами мебелировки мира. Она была им предана, любила их, они ее, видимо, тоже. Но тут начинается та узенькая тропиночка среди моих смущенных чувств, тропиночка, по которой я отправилась искать себе оправдание. Живу на свете давно, и вот наконец меня обвинили в предательстве. До сих пор, долгие-долгие годы, все меня понемножку или помногу предавали, и никто не заботился, что я-то там сама, не пускаюсь ли подпольно и нечувствительно для них в разные бесшабашные предательства. Язык-то остер, словцо-то... А вот нашелся и на меня охотник — загнал в угол и уличил меня во многом, а в первую очередь в предательстве. Я и отпираться не пытаюсь. Знаю, знаю давно, хоть никто и не обвинял раньше. Сама ощущала, сама себя укоряла, сама была себя в грудь. Знаю свой грех. Но какой великий! Непуганый, целина греха, всю жизнь одним про других рассказываю, и словцо красное оттачиваю, и, рассказывая, сама для себя осознаю, и формулирую, и хохочу, хоть и горькие дела. Предаю огласке, предаю, предаю. Всех, на каждом шагу. Никогда никому таким образом вреда не причинила. Не т а м предаю. Не т а к. То ли версии обкатываю, то ли, рассказывая, сама слушаю и оцениваю. Что-то такое делаю, серьезное аналитическое дело. Познаю, одним словом. Такое у меня оправдание.

А вот бабушка моя пресветлая тоже про всех хохотала. Подруги были в основном гимназические, уцелевшие девушки. Она-то тоже одна уцелела, хотя один из «смехов» начинался: «У нас в тюрьме...» И вот эти Александра Андреевна, Наталиванна, Татьяна Николаевна, Марья Иосифовна, Клавдия Михайловна (Клѐ), Зарины (все вместе — сестры с братом). Так вот, бедная Мария Иосифовна была чрезвычайно глупа. Теперь никто не умеет быть глупым таким способом. Она служила (все они не работали, а служили) то ли в Доме кино, то ли в ЦДРИ — во всяком случае, там, где постоянно во всезапретные времена были просмотры каких-то других фильмов. Она, наверно, в зал пускала, что-то такое, и все смотрела, а потом рассказывала приходившим ее навестить подругам. Бабушка страшно смеялась, что М. И. не может справиться с пересказом сюжета, все у нес концы с концами не сходятся. Замученная бестолковым рассказом, бабушка хотела уж по крайней мере узнать, как наконец разрешился киноконфликт. Она спрашивала у той что-нибудь вроде: «Ну, а как же вы говорите, а как же муж?» А та разводила руками и говорила только: «А вот так!» Еще изумительная о ней история. Эта М. И. была особенной подругой Татьяны Николаевны, обладательницы не-

правдоподобно огромного носа и приемной дочери-стервы (ту учили английскому еще тогда и всерьез внушали, что надо стремиться стать женой принца Уэльского, кончилось же дело тем, что она выучилась-таки в Инязе, стала стукачкой-переводчицей и жестоко обращалась с Т. Н., когда та умирала от рака). Так вот, муж Т. Н., когда М. И. зашла в гости, а хозяйки почему-то не было, стал «приставать». М. И. пришла в ужас и убежала от него вокруг круглого стола, увещевая и обращаясь по имени-отчеству.

Александра Андреевна была очень неприятной, у нее была какая-то бородавка, безнадежное мясистое лицо и что-то вроде френча надето. При этом она, служа где-то, помогала в войну со жратвой.

Наталиванна была большая, столь похожая на Пашенную, что и добавить к той нечего. Мне кажется, она и сама ощущала себя в роли Пашенной. Она была очень неглупа, но тяжеломерно несчастлива в семейной жизни. Муж Яков Львович — ученый-радиофизик из медиков, еврей, интеллигентный человек, обожавший науку и баб. Сын — вялотекущий шизофреник. И она — умница, уступившая свою математику, запертая в доме, изнывающая жалостью и неудовлетворенностью в связи с сыном. Потом чудовищно неприятная невестка и внук — отрада, баловень, тиран, и новый виток неблагополучия с ним. Так вот, и она и Яков Львович использовали бабушкины доверчивые уши и отзывчивую душу для жалоб и доносов друг на друга. Бабушка приходила к нам и рассказывала маме-невестке то какой мерзавец Яков Львович, то какая деспотичная, черствая, негибкая Наталиванна — каждый раз искренне. Она их внимательно слушала, сопереживала, соглашалась с каждым по очереди. И, я думаю, это ее не смущало. Никто не требовал от нее решительных действий, жаждали лишь понимания, и она понимала. А свести концы с концами? Тут и она, как Мария Иосифовна, могла только развести руками: а вот так. Я помню даже какие-то мягкие намеки моей матери, что так обсуждать с обоими не стоит, что-то робкое про предательство по крайней мере одного... что если они между собой выяснят про эти рассказы, будет обида, неловкость. Бабушка отметала такие угрозы. Она не чувствовала греха. Она сочувствовала обоим по очереди от всего сердца. Со мной тоже была такая история, совсем уж в других лицах и декорациях. Мои сокурсники, муж и жена, которые сначала жили в одном со мной кооперативном доме для бедных, «эмигрировали» из СССР в БССР, задолго до перестройки захотели, чтобы их малые дети выросли в частном настоящем и х доме, а они бы разводили тюльпаны. Боже! На основе этого советского застойного детектива разыгралась шекспировская трагедия их любви, разбитой ее родителями под боком, советской действительностью, е е хамством, жлобством, болезнями детей, е г о замедленной, но неуклонной реакцией на происходящее. Они приезжали по очереди в Москву и приходили ко мне. И каждый рассказывал свою правду. Оба талантливые рассказчики. Ему я немного больше верила, ей, как женщине и матери, немножко больше сочувствовала. Я не объединялась с ними против, а старалась уговаривать за. Но я была их общей. Потом он прекратил ко мне ходить. Он взял на себя труд исчерпать эту двусмысленность. Но я могла бы и дальше, как бабушка. Ничто мне не мешало. Я была чиста. О! Я затронула такой Везувий Судьбы. Он извергает и поныне. Она уже с одной дочкой в Дании. Он — под Москвой. Младшая, еще девочка, — одна в Москве. Но нет. Их рано предавать даже читательскому суду. Они еще не знают, что с ними будет дальше.

Так вот, я хочу сказать и про Клё с глазами, «как фиалки» (мерзкая старая коза с лицом, похожим на слово «бухгалтерия»), которая имела или воображала, что имела, любовников до восьмидесяти пяти, что ли, лет. Ах, они все просто исчезли. А Елена Николаевна, которая получила пенсию рублей восемь — двенадцать?! Она копила деньги на плащ цвета морской волны и подкуп лодочника (!), который взялся бы перевезти ее в Турцию. Это уже после войны! У нее была только сестра в Медоне. Так по безумному легкомыслию она обратилась к Хрущеву, и он выпустил ее во Францию. Тогда! Если бы моя милая хохотушка бабушка держала язык за зубами, кто бы узнал, что были эти одинокие, вычеркнутые из советской действительности люди. Хоть что-то, хоть эти анекдоты должны послужить им памятью. Предательство! Предательство! А вдруг это форма благодарного отражения их бытия? Как умеем извещаем мир о вас, клиенты дорогие!

Скорбное бесчувствие

Если долго жить, ну по крайней мере по ощущению долго, то постепенно все поймешь. Ну, может быть, не так поймешь, как этого кто-то хотел, какой-нибудь как бы автор, но вдруг стукнет, что стало понятно, про что. А то ведь, если начистоту, откуда мы знаем, что имеют в виду, говоря то-то и то-то. Понятно, конечно, бывает, но все равно как-то приблизительно. Ну вот, я не буду приводить какой-нибудь сложный пример, глубокий смысл и т. д. Ну, например. Вот слышу слова «скорбное бесчувствие». И больше ничего не знаю — роман ли, фильм ли, цитата из древних, не знаю. Не помню, не удержала. А слова эти во мне живут. Почему? Высокопарность резанула? Западный душок? Ну есть и то и другое. Но все-таки это не «скромное обаяние буржуазии». Все-таки это не только товар, но и чей-то опыт, выданный за отдельный элемент бытия. Ну чем, казалось бы, хвастаться. Скорбь — грех, бесчувствие — тоже не добродетель. А вместе? Как осуждение не звучит. Как несчастье? Слишком красиво, жалости не вызывает. Короче, что я хочу тут утвердить постараться? Дожить нужно до скорбного бесчувствия — и все станет ясно. Сойти, так сказать, на этой станции. И ясно сразу, что не от скорби бесчувствие, то есть окаменение, истуканство и т. д., а от бесчувствия собственного — скорбь. То есть оно не скорбное, а прискорбное. Вот что. (А ведь уже увела я вас с честной дороги поиска истины. Вовсе и не только этот «при-скорбный» оттенок. И то и другое. И жаль, что наступило бесчувствие и бесчувствие как форма скорби. Ибо как вы хотите, чтобы проявилась скорбь? Ну, скорбь. А как ей воплотиться? Что вы можете предложить? Или уже все виды израсходованы? Ну и осталось — одно ничто, бесчувствие.)

Да, жаль. Но это самое скорбное бесчувствие, если и выдает себя за итог, — не верьте. Это только начало работы, которую очень не хочется делать. Как сказал один поэт: «Душа обязана трудиться». Фиговый листик — ваше бесчувствие. Такие там еще вулканы раскошегариваются, под строгим облачком скорбных бровей. Знаем-знаем. Ах, у нас бесчувствие. Фу-ты ну-ты.

Чего бы стоило все это рассуждение, если бы я не создалась, как я сошла на этой станции «Скорбное бесчувствие».

А все предельно просто. Опять скандал. Опять возлюбленный муж его учиняет при моем покорном замороженном содействии. Я в конце концов поддалась на все провокации. Его не уймешь, не остановишь ничем. Если уж пора, то — понеслась. При любой погоде, в любое время дня и ночи, без свидетелей, при свидетелях. Все эти детали будут только с л у ж и т ь. Делу способствует все что угодно. Любая особенность момента — витамин. Спа-ать хочется? — кошмар обеспечен: это будет кошмар наяву. Со сновиденческой нереальностью мы поплывем в серо-черном тумане страшных слов, говорить которые нельзя ни при каких обстоятельствах никому и никогда, и именно поэтому они мгновенно становятся клубящимся фактом бытия Небытия. Иногда мне кажется в такие минуты, что я вышла замуж за Харона и он меня бесплатно катает.

В моем очень раннем детстве был знаменитый «Бродяга» — индийский фильм с Раджем Капуром, целая эпоха в сознании совков, происходящих из Сталина в Хрущева. Я не помню почти ничего, кроме «красивой тети», «алеет восток, мой милый далек» — пение на качелях. Но так же смутно, как сон, помню сон героя, его кошмар, в котором рушатся храмы, огромные, индийские, до неба, а он — в самом низу... Между прочим, это еще не так ужасно — лежать в канавке в чистом поле, в слизи и грязи, в соплях и слезах, которые идут с неба, из носа и из глаз на поля, текут по остаткам растений и щек. Есть какая-то умиротворенность в таком равнинном горе, в неизбывном, присутщем, родном. А страшно — это бездна, это когда ты в самом низу, ниже некуда (это еще полбеды), и рушится над тобой Высокое-Превысокое. Не под обломками страшно погибнуть, а быть внизу, когда Высокого не станет вообще. Поэтому цель Ужаса ясна: разоблачить и разрушить твои «храмы» и пообещать веслом по голове — умрешь, зная, что храмов нет.

А вот когда мучение происходит в настоящем времени, кажется, что оно простое, ну, такое, никакое. Это вспоминать страшно или ждать, воображать, а мучиться — почти никак, особенно если удастся при этом лежать в темноте. И сознаешь с удивлением, что «ни жива ни мертва» — это жива, что нестер-

пимая боль — это такая терпимая, типа зубной, боль в душе-груди. И как часы с гарантией, бухает сердце — гарантия, что не заснешь ни на мгновение в эту ночь, даже если э т а фраза последняя. А со стороны посмотреть — ну типичное скорбное бесчувствие, нет ведь выразительных средств тому, что происходит. Все нескорбное было бы истерикой, все чувства если и живы, то погребены под обломками храмов. Скорбна и вина, которой не может у меня не быть, раз все так плохо в королевстве. Прискорбно и «бесчувствие» — неумение выразить, неумение выкопать из-под обломков своих родных и близких: свою любовь, свою бесстрашную жалость, свою безоружность и готовность простить, чтобы распятие оказалось распростертыми объятиями...

Так что неведомо откуда забредшее в мое сознание «скорбное бесчувствие» — это такой полустанок, где можно и застрять.

Лексика на страже морали

И. Б.

Раздумывая на другой день о случившемся, вернее, о не случившемся, я поняла, что вчера передо мной разостлали самые настоящие скатерть-самобранку и ковер-самолет Соблазна. Мне, бедной, одинокой, лишенной какой бы то ни было помощи и поддержки со стороны сильного племени, обремененной в то же время неисчислимой массой забот, человеческих долгов и хлопот, — мне предложили любовь, которая даже, я бы сказала, не то чтобы была обернута намеками на мощные энергетические и материальные вливания в мою жизнь во всех ее проявлениях, от здоровья до разрешения всех житейских проблем, по мановению волшебной палочки. Да, дамы и господа, предложенная мне любовь не была младенцем, спеленатым прозрачными и призрачными обещаниями, а, наоборот, она как бы была тем наполнителем, желатиновой капсулой, оболочкой, которая позволила бы мне принять горькую микстуру мощных инвестиций в мое разрушенное хозяйство. А от меня не требовалось ничего — только принять за чистую ноту, за полет шмеля жужжание мухи в липком горлышке несданной бутылки. От меня требовалось в чудовищной лексике, являющейся слепком с истории советской жизни и номенклатурной болезни, в стратегической беспомощности греха и тактической бездарности соблазна увидеть нежного, романтического, жестокого, самолюбивого, обалдевшего от своих «успехов в труде», хотя всегда их планировавшего и добивавшегося, обязательного, слепоглухонемого советского человека — и полюбить его. Я должна была всего лишь на том основании, что я — «сплав самого высокого духовно-интеллектуального, нравственно-орального и привлекательно-женского», похерить эти свои качества в угоду последнему и лечь в койку для дальнейшей выработки стратегии и тактики воздействия на науку, коммерцию и — обязательно — политическую жизнь страны. Благо рычаги были под рукой, и взяться надо было за самый узнаваемый.

И вот я думаю, почему же я ни на секунду не оказалась беспомощной перед волевым и страстным напором. Ведь любовь — это то, чему я молюсь, о чем я постоянно думаю, не забываю, имею в виду, о чем, не строя планов, неудержимо мечтаю. Я готова к любви в каждую минуту жизни, другое дело, что срывают этот вечно отцветающий бутончик готовности, как правило, всякие бедненькие: кошки-собаки и другие бесконечные подопечные. Они берут по уже неудержимо метаболизирующему в сторону синевы лепесточку и принимают как дневной рацион, но отдается им — так же, как дневной рацион. И сил прибывает у всех, я надеюсь. У кошечек — оттого, что они покушали и что их покормили, у меня — оттого, что покормила и они, слава Богу, покушали. Вот и вся любовь.

Но ведь, дамы и господа, я всегда почти отбрасывала входные билеты несуразностей и попадала-таки в историю, а уж потом, выходя из нее, начинала рыться в урнах, помойках и свалках в поисках оторванных «контролей», мучительно сличая их рисунок с рваными краями сердца и души.

Ну так почему же теперь я такая умная? В чем секрет бездействия чар, которые объективно присутствуют в полном составе? Стыдно признаться, дамы и господа, — дело в лексике. О! Никто не почувствовал т а к, чтобы продрало кожу, что значит, что слово было в начале.

Я отбила атаку, любезно смеясь, вышла сухая из воды, избежала падения, греха, хотя не сомневаюсь, что он был бы сладостен. Я ушла, звеня бубенцами ясного разума и добродушного смеха. Почему же я была шокирована сейчас и не была тогда, тогда и тогда? Что означают видовые различия в словоупотреблении? Ведь теперь мне совершенно ясно, что и всегда была такая тактика у обольстителей: сразить своими качествами, успехами, подвигами, прямо раскинувши их абсолютно грубо, по-цыгански, перед «клиентом», намекнуть на будущие свершения, перспективы величия и т. д., затем круто польстить уму и красоте (тут возможны варианты: можно сразу применить садо-мазохистские накрепчайшие цементы, то есть льстить красоте несильно, давать понять, что она не то чтобы объективно есть, а вот — «устраивает», да, мол, я плюю на твои недостатки, мне главное, что у тебя «хорошее лицо» и т. д. и т. п.), можно льстить нежной душе, уже после этого нужно скупно пожаловаться, обязательно одновременно и жалуясь и хвастаясь, на свои прежние связи. Но сверх этого надо правильно усечь момент, когда клюнуло, и только тогда начинать лапать. На это все может уходить разное время. Главное, конечно, уметь следить за жертвой, ее кондицией, или, что еще лучше, быть очень занятым своими делами. Самый мощный результат дает отступление на полпути, разлука вынужденная первый сорт, письмо долго идущее, телефон молчащий и другие орудия любовных пыток. Все это, конечно, так, любовая атака по сокращенному сценарию наивна, но в наш век сверхскоростей...

Нет, меня спасла чуждая лексика. Правда, я не рвалась навстречу неизвестности, но даже допустить мысль о реальности сползания коварных планов в жизнь было невозможно из-за слов. Слова в данном случае выражали так много. Они, как наливное яблочко по серебряному блюдецку, проясняли, что за кабинеты и коридоры, совещания и пленумы, что за игры доброй воли и нечистой силы за ними стоят.

Да, а второстепенная задача — не задеть самолюбие — достаточно трудна. Вот тут-то и понадобились интеллектуально-духовные, нравственно-моральные и даже привлекательно-женские ужимки и увертки.

Прощай, чужое слово, чужое дело, чужая планида и планета! Чужого не берем. Своим не торгуем. Целую мимо.

*

Проснулась и смотрю в окно, где по бледному картону раннего утра пролетела птица. Господи! Это она в том, давнем, смысле пролетела или в каком-нибудь политическом, экологическом, эсхатологическом? Потом полетели еще и еще, как из пожара черные бумаги, все в одну сторону. Что там дают?

А в квартире запел наш чиж, понятный тем, что, подопечный, то есть для меня, он действительно «жрать хочет, вот и поет». Так и живем. Так вот лирически и просыпаемся для нового дня, а не просто встаем, как из гроба, страшно и вертикально, по зову будильника. Еще есть куда хужеть.



ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕРМАН АНДРЕЕВ

*

ОБРЕТЕНИЕ НОРМЫ

Журнал «Новый мир», С. П. Залыгину.

Уважаемый Сергей Павлович, в 9-м номере «Нового мира» за 1992 г. опубликованы очерки Вайля и Гениса, посвященные проблеме российской эмиграции. Здесь же Вы обратились к другим эмигрантам с просьбой включиться в разговор, начатый Вайлем и Генисом, и как-то расширить, а может быть, и уточнить информацию об этом явлении — эмиграции.

Откликаясь на Вашу просьбу, я посылаю Вам свои размышления о российской эмиграции, но — как Вы увидите из текста — мои очерки носят очень субъективный характер, то есть я пишу не о «нас», эмигрантах, как Вайль и Генис, а о себе, эмигранте.

О себе... Я эмигрировал из Советского Союза в 1975 году. По профессии учитель русского языка и литературы. Был зам. директора школы № 2, разогнанной московскими властями за какие-то там отклонения идеологического характера. Уже в СССР начал печататься. В издательстве «Просвещение» вышла моя книга о «Войне и мире». Писал с начала 70-х годов для самиздата. Эмигрировал в Германию. Здесь преподавал как почасовик в различных университетах (Гейдельберг, Мангейм), пока не получил постоянного места преподавания русской литературы и русского страноведения в университете Майнца, где работаю и сегодня. В течение последних лет был литературным обозревателем парижской «Русской мысли», а также постоянным автором «Немецкой волны». Много печатался в немецких газетах. В конце 70-х годов основал вместе с другими эмигрантами летний Русский свободный университет имени Сахарова в Германии. После начала «перестройки» печатался и в ряде отечественных изданий.

Г. А.

1

Мне весьма симпатичен жанр повествования Петра Вайля и Александра Гениса «Потерянный рай»: это не рассказ, не мемуары, не социологическое исследование, а размышления на избранную тему. Я попытаюсь оставаться в пределах этого жанра, так же не претендую на научную солидность, вполне сознавая, что мои субъективные заметки могут кому-то показаться столь же спорными, как мне — некоторые утверждения Вайля и Гениса. Я могу ручаться лишь за одно: все, о чем здесь узнает читатель, — совершенная правда, но правда, ограниченная моим опытом. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы какой-нибудь россиянин, прочитав мои размышления, пришел к выводу, что он узнал Запад или условия существования там русских эмигрантов. Претензии на абсолютную корректность информации об этих предметах приводили подчас к трагическим или трагикомическим последствиям: веря в такую информацию, многие россияне отправлялись в эмиграцию и, к своему отчаянию, обнаруживали на Западе нечто чуждое ли не совершенно противоположное тому, что было сообщено в писаниях слишком самоуверенных авторов или же пропагандистов, предпочитающих правде своих личных наблюдений жесткие идеологические схемы. Кажется, где-то у Войновича рассказано о россиянине, который, эмигрировав в США и не устроившись там так, как он мечтал, обвинил в своих неудачах газету «Правда». На вопрос, неужели же он нашел в этой газете завлекательные сообщения о США, он ответил: «Как раз наоборот: нам твердили, что в Америке все плохо, и я понял, что США — это рай. А «они» врал: Америка совсем не рай».

Категорически заявляю, что никакой ответственности за практические выводы, которые сделает возможный читатель из моих записок, я не несу. Я буду оставаться

ОБРЕТЕНИЕ НОРМЫ

в пределах жанра, предложенного Вайлем и Генисом, вполне сознавая свою неопытность, свое несовершенство в сравнении с многоопытными литераторами: я не писатель, я — учитель.

В одном лишь отношении я не буду следовать манере Вайля и Гениса. Они, мне кажется, злоупотребляют местоимением «мы», что не может не запутать читателя: то ли наши очеркисты под «мы» имеют в виду свой здоровый творческий коллектив, то ли «мы» — это русские эмигранты в Америке. Вот, например, Вайль и Генис пишут, что «мы», вырвавшись на Запад, несемся в публичные дома, остолбенело взираем на витрины магазинов, в которых выставлены джинсы бесцетного количества фирм, и нюхаем в их супермаркетах консервные банки.

Не веря в свою способность составить групповой портрет эмигранта, я предпочитаю пользоваться не громким «мы» («Мы — эдисоны невиданных взлетов, энергий и светов»), а скромным «я». Будучи убежденным персоналистом, поклонником Николая Бердяева и Мартина Бубера, я не верю в возможность корректного описания какой-либо социальной общности (рабочий класс, трудовое крестьянство, народная интеллигенция, великий русский народ, евреи, эмигранты). Можно довольно точно, достоверно описать одного человека, особенно если этот человек ты сам, но описать эмигрантов, или евреев, или великий русский народ можно, лишь рискуя быть обвиненным в партийной заинтересованности. Я же буду следовать завету Льва Толстого, порвавшего со всякими общностями, в частности, и потому, что человек (как утверждал мудрый старец) не должен служить ни государству, ни партии, ни нации, ибо он всегда может ошибиться, не понимая как следует ни того, ни другого, ни третьего. Но если и говорить о каких-то социальных общностях, то мне кажутся более понятными объединения, которые Курт Воннегут назвал карассами.

Сразу заявляю: я и люди моей карассы ехали на Запад не для того, чтобы осуществить право на посещение публичных домов. Мы о них читали и у Чехова («Припадок»), и у Куприна («Яма»), и у Леонида Андреева («Тьма»), и никакого познавательного или другого интереса эти веселые дома в нас не пробудили. Не стремился я и к удовлетворению сладострастия путем просмотра порнофильмов, дела недостойного для христианина и вообще нравственно здорового человека.

Я знал, конечно, что в Вене, где я сделал первую остановку на пути в Германию, есть в изобилии и бордели и порнокино. Но я их как-то и не заметил. Правда, меня поначалу шокировали (сейчас привык и просто не замечаю) журналы, на обложках которых были изображены голые дамы в далеко не целомудренных позах. Я-то мог отвернуться — и все дела. Но как отвечать на вопросы моего тогда восьмилетнего сына? Вообще-то я не очень изобретателен и крепок скорее задним умом. Вследствие этого я ничего лучшего не мог придумать как разъяснить сыну, что в Австрии очень серьезно относятся к чистоте тела, потому-то здесь так много журналов по банному делу. Не уверен, что он мне поверил, но, во всяком случае, эта тема с тех пор навсегда в нашей семье снята. Разумеется, проблема пола в нашей семье обсуждается, но мы как-то обходимся без наглядного материала, производимого в бесчисленных сексшопках европейских городов.

Нет, не публичные дома, не супермаркеты, не сексшопы наполнили нас в Вене чувством свободы, обретения права иметь то, чего мы были лишены в Советском Союзе. Впрочем, венские продмаги мне все же понравились, но не только тем, что там продавалось (кое-что из этого я видел до войны в Елисейском магазине, а после в кремлевской столовой — к ней был прикреплен мой отец), но доступностью всех этих сокровищ для всех жителей. Заходя в венские супермаркеты и в маленькие лавочки (в Германии их называют «лавочки тети Эммы»), мы с женой всегда причитали: «Боже, за что наказан наш народ?! Ну почему это имеем мы, эмигранты, и почему лишены этого наши земляки?»

И все же не эти магазины возбуждали в нас действительно что-то родственное сладострастию, а магазины книжные, на витринах которых вот так просто лежали «Архипелаг ГУЛАГ», «Мы» Замятина, всевозможные мемуары «страшных» людей (Деникина, Керенского) и вообще все, что мы читали в Москве, вздрагивая от стука в дверь, или не читали вообще за невозможностью эти книги где-либо получить. Я не книжный червь, и все эти книги мне были нужны до разреза только потому, что я хотел наконец узнать правду о своей стране. Я понимаю, что многим, может быть, даже большинству россиян это знание — «до лампочки». Мне же казалось, что, не зная своей страны, просто невозможно существовать...

На второй день пребывания в Вене мы с женой бросились на Кертнерштрассе в книжный магазин, где продавались русские книги. Книжки-то были, но денег у

нас, естественно, не было. И тогда, как в светских романах, моя жена выложила на прилавок все свои «драгоценности»: это были бусы и браслет из янтаря. Не знаю, что вывозили эмигранты других карасс, но мы выехали с двумя чемоданами, в которых были носильные вещи и, кажется, сковородка, да с сумочкой для документов (правда, на мне была еще майка с написанными на ней от руки неопубликованными стихами Ахматовой, которые я должен был передать Никите Струве). Наша бедность огорчила даже таможенницу в Шереметьевском аэропорту. Зверски (и, разумеется, хамски) она вытрясала вещи у семей, стоявших в очереди перед нами, и жестко повторяла: «Не положено, не положено». Дойдя до моих чемоданов, она как-то преобразилась, превратившись в простую русскую бабу, приглашенную на поминки в качестве плакальщицы: «И куда это, миленький, едешь? Как же ты там проживешь? Ну неужто нет у тебя хоть немножко золота? Нет? Ну а оптики? Тоже нет? Бедный ты мой, несчастный!» Несчастливым я себя не чувствовал...

Вот все эти наши «драгоценности» взяла продавщица русского отдела книжного магазина милейшая фрау Керн и взамен вручила вещи, для нас гораздо более ценные: последние тома «Архипелага», только что вышедшего «Теленка», «Доктора Живаго». Какое же это счастье — сидя в шезлонге в саду на Гимназиумштрассе, погрузиться в нашу запретную, но настоящую русскую жизнь! А потом пойти в Национальную австрийскую библиотеку в Бурге или в читальню Венского университета и получить вот так просто в руки то, что дома казалось недоступным ни при каких условиях.

Мне бы не хотелось, чтобы меня заподозрили в снобизме: все же один раз я был буквально затащен в венский порнокинотеатр одним соотечественником, убеждавшим меня в необходимости «познания всякого рода мест» (по изящному выражению Павла Ивановича Чичикова). Сидя в темном зале и глядя на происходящее на экране, я вдруг почувствовал, что мне становится в буквальном смысле слова дурно: стало тошнить, голова пошла кругом, мне даже показалось, что я ощущаю реальные удары топором по голове. И я задал себе простой вопрос: зачем такие муки? Моим ответом было: никогда больше не подвергать себя пыткам посещения такого рода «учреждений культуры».

Вернувшись домой, я выступил перед хозяйкой квартиры, где мы временно поселились, с инвективой против разлагающейся культуры Запада и выразил недоумение, почему население не требует всю эту порнуху запретить. Наша очаровательная австрийка выслушала мою страстную речь с явным недоумением и спросила, знаком ли я с теорией последнего вагона. Суть ее в том, что, как установили специалисты по крушениям поездов, больше всего страдают при авариях последние вагоны. И один не лишенный остроумия, а может быть, наоборот, совсем глупый человек предложил в каждом поезде отцеплять последние вагоны. Теперь была моя очередь недоумевать: какое отношение к порнографии имеет эта забавная байка? Моя собеседница терпеливо разъяснила: как только мы запретим что-то самое последнее-перепоследнее, так обнаружится, что теперь возникло еще что-то последнее — и так мелкими шажками мы приходим к диктатуре. Я сообразил, что причислен к совсем уж глупым людям. Чтобы успокоить меня, моя хозяйка разъяснила, что люди моего воспитания и стиля в порнокинотеатры вообще не ходят: это для плебса и для сексуально озабоченных людей.

Как я уже сказал, время пребывания в Вене мы использовали для других наслаждений. Главное, поглощающее нас, было наслаждение свободой и обретением чувства человеческого достоинства. Чувство это было нам в таком объеме незнакомо прежде. Концерты же в Венской филармонии, картинные галереи, замок Шёнбрунн (где князь Андрей докладывал австрийскому императору о ходе дел на полях сражений) и т. п. как бы возвращали в российско-интеллигентское бытие.

Были ли мы с женой типичными эмигрантами? Понятия не имею. Вайль и Генис подробно описывают типового русского эмигранта. Я же его не знаю. Не говоря уж о том, что существует три русских послереволюционных эмиграции, внутри каждой есть типы, резко отличающиеся друг от друга. Я познакомился с представителями всех трех эмиграций, и если и нашел в каждом что-то присущее только данной волне эмиграции, то все эти типовые свойства при знакомстве с конкретным человеком оказывались совершенно незначительными, лишь в очень небольшой степени этого человека характеризующими.

Я стану говорить о психологии, это не моя тема и не моя профессия. Я лишь буду рассказывать о мотивах бегства из Советского Союза некоторых моих

знакомых (и подробнее всего о своих мотивах), об отношении различных эмигрантов к Западу и покинутой родине.

Мой большой приятель, театровед и режиссер, эмигрировал потому, что страстно желал увидеть скрываемые от него, как и от всех советских людей, сокровища мирового искусства. Он даже не эмигрант, а еще «хуже» — невозвращенец. Человек, к политике, в общем-то, равнодушный, он фанатически любит театр и живопись. А какие-то «суки» (это его любимое слово) закрыли границу и никуда за ее пределы не выпускают. Он с трудом добывается путевки на коллективную автобусную экскурсию в Германию (дело было в начале 70-х годов) и по приезде в Мюнхен тихо-тихо ускользает от надсмотрщиков в штатском в мюнхенскую полицию. И получив политическое убежище, он мчит не в значные места, а в знаменитую пинакотеку. Последующие пятнадцать лет он носится по всему миру, устремляясь на свидания с картинами, которых еще не видел. Живет он на пособие по безработице, спит чуть ли не на полу, питается как попало — ему нужны деньги на путешествия. Не раз он звонил мне из Мюнхена и требовал, чтобы я дал ему адреса моих знакомых в Париже, Новой Зеландии или в Бразилии, у которых он мог бы бесплатно переночевать. А ехать туда ему совершенно необходимо: там ведь можно увидеть неизвестных ему Жерико, Ватто, Рембрандта, Эль Греко.

Политикой он интересуется мало и может мне позвонить (он еще очень любит футбол) и закричать в трубку: «Включайте телевизор, посмотрите, как наши наших бьют» (это значит, что играют команды ФРГ и СССР). Можно подумать, что мой приятель из круга рафинированной интеллигенции. А он крестьянский сын. Когда он был еще мальчишкой, его дважды пытались расстрелять — сначала немцы как партизана, потом наши за то, что его недострелили немцы. Оба раза ему удавалось бежать, а после войны он окончил ГИТИС. Вроде бы его судьба подтверждает неоднократно повторяемый писателем Зиновьевым тезис, что-де только советская власть дала возможность самым простым людям вырваться из-под гнета деревни и стать генералами, учеными, писателями (вот и мой приятель — кандидат искусствоведения). Здесь не место спорить с писателем-парадоксалистом. Но думаю, что мой приятель в отличие от Зиновьева знает, что доктор Чехов был внуком крепостного, а генералы Деникин и Алексеев — сыновьями крепостных и достигли высот без помощи коммунистических радетелей за народ, так что большой привязанности к Советскому Союзу он не имел и не считал, что, покидая страну, он совершает акт неблагодарности.

Эмигранты из окружения Вайля и Гениса иронически отзываются об американской культуре, будучи уверенными, что о ней можно судить по порнографическим журналам и романам и по высказываниям нью-йоркского лифтера о Чехове. Из контекста же их очерков выясняется, что культура самих этих людей укладывается в забивание козла и в патриотическое потребление русской водки. Я не думаю, что в таком представлении о культуре — какая-то специфическая особенность русских. Немцы, самый путешествующий в мире народ (денег хватает), обратившись, скажем, из Испании, редко говорят о Прадо, но весьма подробно — об испанской кухне и о бое быков. Но само наблюдение Вайля и Гениса, что русские эмигранты часто судят о том, чего не знают, совпадает и с моим. Судят, впрочем, не только эмигранты. После 1985 года я часто встречаюсь с москвичами или у себя в Германии, или у них во время моих редких наездов в Россию. Меня поражает самоуверенность тех из них, кто при встречах упорно стремится помочь мне разобраться в хитросплетениях немецкой политической жизни и т. п. Не менее удивляют и весьма интеллигентные москвичи, которые даже не расспрашивают меня о Европе, как бы предполагая: ну что он может сказать, я знаю поболее его. Русские действительно нелюбопытны, но еще и очень самоуверенны.

Вайль и Генис утверждают: «И профессор и домашняя хозяйка свой первый опыт западной демократии приобретают не при чтении «Континента», а при покупке джинсов». Не знаю, может, россиянин, избравший для эмиграции не США, а Западную Европу, какой-то иной, но мне не приходилось встречать русского профессора в эмиграции, который не умел бы отличать демократию от цганов. И в венском магазине русской книги я встречал и российских профессоров и российских домашних хозяек, которые спрашивали, нет ли нового «Континента» или очередного номера «Граней». Всех нас, конечно, ошарашили магазины с колбасой, джинсами, мебелью, автомашинами, со свежими фруктами в любое время года, а меня особо — с йогуртами. Но мы увидели во всем этом не западную демократию, а выражение разумного, то есть не социалистического, хозяйствования. Вообще, создается впечатление, что эмигранты у Вайля и Гени-

са — это или плебс, или образованцы, герои городских повестей Юрия Трифонова, оказавшиеся на Западе. И таких я тоже встречал немало. (Одна дама, между прочим, жена профессора, предлагая купить у нее тома собрания сочинений Льва Толстого, которых у меня не доставало, сказала восхитительную фразу: «Конечно, я прошу много, но зато ведь какой товар!») Однако я не рисковал бы подобно Вайлю и Генису делать столь категорические обобщения и вообще употреблял бы чаще такие ограничительные словечки, как «некоторые», «отдельные», «нам известные», а то ведь читатели примуг всех эмигрантов за полных идиотов, если даже профессор из их среды «первый опыт западной демократии приобретает при покупке джинсов».

Кажется, Вайль и Генис предпочитают типажи индивидуальностям. Их симпатии явно принадлежат некоему типу русского эмигранта, а не тому, кто следовал бы максиме современного французского ученого Лакана: «Поступай так, чтобы ни один твой жест не был запрограммирован».

Замечать в человеке какие-либо неповторимые свойства, конечно же, труднее, чем прищипывать его к определенной общности. Да и я не мог избежать соблазна обнаружить типичные особенности представителей трех эмиграций, сознавая всю неточность, приближительность, необязательность моих обобщений.

Люди первой эмиграции чуть-чуть подзабыли русский язык, но только в его лексической части. Зато произношение у беглецов из старой России гораздо приятнее нашего, звучащего подчас плебейски: ведь людям из первой эмиграции не приходилось переругиваться в очередях или усваивать интонации речи конвоиров. Однако без воляпюка старики из первой эмиграции обходятся редко. И не только от моей соседки тети Маруси, украинско-русской крестьянки, бежавшей от народной власти давным-давно, можно услышать фразу на смеси трех языков: «Тебе эти форхенги треба зельбер» (в переводе: тебе самой нужны эти занавески). Человек из первой эмиграции всегда говорит «я взял автобус» вместо «я поехал на автобусе». Зато россиянин из первой эмиграции владеет, как правило, несколькими иностранными языками в отличие от нынешних эмигрантов, среди которых говорят не только по-русски лишь очень образованные люди.

Особый случай привелось мне наблюдать в редакции одного значительного журнала третьей эмиграции — его редактор вообще отказался учить язык (французский) страны, в которой обосновался: «Пусть они учат русский». Вряд ли подобная мысль приходила в голову эмигранту первой волны.

Случается, что удачливым эмигрантам третьей волны, мягко говоря, слабое знание языка страны пребывания подчас и не мешает. На мой совет одному московскому, а ныне шотландскому врачу выучить как следует хотя бы английский язык я получил успокоительный ответ: «Да не волнуйся ты за меня! Мне хватит трех слов в общении с пациентами — «раздевайся» и «снимай штаны»: первое — для осмотра, второе — для укола». И ничего, благоденствует...

Кажется, на второй год моего пребывания на Западе я получил весьма любезное приглашение участвовать в юбилейных чтениях о Льве Толстом. Я полетел в Париж. Чтения были организованы, если я не ошибаюсь, более или менее далекими родственниками Льва Николаевича, а также культурными силами первой эмиграции. Перед началом слушаний я вошел в зал, удобно устроился в кресле, достал блокнот и ручку и стал ждать, предвкушая высокое наслаждение. И о ужас! — уже открывавший чтения докладчик (кажется, это был внук Толстого) заговорил по-французски. А затем оказалось, что и все последующие референты языком сообщений о Толстом избрали тот, что господствовал в салоне Анны Павловны Шерер. Мое не очень тактичное замечание, что, быть может, о Льве Толстом стоило все же говорить по-русски, натолкнулось на полное непонимание.

Между прочим, именно во время этих чтений я впервые очутился в атмосфере смешения времен, которая делает эмиграцию подчас столь прелестной, порой забавной: я, пришелец из загадочной для присутствовавших страны «эсэсэрии», получил возможность общаться с жителями российской Атлантиды. Каково было мне, всю жизнь имевшему дело с товарищами да гражданами, знакомиться со старушками и старичками, которые, протягивая мне руку, представлялись: «князь Трубецкой», «граф Толстой», «княгиня Волконская»? И вокруг жу-жу-жу — по-французски. (В общем, салон мадам Шерер.) И конечно же, я должен был попасть впросак. Весьма, весьма сплеховал я в эту мою первую поездку к парижским русским! Здесь, в этом белом зале, недалеко от церкви Мадлен и «Гранд-Опера», подошел ко мне один из участников слушаний и, слава Богу, на понятном русском

языке представился: «Сергей Лифарь». Совершенно уверенный, что великий танцор Сергей Лифарь, как и Шляпин и Нижинский, — только персонажи из диссертаций и книг по истории русской эмигрантской культуры, я самым что ни на есть светским тоном, демонстрируя свою эрудицию, спросил: «Внук того самого?» Великий Сергей Лифарь несколько смущенно, мягко (вот он, политес первой эмиграции!) ответил: «Что вы, что вы, это я и есть, а внуки мои занялись другим делом».

Прошло лет пять, и я опять влип. После моего доклада в Стэнфордском университете США я был приглашен, как это здесь принято, на обед, устраиваемый для гостей кафедры. Заговорили о структуралистах, и я что-то нелестное брякнул о Романе Якобсоне. Каково же было мое смущение, когда сидевшая рядом со мной пожилая дама обиженно и как-то грустно спросила меня: «За что же вы так моего Ромочку?» Это была вдова Романа Якобсона. Да, того самого Якобсона, о котором с товарищем Нетте «напролет болтал» Маяковский, то есть человека из какого-то весьма туманного для меня прошлого. Мог ли я себе представить, когда читал эти стихи (наверное, полсотни раз) моим ученикам в Союзе, что буду обедать вместе с женой Романа Якобсона?!

Да, это невыразимо радостное чувство — общение с людьми, о которых лишь читал, чью давнюю, но очень для меня важную эпоху изучал. В редакции «Русской мысли» на рю дю Фобур Сент-Оноре, куда я регулярно заходил раза два в год для получения гонораров за мои статьи, я часто встречал сотрудника газеты, очень старого человека, — Кирилла Померанцева. Я знал, что он из той (!) плеяды русских поэтов, и держался от него на подбаивающей дистанции — мол, недостойн. Но вдруг однажды он сам пригласил меня побродить с ним по Парижу. Он говорил интересно, молодо, но я почти ничего не слышал, потрясенно воображая, как он так же обсуждал прошлое и события текущей литературной жизни в Советском Союзе с И. Буниным, Г. Адамовичем, В. Ходасевичем. А вот теперь — со мной! Я считал невозможным высказывать свои соображения о писателях, которые были для меня классиками прошлого, в беседе с человеком, некогда державшим этих классиков под руку (как сейчас меня), прогуливаясь по Парижу. Но вот Померанцев заговорил о Викторе Платоновиче Некрасове, эмигранте уже третьей волны, то есть классике, который и для меня был некоей осязаемой реальностью.

К этому времени я уже неплохо знал Виктора Платоновича и очень жалел, что он рассорился с моим большим приятелем Леней Плющом: два бывших жителя Киева, решительные борцы против шовинизма любого рода, они что-то там не поделили, споря о национальных проблемах. Незадолго до этой прогулки с Померанцевым мы с Леней шли в магазин русской книги «Глоб» (на эмигрантском жаргоне «Жлоб»). Из магазина, не очень твердо держась на ногах, вышел Некрасов. Поначалу качнувшись в мою сторону, он вдруг увидел и Плюща и переменял вектор своего движения, ухитрившись пройти вроде бы сквозь меня. Я говорю о Некрасове, чтобы напомнить: он тоже эмигрант третьей волны и, слава Богу, ни под какую классификацию не попадает. Любой эмигрант-очеркист, как бы ни старался, не смог сказать «мы», включая в этот коллектив Виктора Платоновича Некрасова. Впрочем, каков был эмигрант Некрасов, можно вычитать из его собственных описаний. Среди недостатков Некрасова безусловно не было одного — злопамятства. Я уверен, что если бы Плющ в ту нашу встречу с Виктором Платоновичем сказал: «Да бросим всю эту ерунду, пойдем выпьем», Некрасов без всяких колебаний согласился бы. Этой незлопамятностью Некрасов решительно отличался от некоторых эмигрантов, которые могли рассориться со знакомым человеком лишь из-за одного необдумительного слова в их адрес.

Выступая как-то в Летнем университете имени Сахарова на юге Германии, Некрасов, естественно, нелестно отозвался о писаниях Софронова, Ан. Иванова, Кочетова, Грибачева и других (думаю, читателю этот ряд ясен), все время походя признаваясь, что, конечно, он всю эту муру не читал. И обратился к слушателям: «Ну, кто же читал эту макулатуру?» Присутствующие — и студенты и преподаватели — посмеялись: мол, кто же все это читает? Поднялся я и сказал: «Виктор Платонович, я читал почти все вещи, которые вы упомянули, и, соглашаясь с отрицательной их оценкой, считаю несolidным ругать книги, которые сам не читал». Какая-то дама, не без подхалимажа относившаяся вообще к знаменитостям, ехидно высказалась с места: «Виктор Платонович, так ведь он (то есть я) — завуч!»

Знакомый с российской эмиграцией наблюдатель из всей этой перепалки, да еще публичной, сделал бы вывод, что Некрасов уже никогда даже и в мою сторону

не взглянет (ведь подтекст моего выпада против Виктора Платоновича содержал намеки на тех доярок и слесарей, которые «Доктора Живаго» не читали, но написавшего эту «паскудную книгу» называли изменником). Ничуть! И до самой своей смерти, встречаясь со мной (очень редко: он жил в Париже, я — в маленьком немецком городке), Некрасов был всегда предупредительно мил и как-то подарил мне свою книгу «Записки зеваки» с добрым и несколько загадочным посвящением.

Кстати, о Плюще. Вот уж кто буквально никакого интереса к западным роскошествам не питает. К нему, как и к Виктору Некрасову, никакого отношения не могут иметь какие бы то ни было обобщающие характеристики эмиграции, которыми столь богаты размышления Вайля и Гениса. Я встречаюсь с Леной Плющом более пятнадцати лет, оба мы эмигранты третьей волны, но не могу представить себе, как бы это мы оказались с ним в одной эмигрантской группе, обозначаемой этим туманным «мы». Снимая нас в Париже для «Пятого колеса», Белла Куркова, между прочим, сообщила зрителям: «Не стали они богачами или хотя бы благополучными мещанами, не за комфортом, не за тряпками ехали они на Запад — за свободу духа вытолкнули их из Киева, Ленинграда, Москвы». Будучи абстрактно верной, эта информация никак не отражает ни конкретных судеб, ни жизненных ориентаций конкретных героев передачи: тут Беллу Куркову подвела непреодолимая склонность к обобщениям. Конечно же, я уехал не за тряпками, но без всякого отвращения отношусь к арендуемому мною дому на берегу Рейна, к своей машине, к мебели в моем доме, к домашней технике, облегчающей жизнь моей жене. И я не стал бы презрительно отзываться о «благополучных мещанах» (если словом «благополучный» обозначается не духовный сон, а бытовое устройство). А вот Леня Плющ действительно живет вне интересов быта. Думаю, что он даже не подозревает, какое огромное значение имеет эта сторона нашего брэнного бытия. Розыски местоположения колодца Иова, разновидности украинских «пысанок», психоаналитический подход к творчеству великого Шевченко или Хвильевого, структура фильмов Дзиги Вертова и Эйзенштейна — все это полностью занимает его душу, его интеллект. Леня не прочь посидеть и в кабачках Латинского квартала, но они для него — не волшебный Запад, а место, где можно поболтать, пропустить рюмку-другую... И все это не совсем имеет отношение ко мне. Ниже я подробно расскажу о причинах моей эмиграции, порассуждаю о том, чем для меня привлекателен Запад, почему Россия занимает в моей душе не меньшее пространство, чем Украина в помыслах Плюща. Однако в устройстве быта моей семьи я вижу, может быть, больше смысла, чем в своих изысканиях о судьбах родины, ее культуры и общественной мысли.

Что ж, поищем все же какие-то еще типовые свойства эмигрантов. Думается, что одним из таких свойств является мания подозрительности. Принято считать, что русский человек — душа парень, искренний и доверчивый. Я сомневаюсь, что большинство русских людей именно таково. Пусть я не прав, однако я наблюдал, как в эмиграции россиянин в одном отношении, во всяком случае, проявляет себя как отличный воспитанник советской системы: он становится страшно бдительным, недоверчивым, скрытным. Даже если он никогда и не жил в Советском Союзе, бежал из этой страны до того, как там был начат эксперимент с целью создания гомо советикуса. Одна старая дама из первой эмиграции упорно скрывает от меня фамилию своего отца (по моим предположениям, это был человек из лагеря погромщиков). Дело очень-очень давнее, да и дочь за отца не ответчица, но... на всякий случай не мешает и помолчать.

Политизированный русский эмигрант гордо уверен, что его голыми руками не возьмешь, КГБ его вокруг пальца не обведет. Он прекрасно знает, что А. заслан на Запад органами, Б. всегда был гэбэшником, а за В. надо еще наблюдать.

Мне же никогда не хотелось быть бдительным. Ни разу я не подозревал кого-нибудь из моих знакомых в стукачестве, в сотрудничестве с КГБ. И тут дело не в моей наивности. Просто мне это было не важно, я бы сказал — даже неинтересно. Я всегда был глубоко убежден — и в сталинское и в постсталинское время, — что если ГБ решит меня посадить, стукачи для приближения этого момента мало что могут сделать: буду сидеть независимо от того, донес на меня кто-нибудь или нет. Ведь не одинаково со всем народом думавшие интеллигенты были изначально опасны для власти. Дело же стукачей придумать какой-то текст, который можно использовать для суда, имитирующего свою причастность к цивилизации. Я сам для себя определил, что значит законность, и, стараясь не переходить за рамки лояльности как я ее сам понимаю, жил лишь в ожидании, что ГБ, иначе, чем я,

представляющая себе лояльность гражданина, захватывает меня независимо от плотности донощиков в моем окружении.

Мне повезло: я никогда не сидел и вообще никогда с ГБ как организацией дела не имел. И это вовсе не потому, что я был очень уж осторожен, или мои высказывания всегда были приятны советской власти, или потому, что среди моих гостей не было стукачей. А вот именно — просто повезло, да и на рожон я никогда не лез: в активной борьбе против системы участия не принимал (об этой материи несколько ниже). В общем, я бдительным не был ни в Советском Союзе, ни в Германии — никогда никого ни в чем не подозревал.

Мне приходилось сталкиваться прежде всего с бдительностью эмигрантов второй волны. Эти люди мне казались более скрытными, более недоверчивыми, чем старики из первой эмиграции. Нельзя не учитывать, что во второй эмиграции много бывших власовцев и членов НТС. Так что их настороженность нельзя воспринимать как фобию: это нормальное состояние людей, находившихся в борьбе с сильным и коварным противником. Мне трудно было отнестись с симпатией к их прошлому, к их методам, но чисто по-человечески многие из них были мне симпатичны. (Как ни крути, но власовцы воевали против России. Их раздраженный ответ, что-де власовцы боролись против Сталина и против Гитлера, меня не убеждал. В свое время они носили форму нацистского вермахта, на совести которого кровь миллионов русских людей, сожженные города и деревни.)

У политизированной части второй эмиграции немало заслуг. Главная из них — публикации и распространение книг об истории коммунизма в России, запретных в Советском Союзе произведений и пересылка их советскому читателю через самые разные каналы. Но игры в нелегальщину, какие-то проекты диверсий в СССР, капиллярная система подполья, разработанная действительно русским патриотом Поремским, — все это напоминало мне большевизм, а будучи толстовцем, я вообще с неприязнью отношусь к кровавым вариантам спасения России.

Зная установки НТС, нельзя не согласиться с тем, что бдительность тут весьма даже уместна: условия подполья требуют быть очень внимательным к возможному проникновению секретных служб противника. Но понимая это, я все не мог освободиться от иронического отношения к приемам, с помощью которых НТС защищался от коварного врага.

Как-то, еще в начальные годы моего пребывания в эмиграции, поехал я во Франкфурт, где проходили гастроли Художественного театра. Прогуливаясь в антракте по фойе театра с милейшей женщиной, женой одного из руководителей НТС, которой я обязан многими ценными советами, в частности и духовного характера, я заметил среди зрителей соотечественника (русских людей из метрополии невозможно не распознать среди европейцев). Он раскланялся с моей спутницей. Я поинтересовался, кто сей, на что получил удивительный ответ: «Да это наш гэбист». «Как! — воскликнул я. — Вы знаете об этом и держите его в вашей организации?» «Разумеется: ведь если мы его разоблачим и выгоним, то прийдут другого, и нам понадобится опять много времени, чтобы раскрыть нового».

Так получилось, что я оказался на Западе в кругу политически ангажированных эмигрантов и пишу в основном о них, в то время как Вайль и Генис описывают эмигранта, так сказать, массовидного. (Строго придерживаясь терминологии, следовало бы, наверное, назвать героев «Потерянного рая» не эмигрантами, а беженцами. Все же в слове «эмигрант» более слышатся политические мотивы выезда из страны, беженец же — лицо, спасающееся или от бедности, или от гражданской войны, или от национализма господствующих кругов.) Некоторые связи в моей доэмигрантской жизни привели меня в среду именно политизированной эмиграции. Еще в Москве я втянулся в диссидентские круги. Произошло это с моей стороны непреднамеренно, активной политической или правозащитной деятельностью по разным причинам я заниматься не намеревался. Я попал в окружение Корнея Ивановича Чуковского, которого, конечно, нельзя назвать диссидентом в точном смысле этого (надо сказать, не очень легко дефинируемого) слова. Однако атмосфера в его переделкином доме держала посетителя в жестких рамках этого самого диссидентского сознания. Не созданный для борьбы, я с радостью подчинил себя диссидентскому этическому кодексу. Этот кодекс не предписывал обязательности какого-то действия, он определял лишь свободу от системы и от толпы (последнее выразилось в блистательном обращении Лидии Корнеевны Чуковской «Голос народа»). Глядя на диссидентов несколько со стороны, я восхищался их нравственным ригоризмом. Сахаров и Солженицын стали для меня своего рода

моральными образцами благодаря не столько их поведению, сколько способу их мышления. Естественно, когда я в начале 1974 года узнал от отца, работника Госплана, что КГБ решил брать Солженицына, я ночью поехал в Переделькино, где на даче Чуковского тогда жил Александр Исаевич, чтобы предупредить его об опасности. Я не рассматривал тогда мой шаг как что-то сугубо политическое, это было действие, обязательное для порядочного русского человека.

Из так называемых диссидентских кругов я начал получать самиздат. Мой большой приятель Толя Якобсон, один из основателей «Хроники текущих событий», рассказывал мне о случаях противостояния правозащитников властям. У Роя Медведева я узнавал о разногласиях в диссидентских кругах. Он же мне и показал первый номер «Континента». (К моей теме не относится оценка деятельности тех или иных знакомых в сегодняшней ситуации, но из контекста моего очерка читатель поймет, что с теперешним Роем Медведевым я вряд ли хотел бы иметь какое-либо дело.) Однажды Рой Медведев привел меня на встречу диссидентов разных направлений, собравшихся, чтобы определить свое отношение к поправке Джексона — Ванника. Разумеется, я помалкивал, просто слушая тех, кого я тогда считал единственно честными людьми в стране. Диссиденты были мне близки, между прочим, и потому, что принадлежали к самому понятному мне слою российского общества — к интеллигенции. Их язык, круг их интересов, их нравственные установки, вся манера их поведения соответствовали моим представлениям о должном. Я не был тогда романтическим юношей, а был в весьма зрелых годах и, относя себя к типу реалиста, прекрасно сознавал, что идеал — это выдумка всякого рода утопистов, но вот эти люди дальше продвинулись по пути к короленьковским «огонькам». Тогда я плохо знал святоотеческую литературу. Теперь я вижу иные маяки, но я говорю о времени начала 70-х годов и объясняю, почему бывшие советские диссиденты, а ныне эмигранты занимают мое воображение больше, чем беженцы, герои очерка Вайля и Гениса. Ни один из хорошо мне известных эмигрантов не уехал из России, чтобы насладиться колбасой, джинсами, «мерседесами», порнофильмами. Загляни Вайль и Генис, скажем, в парижскую квартиру одной из самых известных в прошлом правозащитниц, они пришли бы к заключению, что попали в запущенное, неухоженное рабочее общежитие где-нибудь на окраине русского провинциального городка. Расспросив хозяйку, они бы узнали, что дело не в отсутствии у нее средств, а в полнейшем безразличии к комфорту. А вообще квартиры русских эмигрантов в Европе редко отличаются от интеллигентских квартир Москвы или Ленинграда — Санкт-Петербурга. Две-три комнаты, вдоль стен книжные полки, с которых смотрят корешки тех же самых изданий, что и с полок их оставленных в России квартир. (Придя в гости к одной эмигрантке, живущей в Израиле в районе так называемых поселений, я увидел в одной из комнат те же самые книги. Одну полку занимали Достоевский и Толстой, и именно за томами этих весьма миролюбивых писателей у старушки был спрятан автомат Калашникова, хранившийся на случай нападения террористов!) Иное дело эмигранты экономические, то есть россияне, которые поняли, что жизнь дается только раз и ее надо попытаться прожить достойно и в комфортно-бытовом смысле. Я знаю врача-эмигранта, построившего себе великолепную виллу в земле Саар. В России такую виллу имел далеко не каждый партийный функционер. И нельзя не порадоваться за этого врача: за свою очень нелегкую, напряженную, ответственную работу он получил не девять квадратных метров на «члена семьи», а намного больше. Вилла стоит на опушке леса, недалеко большой город Саарбрюккен с театрами, концертными залами, выставками. Доктор любит путешествовать, у него и в Испании есть дом на берегу моря. Разумеется, он ездит на прекрасной собственной машине. И таких эмигрантов не так уж мало. Они более спокойны, что ли, чем политические эмигранты. Они зарабатывают деньги нелегким трудом и думают не о том, как обустроить Россию, но — как обустроить собственную жизнь (меньшинство из них, во всяком случае, интересуется событиями на родине). Эмиграция политизированная живет более нервно. В ней то вспыхивали, то затухали (я пишу в прошедшем времени, ибо это происходило приблизительно до года 1989) полемики, подчас переходившие в скандалы. Для большого числа эмигрантов суть этих скандалов не всегда понятна. Меня даже как-то пригласили в Сан-Франциско сделать доклад для эмигрантских общин, в котором я рассказал бы об этих дискуссиях и их подоплеке.

Я пытался найти корни всех этих подчас озлобленных полемики и никак не мог согласиться, что они — в особенностях русской интеллигенции, я знал, что то же самое происходило и в немецкой антифашистской эмиграции: Брехт, например,

переходил на другую сторону улицы, чтобы не столкнуться с Цвейгом. Я пришел к выводу, что источник конфликтов, а главное, их ожесточенности, не национальный, а социально-психологический. Советские люди всегда знали, что есть единственная научная истина — марксизм-ленинизм. Те, кто открыто выражал в этом сомнение, считались в лучшем случае необразованными дурачками, в другом варианте — психически нездоровыми людьми. Диссиденты же открыто поставили под сомнение абсолютную истинность марксистско-ленинского учения, однако не саму идею о возможности существования абсолютной истины, доступной человеку, если он мудр. Открыв огрехи, противоречия и даже просто глупости в учении Маркса и Ленина, диссидент, сам того не замечая, влюблялся в себя, в свою мудрость: действительно — миллионы людей как в Советском Союзе, так и во всем мире верят в марксизм-ленинизм, а я увидел, что король голый (и весьма опасный для человечества). И на место единственно правильного марксистско-ленинского учения такой диссидент ставит свое... тоже единственно правильное. И началось!..

Эмигрантские журналы и газеты набросились друг на друга со взаимными упреками, подозрениями, насмешками, подчас в самой грубой форме. Каждый активно действующий эмигрант уверен вообще, что он все знает и понимает. Мне ни разу не пришлось встречать сомневающегося в себе политизированного эмигранта. И все равно, о чем он судит: о политике, об искусстве, истории. Очень забавно слышать, как какой-нибудь известный в эмиграции либерал долго рассуждает о преимуществах толерантности, а когда ему кто-то говорит, что с отдельными его тезисами вряд ли согласится, скажем, М., либерал начинает кричать, что М. ничего не понимает, что он реакционер и слушать его не следует. Русские эмигранты действительно либерального, демократического направления однажды подписали в компании с немецкими коммунистами призыв к бойкоту реакционной, по их мнению (а в действительности по-хорошему правой), прессы Шпрингера. Подписанты, разумеется, страстные сторонники плюрализма и терпимости.

Я разделяю убеждение Солженицына, выраженное им в статье «Наши плюралисты»: истина одна, или, как сказано в Священном писании, «да — да, нет — нет, а остальное от лукавого». И никак не могу принять тезис Григория Померанца, что-де истина плюралистична. Я склонен соединить в одно два этих представления об истине — Солженицына и Померанца: истина, конечно же, одна (по Солженицыну), но ни одному человеку не дано выразить ее во всей полноте, знает ее только Бог, а потому следует со вниманием относиться даже к тем небольшим частичкам истины, которые обнаруживает каждый человек (по Померанцу).

Когда я оказался в эмиграции, я в ней не обнаружил партий в привычном смысле этого слова (исключение — НТС). Первая эмиграция вывезла из России свои партийные структуры, и они какое-то время продолжали существовать: кадеты, монархисты, социалисты и другие. В 70-е же годы можно было говорить лишь о людях с монархическими, либеральными или социалистическими идеями, которые были совершенно равнодушны к идее объединения в партию со своими единомышленниками. Роль партий стали играть печатные органы. «Континент», «Русская мысль», «Страна и мир», «Синтаксис», «Вестник РХД» — вот названия «партий нового типа». Достаточно узнать, что литератор печатается, скажем, в «Синтаксисе», как можно было приблизительно определить, «куда он гнет». Далеко не всегда можно было при этом угадать, каковы политические взгляды автора того или иного журнала, но можно быть уверенным, что для него существуют те же табу и те же приоритеты, что и для руководителя «партии», то есть редактора журнала или газеты.

В некоторых случаях эмигранты различных «партий» оказываются вынужденными делать общее дело. Такую забавную ситуацию я наблюдал на станции «Свобода» в Мюнхене, когда году в 1976 впервые туда попал. Сначала я увидел в коридорах станции множество людей, которые вроде бы и не работали, а собирались в кучки, что-то тихо друг другу говорили, а потом расходились, исчезая неизвестно куда. Я находил кабинет, куда был приглашен к более или менее знакомому мне человеку, и тот в заключение нашей беседы предупреждал: ты только к этому м...ку не ходи (а я вот только-только болтал с этим м...ком, который, между прочим, не советовал мне общаться с м...ком, перед которым я сейчас восседал в кресле). В ответ на мои попытки выяснить, чем провинился соответствующий м...к (я вообще-то таких слов не употребляю, тем более по отношению к лицу, немало сделавшему для русской свободы или русской культуры), я узнавал, что он или антисемит, или сионист, или агент КГБ, или просто

бездарность. До сегодняшнего дня я так и не понял, каким образом, в такой атмосфере могут вот уже сорок лет создаваться серьезные, подчас аналитически очень глубокие передачи!

Я так и остался вне эмигрантских партий. Партийность мне не понадобилась и чисто прагматически: я зарабатывал и зарабатываю свой хлеб не как литератор, а как преподаватель университета, а потому не боюсь, что какой-нибудь «вождь» (редактор) лишит меня средств к существованию, перестав печатать. Я печатался во множестве русских эмигрантских изданий, у меня вышла книга, правда по-немецки («Два лика России»), но всякий раз, отправляя ту или иную статью в газету или журнал, я оставался безразличным (более или менее) к тому, будет ли она опубликована. Такая установка давала мне возможность не принадлежать к партии какого-либо журнала, что иногда запугывало слишком однолинейных эмигрантов. Один из них даже назвал меня на этом основании прохиндеем, причем прямо в лицо.

Летом, кажется, 1982 года мы с женой отдыхали в русском лагере недалеко от Байоны, на берегу Бискайского залива. Лагерь представлял собой несколько срубов (каждый для отдельной семьи) на поляне в пиниевом лесу. А на опушке леса находился своеобразный салон, где можно было поболтать с бывшими соотечественниками, выпить рюмку-другую. Если же вечер выдавался жарким, то беседы выносились на свежий воздух. В один из таких вечеров владелец лагеря привел в «салон» нового гостя, некоего К., и, показывая на меня, сказал: «Вот тоже литератор» (оказалось, что наш гость — публицист из журнала «Русское зарубежье», выходившего тогда в Мюнхене), почему-то моего имени не назвав. Естественно, разговор перешел на дела журнальные. Наш гость продемонстрировал поразительную осведомленность о самых важных публикациях. Он имел очень твердое и достаточно мотивированное мнение об известных эмигрантских авторах. И вдруг заявил: «Но есть вот один, о котором я ничего определенного сказать не могу, это — Герман Андреев, вероятно, прохиндей». Присутствующие, и больше всех моя жена, побледили, ожидая мордобоя. Кто-то нерешительно вякнул: «Так вот это и есть Герман Андреев», но К. несло, он определенно не услышал подсказки и продолжал подробнейшим образом разбирать мои статьи, часть которых я, разумеется, забыл, а потому слушал с чрезвычайным интересом. Меня несколько удивило определенное противоречие в сообщении обо мне г-на К.: с одной стороны, он находил в моих статьях весьма глубокие и справедливые мысли, с другой — комментировал свои лестные для меня высказывания словечком «прохиндей», относившимся тоже ко мне. Когда К. завершил свой анализ, я поинтересовался, в чем он все же видит прохиндейство Германа Андреева. «Видите ли, — объяснил К., — этот тип пишет так хитро, что совершенно невозможно понять, чей он человек — Максимова, Любарского, Иловайской или Синявского». Я поблагодарил г-на К. за интересный анализ положения в русской эмигрантской журналистике и пошел гулять к океану. Вероятно, до сознания К. все же довели, что он беседовал с Германом Андреевым. Возвращаясь, я заметил, что какая-то тень метнулась с тропинки в кусты, и узнав г-на К., я окликнул его и предложил продолжить прогулку вместе, гарантировав, что мордобоя не будет.

А действительно, в какую же мировоззренческую ячейку можно было бы меня определить?

Среди причин, толкнувших меня покинуть Советский Союз и поселиться в Германии, были и мои политические разногласия с обществом. К 1975 году я перестал видеть хоть что-нибудь позитивное в марксизме-ленинизме. Но с этой чисто негативной установкой, если не кричать на каждом углу о своем несогласии с официальной идеологией, в брежневском государстве жить было можно. Беда в том, что я стал чувствовать себя дискомфортно даже в своем кругу: отвергнув марксизм, я не избрал для себя вообще никакого «целостного» мировоззрения. Читая и перечитывая знаменитых философов, богословов, авторитетных писателей, я постоянно ловил себя на мысли, что с каждым я в чем-то согласен и в чем-то не согласен. Когда на вопрос «во что веруешь?» я пытался объяснить, в чем состоят мои убеждения, им почти всегда давалось одно и то же определение: эклектика (варианты: оппортунизм, непоследовательность). Мне казалось, что я окружен одними чеховскими Варягами (из «Учителя словесности»): «У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придирается к фразе... „Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!“ Или же... „Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего отделения. Поздравляю вас!“». И мне было всегда стыдно, что я непо-

следователен, эклектичен, главное — вот уже немолод, а таких твердых, непротиворечивых взглядов так в себе и не выработал. К сожалению, я только в Германии смог прочесть почти всего Льва Шестова, который как раз в законченные философские системы и не верил. Шестов предпочитал экзистенциальные блуждания большого воображения Кьеркегора и Ницше логически выстроенным учениям головастиков Гегеля и Маркса. Непротиворечивые системы казались Шестову плодом работы кабинетного мозга, мало что общего имеющего с тайнами бытия. Рядом с Шестовым мне стало как-то теплее, но это произошло, повторяю, уже в Германии. Правда, я и раньше восхищался ответом другого Льва — Толстого — одному своему собеседнику: «А вы, Лев Николаевич, в прошлую нашу встречу об этом говорили иначе». «А я не канарейка, — объяснил Толстой, — чтобы одни и те же песни петь».

Слушая бесконечные интеллигентские дискуссии, я чувствовал себя равнином из известного анекдота. К этому равнину пришла женщина и пожаловалась на свою соседку, перечислив все ее мерзкие поступки. «Ты права, женщина», — сказал равнин. А на другой день пришла та самая соседка с жалобой на предыдущую посетительницу. «Ты права, женщина», — сказал равнин. Слышавшая все это жена равнина возмутилась: «Как же так, ты же признал верными противоположные вещи». «И ты права, жена», — грустно признал равнин.

Из всего этого не следует, что у меня совсем уж нет твердых убеждений. Они у меня есть, и я стараюсь быть им верным, поскольку это разрешают мне мои силы. Но убеждения эти не столько положительные, утверждающие, сколько негативные, отвергающие. Я твердо знаю, чего не признаю, но почти всегда сомневаюсь, когда нужно какие-то принципы убежденно отстаивать. В общем, я знаю (или думаю, что знаю), как не следует жить, но вряд ли смогу сформулировать правила положительного поведения, или «правильной веры», с достаточной для себя доказательностью (мне легче в чем-то убедить моих учеников, студентов, нежели самого себя).

Я безусловно, безоговорочно отрицаю любые виды национализма — мягкие и жесткие, благородные и хамские. XX век неопровержимо (для меня) доказал, что никогда, ни в каких формах национализм не может принести людям ничего, кроме горя, слез, разрушений. Национализм — это одна из самых глупых форм отрицания неповторимости любого человека, подмена реальной личности коллективным мифом. Я знаю людей, которые клянутся любовью к русскому народу и делают все возможное, чтобы конкретные Ваньки, Васьки, Захарки оставались нищими, оглупленными рабами. Таков же миф о классах: коммунисты героически боролись за освобождение рабочего класса и крестьянства и в результате создали страну, в которой рабочий Иванов да мужик Петров живут так плохо, как ни в одной стране, где никто не борется за рабочий класс и крестьянство и где просто гарантируются права каждой отдельной личности.

Сегодня я вижу, как украинские националисты, добиваясь прежде всего не процветания страны, не блага Петрусей да Пидорок, а незалежности, приводят Украину к бедности, культурной изоляции, к разрыву связей между миллионами людей, окружая страну феодальными таможами, давно рухнувшими между странами, в которых слово «националист» обозначает дикого реакционера и обскуранта.

Я не вижу сущностного различия между нацизмом и коммунизмом: и сами эти учения, и особенно практика партий, опирающихся на них, всегда приводят к порабощению и часто к ликвидации человека во имя неких, все равно каких, мифических сущностей. В 20-е годы Геббельс метался, не зная, к кому примкнуть — к наци или коммунистам, и выбрал первых, рассчитав, что у них больше шансов захватить власть в Германии. И сегодня секретарь компартии России прямо по телевизору объявляет, что у него нет принципиальных возражений против союза с национал-патриотами. А то, что это не его личное мнение, а линия партии, свидетельствует состав Фронта национального спасения.

Когда мои украинские товарищи выдают себя одновременно за националистов и антикоммунистов, антифашистов, я им не верю — и, конечно же, не потому, что они сознательно вводят меня в заблуждение, а потому, что они сами заблуждаются: никогда в истории нового времени не было государств, в которых официальный национализм не существовал бы в союзе то ли с коммунизмом, то ли с фашизмом.

Как коммунисты, так и националисты заражают своими взглядами миллионы простых людей, внушая им, что-де они истинные патриоты (или истинные борцы

за освобождение рабочего класса, а чаще всего и то и другое). И инфицированные этими глупейшими идеями сербский крестьянин, рабочий, учитель или торговец, потерявшие разум, убивают боснийских крестьян, рабочих, учителей, торговцев. А кончится война — и вернутся эти «патриоты», эти «интернационалисты» не в «великую» или «социалистическую» Сербию, а к себе в домики в Сербии или Боснии, а «великая Сербия» останется в распоряжении господ, устроивших все это безобразие. И совсем по Блоку: «И в желтых окнах рассмеются, что этих нищих провели».

Коммунизм и национализм — это убеждения для простаков, превращающихся под воздействием коммунистической или нацистской пропаганды в психически ненормальных людей, восторженно приветствующих своих вождей, которые их грабят, убивают, нравственно растлевают. Я еще в Советском Союзе пришел к твердому убеждению, что коммунизм и национализм идеологов — это жульничество или глупость, коммунизм и национализм масс — тяжелая психическая болезнь. Я не хотел быть ни дурачком, ни жуликом, ни сумасшедшим — и стал убежденным сторонником современной западной демократии. Для меня демократия не идеология и не какое-то определенное государственное устройство (парламент, монархия и т. д.), а принцип мирного и разумного сожительства в пределах одного государства людей с самыми разными интересами, способностями, убеждениями, профессиями, материальными благами. Демократическое государство, как я его понимал (теперь я живу в таком государстве — в Германии), существует не для того, чтобы мешать людям жить, как они хотят, а совсем наоборот — чтобы защищать каждого человека от тех, кто ему мешает организовывать жизнь по своему усмотрению: от преступников, от возможных агрессоров извне, от коммунистов и нацистов, которые ставят своей целью это государство разрушить, чтобы на его месте построить другое — националистическое или коммунистическое. Демократическое государство помогает человеку, если он попадет в катастрофическую ситуацию (стихийное бедствие, потеря состояния, бедность). От гражданина требуются лишь три вещи: законопослушание, плата налогов, чтобы государство могло осуществлять свои функции, и участие в выборах чиновников, которым гражданин доверяет решать на практике задачи государства и совершенствовать его законы. Никаких дальних, «высоких» целей демократическое государство не имеет.

Мне пришлось беседовать с бывшим президентом Германии Карлом Карстенсом. Перед открытием какого-то конгресса мы сидели в гостинице за завтраком. Затронули вопрос о сущности государства, и старый президент (так называют в Германии президентов, отслуживших свой срок) попросил меня наглядно и как можно более коротко (уже начали звать на заседание) разъяснить ему различие между советским и германским государствами (это было до перестройки). «Представьте себе, герр старый президент, вы возвращаетесь в Бонн из какой-нибудь поездки, выходите на привокзальную площадь и на домах видите лозунги: «Вперед, к победе капитализма!», «Спасибо нашей христианско-демократической партии, ведущей нас от победы к победе!», «Спасибо нашему дорогому господину Карстенсу за нашу счастливую жизнь!» Это значит, что вы приехали в советское государство». Наверное, ни один немец никогда не видел своего обычно сдержанного старого президента в таком состоянии: он от смеха буквально начал заваливаться под стол...

Конечно, для меня важно, чтобы и канцлер и глава оппозиции были демократами. Но демократия неизмеримо больше, чем взглядами политиков, определяется поведением каждого члена общества. Я знаю, что живу в демократическом обществе, не потому, что об этом мне сообщают газеты или депутаты бундестага, и не потому, что демократична немецкая конституция, а потому что демократ — это мой сосед, своим поведением старающийся не отравить моего существования. Демократ — это булочник, который продает мне теплый хлеб определенного сорта, а если у моей жены нет времени забрать его утром, то хранит его до нашего прихода. Демократ — это аптекарь, который достанет для меня любое существующее в мире лекарство. Демократ — это чиновник городского управления, помогающий мне решать мои жилищные проблемы. Демократ — это крупный работник министерства науки и образования, который звонит мне домой, чтобы узнать, не может ли он что-либо сделать, чтобы я и будучи на пенсии как-то подрабатывал в университете. Демократ — это и полицейский, который, поймав меня на каком-нибудь нарушении, вздыхая от сочувствия ко мне, спрашивает, буду я сразу платить штраф или же сначала посоветуюсь со своим адвокатом. Со всеми этими людьми я, разумеется, никогда не говорил об их взглядах. Возможно, они были по убеждениям монархисты или либералы, лютеране или католики, или даже социалисты.

Все они ведут себя, как того требуют принципы демократии, и, значит, для меня они — демократы.

В России, может быть, и есть люди, демократически мыслящие, однако эта гигантская страна переполнена людьми, активно осуществляющими что угодно, но не демократию. Какими бы демократами ни были президент или его министры, Россия должна забыть о демократии, если демократами не будет подавляющее число ее жителей, и демократами не по убеждению, а по своему образу жизни, по стилю своих отношений с людьми, по манере своей трудовой деятельности, главное в которой — личная ответственность за состояние общества. Как-то, кажется, в «Московских новостях» было опубликовано интервью с высоким чином госбезопасности. На вопрос, можно ли сегодня получить лицензию на какое-либо дело, не платя взятки, тот уверенно ответил: «Нет, это невозможно». А один из руководителей Министерства внутренних дел России подсчитал, что количество рэкетиров в Москве, во всяком случае, соответствует количеству частных предпринимателей. В этих условиях ни о какой демократии говорить не приходится. Конечно, какие-то предпосылки демократии в России уже есть: бесцензурная пресса, частная собственность и т. д. Но демократии как таковой — нет, на все сто процентов нет. И виноваты в этом не Ельцин, не Козырев и Чубайс. Виноваты в том, что Россия — это не демократия, а некое криминальное образование, где лишь ничтожное число граждан следует правилам демократии, все жители этой страны, ибо им сегодня легче, надежнее жить при отсутствии демократии (не важно при этом, как они формулируют свои взгляды): они обогащаются способами, совершенно невозможными в демократическом государстве; они общаются с окружающими в стиле, невозможном при демократии; они выполняют свою работу так, как в демократической системе совершенно немыслимо. Российский человек не защищен от уголовного элемента до такой степени, которая исключена в демократическом государстве.

Разумеется, среди россиян есть люди, живущие по принципам демократии. Есть просто истинные христиане, которые не способны лгать, обманывать, халтурить на работе, но — увь! — демократию создают не исключения. Как и разрушается уже функционирующая демократия не вследствие враждебных ей действий отдельных людей. В Германии нарушители демократических законов сидят в тюрьмах. Сидят воры, убийцы, чиновники, пойманные на коррупции, торговцы, надувавшие покупателей (разумеется, по-крупному). Сидят и нацисты и коммунисты, взявшиеся за оружие, чтобы уничтожить демократический строй, и распространявшие материалы, демократии враждебные. А кто из них не сидит, тот платит солидные штрафы, и никакому идиоту не может прийти в голову мысль, что это отклонение от демократии. Среди немецких демократов вряд ли легко найти такого, который, подобно Новодворской, призывал бы к защите арестованного нациста, тупо цитируя слова французского просветителя XVIII века: «Я не согласен с Вашими взглядами, но готов отдать свою жизнь за то, чтобы Вы имели право их высказывать». Я предпочитаю ту страну, в которой человек имеет право на высказывание любой идеи, кроме той, что привела к Кольме или Освенциму, которые даже в страшном сне не могли присниться людям в XVIII веке. (Впрочем, и им, современникам якобинцев, стоило бы тогда поразмыслить, а не запретить ли всякие листки, хотя бы маратовские: может быть, меньше крови пролилось бы во Франции.)

Наверное, именно такой взгляд Вайль и Генис называют охранительным? Ну что ж, значит, я охранитель: я хочу охранить демократическое государство от политических преступников. Сторонник либеральных свобод, я предпочитаю страну, в которой нет свободы пропаганды тех идей, которые уже прошли проверку исторической практикой: эксперимент привел к крови и нравственному растлению. Ну и хватит!

По сравнению со всеми другими формами национального общежития демократия, по моему глубокому убеждению, находится в наибольшем приближении к истинному христианству. Иисус Христос, так, как я Его понимаю, принес человеку свободу от господства над ним других людей. Евангелие поставило над человеком одного Хозяина — Господа Бога. Лев Толстой напоминал: «Призвав тебя, Бог не спросит, как ты служил исправнику. Он спросит Тебя, как ты выполнял волю Божью». Разумеется, я должен быть лояльным по отношению к земным властям — от руководителей страны до непосредственных начальников, — но при условии, что они не требуют чего-либо, противоречащего правилам благочестия. При всех недостатках демократического государства, оно дает мне большую возможность следовать этому принципу, чем любые другие известные мне системы.

Православная церковь в отличие от других христианских церквей всегда слишком мало времени уделяла земным проблемам прихожан. Устремленные в храмах в горние выси, священники вне храма (я не говорю о чудесных исключениях) опускались подчас даже ниже черты, которой были верны безрелигиозные гуманисты. Отсюда и трагедия раскола между лучшими русскими интеллигентами-демократами и православной церковью, тоже сыгравшего роковую роль в гибели России. Я не могу без душевной боли читать в письмах любимого мною Чехова презрительные высказывания о моей же православной церкви. И не могу быть (внутренне) нейтральным: я понимаю в этом случае Чехова больше, чем клириков или их адвокатов.

В Германии я столкнулся с иным пониманием священнического долга. В католичестве я нашел незнакомую мне раньше целостность христианского сознания. Протестантская церковь (здесь ее называют официально — евангелическая) веками воспитывала в христианах сознание единства между верой и повседневной жизнью. Честный труд на благо семьи — одна из священных ценностей протестантизма. Благодаря протестантизму в Германии нет таких ножиц между бытом и представлением о бытийности, которые характерны для России. Ниже я подробнее скажу об этой отталкивающей меня особенности русских: потрясающая церковная музыка Рахманинова и Чеснокова — и повальное пьянство, безответственное отношение и к работе и к семье. Дмитрий Карамазов, которого так тщится оправдать Достоевский, вызывает у меня только отвращение.

Вероятно, я был стихийным протестантом. Я всегда был убежден, что моя высшая обязанность на земле — честно работать и строить дом (в смысле не Сильвестра, а более Лютера). И эмигрировал я, в частности, потому, что в Советском Союзе не видел возможности делать это так, как я считал нужным. Для себя я знал твердо, что моя задача — своими усилиями помогать не государству (далеко не высшей ценности) или нации (ценности еще более сомнительной), а семье. Интеллигент всегда склонен искать для себя образец в литературе. Я нашел его в солженицынском дворнике Спиридоне («В круге первом»): «Его родиной была — семья. Его религией была — семья. И социализмом тоже была семья». Конечно же, не все в жизненной философии Спиридона мне подходит, но вот этот отказ от мифов во имя эмпирически ясного — семьи — мне очень понятен.

Это предпочтение, которое я оказываю конкретно эмпирическому перед неопределимым, мистическим, связано с моим пониманием сущности Божественного. Богословие так и не решило однозначно вопроса, имманентен ли Бог или трансцендентен. Церковь, с одной стороны, вынуждена повторять библейские слова, что Бога никто не видел и, кроме Моисея, не слышал, с другой стороны, она берет на себя ответственность ссылаться в своих проповедях и в своих делах на Божью волю («Господь сказал, Господь учил»). Я же всегда понимал Бога как личность трансцендентную. Когда я прочитал у Льва Шестова: «Бог — это возможность невозможного», я почувствовал, что нашел опору в моей вере. Бог непознаем. Наши суждения, наши ценности, как бы мы ни старались, не могут быть безусловно подтвержденными ссылкой на Бога. Я решил следовать евангельским заповедям, не рассуждая, правильно или неправильно я их понимаю. Но «правильно» означает — по-Божьи, смешно было бы мое ничтожное «правильно» легитимировать Божественным замыслом. Лишь в одном отношении я знаю, что Бог существует с нами и в нас прямо-таки эмпирически, ощутимо, — когда мы любим ближнего своего. Бог — это любовь, которую мы можем ощутить как некую безусловность. И я знаю также, что нет ничего более грешного на этой земле, чем работа в целях исправления мира, созданного Богом. Людям, которые очень уж хотят что-то исправлять, хороший совет дала американка Пирл Бак, лауреат Нобелевской премии: «Кто намеревается исправлять мир, может прямо сейчас начинать это дело... с себя».

В общем, и вера у меня какая-то эклектическая, или, говоря по-народному, какая-то сборная солянка. Я должен был бы при этом чувствовать себя одиноко. Однако, читая множество религиозных книг, я обратил внимание на то, что в каждой есть нечто такое, что можно при желании назвать ересью. И это, как ни странно, не оттолкнуло меня от христианства, а сделало его для меня полностью приемлемым. Религиозный экumenизм Владимира Соловьева защитил меня от самообличений в склонности к оппортунизму в религиозной проблематике.

В православную же, а не в какую-либо иную христианскую церковь я вошел, будучи уверенным, что человеку следует входить в христианство через те врата, которые открыты ему на родине, а моя родина — страна православная. Я стал

прихожанином русской православной церкви Преображения Христова, что в Баден-Бадене.

2

Когда-то Горький очень точно заметил, что русские или целуются друг с другом, или дерутся. В Германии русский попадает в атмосферу эмоциональной уравновешенности: изысканной внешней почтительности (всюду — в учебном заведении, на фабрике, в больнице, магазине), скрывающей истинные чувства. Поначалу, в первое время эмиграции, я почувствовал, что попал в обстановку всеобщей любви ко мне. Как истинный русский патриот, я решил, что это не меня любят, а в моем лице прекрасный русский народ. Теперь же, эмигрантский зубр, я понимаю, что это стиль, манера, а вовсе не выражение истинных эмоций.

Зато в эмигрантской среде чувствуешь себя, как на родине. Переход от поцелуев к дракам связан прежде всего с твоей принадлежностью к какой-то стае (иногда правильно, но чаще всего ошибочно определяемой): как же не печатать — он наш; а вот теперь печатать не будем — он не наш. Раньше ты был наш, и мы всюду старались подчеркнуть, какой ты талантливый и вообще хороший, а потом ты стал не нашим, и мы шепотком будем всюду разьяснять, что ты графоман.

Я редко замечал в эмиграции просто уважительное отношение к работе коллег по литературному труду. В редакциях русских газет и журналов подчас месяцами или даже годами лежит статья или рассказ, автор которого, конечно же, с нетерпением ждет какого-нибудь решения. И редакция не только не дает никакого ответа, а частенько просто теряет рукописи. Об извинении, конечно, не может быть и речи. Хочу подчеркнуть: я говорю меньше всего о своем личном опыте. Речь идет о моих наблюдениях. Мне нередко приходилось передавать в русские зарубежные газеты и журналы тексты не начинающих, а уже профессиональных авторов, иногда еще живущих в России. Глядя на меня честными очами борца за права человека, член редколлегии какой-нибудь газеты обещал: «Ну как же, обязательно напечатаем, можем прямо сейчас договориться о целой серии материалов». И не только не печатал (в конце концов, это его право), но вообще забывал о самом существовании «просителя». Такого пренебрежительного отношения к литераторам, публицистам в немецких редакциях мне наблюдать не приходилось. Непременно хоть какая-нибудь бумажка автору ненапечатанной вещи будет отправлена: «Спасибо, мы получили Вашу рукопись. После рассмотрения ее сообщим Вам о нашем решении». Или: «К нашему глубокому сожалению, мы не можем напечатать Вашу статью, хотя и читали ее в редакции с большим интересом». А тут — ничего, даже о материале, который решили принять к публикации! Мне трудно представить ситуацию, при которой немецкий редактор обещал материал напечатать и этого бы не сделал. Вообще неумение держать свое слово многие эмигранты привезли из России в цивилизованные страны, в которых — во всяком случае, на деловом уровне — нарушить слово (не клятву в любви милой девушке) считается солидным пороком, к тому же могущим поставить под вопрос успех в деле.

Это неуважение к труду соотечественников я наблюдал и при взаимном оценивании различных выступлений на симпозиумах, конгрессах и т. п. Причем и в этом случае далеко не последнюю роль играет принадлежность к стае. Мне не нужно было спрашивать одного писателя, с которым мы присутствовали на лекции знаменитого русского литературоведа-эмигранта о Пушкине, как он ее, лекцию, оценивает: писатель и профессор принадлежали к разным стаям, и тут речь могла идти лишь о выборе отрицательных формулировок. Только один раз мне пришлось слышать, как эмигрантская поэтесса с похвалой отзывалась о стихах другой дамы, которую она по-человечески на дух не переносила.

Эмигранты первой волны великодушнее к коллегам, они менее зависимы от стаи. Старость сделала их мудрее и заинтересованными более в истине, чем в связях. Да и моральные основы интеллигенции, не прошедшей советской обработки, более прочны, чем у людей из третьей эмиграции. Как обозреватель русских газет и журналов я больше внимания уделял работам новых эмигрантов и лишь изредка касался выступлений эмигрантов из первой волны (просто потому, что ко времени моего приезда уже мало осталось авторов — эмигрантов первого поколения). Однако у меня в архиве гораздо больше писем от моих «подопечных» из первой эмиграции, чем от писателей или публицистов третьей. Известный поэт и литературовед Юрий Петрович Иваск из Амхерста, штат Массачусетс, прислал мне письмо с благодарностью за мой отклик на его новую концепцию «Горя от ума»

и написал, между прочим: «Вы, вероятно, из третьей эмиграции. Эта волна как-то нас, могикан старой эмиграции, не омывает. Исключений немного». А профессор Первушин из Монреаля написал мне: «Прочел Вашу статью об учении Льва Толстого... и решил Вам написать, насколько ценны Ваши работы о религиозно-философском учении Толстого». Я не могу представить себе эмигранта из третьей волны, столь уважительно относящегося к труду коллеги. Пытаясь найти исключения, я вспоминаю только Ефима Григорьевича Эткинда, в отношениях по крайней мере со мной следовавшего всегда этическим представлениям академического цеха, а не установкам стаи: у меня хранятся письма профессора Эткинда, содержащие доброжелательную оценку моих писаний, в то время как мы, казалось бы, принадлежали к различным стаям.

Именно вследствие раздробленности русской эмиграции, ее разделения на стаи, партии и группки я воспринял не без иронии затею с конгрессами зарубежных соотечественников в Москве. Конгрессы призваны сплотить единомышленников, определить их цели в связи с новыми обстоятельствами. Но собирать вместе людей, объединенных лишь тем, что они выходцы из какой-то одной страны, можно лишь для общего выпивона или пикника на родных просторах. А. Синаевский однажды высказал мысль, как почти всегда у него сомнительную и одновременно содержащую побочно определенную мудрость. Он сказал, что у него с советской властью расхождения чисто стилистические. В этом смысле между эмиграциями трех волн, а также и внутри каждой из них, существуют прежде всего стилистические, то есть наименее преодолимые, расхождения. Собрать эмигрантов вместе, повторяю, можно лишь для того, чтобы выпить настоящей русской водки и закусить соленым огурцом.

Казалось бы, одна проблема — отношение к оставленной родине — должна была бы объединить всех эмигрантов: ведь не из-за влюбленности же в советскую власть все они покинули Россию. И все же дело это безнадежно — пытаться найти что-то по-настоящему общее в мотивах, заставивших нынешних эмигрантов распрощаться с родиной. Даже гамлетовский вопрос — возвращаться или не возвращаться — решался и решается россиянами в зарубежье весьма индивидуально, и никаких убедительных обобщений здесь сделать невозможно.

Время, когда чуть ли не подавляющее большинство русских эмигрантов в Европе сидели на чемоданах, прошло приблизительно к середине 20-х годов. В сцене из фильма «Бег», по Булгакову, где толпы русских казаков грузятся в Марселе на пароходы, чтобы вернуться домой, сегодняшний эмигрант видит привычную партийно-патриотическую агитку, не зная даже, что хотя эта сцена фактам не очень соответствует, однако настроение того времени все же передает. В течение примерно семи десятилетий в Советский Союз возвращались, как известно, единицы, чей порыв вряд ли отражал настроения, так сказать, эмигрантских масс. Известна трагическая судьба таких возвращенцев, как, например, историк литературы князь Святополк-Мирский. В эмигрантской среде эти возвращенцы вызвали безусловное осуждение, и в лучшем случае их считали выжившими из ума, в худшем — тайными большевиками (тот же Святополк-Мирский действительно стал в эмиграции членом английской компартии, что не убергло его от ГУЛАГа).

Новое движение в сторону родины, охватившее незначительное количество русских эмигрантов, началось в период перестройки. Роль Куприна тут сыграла Ирина Одоевцева. Эти новые возвращенцы вызвали у эмигрантов такую же реакцию, как и возвращенцы 30-х годов. И когда на обложке «Огонька» вдруг появился портрет вернувшегося в Советский Союз политически весьма ангажированного эмигранта третьей волны, не слышно было голосов, одобряющих поступок этого человека: одни эмигранты (большинство) с удовлетворением почувствовали, что их представление о слабых умственных способностях этого человека подтвердилось, другие напоминали, что он социалист. И никто — по крайней мере в моем присутствии — не пытался понять этого человека, допуская, что его мотивы могут быть заслуживающими уважения.

Для подавляющего числа русских людей из любой волны эмиграции Советский Союз казался или сумасшедшим домом, или огромной камерой пыток, или невидимым градом Китежем. И есть небольшая группа эмигрантов-россиян (главным образом это бывшие диссиденты, оставшиеся таковыми и на Западе), для которых Россия — экспериментальное поле, на котором можно вырастить цветы западной правовой демократии.

Подчас неожиданным для меня оказывается отношение к России так называемых простых людей. В этой среде я наблюдал огромный разброс мнений (ужасный

неологизм, но не самый худший в языке эпохи перестройки). Одна немолодая, очень уставшая от жизни дама, живущая в квартире где-то под крышами Парижа, без лифта, с уборной и душем в коридоре на 15 квартир, на мой вопрос, вернулась ли бы она в Киев, где жила до 1978 года, замахала на меня руками и выкрикнула: «Ни за что, ни за какие коврижки не вернусь!»

И другой полюс. Зашел как-то ко мне, когда я жил еще в университетском городе Гейдельберге, немец-переселенец из Караганды (тоже эмигрант), по внешности типичный русский работяга. Свой приход он объяснил тем, что не может больше жить без общения с русскими. Я сказал, что, конечно, готов с ним поговорить. И тут я услышал прямо-таки трагический монолог, суть которого состояла в жалобах на проклятое капиталистическое общество, и прежде всего на бездушных немцев (говоривший это был, как я заметил выше, немец, предпочитающий говорить со мной по-русски), которые это общество создали и поддерживают. «Не хочу я больше работать на хозяина-эксплуататора», — развивал он свои «прогрессивные марксистско-ленинские» идеи. Я высказал ему глубокое сочувствие, добавив, что могу как-то облегчить его тяжелое материальное положение. «Какое там «тяжелое»! — возразил он. — Вот дом купил, «мерседес», с женой на Мальорке отдыхал». Я поинтересовался, что же он оставил в Караганде. Оказывается, он жил с семьей в бараке, ездил на работу в переполненном автобусе, нигде, кроме Минеральных Вод, не бывал, зарплаты никогда не хватало до очередной полочки. Я вынужден был попросить, чтобы он разъяснил мне свою ненависть к стране капитала. Отвечая, он буквально проливал слезы: «Так ведь здесь же нужно вкалывать! Стоит мастера-гады и не дают даже перекурку сделать. То ли дело у нас в Караганде: поработаешь часок-другой, потом с ребятами на заводском дворе посидишь летом на солнышке, поговоришь. Так ведь это настоящие люди, русские, не какие-то там немцы! Немец стоит за станком, молчит, пилит. А как обеденный перерыв, промямлит свое «мальцайт», после перерыва опять к станку — и как бы и тебя заставляет: поговорить-то не с кем! А кончился рабочий день — садятся немцы в свои машины и к женам. То ли дело у нас в Караганде: после работы пивка выпьешь, а может, и чего покрепче, потреплешься. Ах, какая была у меня в Союзе жизнь!» — вздыхал он.

Совершенно неожиданное для меня отношение к покинутой родине — Советскому Союзу — я встретил у определенного типа эмигрантов в Сан-Франциско. Это были россияне преимущественно еврейского происхождения. Они пригласили меня на какое-то семейное торжество после моего доклада в их общине. Был нанят зал в самом дорогом отеле «Плаза». Войдя, я был ослеплен роскошью: дамы увешаны драгоценностями (может быть, и фальшивыми, но тут я пас, ничего не понимаю) на очень богатых платьях, мужчины в смокингах, причесанные, как кинозвезды Голливуда. В зале установили дюжину столов, каждый размером с маленький домашний бассейн. А на столах расставлены яства в таком количестве и разнообразии, какого я не видел ни разу в Германии ни на пратильственном уровне, ни у крупнейших промышленников. (Подобную или еще большую роскошь я увидел в 1988 году в нищей России на приеме, устроенном Министерством иностранных дел СССР в честь немецкой правительственной делегации, которую я тогда сопровождал. Интересно, что немцы, так же как и я, были поражены этими богатствами.) Я предположил, что попал в круг мультимиллионеров-эмигрантов, которым в США повезло. Беседа с гостями, я убедился, что действительно это были владельцы больших предприятий, недвижимости, бензоколонок, страховых компаний и т. п. Такая публика мне всегда была чужда (подчеркиваю — чужда, а не враждебна), но я по крайней мере был убежден, что попал к единомышленникам-антисоветчикам. Оказалось, я ошибся. Начал я сомневаться в моих предположениях, когда после ужина гости запели советские песни. Несколько странно было видеть разряженных дам, поющих «Полюшко-поле», «Подмосковные вечера», конечно же, «Катюшу». Но еще забавнее было видеть деток миллионеров, которые изобразили на сцене — что бы, вы думали? — пионерскую пирамиду. Слава Богу, какая-то дама вызвалась спеть (и сделала это очень даже с чувством) русские романсы. Растроганный, я подошел к ней, поцеловал ручку и поблагодарил за то, что смог насладиться «нашим», русским, а не «не нашим» — советским. И... получил отпор: «Мы здесь все советские, мы нашу родину любим». Несколько озадаченный, я спросил: «Пardon, а зачем же вы уехали из вашей прекрасной коммунистической Одессы или столь же прекрасного Кишинева?» «И ни за что бы не уехали, если бы не антисемитизм и невозможность заниматься предпринимательской деятельностью».

Мои наблюдения над различными типами русской эмиграции принуждают меня не согласиться с утверждением Вайля и Гениса, что-де в третьей эмиграции нет ни одного сторонника социализма. Я привел уже примеры стихийного, неосознанного социалистического мышления у эмигрантов третьей волны. Но у меня достаточно много знакомых, склонных к формулированию социальных и политических концепций, которые относят себя к социалистам. Это и упомянутый мною персонаж с обложки «Огонька», и его жена, много пишущая по проблемам социологии, и мой покойный друг церковный писатель Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов, призывавший начать кровавую борьбу против коммунизма за торжество социализма, осенив себя именем Христовым, и обозреватель радиостанции «Свобода», неутомимо ратующий за передачу предприятий трудовым коллективам.

Социализм — понятие туманное. Гитлер создал национал-социалистическую партию, социализм процветает в Китае, что-то там предлагают социалистические партии в капиталистической Европе, был и романтический чешский социализм «с человеческим лицом». Понятие же «коммунизм» и не нуждается в объяснении. Наверное, поэтому эмигранты чаще всего говорят, что они уехали из коммунистической страны. Александр Зиновьев, когда он был еще блистательным сатириком, а не оригинальничавшим политиканом, предлагал не ломать голову в поисках того, что такое коммунизм: то, что построено в СССР, — это и есть он самый, родимый...

Покидая родину, каждый из эмигрантов как-то объяснял свое решение, подчас не замечая, что его версии носят более головной характер; уехал же он, повинувшись необъяснимому инстинкту, втянувшему его в некое общее движение людей его круга. О мистических подводных струях такого рода писал в «Войне и мире» Лев Толстой в главе о богучаровских мужиках: лет двадцать назад, повествуется в толстовском эпосе, возникло «движение между крестьянами... к переселению на какие-то теплые реки. Сотни крестьян... стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семьями куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был».

Мне эта аналогия — богучаровские мужики и российские эмигранты — кажется верной. Выслушивая версию того или иного эмигранта, я почти всегда ощущал какую-то неудовлетворенность: причина выезда и следствие (разрыв с родиной, со всем привычным укладом) представляются мне несоизмеримыми.

Вайль и Генис жалуются, что они ехали в одну страну, а попали в другую. Странно, что образованные люди так ошиблись. Они, по их собственному признанию, еще до отъезда читали книги американских писателей, думаю — читали об Америке в солидных газетах, слушали «голоса», смотрели американские фильмы. Мне думается, что все эти материалы (да еще чуть-чуть воображения) достаточно информативны, чтобы знакомому с ним человеку Америка не показалась «совсем другой страной». Вайль и Генис огорчаются, что не нашли в Америке рая («теплых рек»). Само по себе желание найти страну Муравью более понятно, когда оно владеет Никитой Моргунком, а не интеллигентами, которым скорее должна быть близка максима автора «Трех разговоров»: смысл нашей жизни на земле не в том, чтобы создавать рай, а в том, чтобы не допустить превращения ее в ад.

Я не нашел в Германии буквально ничего, что существенно противоречило бы моим представлениям об этой стране. В отличие от Колумба я попал именно в ту страну, в которую ехал. И никакой особенной «трансформации» ни во мне, ни в моей жене не произошло. Мы, как в известной песне (впрочем, не являющейся образцом вкуса), «какими были (в России), такими и остались (в Германии)». И это не только не помешало нам в новой жизни, но в каком-то смысле облегчило наше устройство в ней. Разумеется, какие-то изменения в нас произошли, но более по закону природы и духа и под влиянием нового быта, но ни в коем случае не из потребности к кому-то или чему-то приспособливаться. Я преподаю в немецком университете, участвую во всякого рода симпозиумах в Германии и других европейских странах, выступаю с докладами как перед «высококолобыми», так и перед крестьянками Северного Рейн-Вестфалии. Естественно, я общаюсь с властями (чиновниками, полицейскими), с соседями. И никогда не ощущал этой потребности к «трансформации». Единственно в чем надо, увы, поддываться, так это в языке: с немцами надо общаться по-немецки. Как это ни удивительно, но я это знал еще до переезда в Германию. Ни меня, ни мою жену, говори мы на безукоризненном немецком, ни в каких ситуациях не приняли бы здесь за каких-то

инопланетян. Ни разу я не видел, чтобы мою жену, преподающую частным образом фортепьяно, а в университете — фонетику русского языка, кто-то здесь принял за непонятное (или тем более неприятное) существо с загадочного Востока (по акценту ее идентифицируют чаще всего с голландкой). Конечно, и она как-то изменилась, стала спокойнее, менее вспыльчивой, более гармоничной, что ли, чем была в Союзе. Но эти изменения имеют отношение не к эмиграции как таковой, а более к расставанию с коммуналкой.

Не без удивления читаю у Вайля и Гениса: «В Америке мы были слепыми котятками». По их словам, к досадным нелепостям их постоянно приводило их «социальное невежество». Любит «сильно выражаться русский человек! Разумеется, в каждой стране сталкиваешься с неизвестными тебе обычаями, между прочим, и русский из Сибири не всегда ведет себя понятно для русского москвича (см. хотя бы рассказы Шукшина о чудиках). Но чтобы уж так — «слепые котята», «социальное невежество! Примером такого невежества Вайль и Генис считают их попытки попросить у американского друга деньги займа. Да, и здесь, в Германии, не очень принято обращаться с такой просьбой. Мне тоже два раза отказывали в денежной ссуде немцы, которые называли меня «майн фройнд», что, конечно, в России труднопредставимо: если уж друг, то займа-то даст. С недоумением Вайль и Генис замечают, что их друзья-американцы перестали быть друзьями после попытки занять у них пятерку. У меня же с теми двумя немцами, которые мне денег займа не дали, никаких изменений в отношениях не произошло, и прежде всего потому, что никакими друзьями в русском смысле этого слова они не были. Понятие «друг» на Западе — это то, что мы называем «приятель». И все мы знаем, что не каждый приятель (но каждый друг) и в России нам даст пятерку.

Слово «фройнд» (друг) в устах немки означает любовник, возлюбленный, иногда даже жених; в устах немца «фройндин» — любовница, возлюбленная. Когда я сказал немецкому коллеге, что одна известная русская общественная деятельница моя фройндин, он начал многозначительно подхихикивать и предостерегать меня от ушей моей жены. Я сообщил ему, что эта дама — фройндин и моей жены, что вызвало у него явную растерянность.

Немец вообще не нуждается в таких приятелях, у которых можно стрелнуть десятку: у него есть в банке кредит. И все же, когда я еще был в Германии не очень устроен, мне ссужали довольно большие суммы — один раз романтическая немка-коллега, другой раз коллега-англичанин.

Не приходилось мне попадать в какие-то невыносимые неприятные ситуации из-за новых для меня социальных реальностей, никогда не чувствовал я себя в Германии «слепым котенком»: социальный опыт, приобретенный в России, меня, как правило, не подводил, а если я что-то и делал «не того», то тут не Россия виновата, а особенности моего характера, стиль моего поведения. Одна дама-эмигрантка мне как-то пожаловалась на непонятность поведения немцев, приведя в доказательство случай, когда немцы «почему-то» прочитали ей нотацию о правильном поведении. Из описания этого случая я понял, что тут речь идет не о «социальной слепоте» в чужом мире, а об этическом невежестве «Дуньки в Европе», никакого отношения к смене жительства не имеющем: в России о хамстве и вежливости люди имеют такое же представление, как и в Европе (другое дело — реализация норм поведения). Кстати, эта дама, приехав в Германию, прежде всего обратилась в партийный комитет правившей в то время партии с требованием устроить ее на работу. Вероятно, это тоже проявление не идиотизма, а «социальной слепоты»...

Вайлю и Генису слишком слабой кажется мысль, что советскому человеку надо приспособливаться к Западу, если он хочет вжиться в американские условия. Они идут дальше: «Мы потеряли не только советское гражданство, но и свою этническую, историческую, поведенческую принадлежность». С ума сойти! Вряд ли даже самый фанатичный сторонник гентехнологии признает возможность лишить человека его этнической принадлежности. Что же касается «поведенческой принадлежности», то это хоть и не очень грамотно, но понять можно. Человек очень часто действительно вынуждается обстоятельствами изменять свою манеру поведения. Социологи и психологи говорят о ролевых функциях личности: я меняю свое поведение иногда несколько раз в день, ведь я за одни сутки играю роли преподавателя, покупателя, мужа, отца, шофера и др. Но тем не менее я остаюсь все же самим собой. Однако ни одной минуты в Германии я не играю роли эмигранта, я вообще не знаю, в чем она состоит. Только произнося привычные мне слова на непривычном языке, я действительно во что-то играю. В Германии, как и в

оставленной мною России, я общаюсь тесно с той категорией населения, которую в России принято называть интеллигенцией, и никогда не испытываю потребности найти какую-то новую «поведенческую принадлежность». Я всегда был склонен к обособленности, к автономности, стараясь при этом никого не обидеть. Относясь с крайним недоверием к коллективам, общностям, кроме семьи и тесного дружеского круга, я тем не менее признаю право каждого включаться в какие-либо группы. Именно такова моя ориентация и в Германии; была она таковой и в Советском Союзе. Как раз в СССР, а никак не в Германии мне было трудно быть самим собой, именно там я должен был постоянно менять свою поведенческую манеру, чтобы не быть как минимум — униженным, как максимум — раздавленным: нетерпимость в Советском Союзе к индивидуальному не идет ни в какое сравнение с отношением к этому свойству в Германии. Вот в России я как раз и мог потерять все свое «я», «свою историческую, этническую и поведенческую принадлежность».

3

Я уезжал не из России, а из Советского Союза. До эпохи оттепели для меня Россия отдельно от СССР не существовала. Россия — это предыстория Советского Союза, так я тогда ее воспринимал. Россия была когда-то давным-давно, в ней жили мои деды, а мои родители готовились к истинной, советской, жизни. Их рассказы о России не создавали ясной картины. Когда речь шла о России вообще, она представлялась страной нищего крестьянства, темного пролетариата, страной еврейских погромов и несправедливо жестких классовых различий. Такая картина соответствовала содержанию учебников, по которым я изучал историю. Иное дело, когда дедушка, или родители, или старушки-соседки просто вспоминали о своей жизни, быте, духовной атмосфере, в которой они жили до 1917 года. Из их рассказов возникала в моем воображении совсем другая Россия. На останки этой другой России я нередко наталкивался и в своем московском детстве.

Идя с Остоженки на Арбат, я проходил мимо деревянных и каменных одноэтажных особнячков прошлого века, один из которых принадлежал моей двоюродной бабке. Эти особнячки, как и в основном разрушенные церквушки, мне были интересны лишь как свидетельства того, что действительно на этой земле до СССР существовала другая страна — Россия. Так сегодняшние греки воспринимают Акрополь и храм Артемиды. Но нынешний житель Афин не может встретить на улицах своего города древнего грека. В Москве же 30 — 50-х годов я не просто встречался с древними россиянами — среди них были и мои родственники. В их манерах, в их русской речи, даже в обстановке их квартир я ощущал нечто такое, что резко отличало их от так называемых советских людей, к которым принадлежал я. Мой двоюродный дед, дядя Коля, внешне очень похожий на портреты В. И. Немировича-Данченко, был до революции адвокатом, защищавшим по всякого рода делам Поленова, Коровина, Шалапина, министров Временного правительства. В его квартире на Гоголевском бульваре каким-то чудом сохранилась обстановка дореволюционных адвокатских контор: кожаные диваны, тяжеловесные застекленные книжные шкафы с томами законов Российской империи и с собраниями сочинений не только известных мне классиков, но и Боборыкина, Шеллера-Михайлова, Эртеля. Титульный лист первого тома одного из собраний сочинений Льва Толстого украшала надпись: «Это собрание сочинений продано мне Софьей Андреевной Толстой». На стенах кабинета дяди Коли висели подлинники картин его клиентов Поленова, Коровина, а также эскизы репинского «Государственного совета». Жена дяди Коли, медиевистка, профессор Московского университета, никогда не говорила «Советский Союз», но всегда — «Российская империя», а домработницу называла поденщицей.

Другой мой двоюродный дед, дядя Костя, был членом Общества политкаторжан, так как боролся с «проклятым царским режимом» (был эсером), но выглядел как типичный буржуа... На него напали страшные конвульсии, когда речь заходила о большевиках. Непонятно, как он ухитрился, столь откровенно их ненавидя, не оказаться уже на коммунистической каторге. Из семьи третьего брата вышли Костя Терешкович, впоследствии известный парижский художник матиссовского направления (мой семейный предшественник по эмиграции), и Макс Терешкович, один из основателей театра Ермоловой, между прочим, поставивший в Большом театре оперу Дзержинского «Тихий Дон».

Старая Россия смотрела на меня и с семейных фотографий: трехлетний отец на пони, подаренном ему его отцом, моим дедом-лютеранином; дед с материнской

стороны в форме ротмистра царской армии (он участвовал в русско-японской, германской, гражданской войнах). Все же и фотографии и живые пришельцы из России не делали это страну моей. Моим был Советский Союз. Это была реальность, то — некая иллюзия, сказание о прошлом, покрытом не дымкой, а прямо-таки дымовой завесой официальной концепции о России и о Советском Союзе, которая доминировала в моем сознании благодаря советским учебникам, книгам писателей-коммунистов, советским кинофильмам, газетам «Пионерская правда» и «Правда». Иногда простая правда прямо-таки была мне в глаза, но я (как, впрочем, и миллионы жителей СССР) инстинктивно, что ли, от нее отворачивался. Началось это — пусть читатель улыбнется, — когда мне было четыре года. Забор моего детского сада в Курсовом переулке выходил на набережную, которая вела к храму Христа Спасителя. После того как храм был взорван, какое-то время вокруг него громоздились мраморные плиты, которые мы, дети, использовали в наших играх в прятки. Как раз в это время мои интеллигентные родители сочли необходимым учить меня читать. И вот я, ползая по этим плитам, читал: Барклай-де-Толли, Кутузов, Багратион, Коновницын, Тучков. В меня начала входить истинная и, как я тогда же почувствовал, очень поэтичная и нелукавая русская история. Какие-то частички ее закрепились в моем сознании, которое все же оставалось еще долго октябрятски-пионерско-комсомольским.

Так как мои родители весь день были на службе, из детского сада меня забирала старушка-соседка баба Уляша. По дороге домой она вместе со мной заходила в церковь (сейчас на ее месте, на углу Остоженки и Зачатьевского переулка, тоскливый сквер). Особенно в морозные зимние сумерки приятно было оказаться в теплой церквушке, постоять около стен, с которых смотрели таинственные и почему-то близкие дяди и тети, вдыхать запах ладана, слушать чуть ли не буквально райское пение. Но, помню, я сразу забывал об этих минутах, возвратившись домой: ну побывал в сказке — а теперь к своей, понятной жизни двора, семьи, первых книг о подвигах пионеров и комсомольцев. Однако образ церкви незаметно для меня жил в моей душе. И когда уже в эмиграции я впервые услышал песню Галича «Когда я вернусь», я не мог удержаться от слез на строфе: «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо, и ладана запах, как запах уютного хлеба, ударит меня и заплещется в сердце моем».

Когда я пошел в школу, у меня появилась няня Саша. Она утверждала, что была в прислугах у Милюкова и Гучкова (так что и эти персонажи русской истории вошли в мое детство). Тетя Саша рассказывала мне (ребенку!) всякие байки об интимной жизни этих политиков, о Распутине, об Анне Вырубовой. Однажды она принесла мне большой альбом «Царствующий дом Романовых в картинах» с яркими цветными фотографиями под тонким пергаментом. Книга (не знаю, казалось это мне или так оно и было) пахла так же, как кабинет моего двоюродного деда-адвоката и мрамор разрушенного храма Христа Спасителя, как пахло в церквушке, куда меня возила баба Уляша. Россия и по запаху отличалась для меня от Советского Союза. Понимаю, что у кого-то это может вызвать скептическую усмешку, но уж так устроен мой нос: он способен не хуже, чем глаз, отличать родину от чужбины. Я лишь тогда, в 30 — 60-е годы, не понимал, что СССР пахнет для меня чужбиной. Но приехав на Запад, ощущая вкусные запахи Австрии, Германии, Франции, Америки, Израиля, я знал: это не запахи моей родины.

А тогда я был уверен, что моя родина — СССР (в то время редко говорили «Советский Союз»). Я был пионером, любимыми книгами моими были «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Школа» Гайдара, и я даже не пытался хоть как-нибудь связать воедино равно приятных мне царей из красивой книги с мальчишками-революционерами, против этих царей воевавшими.

В 1938 году ко дню моего рождения мне подарили синенький шеститомник Пушкина. Чтение повестей Белкина, «Кавказского пленника» и «Полтавы» приносило мне неизъяснимое наслаждение. Я тогда был маленьким пушкинистом: знал, в каком томе находятся какие произведения (не помню, увлекали ли меня стихи Пушкина). Как в моем сознании совмещались пушкинские человечность, чистая гармония, пушкинское христианство с партийной непримиримостью и бездуховностью Павки Корчагина (ведь восхищался я и Пушкиным и Николаем Островским одинаково!) — понятия не имею. Ну хорошо, я был подростком. А о чем думали взрослые дяди, повесившие во время пушкинских торжеств в 1937 году над сценой Большого театра рядышком портреты Пушкина и вождя мирового пролетариата?

Вот с этой немислимой путаницей в головах и сердцах жили в 30 — 50-е годы взрослые москвичи, за которыми я следовал в поисках нравственных ориентиров.

Теперь, с высоты моей новой веры, моего нового знания, я вижу, что то было время полнейшего отказа от разума в пользу абсурда. Люди совсем его не замечали. Они кричали о счастливой и самой справедливой на свете жизни в СССР и одновременно подавали милостыню нищим — крестьянам, разоренным коллективизацией. В 1931 — 1933 годах к нам в остроженский двор чуть ли не каждый день буквально заползали оборванные, умирающие от голода женщины с детьми (чаще украинки). Они просили Христа ради хоть корочку хлеба. Им подавали с глубоким состраданием, моя мать вообще отдавала им чуть ли не всю наличность в доме, мою одежду — детям нищенок. И в тот же день с большим удовольствием мы слушали, как ходячие больные в соседней клинике поют с энтузиазмом: «Не спи, вставай, кудрявая: в цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня». Каждый Первомай и в день Великого Октября по Остоженке в сторону Кремля двигались радостные шеренги людей, в которых были и те, что подавали милостыню разоренным кормильцам страны, и даже те, чьи родичи помирали от голода в Поволжье и на Украине... Люди были лишены разума.

И наш дом был воплощенным кричащим абсурдом. В подвале, окна которого находились ниже уровня земли, жила большая семья рабочего Ашмаринова. В бельэтаже — служащие (по Павке Корчагину — буржуи): мы и семья инженера Милованова. Под самой крышей, на третьем этаже, жили старушки-пенсионерки, бывшие медсестры и нянечки больницы Бакунина (где за три года до моего рождения умирал патриарх Тихон). Я дружил с Колькой Ашмариновым, который мне, живущему в светлой комнате, уставленной богатой мебелью (сохранившейся с дореволюционных времен), восторженно рассказывал, какие блага дала советская власть рабочему классу, какая справедливая система установилась на земле «проклятой России» благодаря победе пролетарской революции. А ведь не только мальчишка-комсомолец, но и его солидный отец-токарь с завода АМО, который был для меня воплощенным Павлом Власовым, упорно воспитывал меня в коммунистическом духе. Все мужчины в семье Ашмариновых пошли в ополчение уже в первую неделю войны и все погибли «в борьбе за это».

Иногда утверждается, что в то время всеми владел страх, отсюда-де и ложь. Мне так не кажется. Скорее мы жили в эпоху всеобщего помутнения рассудка: Алексей Васильевич Ашмаринов вряд ли был трусом — он действительно был убежден, что, живя в грязном, сыром подвале, без всяких бытовых удобств, он и его семья пользуются великими завоеваниями Октября. Тут не страх перед НКВД, тут вытеснение разума абсурдом.

Интересно, что бабки на чердачном этаже были, говоря по-ученому, «консеквентнее»: они, если случался повод, последними словами совершенно открыто поносили большевиков-антихристов, главную вину которых видели в том, что те разорили прибольничный сад, который поливал когда-то из брандспойта сам Бакунин, и превратили больницу в свинарник.

Помутнение рассудка коснулось и так называемой интеллигенции. Как-то придя к своему дяде, жившему в одном из арбатских переулков, я застал его в совершенно разнеженном состоянии: оказывается, он купил маленький барельеф, на котором были изображены профили Ленина и Сталина, причем Ленин гипсовый, а Сталин — живой. Восторженно объяснил он мне, какая мудрость заключена в этом изображении: живой Сталин неотделим от мертвого Ленина и, таким образом, Ленин оживает в Сталине.

Этот мой дядя был профессором Московской консерватории. Он владел тремя европейскими языками, зачитывался (конечно же, в подлиннике) Гёльдерлином, Гёте, Рильке. Он жила в Европе. Со своим приятелем — крупным специалистом в области искусства Ренессанса — бесконечно обсуждал проблемы мирового искусства. До революции он окончил философский факультет Московского университета, а в консерватории — класс Николая Метнера. И вот этот интеллигент мне, десятилетнему мальчику (не думал же он, что я побегу в НКВД свидетельствовать о его верноподданстве), расхваливал чуть ли не со слезами на глазах портрет двух злодеев. Сегодня я четко отличаю интеллигента от интеллектуала. До самого моего отъезда из Советского Союза я к интеллигенции относил и Илью Эренбурга, и этого моего дядю, и европейских интеллектуалов, которые много знают, но ни черта не понимают главным образом потому, что критерии нравственные в системе их оценок играют третьестепенную роль. Вследствие этого интеллектуал в отличие от интеллигента целиком растворен в дне сегодняшнем, он чистый эмпирик,

которому не дано видеть связи времен. Я уже давно скептически отношусь к чистому интеллекту, неоднократно констатировал, что образованность, эрудиция, формальная логика не гарантируют от веры во всякую чепуху вроде коммунизма или нацизма. Недавно здесь, в Германии, я в этом в тысячный раз убедился во время трансляции по телевизору дискуссии о положении в Боснии. В защиту и оправдание преступлений на безукоризненном немецком языке выступил профессор Инсбрукского университета серб Константинович. Начав с прославления европейского гуманизма, он перешел на крик, из которого можно было понять лишь то, что он прежде всего серб и потому отвергает все наветы на свой народ. Как можно оправдать массовое изнасилование мусульманок сербскими солдатами и сербскую политику расовых чисток европейским гуманизмом, этот интеллигент не разяснил.

Также и советские интеллигенты, кричавшие о своей верности гуманистическим ценностям Европы: им не представляло большого труда поставить свой интеллект на службу партии, совершавшей неслыханные преступления против человечности. Русская интеллигенция никогда и никому не прислуживала — она в меру своего понимания старалась служить истине, добру и красоте.

Постепенно, подчас для меня самого незаметно, образ России стал вытеснять из моего сознания образ Советского Союза. В один прекрасный день я понял, что мне необходимо выбрать между Россией и СССР. Я начал мучительно искать возможности освободиться от Советского Союза и переселиться в Россию. Я, конечно, соображал, что двигаться во времени, то есть вернуться к началу века, я не могу. Зато я могу двигаться в пространстве: я решил, что в Германии мне легче быть русским интеллигентом, чем в Советском Союзе (дальнейшее подтвердило, что мой расчет был правилен). К тому же в Москве я все время сталкивался с родным покойником (Россией), а это, согласитесь, больно. В голове звучали строки Тютчева: «Разврат умов и искажение слова — все поднялось и все грозит тебе». И лишь много позже посетив Москву, когда она начала медленно пробуждаться от советского кошмара, я вспомнил другие его стихи: «Храм опустел, потух огонь кадила, но жертвенный еще курился дым».

Тогда же, в 1975 году, мне казалось, что никогда уже не будет Россия такой, какой я ее любил. Я достаточно трезв, чтобы не понимать, что образ России во мне несколько идеализирован: закон романтического контраста принуждал меня к влюбленности в Россию и безусловному неприятию «злодея» — советской действительности.

Моей любимой эпохой в жизни России было ее последнее десятилетие (1907 — 1917). Пытаясь проверить свои представления о том времени, я уже здесь, в Германии, погрузился в изучение документальных и художественных материалов и в результате опубликовал в парижском русском журнале «Континент» большую статью «Какую Россию уничтожили большевики». Но еще тогда, живя в Советском Союзе, я понял, что Россия в начале века стала нормальной европейской страной. Как и в других государствах Европы, в России было достаточно много отвратительных явлений, но не ими определялась жизнь нации. Большевики же, разрушив Россию, из нормальной страны с ее грехами, с ее взлетами и падениями создали страну совершенно абсурдную, в которой можно было жить или не замечая этого превращения (а я к началу 70-х годов уже замечал), или борясь с системой (для этого я не находил в себе мужества или, если хотите, определенной доли безответственности перед семьей: я чувствовал перед семьей большую ответственность, чем перед Россией), или же стараясь вписаться в абсурдную систему (это я мог, но к 1975 году устал).

Итак, меня выталкивал из Советского Союза абсурд. Я решил последние годы моей жизни прожить в системе пусть и не идеальной, пусть жесткой, но такой же нормальной, какой она была в дореволюционной России.

Когда я на занятиях по страноведению рассказываю немецким студентам о каких-то сторонах жизни Советского Союза, они точно так же, как и я, поражаются не столько жестокости режима, не столько бедности населения и т. п., но именно бессмыслице как самой сущности советской системы. Как люди с нормальным мышлением мои студенты ищут разумного обоснования того или иного подхода жителей Советского Союза, в том числе и руководителей страны, к решению их проблем. В конце концов я в шутку объявил: кто будет спрашивать «почему?» в ответ на то или иное мое сообщение о Советском Союзе, сразу получит плохую отметку, ибо самой постановкой вопроса он свидетельствует о своем непонимании

советской системы, в которой иные, чем в нормальных странах, законы казуальности.

И действительно:

почему в стране, в которой процентов 70 жителей не имеют достойного жилья, граждане которой вечно стоят в очередях за самым необходимым, не менее 40 процентов бюджета тратится на вооружение, а государство провозглашает себя образцом миролюбия?

почему тратятся миллиарды рублей на освоение космоса, в то время как не хватает денег на детские сады, больницы и строительство дорог и средств передвижения по земле?

почему люди, которым доверяется самое дорогое — наша жизнь (врачи) или наши дети (учителя), получают почти самые низкие зарплаты?

почему, выходя из дома или даже находясь у себя на коммунальной кухне, я никогда не могу быть уверен, что не подвергнусь бессмысленным оскорблениям со стороны потерявших человеческий облик алкашей либо хулиганов?

почему милиционеры, которым платят (из моих налогов) за то, что они должны меня защищать, выискивают любые способы для оправдания хулигана, а не для его наказания и ограждения меня от повторного с его стороны непотребства? И вообще почему милиционеры смотрят в сторону, противоположную той, где совершается нарушение элементарной законности?

почему в стране, где только ленивый не кричит, что он патриот, открыто прямо на улицах, в автобусах и метро в грязи вываливается одна из самых высших ценностей нации — русский язык, а «патриоты» не только не становятся горой на его защиту, но и сами являются чемпионами по мату?

почему в центре столицы страны, объявившей материализм официальной философией, стоит мавзолей и миллионы атеистов поклоняются мощам святого, признанного таковым, в частности, за то, что он ненавидел и идеализм, и все формы религиозного сознания?

почему главная площадь этой страны превращена в кладбище и одновременно по праздникам в место увеселений?

почему на этой же площади стоит надгробный памятник человеку, в период правления которого было уничтожено не менее 60 миллионов жителей этой страны, а их потомки и сегодня возлагают к этому памятнику цветы?

почему дискриминация отдельных людей по национальному признаку называется в этой стране дружбой народов?

почему обнаружение недостатков и борьба с ними считается в этой стране изменой родине, а сокрытие их — патриотическим долгом?

почему утверждается, что в этой стране царит морально-политическое единство, а в самой большой библиотеке читатели разных рангов не имеют единых прав на пользование книгами?

почему граждане этой страны считают, что они выбирают парламентариев, когда им вручается на избирательных участках бюллетень, в который вписана лишь одна фамилия (этого, как и системы прописки, объяснить моим студентам было практически невозможно)?

почему продавцы в магазинах и официантки в ресторанах считают пришедших к ним граждан если не врагами, то, во всяком случае, помехой в их жизни?

почему учительница музыки (имею в виду не только мою жену) получает в музыкальной школе меньшую зарплату, чем уборщица?

почему работу учителя в школе контролируют и инструктируют люди, не имеющие никакого отношения ни к педагогике, ни к преподаваемым в школе предметам?

Здесь разрешу себе сделать перерыв в перечислении всех этих «почему?», чтобы рассказать одну историю, связанную с последним «почему?», одно из действующих лиц которой задал это «почему?» очень значительным персонажам.

В начале 70-х годов было решено задуть 2-ю московскую физико-математическую школу. Однажды туда заявила комиссия, кажется, горкома партии. Походив на уроки литературы, физики, математики, химии, перелистав какие-то документы, члены комиссии собрали в зале учителей и руководство школы, чтобы сообщить им, что те школу развалили. Учителя, люди советские, приготовились как-то оправдываться, защищаться, что-то обещать. И лишь один учитель математики ни к чему такому не был готов. Когда началось инквизиторское собрание, он вдруг подскочил к столу, за которым на сцене сидели члены комиссии, и закричал: «А кто вы такие? Какое вы имеете право учить его?» — он показал на

директора школы Владимира Федоровича Овчинникова, Богом данного организатора школьного дела. Один из начальников сурово ответил: «Я секретарь московского горкома партии». «Я так и предполагал. Только такие, как вы, влезают всегда не в свое дело. Вы же Владимиру Федоровичу в подметки не годитесь». Вот это «кто вы такие?» никак не могло прийти в голову ни одному из присутствовавших. А это был, как я теперь понимаю, единственно необходимый вопрос, решение которого могло бы перевести все дело из области абсурдной в колею здоровой мысли. (Читатель не ошибется, если предположит, что этот учитель, между прочим, большой мастер своего дела, уже не подвергается контролю некомпетентных людей, ибо живет в другой, нормальной, а не абсурдной стране — в США. Он всегда говорил, что для преподавания математики он не нуждается ни в каких наглядных пособиях, ему нужно лишь три вещи: мел, тряпка и свобода.)

Продолжу свои «почему?», невозможность ответа на которые вытолкнула меня из Советского Союза:

почему я в Советском Союзе должен униженно просить все то, что мне полагается по закону?

почему партия, которая взяла на себя ответственность за все происходящее в стране, разрешает только хвалить ее за успехи и наказывает тех, кто напоминает ей о чем-то, ею недоданном?

почему из страны высылают ее лучших граждан (например, Солженицына), а худшие добираются до рычагов власти?

почему судят писателей за тексты их произведений, а картины художников дают бульдозерам?

Я понял, что сойду с ума, если останусь в этой стране, которую сатирик Зиновьев назвал в «Зияющих высотах» Ибанском. Бежать из страны абсурда мне показалось столь же естественным, как здоровому человеку — из психиатрического заведения. Конечно, многие советские люди не замечали этого абсурда или же примирялись с ним. Дай им Бог здоровья! Я задышался от всей этой бессмыслицы и уехал из Советского Союза, спасаясь от безумия.

Не только абсурд советской жизни, но и постоянное, ежедневное унижение моего человеческого достоинства выталкивало меня с родины. В первом же параграфе первой статьи немецкой конституции я прочитал: «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его — обязанность всех государственных органов». В СССР вся система имела целью как раз обратное — унижить мое человеческое достоинство. Защищать его было предоставлено мне самому.

Один из методов унижения в коммунистической системе — очереди. Как и все нормальные (то есть задуренные) советские люди, я до поры до времени думал, что очереди всюду: в магазинах, конторах, к автобусам и такси, за жильем, — это выражение дефицита продуктов, кадров, каких-то машин. Но вдруг меня осенило: очереди выполняют задачу держать меня на уровне животного. Со мной, как, разумеется, и с другими жителями страны, некто — хозяин — обращается, как с собакой: он бросает мне кость. Эту кость я должен выпрашивать да еще и вилять хвостом. Я должен терпеливо ждать, пока свою кость не получат стоящие передо мной другие псы, в то время как стоящие за мной толкают, кусают, облаивают. В конце концов мне мою кость «выбрасывают» (язык выдает скрываемую суть). Освободиться от очередей я не могу никак, ибо у меня один лишь хозяин — государство, ему принадлежат все богатства страны, оно одно их распределяет: на ракеты — дать, на еду подданным — погодить, на танки и самолеты — дать, на жилье подданным — погодить, себе на виллы, больницы-дворцы, на лучшие машины — дать, собакам же — остатки со стола (от бюджета).

В России до революции никаких очередей не было (представьте себе, как расписал бы их Горький в повести «Мать», если бы они были! Ниловна в очередях не стояла. Конечно, жизнь ее была — по другим причинам — несладкой). Когда в феврале 1917 года в Петрограде возникли хлебные очереди, это показалось русским людям таким невероятным кошмаром, что они скинули царя.

Но ведь тогда шла война, а победив, коммунистическая революция заставила стоять народ в очередях постоянно. Мое отрочество совпало с Отечественной войной. Я знал, что продуктов не хватает, потому что они идут на фронт, и никакого унижения при этом не чувствовал: это понятная неизбежность. Очереди же в мирное время я терпеть не мог. И уехал я из страны коммунистической, гарантирующей мне лишь собачьё положение, в страну капиталистическую, где я надеялся сохранить свое человеческое достоинство даже в тяжелых обстоятельствах. И вот я живу в Германии уже около двадцати лет и ни разу (подчеркиваю — ни

разу) ни в каких обстоятельствах не оказывался в положении собаки, на которую можно заорать, которую можно пнуть под брюхо, перестать кормить или которой можно милостиво бросить кость.

Отношение к человеку как к собаке я чувствовал и тогда, когда сталкивался с весьма болезненным для меня национальным вопросом: мою национальность всегда определяли по моей породе, моей расе. Так как моя мать, мать моей матери и т. д. были еврейками, я обозначался как чистопородный еврей (по этим собачьим категориям мои сыновья — полукровки). В Советском Союзе я всегда соглашался быть евреем, более того, считал, что такое открытое признание есть следование кодексу чести, поскольку евреем быть опасно. Но если бы меня спросили, в чем заключается мое еврейство, я оказался бы в серьезном затруднении и, вероятно, нашел бы один ответ: в расовых корнях.

К началу 70-х годов я начал для себя разделять понятия расы и национальности. Расовое происхождение человека определить весьма сложно, но, установив его, почти невозможно сделать отсюда сколько-нибудь корректные выводы о культуре этого человека, его ментальности, его верованиях, его привычках. Однако, узнав о национальности его, мы на все эти вопросы получим более или менее удовлетворительные ответы. Уже с начала XIX века определение национальности по крови в цивилизованных кругах не признавалось. Фихте и Гердер считали нацию лишь языковым и культурным единством. А современный немецкий историк фон Тадден — единством исторической ответственности и исторической судьбы. Он не считает немцами даже ту группу людей, которые переселились в Поволжье из Германии двести лет назад. А вот жителей бывшей ГДР фон Тадден немцами признает: они и их деды, так же как немцы Западной Германии, разделили судьбу и кайзеровской, и веймарской, и гитлеровской Германии, а трагедии Дрездена и Гамбурга весьма схожи. Об общности же людей по крови как признаке нации фон Тадден отзывается по-немецки кратко: «Блэдзинн» (то есть абсолютная чепуха). Я спрашивал у многих врачей, могут ли они, не зная человека, лишь по анализу крови определить его национальность. Ни один не был готов на такой эксперимент. Следовательно, выражение «по крови» — просто метафора для обозначения этнического происхождения человека. Но как же выяснить, каково этническое происхождение, например, русских, если через Россию в XII — XV веках пронесли десятки тысяч татар, не равнодушных к женским прелестям славянок? А правила Россией норманны, викинги, чьи черты (как и монгольские) и сегодня проступают в лицах многих русских. И Русь и Россия всегда были не только многонациональными, но и многоэтническими государствами. Какой этнос или смесь каких этносов имеет привилегию называться русским, а какой такого права не имеет? Могут ли сегодняшние борцы за расовую чистоту доказать, что их предки имели постельные дела только с расово чистыми? Уверен, что не смогут, а следовательно, и нельзя уж совсем исключить, что господин Васильев и вся его обскурантская рать не совсем чистые русские, а может быть — о ужас! — и евреи. Если исходить из синонимичности понятий «раса» и «нация», то русские целых двести лет имели на троне своего государства только немцев. Разумеется, все это бредни Васильева, и Николай II, и Багратион, и Левитан, и... я — русские, русские по национальности, какие бы этнические корни нас ни разделяли.

Если этническое, расовое относится к области материи, области эмпирической (да и в этом смысле весьма сомнительной), то национальное — это духовное начало в человеке. И если мы христиане (так начал я рассуждать примерно с начала 70-х годов, разумеется, не будучи уверенным, что моя теория будет признана большинством) или хотя бы просто гуманисты, то для нас человек не собака определенной породы, чистота которой очень важна для информаций посетителей собачьих выставок, а некое духовное явление. Мне думается, апостол Павел произнес свою фразу «Нет для Господа ни иудея, ни ахейца» не без некоторого недоумения: неужели людям это надо разъяснять?

Сказано: «Дух льщит, где хочет», он избирает телесную оболочку любого этнического происхождения. Дух, а не кровь определяет национальную принадлежность человека.

Так рассуждая и не намереваясь никого в этом направлении просвещать, я просто решил для себя: я — русский, что бы по этому поводу ни думали расисты. А как же иначе? Мой родной язык — русский. В эмиграции я овладел немецким языком достаточно полно, чтобы с его помощью зарабатывать свой хлеб (преподавать в немецком университете, выступать с докладами на симпозиумах) и ни от кого не зависеть в общении с немцами (пишу всякие письма, деловые бумаги, веду

деловые переговоры на немецком языке). Но родной язык у меня один-единственный — русский. По-немецки родной язык — муттершпрахе, то есть материнский язык. А мать у каждого человека одна, следовательно, и родной язык один (так рассуждал я, освобождая себя от размышлений о двуязычных людях). На русском языке я не только говорю и думаю, я на этом языке чувствую. Надругательство над русским языком, попытка из материнского языка сделать матерный, бессмысленное включение в него иностранных слов и канцеляризм — все это меня буквально физически ранит (что происходит с немецким языком — мне безразлично, даже если я и замечаю неудачные, как мне представляется, тенденции в его развитии). Свойства русского человека я в большой мере определяю по тому, как он говорит, и могу целый день страдать, услышав, как диктор «Свободы» сделал неправильное ударение.

Я русский и потому, что родился и провел почти всю мою жизнь в столице России Москве, в самом ее центре — на Остоженке. Я играл в детстве с русскими ребятами московских дворов и подворотен (и сам был одним из них). Я учился в русских школах, в русском пединституте. Я жила в русских поволжских деревнях и в уральском городке, среди жителей которого не было, между прочим, ни одного еврея.

Я понимаю сердцем только русскую историю. Это моя история. Мне, конечно, интересна война Алой и Белой розы, жизнь при дворе Людовика XIV. Я увлеченно изучал по Лависсу и Рамбо историю Наполеона. Я читал «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и Лиона Фейхтвангера. Но историю какого бы народа я ни изучал, я искал в ней прежде всего хоть что-нибудь, что приводило бы меня к судьбам России. У Иосифа Флавия мне важно было узнать, не упоминает ли он Господа нашего Иисуса Христа и его ученика Андрея, для русских — Первозванного. Культуру при дворе Людовика XIV мне надо было понять потому, что там находились истоки русского классицизма. Наполеон меня интересовал прежде всего тем, что его разбили русские.

И не только я во всех этих смыслах был русским, но и моя мама, которая должна была, по расистским теориям, определять мое еврейство (в паспорте имела запись «еврейка»), была русской московской дамой. Ее отец, мой дед, был русским офицером, ее мать, моя бабушка, — сподвижницей русского революционера Плеханова. Мама не знала ни одного слова ни на каком языке, кроме русского. Она окончила Московскую консерваторию, кажется, у Сафонова. В доме у нас было всегда много книг — и все на русском (в немецкой семье отца я видел и книги на немецком языке). Мой дед по матери, Антон, всю жизнь служил России. Он был личным врачом генерала Куропаткина во время русско-японской войны, в германскую войну заслужил орден Святой Анны на темляке. Когда немцы напали на Советский Союз, мой тогда семидесятидвулетний дед собрал узелок и отправился на призывной пункт, откуда его завернули: «Дед, тебе на покой пора».

Всю жизнь мой отец и мать работали для России. И я следовал им: учил русских девочек и мальчиков русскому языку, читал им стихи русских поэтов, водил на выставки русского искусства. Я хотел сделать из них образованных, добрых, честных граждан России.

А меня называли евреем, и я не имел ничего против этого (надо так надо), пугался, лишь когда слышал «жид» или «Абрам» (во время войны). Когда началась борьба с космополитизмом, то есть подготовка к холокаусту по-советски, я учился на литфаке и, естественно, был разоблачен и обруган. Черносотенец профессор Волков обвинил меня в отсутствии русского патриотизма на том основании, что я написал курсовую работу «Пушкин и Байрон». На мое возражение, что в этой работе я доказываю: южные поэмы Пушкина во многом превосходят восточные поэмы великого англичанина, — Волков твякнул, что сам факт сопоставления русского поэта и поэта нерусского свидетельствует о моем антипатриотизме.

Игнорируя предостережения знающих людей, я решил в страшном для евреев по национальности и этнических евреев 1952 году поступать в аспирантуру. Мой вступительная работа о «Бесах» Достоевского получила высокую оценку: письменные работы шли под кодом, так что немецкая фамилия автора, Фейн, унаследованная мной по отцовской линии, была антисемитам из приемной комиссии неизвестна. Меня, к посрамлению осторожных людей, допустили к вступительным экзаменам, а уж там произошло все так, как эти мудрецы предсказывали: меня провалили. Профессор Ревякин предложил мне два вопроса: очерки из колхозной жизни в прошлогодней «Правде» и анализ второго варианта «Тараса Бульбы». Я что-то (но явно не то) бодро излагал, и выражение лиц экзаменаторов не пред-

вещало ничего обнадеживающего. Кому-то из членов комиссии захотелось над «наглым жидом» еще и поглумиться, и он потребовал, чтобы я назвал лучшее (!) произведение 70-х годов прошлого века. Со светлой (и, вероятно, идиотской от радости, что тут-то я не провалюсь) улыбкой я ответил: «"Анна Каренина"». Члены комиссии коллективно поморщились, а председатель как-то даже брезгливо заметил: «Ну как же вы хотите заниматься русской литературой, если не знаете, что лучшим был роман «Ни пава, ни ворона»?» Я понял, что продемонстрировал свое полное невежество.

Мне, помню, было тогда тяжело — и не столько из-за провала, не столько даже из-за столкновения с откровенным антисемитизмом, сколько из-за того, что я понял: в этой стране я никогда не смогу себя правильно оценить. Почему я провалился? Потому что я действительно не имею необходимых знаний и способностей или потому, что евреев куда-то там не принимают? А может быть, и в самом деле я должен был суметь ответить на заданные вопросы (впрочем, в превосходстве романа Златовратского, название которого члены комиссии переврали, над «Анной Карениной» я так и не убедился)?

Я лишился способности к самооценке. Мне было все труднее и труднее общаться с людьми. Почему А. так плохо ко мне относится? Потому что я еврей или потому что действительно у меня есть какие-то неприятные свойства? Почему меня сильно недолюбливает моя ученица, любимица Оля Б.? Потому что я ей не нравлюсь как учитель литературы или потому что она антисемитка?

Я до тошноты ненавижу антисемитизм. И это тоже повлияло на мое решение уехать из Советского Союза. Власти этой страны всегда поддерживали антисемитизм, а иногда, например в конце 40-х — начале 50-х годов, его даже инициировали. В этих условиях ни один еврей или тот, кого таковым «назначают», жить спокойно в этой стране не может. Один анекдот очень верно отличает еврея, который уезжает, от еврея, который решил остаться: первый — смелый человек, а второй — очень смелый... Моя ситуация выглядит в этом смысле достаточно парадоксальной: я решил покинуть родину, чтобы восстановить свою истинную национальность. Я уехал, чтобы стать русским не только для себя, но и для всех окружающих. Я хотел восстановить некую истину. Я добился своего: в Германии никому не приходит в голову видеть во мне еврея или немца, украинца или ирландца. Ни у кого не возникает сомнения в истинности моей информации, что я — русский.

С этим — цивилизованным — отношением к национальному самоопределению человека я встретился в самые первые дни своего пребывания в Вене, когда отправился в немецкое посольство просить разрешения на жительство в Германии. В графе «национальность» анкеты, предложенной мне в консульском отделе посольства, я написал «еврей». Консул удивленно посмотрел на меня и, разъяснив, что в Германию имеют право въехать на постоянное жительство только немцы или лица, преследуемые по политическим причинам, посоветовал обратиться в израильское посольство. Я уточнил, что я все же не еврей, а русский. Консул решил, конечно, что перед ним сидит сумасшедший. «Почему же, — осторожно спросил он меня, — вы написали, что вы еврей?» «Да вот, — пробормотал я, — по крови». Немец вскочил и, забыв о правилах дипломатии, буквально завопил: «Вы думаете, что если находитесь в немецком посольстве, то можете позволить себе говорить всякие гадости? Пишите наконец правду о своей национальности!» По моей просьбе он разъяснил мне, как в цивилизованных странах определяется «националитэт», и я, облегченно вздохнув, написал «русский». Консул успокоился, и мы с ним заговорили о Льве Толстом, которым он в юности увлекался. Вдруг он схватился и спросил, чем же я собираюсь мотивировать свою просьбу о разрешении жить в Германии, повторив, что я как русский никакого на это права не имею. Он попросил вспомнить, нет ли у меня в прямом родстве немцев: мое немецкое имя — Герман — дает основание для такого предположения. Я ответил, что, не имея ни малейшего представления о «крови» моего отца, могу лишь с уверенностью сказать, что родной язык его был немецкий, что, кажется, все его семейство исповедовало лютеранство, что детство и отрочество он провел в немецком окружении (в Риге), пока не переехал в Москву, чтобы учиться в Московском университете. «Ну, вот так и пишете: отец — немец. А мы эти данные о вашем отце проверим». Этими словами немецкого консула закончилась аудиенция.

Через три месяца я получил немецкий паспорт как русский сын отца-немца. (Я-то, конечно, знал, что немецкой скорее была семья моего отца, он же сам согласно моим представлениям был русским: в немецком окружении он провел семнадцать лет, а в русском — остальные шестьдесят лет своей жизни. По-русски

он говорил и писал безукоризненно, а с немецким справлялся не без напряжения.)

Так я и жил (и живу сегодня в Германии) в полной гармонии с самим собой: русский эмигрант немецкого происхождения.

В Германии я обрел полную свободу самоопределения, свободу выбора. Как это прекрасно, я почувствовал уже в первые минуты своего пребывания на земле цивилизованной Европы. Ведь когда мы летели в Вену, я был уверен, что меня прямо с венского аэродрома препроводят в Израиль: в моей выездной визе в строке «конечный пункт» (или что-то в этом роде) было указано — Израиль. Я же связывал свое будущее с Германией. Сидя в самолете, я разработал хитрый план бегства от представителей израильской иммиграционной службы, встречавшей в Вене евреев-эмигрантов из СССР. План этот удался лишь частично: жена и сын скрылись, но я попал прямо в объятия интеллигентно выглядящего еврея из Сохнута. Деваться мне было некуда, да и надо было все же воссоединиться с женой и сыном, и я стал в типично советском уничижительном стиле объяснять этому господину, что по определенным причинам ехать в Израиль мне не хотелось бы, и я его умоляю разрешить мне и где-то тут прячущимся жене и сыну пока остаться в Вене. Дальнейшего я не забуду никогда в жизни. Человек из Сохнута, зачем-то вздев очки на лоб, торжественно, четко разделяя слова, произнес (и я услышал ангельский глас): «Поздравляю вас, вашу жену и вашего сына с прибытием на свободную землю. Отныне и навсегда ни одна государственная власть не будет иметь права определять вашу судьбу».

Я согласен с Вайлем и Генисом, замечаящими, что эмиграция принесла нам право, которого советские люди были лишены всегда, — право свободного выбора. Но если это право Вайля и Гениса, по их признанию, гнетет, то мне оно приносило и сегодня приносит необыкновенное наслаждение. Мне очень польстило, когда мой дядя, известный театровед, прощаясь со мною в Москве, сказал: «Это, по крайней мере, поступок». И я его, думаю, понял верно: он одобрял мою решимость действовать в соответствии с моим свободным выбором, но не сам этот выбор.

Боязнь выбора или даже нежелание его самостоятельно делать — психологическая основа тоталитаризма. Народы, которые предоставляют чужому дяде решать свою судьбу, сами виноваты в своих трагедиях. Критики демократии не понимают подчас, что ценность выборов в органы власти вовсе не в том, что их результатом будет выдвижение к руководству самых лучших и самых умных (так бывает, но очень редко), — выбирая, каждый гражданин берет на себя какую-то часть ответственности за то, что с ним произойдет в политической или социальной сфере. В демократических странах гораздо реже, чем в Советском Союзе да и в теперешней России, можно слышать: ах, они (правители) мне не дали этого и того, ах, это они виноваты во всех моих бедах! Я их свободно выбрал, и в их ошибках, провалах, иногда и нечестных поступках отражаюсь в какой-то степени и я.

Я уехал не только на свободу и не только в нормальный мир. Я уехал еще и в мир честный. Конечно же, в Германии совершается множество преступлений, и еще каких: убийства, ограбления, изнасилования, банковское жульничество, махинации в правительстве. Человек всюду весьма несовершенен, грешен. Но все же я могу с абсолютной уверенностью сказать, что подавляющее большинство граждан Германии законов не преступает. И не только юридических законов, но и тех этических правил, которые они выучили на уроках закона Божьего. В Советском же Союзе я знал очень мало людей (но все же знал, конечно), которые никогда ни при каких условиях не преступали закона юридического или нравственного. Как-то я прочитал в «Литгазете» статью, даже не статью, а плач Олега Мороза, вопрошавшего: а умеем ли мы держать слово? И ведь правда: лгут, никто не держит слова и даже не считает это пороком. Президент СССР (практически всегда), президент России (нередко) не держали слова. Лгут, не выполняют обещаний почти все жители страны, причем делают это не намеренно (лжецы по расчету есть и в Германии): ну сказал, ну и что? С такой непонятной ложью, с глобальным неумением держать слово я встретился, когда посетил Россию с одним немецким предпринимателем в 1992 году. Я помогал ему завязать контакты с русскими бизнесменами: он хотел им продать интересный, нужный стране и им лично товар. Я аккуратно переводил все, что сообщали немецкому партнеру о своих намерениях и возможностях русские участники переговоров. Их слова не могли не привести в восторг европейского дельца: он возвратился в Германию с убеждением, что сделает большой бизнес в России. Каково же было его потрясение, когда оказалось,

что практически все, что ему говорили, не соответствовало действительности! А вел он переговоры с представителями по крайней мере пятнадцати фирм. Хочу заметить, что все люди, с которыми мы имели дело, производили самое благоприятное впечатление, и лгали они или не держали слова не потому, что у них уж такой неприятный характер, нет: это характер страны, в которой они родились и выросли.

Обаятельный, интеллигентный человек, кажется, даже высокопоставленный государственный чиновник, берет деньги займы и забывает отдать. На сто процентов уверен, что у него не было цели зажать эти деньги. Просто нет у него в крови вот этого категорического императива — держать слово. Ну сказал, ну и что?

Я упомянул явления, которые меня вытолкнули с родины, но это не означает, что ими исчерпываются мои воспоминания о ней. Мне самому странно подчас думать, что я действительно оставил в России множество счастливых дней. Я любил школы, где я учился, и школы, в которых я преподавал. Может быть, мне и везло, но почти все они были не столько советскими, уродующими детей, сколько русскими, и нравственно чистыми, и очень серьезными в том, что касалось самого дела обучения.

Моя любовь — русский театр, советское кино. На концертах в Большом зале консерватории я не только понимал, но прямо-таки телесно ощущал, что такое счастье.

В Советском Союзе я знал счастье любви, наслаждение дружеской исповедальной открытостью.

Я еще много мог бы сказать о светлых сторонах моей жизни в Советском Союзе. Будучи безусловным, безоговорочным сторонником разрушения советской системы, я не всегда понимаю людей, которые рисуют Советский Союз лишь только как юдоль печали.

Но читая финал «Человека в фугляре», я всей душой бываю с чеховским Буркиным: «Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смея открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла... нет, больше жить здесь невозможно!» (Дошлый читатель заметил, конечно, что я заменил «так» на «здесь»: здесь жить невозможно, решил я.)

Но сколь ни убедительными кажутся мне и сегодня мотивы моей эмиграции, обрисованные выше, я знаю, что решение немолодого человека навсегда покинуть страну, в которой прошла чуть не вся его жизнь, определяются не рациональными доводами, а силами в основном мистическими. Это как и в истории с Родионом Раскольниковым: все он высчитал, уговорил себя, почему он должен убить старуху-процентщицу, понимал, что убить не сможет, а все же убил, ибо тащила его к этому страшному делу какая-то неподвластная ему сила.

Уже приняв решение эмигрировать, я захотел еще в Москве как-то рационализировать это решение. Расчертил листок бумаги на две части и с левой перечислил все доводы за эмиграцию, а справа все против. Доводов против оказалось больше. Я собрал документы и отправился в ОВИР.

4

Эмигрировав, Вайль и Генис попали в неведомую им страну: по их признанию, Соединенные Штаты оказались совсем иными, чем они это себе представляли до отъезда. Жаль, что наши очеркисты очень мало говорят об источниках своей предварительной информации. Впрочем, они упоминают романы Хемингуэя, Стейнбека, Фолкнера. Странно, что жизненный и литературоведческий опыт не подсказал Вайлю и Генису, что художественный текст рискованно использовать как справочник о жизни описываемой страны. Я же еще до отъезда знал, что «Воскресение» или «Утерянная честь Катарины Блюм» корректнее информируют нас о настроении и мировоззрении Толстого и Бёлля, чем о России конца XIX или о Германии середины XX века. Поэтому я перед отъездом в Германию приналег на экономические справочники, юридические документы, прежде всего внимательно прочитал «Основной закон (конституцию) ФРГ». Произведения же Бёлля, Энциенсбергера, Вальрафа, Вальзера я читал, чтобы лучше ориентироваться в немецкой литературе и лишь во вторую очередь — в немецкой жизни. Я ловил любую возможность поговорить с гостями из Западной Германии, и, хотя это были

главным образом немецкие интеллектуалы, я расспрашивал их о быте, человеческих отношениях, системе образования, ценах и зарплатах, об отношении с властями более подробно, чем о Шёнберге или Юнге. В результате всех этих «расследований» я пришел к выводу, что по крайней мере в одном Германия мне подойдет: в этой стране мои трудовые усилия будут оценены адекватно, безразлично, какое рабочее место я найду — учителя (чего очень бы хотелось) или мойщика окон (к чему я тоже был, на худой конец, готов). Ни в какой рай я не стремился. Я знал еще до отъезда, что получу (или не получу) рабочее место вне зависимости от моей сомнительной национальности, партийности или связей.

Самое неожиданное для меня в Германии оказалось то, что... никаких неожиданностей социального, политического, бытового характера я здесь не встретил.

Я уехал на Запад, чтобы узнать, на что я способен, какова моя объективная цена как работника.

И вот без всяких связей я получил место почасовика в университетах Гейдельберга и Мангейма. Меня узнали как преподавателя, и через некоторое время я смог участвовать в конкурсе на вакансию в университете Майнца. Я его выиграл и вот уже почти пятнадцать лет преподаю на факультете прикладной лингвистики этого университета страноведение (советское и русское). Опыт оказался чистым: я приехал никому не известным и получил то, чего по здешним критериям был достоин. (Иное дело, например, А. Д. Синявский или Е. Г. Эткинд. Им было легче: они приобрели известность на Западе задолго до своей эмиграции и как ученые и как диссиденты. Глубоко убежденный, что они получили профессорские места в Сорбонне заслуженно, я лишь хочу заметить, что мой эксперимент с целью проверки, как работает западная система предоставления рабочих мест, более чистый.)

Но я не только преподаю в университете. Меня приглашают по всей Европе (иногда и из Америки) с докладами о русской литературе, политическом положении в России, русской философии, русском искусстве. Я делаю передачи для «Свободы» и «Немецкой волны», печатаюсь в русских эмигрантских и немецких газетах и журналах. Одно известное немецкое издательство выпустило мою книгу «Два лика России». Перечисляю все это совсем не для того, чтобы похвастаться своими успехами. До эмиграции я проработал двадцать пять лет учителем. Свою работу я любил и был уверен, что достиг своего потолка. Оказалось, что я был в своей стране недоволен.

В моей эмигрантской жизни не было ни одного случая, когда бы немцы оттолкнули меня из-за неприязни к моей русской манере говорить, думать, вести себя. Наоборот, приглашавшие меня выступить перед их аудиторией промышленники, члены ротари-клуба, ученые, военные говорили после моих выступлений и застольных бесед, что им особенно полезно было слушать о России от россиянина не только благодаря информации, которую он давал, но и несколько необычной для них манеры. После семинара о русской истории, который я проводил, мои слушатели, преподаватели одного университета, похвалили меня несколько странным образом. Один из профессоров, пожимая мне руку на прощание, говорил: «Все было страшно интересно, но, понимаете ли, это не наука». Ничего себе комплимент, уныло подумал я и спросил: «Вы, наверное, нашли какие-то ошибки в моем изложении? Было что-то некорректное в нашем семинаре с точки зрения чисто научной?» «О нет, — возразил мой собеседник, — все было в этом отношении о'кэй. Но понимаете, герр коллега, мы на ваших занятиях часто смеялись, возмущались тем, что было в русской истории, иногда вы нас настраивали сентиментально в отношении России — наука же должна быть...» Тут я его перебил: «Скучной?» Он задумался, а потом признался: «Да, у нас, немцев, это строже, но было очень интересно познакомиться с чудесной русской ментальностью». Я вспомнил, что Бердяев столкнулся во французских научных кругах с таким же явлением. В «Самопознании» он вспоминает о научном семинаре, в котором участвовали западные и русские философы: «В Западной Европе, и особенно во Франции, все проблемы рассматриваются не по существу, а в их культурных отражениях, в их преломлении в историческом человеческом мире. Когда ставилась, например, проблема одиночества... то говорили об одиночестве у Петрарки, Руссо и Ницше, а не о самом одиночестве... У нас, в России... дело шло о первичном, а не об отраженном, не о вторичном». То же и сегодня разделяет меня в какой-то степени с немецкими коллегами. Очень редко мне приходится слышать страстную речь немецкого ученого о какой-нибудь проблеме истории, литературы, философии. Выступления немецких коллег всегда очень солидны, научно оснаще-

ны самым серьезным образом (мне на зависть), со множеством точных дат. Доклады в подавляющем большинстве случаев читаются по написанному. И, думаю, не потому, что ученые не могли бы говорить свободно. Для немецкого ученого высшая ценность на шкале приоритетов — точность изложения фактов, передачи цитат, корректность заранее основательно продуманных тезисов. Больше всего он боится ангажированности. (Что сие означает, я узнал после одного из моих выступлений: один слушатель подошел ко мне и сказал, что я выступил, как это типично для русских, очень ангажированно. Видя, что для меня этот термин весьма загадочен, мой собеседник его разъяснил.) Я же (да иначе просто не умею) читаю лекции, доклады без всяких бумажек. Подчас, возвратившись после какого-либо выступления домой, покрываясь потом, вспоминаю, что неточно процитировал Толстого, что упоминавшееся мной стихотворение Лермонтова называется несколько иначе, что роман Замятина вышел на два года позже, чем я сказал. Зато я был «ангажирован», меня хорошо слушали и проводили аплодисментами. (Недавно я слышал выступление по «Свободе» блестящего Баткина. Некрасова он назвал Николаем Александровичем. У немца такого рода ошибка невозможна: ведь он читает свои тексты по бумажке, и весьма даже скучно, Баткина же слушать уж никак не скучно!)

Покидая Россию, я верил, что в Европе не буду себя чувствовать таким чужаком, как в Советском Союзе. Как я уже говорил выше, с никакими существенными неожиданностями я в Германии не столкнулся. Для меня был важен вопрос, смогу ли я на Западе осуществить те чисто земные задачи, которые при всех моих усилиях не могли быть решены на родине.

В Советском Союзе очень немногие мужчины («мужики») могли содержать семью. До революции тот слой общества, к которому я принадлежу (средняя служилая интеллигенция: учителя, врачи, инженеры), был достаточно обеспечен, почти не знал работающих жен: семья держалась на заработках ее главы. И конечно уж учителя или врачи жили не в коммуналках и не в однокомнатных клетушках. Никогда у людей, принадлежавших к этому слою русского общества, не было потребности уехать на заработки в эмиграцию. Я же к середине 70-х годов почувствовал нестерпимый стыд за то, что не могу содержать семью, что не могу обеспечить ей неунизительное бытовое положение. И решил поехать на заработки, как короленьковский Матвей Лозинский («Без языка»), но в отличие от него — с частью семьи.

Мне приходилось и читать и слышать презрительные выпады против эмигрантов, которые бегут-де на Запад, только чтобы разбогатеть. Я уже перечислил главные мотивы моей эмиграции, и были они не материального характера (рывок к свободе, бегство от антисемитизма, стремление познать свои истинные возможности, оградить от оскорблений себя и жену, вырваться из абсурда), но вместе с тем не последней причиной моей эмиграции были унизительная бедность (хотя в условиях Советского Союза наша семья могла быть признана материально неплохо обеспеченной) и желание из нее выбраться. Я думаю, все согласятся с иронической пословицей «лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным». Высокотерпимым критикам эмигрантов не худо бы понять, что бедность унижает человеческое достоинство, а благосостояние ведет к раскрепощению человека.

Живя в Германии, я впервые в своей некороткой жизни познал удовлетворенность трудом, который дает мне возможность не жить, пользуясь чужой поддержкой (например, отца), а наоборот — помогать другим. Всю жизнь, с тринадцати лет, я работал: был железнодорожным рабочим, кинооператором-мультипликатором, учителем, замдиректора школы, — и не было ни одного периода в моей жизни, когда бы я один мог содержать свою не маленькую семью. Мало того что чуть ли не до обмороков «вкалывала» и моя жена — мы не могли нормально прожить без регулярной финансовой и прочей помощи со стороны моего отца, имевшего какие-то привилегии за службу в Госплане. Меня это оскорбляло, подавляло.

Здесь, в Германии, я стал на пятидесятом году жизни наконец главой семьи, добытчиком (как говаривали в русских деревнях), содержащим своим трудом большую семью, между прочим, и отца с матерью, когда отец ушел на пенсию. В Германии пенсионер-чиновник уровня моего отца не нуждается в материальной помощи своего сына.

В общем, уехав «на заработки» в Германию, я свою задачу выполнил, и не ценой каких-то жертв. Помогая моим родным, оставшимся в России, другим людям, я могу оплачивать и дом с садом на берегу Рейна, смог купить хорошую

машину. Мы с женой имели возможность попутешествовать по миру. Я собрал за эти годы приличную библиотеку и фонотеку из произведений мировой классики. Однако достигается все это нелегким трудом. Мы работаем гораздо больше, чем работали в Союзе (я имею в виду большее время — труд здесь отнимает неизмеримо меньше здоровья и нервов). Пожила у нас как-то в гостях кузина моей жены из Москвы. Понаблюдав несколько дней за нашей жизнью, она вздохнула: «Так напряженно жить, как вы, я бы не смогла».

Но так живут все немцы, принадлежащие, как и мы, к среднему классу, в том числе и рабочие: нелегкий труд — а за него все необходимые блага. Мы живем около фабричного поселка, населяют который рабочие мебельного предприятия. Все они имеют машины, собственные домики с садами, гаражами. Отпуск немецкого рабочего — пять недель в году, не считая множества праздничных дней. Отдыхает рабочий со своим семейством на Мальдивах, Мальорке, в Египте. Но рабочий день у него начинается в шесть часов. Никаких перекуров, кроме часового обеденного перерыва, работник не имеет. Как бы ни заботился владелец фабрики о гигиенических условиях в цехах, цех остается цехом: жарко, отходы от материала не делают воздух чище, станки все равно гремят.

Конечно же, мой рабочий день проходит в более здоровой обстановке, да я и сам могу определять, делать ли мне перекур и сколько времени выделить на обеденный перерыв. И все же я не могу себе позволить полностью освободиться от работы чаще чем раз в неделю. Очень редко вижу ничего не делающей мою жену, преподавательницу музыки, на которой, кроме всего прочего, лежит и все домашнее хозяйство, пусть и максимально механизированное.

Вот такой работой мы обеспечиваем себе весьма удобное, достойное человека существование. Ничего не дается даром, да и вообще сомнительно, можно ли здесь, в Германии, получить что-нибудь даром, без приложения своего труда.

В Германии (как, впрочем, и в других капиталистических странах) равенство между людьми определяется только различием в их доходах. Немецкая марка не нагружена никакой дополнительной информацией, кроме информации о затраченном труде ее владельца. Чтобы получить какие-то услуги, к марке не надо ничего прибавлять — ни связей, ни блага, ни положения в обществе. За одну и ту же сумму рабочий и канцлер получают одни и те же товары и одни и те же услуги.

Когда меня направляют в больницу, я прошу положить меня в одноместную палату: эту роскошь мне позволяет моя страховка. В соседних одно- или двухместных палатах могут лежать или министры, или работники. Мой знакомый-эмигрант лежал в Кёльне в той же больнице, что и тогдашний канцлер Шмидт. Оперировал их один и тот же врач. Только у палаты канцлера была охрана, а мой приятель обходился без нее. Однако еду из больничной кухни канцлеру и русскому эмигранту привозили одну и ту же.

Чтобы находиться в таких условиях, нужно иметь дорогую страховку. Но любая страховка доступна каждому работающему человеку с той лишь разницей, что, заплатив за дорогую страховку, рабочий должен будет в чем-то себе отказывать (ездить в отпуск не в Египет, а на соседний немецкий курорт и покупать не дорогую машину, а скромный «фольксваген»). У меня, университетского преподавателя, конечно, больший выбор возможностей.

О Германии я слышал рассказы моих теток, живавших в Берлине и на Баденском озере. Рассматривая старые бедекеры, я задолго до решения эмигрировать уже представлял себе эту страну. Подчас, особенно когда передо мной лежали репродукции картин Шпицвега, мне казалось, что я уже когда-то жил в Германии, которую Набоков брезгливо назвал гемютной, и наслаждался покоем, устойчивостью быта, изысканной вежливостью соседей.

Я люблю чистоту, уют, бесконфликтность отношений с любым встречным, взаимную предупредительность. Согласитесь, что все это не очень-то часто можно встретить в России. Меня всегда удивляли ножницы между бытом и бытийностью русских людей. Европейская страна глубочайшей духовности, Россия одновременно и страна величайшего бытового свинства. Это вопиющее противоречие между духовной культурой и бытовым варварством проявляется в России на уровне прежде всего межчеловеческих отношений. Россиянин может быть и академиком, и героем, и мореплавателем, и плотником (и во всех этих ролях ничуть не ниже, чем немец), весьма уважаемым в его непосредственном окружении, но это не гарантирует неприкосновенности его личности на улице, в трамвае, кино, отделении милиции, в каком-либо официальном учреждении. Не было в России ни одного дня в моей жизни, чтобы меня кто-нибудь не оскорбил, причем всегда без

всякой видимой причины: то пьяница, который меня никогда до этого не видел, поднимет кулаки и скажет что-нибудь вроде: «У-у, интеллигентская сволочь!» (вариант: «Жидюга!»); то облает продавщица или обсчитает таксист, да еще тебя же и обругает; то часами в учреждении сидишь, дожидаясь приема у вельможи, потому что мимо тебя в кабинет идут и идут какие-то личности. Думаю, советские люди смогут бесконечно продолжить этот список. Во всяком случае, те унижения, которые испытала моя жена в советских роддомах, были не самым последним обстоятельством, толкнувшим ее на эмиграцию. Смею усомниться, что во всех этих случаях виновата только коммунистическая система. Я уехал на Запад, потому что подозревал: даже если эта система развалится, цена человеческого достоинства в России вряд ли подскочит до такой высоты, как в Европе.

В Германии вообще нет хулиганства, нет, и все! Хулиганством я называю бесцельное, бессмысленное оскорбление личности, ничего осязаемого не дающее обидчику, а лишь удовлетворяющее его агрессивный инстинкт. Напившийся же вдребезину немец или поет песни (немедленно замолкая при виде полицейского), или тащится домой, прижимаясь к стенам домов и самым тщательным образом обходя встречных: как бы ни замутнено было его сознание, он всегда помнит, что за приставание к прохожим он заплатит немалый штраф. В самом худшем случае немцы-пьянчуги затевают разборки между собой. (За пятнадцать лет я такое наблюдал лишь один раз — в Гёттингене.)

Вот точная цифра: прожив в Германии восемнадцать лет, я был оскорблен лишь один раз, в России же — каждый день в течение сорока семи лет пребывания там. Впрочем, с одним из проявлений хамства — матерными словами на заборах — я начал сталкиваться и в Германии, это работа немцев — переселенцев из России: на одной автобусной остановке в нашем городке вдруг появилось русское слово из трех букв. Мне показалось, что я получил кулаком по физиономии. В Москве я таких бурных чувств не испытывал — привык. (Потом я встретил этих дебилов на озере. Они не говорили друг с другом, а лаяли, выплевывая матерные слова. Моя попытка их урезонить вызвала лишь идиотический смех. Ну что ж, больше их на общественный пляж не допускали: он для людей...)

Когда в Москве всякая шпана обливала меня грязью, мне всегда хотелось крикнуть: я, я, я... я известный учитель, я из доброй, хорошей семьи, я отец двоих сыновей, я еще кто-нибудь. В эти минуты я очень хорошо понимал и профессора Николая Степановича из чеховской «Скучной истории», и Сашку Ермолаева из шушкинской «Обиды».

Все это я в Германии забыл, как забыл и о самочувствии советского человека, отправляющегося на прием в какое-то учреждение для улаживания своих дел. До встречи с чиновником он мучительно гадает, хороший этот чиновник человек или злобный. В Германии чиновник в самом лучшем смысле этого слова безлик. Точнее, улыбчив — и безлик. Он лицо закона. Никакого права на интерпретацию закона у него нет: для этого существует суд. А возиться с судом у чиновника желания нет, поэтому он склонен удовлетворить прошение заявителя и стремиться исчерпать все возможности, заложенные в законе, для положительного решения дела, с которым к нему обращается проситель, в то время как советский чиновник прежде всего ищет возможности отказать. Если же немецкий чиновник все же отклоняет просьбу, он не произносит издевательски-сакрального «не положено», а перечисляет статьи и параграфы закона (причем обязательно в письменном виде), одновременно советуя просителю обратиться к адвокату, прежде чем протестовать (не рискуйте, дело проиграете, да еще и судебные издержки понесете). За время моего пребывания в Германии я получил лишь два раза отказ на какие-то мои прошения, оба раза это был мой адвокат, который разъяснил мне, что дело наше сомнительное, и посоветовал примириться с решением чиновника. Ах, какое я получил удовольствие от этих отказов! Не «не положено», а вот такая-то статья, такой-то параграф, и вообще, «господин Андреев, было очень приятно с вами познакомиться. Как там, в вашей России?».

Первая встреча с западными властями произошла у меня в Вене, в самом начале эмиграции. У меня было право пребывания в Вене лишь на три месяца. Когда начался пятый, я получил повестку с требованием явиться в столичное полицейское управление. Отправляясь туда, я попросил жену начать собирать вещи (еще недавно советский человек, я не мог себе и представить, что полиция отменит решение о высылке в пользу какого-то там человека, да еще иностранца, если у него нет ни связей, ни денег на взятку). Войдя в кабинет к начальнику, я сразу объявил, что я немедленно покидаю Австрию. Высокий, с лицом героя западных

детективов полковник выслушал меня с явным недоумением. «А почему же вы не уехали месяц назад, если у вас есть такая возможность?» — задал он мне вопрос, не лишенный логики. Я, заикаясь, стал что-то бормотать о желании въехать в Германию и длительности оформления немецких виз. «Да, — сказал он печально, — это не основание для продления вашего пребывания в Австрии». «Да-да, вполне с вами согласен: я уезжаю». «Но ведь вы не хотите уезжать?» «Ясно, — твердо ответил я, — не хочу». «Ну что же (слушайте, слушайте, товарищи московские милиционеры!), давайте искать в законе какую-нибудь возможность продлить ваше пребывание в Вене хоть ненадолго». Он достал с полки огромный том законов и углубился в чтение, иногда останавливаясь на каких-то параграфах и каждый раз констатируя: «Нет, увы, это не для вас». Так перелистав чуть ли не весь том, он опять печально посмотрел на меня и сказал достаточно твердо: «Вы обязаны покинуть Австрию в трехдневный срок. К сожалению, нет никаких законов, которые разрешали бы вам этого не делать». Я поднялся и стал собирать свои бумажки. Вероятно, чтобы как-то разрядить напряжение, полицейский полковник спросил меня: «А как вы проводите время в нашей прекрасной Вене, герр доктор?» Я ответил, что сижу в Национальной библиотеке и готовлю материалы для задуманной книги. Полковник вскочил и чуть ли не заорал: «Что же вы этого раньше не сказали?» И тут же набросал какую-то бумаженцию, в которой было сказано, что г-ну доктору Андрееву разрешено остаться в Вене на время его научных занятий. Разумеется, никаких справок, подтверждающих мои занятия научной работой, я ему не предъявил: просто сказал — и этого было достаточно...

5

Я заговорил о контрасте между бытом в России и духовностью ее исторического бытия. К сожалению, многие, если не все русские писатели и мыслители этим контрастом любуются, тем самым закрепляя уверенность русских людей, что так и должно быть у великого народа. Пожалуй, наиболее откровенно любование «такой Россией» прочитывается в стихотворении Блока «Грешить бесстыдно, непробудно...». Перечисляя все мерзости, которые может сотворить возвратившийся с церковной службы русский человек, Блок не без гордости заявляет: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Я думаю, что это псевдославянофильское любование своими мерзостями принесло России немало вреда. Мы духовные, у нас особая вера, самая правильная (православная), в этой вере мы не тепленькие, а страстные, горячие. Мы и подонка Дмитрия Карамазова любим: у него же шиллеровское сердце, за такое сердце ему можно простить и пьяные скандалы, и то, что он чуть не убил слугу, который его вырастил, и избивание маленьких, слабых людишек, и унижение женского достоинства. Зато у нас вера горячая, да и натуры мы соответствующие, страстные... У нас самая лучшая литература (думаю, что в большой степени это так и есть), поэтому нам все позволено — жить в грязи, избивать жен, материться, при этом бия себя в грудь: я русский человек! Не только Достоевский и Блок, но и почти все русские писатели презирали «серединность», «умеренность и аккуратность»: «мы не немцы какие-нибудь», нам не нужен орден. Не о туалетах наши мысли, а о высших ценностях.

Я же предпочел соединить русский интеллектуализм, русскую духовность не с пьянством, не с матом, не с безответственностью, а с немецкой умеренностью и аккуратностью, с чистой одеждой и тела, жилья, человеческих отношений. В отличие от Блока и Достоевского я все-таки считал, что такой слав возможен. Во всяком случае, «умеренность и аккуратность», орден не были препятствием для появления в Германии Моцарта и Канта. Да и в России я встречал людей, которые не пили, не матерились, и, как это ни странно, о Боге думали, и лирические стихи со слезами на глазах читали. В них не было ничего от так называемой русской шпироты. Благодаря этой «серединности» многих моих друзей, чистых русаков, принимают за иностранцев или за евреев (не «наши»). «Жид, Абрам!» — кричали моему другу детства Глебу Оболенскому, потомку декабристов, когда мы жили в маленьком приуральском городке, в котором отродясь евреев никто не видал.

В Германии я открыл для себя, что не жизненные удобства, не упорядоченный быт, а их отсутствие делает человека рабом вещей. Если моя жена, как и миллионы русских женщин, должна была в России целые дни отдавать поискам пищи и ее приготовлению, содержанию в порядке одежды и жилища, то какой духовный смысл могла иметь ее жизнь?

Очень верно замечание Вайля и Гениса, что комфорт на Западе теряет свое метафизическое значение. Но в их интонациях ощущается при этом какая-то грусть. Я же всегда хотел, чтобы комфорт никакого метафизического смысла не приобретал, а лишь освободил бы мне время для размышлений об истинных метафизических ценностях.

Коммунисты, создав экономическую систему, заставляющую людей бороться чуть ли не двадцать четыре часа в сутки за элементарное существование, как раз и добились своего: люди Бога забыли. Одно из вопиющих противоречий коммунистической идеологии состоит в том, что она зовет человека к высшим ценностям, воспитывает презрение к быту, а с другой стороны — принуждает его целиком на этом быте сосредоточиваться.

Подготовку к восприятию такой идеологии начал до революции Максим Горький, придав понятию «мещанин» ругательный смысл (тут постарались и другие писатели). В доругательный период своего существования слово «мещанин» означало работника, хозяина, накопителя для своей семьи. Мещанин дорожит своим домом, ибо в нем — результаты его труда и гарантия блага семьи. Не случайно ненавидел мещан как раз босяк Пешков: став писателем, то есть тружеником, Горький принял за основательно заботиться о «мещанских благах» и для себя и для своей семьи, а лучшую свою вещь, «Клима Самгина», писал в совершенно мещанских условиях.

Большевикам выгодно было изображение мещан как гадких ужей или трусливых пингвинов: они подсознательно чувствовали, что их дикая экономическая теория, будь она осуществлена, приведет к обнищанию народа. Так вот пусть этот народ поймет заранее: быть состоятельным, жить в нормальных бытовых условиях — это потребность тупых мещан, а не идейных борцов за лучшее будущее. Вот и жили зимой и дождливой осенью в палатках да в землянках комсомольцы-добровольцы, а разезжавший на новеньком авто, привезенном из Парижа, поэт восхищался: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести»... Вера Кетлинская в романе «Мужество», Илья Эренбург в «Дне втором», Николай Островский в «Как закалялась сталь» клеймили интеллигентов, которые возмущались ужасающими условиями жизни на стройках коммунизма.

Приехав на Запад, я уже в первый день увидел в Вене стройку с аккуратно уложенными около нее кирпичами в целлофановых обертках, рабочих в выглаженных комбинезонах. По окончании работы они уезжали в свои мещанские домики или в квартирки с мещанской мебелью. И думал я с тоской о наших строителях, о вагонах, где живут лимитчики, об общежитиях, совершенно свободных от всякого мещанства.

Мой лозунг: обеспеченный быт — надежная гарантия от рабства перед вещами. Германия освободила меня от унижительной погони за тем, что должен и может иметь человек цивилизованного общества.

Освобождение от быта приводит к очищению души и разума от всяких пустяков. Нам на Западе не нужно бегать за многочисленными справками, чтобы затем простаивать в очередях, сдавая их в какую-то контору; не нужно ломать голову, в какую прачечную нести белье: в ту, где меньше воруют, или в ту, где белье меньше рвут, или в ту, где меньше хамят; не нужно расспрашивать знакомых и незнакомых, где что дают, и т. д. и т. п.

В Германии требуются справки от гражданина, кажется, один раз в жизни — когда он уходит на пенсию (о сумме его взносов на страховку по старости). Прачечная находится за углом — и она точно такая же, как и остальные во всей стране (впрочем, в Германии трудно найти квартиру без собственной стиральной машины). Об имеющихся в продаже вещах сообщают бесчисленные проспекты, которые нам доставляют прямо на дом. То, на что в Советском Союзе тратились недели, я улаживаю здесь за полдня.

Освобожденные от пустяков, мы имеем больше времени на раздумья о вере, о смысле жизни, для чтения, для наслаждения искусством. Мы отличаемся по образу жизни от русского «культурного барства» лишь одной «мелочью»: мы «включаем», зарабатываем себе право на такую жизнь.

Одним из самых ценных приобретений в эмиграции стала возможность поездить по миру. Немцы — самый путешествующий народ. В этом смысле мы стали немцами. Вайль и Генис потешаются над русскими эмигрантами: для них-де главное — зафиксировать, что они лазили на Эйфелеву башню или прислонились к камням Колизея. Разумеется, такие эмигранты есть: карассы карассам рознь. Да и не только русские эмигранты, но и масса немцев и американцев — это не

путешественники, а, как говорит А. Синявский в «Мыслях врасплох», филателисты.

Для меня же путешествие — это своего рода иллюзия если не бессмертия, то, во всяком случае, продления жизни. Продолжительность жизни — понятие не только временное, но и пространственное. Мавра из чеховского «Человека в футляре», которая «во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села... а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу», прожила несоизмеримо более короткую жизнь, чем, скажем, Миклухо-Маклай, умерший в сорок два года.

Возможность хотя бы таким образом (странствуя) продлить свое пребывание на земле — еще одна причина моей эмиграции. Я понял, что, сидя всю жизнь в своей комнатке на Зацепе, как Мавра за печкой, я жесточайшим образом укорачиваю свою жизнь и жизнь моей жены. Казалось бы, живя в огромной стране, занимающей одну шестую планеты, нет необходимости эмигрировать, чтобы получить возможность попутешествовать. Но поехать на Дальний Восток или в Среднюю Азию я никак не мог: ни средств на это не было, ни юношеского равнодушия к бытовым условиям.

В маленьком немецком городке (население 16 тысяч), где я живу, четыре бюро путешествий. В каждом вам предложат до сотни каталогов с бесконечными вариантами маршрутов, гостиниц, уровней обслуживания, цен. Купить путевку хоть на Северный полюс здесь неизмеримо проще, чем в России сто граммов колбасы или путевку в соседний дом отдыха. Я побывал и в США, и в Израиле, и во всех странах Западной Европы. Ни разу ни за одно путешествие я не заплатил сумму, превышающую мою месячную зарплату. Мои соображения о «каменных Европы» — не тема этого эссе. Я лишь подчеркиваю, что речь веду не о галочке (посетил Уффици — галочка), а о приближении к бессмертию. Каждый город — будь то Венеция, Бостон или Ювясколя в Финляндии — стал частью моего бытия на этой планете. Перед отъездом из Советского Союза решили попрощаться с Россией, проплыв на пароходе по Золотому кольцу. И с тех пор я ощущаю какой-нибудь забытый Богом Касимов или Муром своей, так сказать, субстанциональной частью, продлившей мою жизнь на какое-то время. Вероятно, и это имел в виду Пушкин, когда говорил о мучительном свойстве — «охоте к перемене мест»: так мучительно человек пытается продлить свое пребывание на земле. Путешествие — это бегство от смерти.

Особенно приятно путешествовать в собственной машине. Машина — это твой дом на колесах. Этот вид путешествий, который был мне абсолютно недоступен в Советском Союзе, в наибольшей степени соответствует моему неприятию всех видов коллективизма (я был буквально очарован киббуцниками в Израиле, не мог не восторгаться тем, как они ведут свое коллективное хозяйство, как налажен их быт, но жить в киббуце я бы не смог). Немцы же очень любят всякие коллективные вылазки. Это называется у них вандерн, что означает толпой ходить с палочкой по горам и лесам в спортивном, а чаще национальном, костюме и беседовать. Для многих немцев это предел наслаждения. В уютном городке Шпеер есть даже памятник неизвестному страннику. Утомившись, вандерер заходит в какой-нибудь виртшафт (ресторанчик), затерявшийся в лесу или в горах, пьет сухое вино или пиво, закусывает и двигается дальше, болтая о самых различных пустышных предметах.

Скучнее этих вандерн разве что парти. Гуляя, хоть наслаждаешься природой, получаешь какую-то порцию здоровья. А тут зал или гостиница, приглашенные (особо избранные) стоят с бокалами, в которые симпатичные девушки наливают вина и соки. Иногда раздают крохотные бутербродики. На каждые три информативные фразы приходится две, произнесенные для полноты. Тощица несусветная, а расходясь, гости вопрошают друг друга с восторженными улыбками: «Не правда ли, как было сегодня восхитительно (варианты: фантастично, мило)?» И если путешествие в новую страну означает продление жизни, то каждое из таких парти вычитает из моей жизни пару часов (если, конечно, на нем не завязывается какое-нибудь полезное или интересное знакомство). На каждом парти какой-то дьяволенок подбивает меня, уже далеко не молодого, солидного вроде бы человека, выкинуть что-нибудь эдакое (и тут я понимаю Ставрогина, укусившего за ухо одного гостя на подобном парти), например встать на четвереньки и залазать.

Простой народ собирается на свои парти. На городской окраине разбиваются огромные палатки-шатры, в них расставляются скамейки и длинные столы. Ловкие полненькие бабы разносят пиво, на сцене оркестр играет простенькие народные

мелодии. В палаточках продают сосиски, куски жареного мяса, сухое вино. Напившись и наевшись, гости, взявшись за руки и покачиваясь, поют в такт музыке народные песни уже хором. Нужно ли упоминать, что на этих народных толковищах ни полицейских, ни пьяных дебоширов никогда не бывает? Я побывал на многих таких гуляньях (на них я себя чувствую раскованнее, чем на светских парти, и не ощущаю желания совершить какой-нибудь экстравагантный поступок) и ни разу не видел ни полицейских, ни пьяниц. Как-то я сказал соседу по столу, что в России при таком количестве выпитого вина или даже пива уж давно бы появилось множество пьяных. «А как же, — возразил он мне, — у нас то же самое: вот смотрите, идет безобразно нализавшийся герр Мюллер». Мимо нас прошел человек с неестественно покрасневшим лицом, постоянно и бессмысленно улыбающийся и кланявшийся знакомым и незнакомым. Это у немцев называется «дошел».

Люблю я время уличных маскарадных шествий — фашингов. Фашинг проходит одновременно во всех городах и селах в конце февраля. Маршируют девушки в форме прусских гусар XVIII века, под ритмичные барабанные удары выбрасывая вперед свои удивительно стройные ножки. С тележек, разукрашенных в местном стиле, клоуны бросают в толпу зевак конфеты, печенье, всякие безделушки. Несут карикатурные изображения боннского или местного начальства со смешными (с точки зрения немцев, у которых с юмором отношения напряженные) надписями на актуальные темы. Всюду слышна музыка, по улицам бегают детишки в масках разбойников, индейцев и вообще черт знает кого. Чтобы все это подготовить, люди днями и ночами шьют, репетируют, выучивают какие-то тексты.

Мои знакомые немцы-интеллектуалы о фашингах говорят с презрительной физиономией и в этот день на улицу не выходят. А мне приятно видеть веселые лица, не замутненные страхом, раздражением, ненавистью или бесконечной усталостью.

6

В предыдущей главе я рассказал о своем видении Германии. У читателя может сложиться впечатление, что я описал какую-то страну с молочными реками да кисельными берегами. Трезвые люди сунут мне в нос статистику преступлений в Германии, информацию о количестве бездомных, рассказы об эгоизме немецкого бюргера, сообщения о раскрытии все новых и новых случаев коррупции в высших эшелонах немецкой власти. Поднимутся на меня и читатели-эмигранты, совсем не так, как я, видящие и понимающие Запад, и обвинят в лакировке западной действительности. А уж что скажут наши отечественные «патриоты», я и вообразить-то не решаюсь! И всем моим критикам я скажу умиротворяющее «да!», вы правы можно и так, как вы, видеть Запад. Но разрешите и мне поделиться с вами моим опытом, рассказать вам о моих критериях, которые определяются моими взглядами. К тому же я уверен, что так же, как и я, видит Запад какая-то часть эмиграции.

Решив писать этот очерк, я не имел намерения давать всеобъемлющую картину западной жизни со всеми ее плюсами и минусами. То был бы другой жанр (поверь, читатель, у меня достаточно материала и для такого повествования). Размышления об эмиграции неизбежно строятся на методе сравнения. Вайль и Генис, естественно, тоже постоянно сравнивают «там» (дома) и «здесь» (в эмиграции). Вот этот метод и приводит меня к «приукрашиванию» Запада. Конечно же, я видел и вижу на Западе множество отталкивающих явлений, но любое из них, причем в гораздо более страшном виде, имелось и в Советском Союзе, лишенном, однако же, западных позитивов. И все же в этой главе я расскажу и об отрицательных сторонах Запада, которые меня покоробили.

Начну с того, что никакого «Запада вообще» не существует. То, что принято обозначать понятием «Запад», это множество самых разных стран, объединенных лишь двумя (весьма существенными!) признаками: свободным рынком и либеральными законами, подчиняющими государство интересам личности. Во всем остальном страны Запада так же отличаются друг от друга, как лежащие восточнее их Польша от Чехии, Украина от России, Узбекистан от Киргизии, Китай от Кореи.

Французские жандармы могут задержанного поколотить, а американские даже убить. Это совершенно немислимо в Германии или Дании.

Перезезжая на машине границу, отделяющую Германию от Франции, сразу замечаешь, насколько грязнее на французской стороне фасады домов и чаще колдобины на дорогах, чем в Германии или в странах Бенилюкса. Кстати, в Бельгии

при наступлении темноты автострады освещаются целиком, во всех же остальных европейских странах только при въезде на заправки.

В больших американских городах на улицах полно нищих, в Германии их тоже можно увидеть, но значительно реже.

Квартала, подобного нью-йоркскому Гарлему, вы не найдете не только ни в одной из европейских столиц, такого кошмара я не встречал и в советских городах: полусожженные дома, покрытые копотью, с выломанными оконными рамами, бродящие по улицам и во дворах оборванцы с уголовными физиономиями. (В Москве перестроечной я увидел нечто подобное — не физиономии, а здания — в 1992 году на Пушкинской площади и в арбатских переулках.) Разруха в Гарлеме — не следствие войны или перестройки. Дома здесь были когда-то очень даже неплохие. Каждый житель (а это был, как правило, негр) получил там отдельную многокомнатную квартиру, разумеется, со всеми современными удобствами. И все это разнесли сами новые хозяева, то ли протестуя против расовой дискриминации, то ли из-за непривычки к цивилизованным формам жизни. (Впрочем, я обратил внимание на то, что негры, живущие не в Гарлеме, вообще не в расово однородной среде, легко и даже с удовольствием приспосабливаются к условиям евроамериканского быта XX века.) Жители Гарлема какие-то немые и нестираные (расизм или бедность тут ни при чем: вода-то уж в каждой гарлемской квартире есть), среди них непропорционально много пьяных или накурившихся всякой дряни. И все же эти, как говорят на Западе, типы намного безобиднее нашего русского хулигана.

Игнорируя предостережения, мы с женой как-то решили прогуляться по Гарлему. Нам встретились десятки черных обитателей этого квартала, мы закусили в негритянской забегаловке, в которой только мы оказались белыми, зашли в католическую церковь, в которой молились только черные. Один из них, услышав русскую речь, громко поприветствовал нас на нашем родном языке: «Здорово, ребята!» (Он учился в Одесском университете.) И ничего страшного с нами не произошло.

Все-таки однажды поздним вечером на какой-то глухой ветке нью-йоркского метро за нами погнались два молодых негра. Мы попытались раньше них вскочить в вагон уходящего поезда, но им удалось тоже втиснуться в закрывающиеся двери, и мы оказались с ними одни в пустом вагоне. Я понял: дело хана, — и спросил у этих бандитов, что им надо. «Понимаете, — сказал один из них, — нам было очень страшно в метро, увидели вас и поняли, что вы порядочные люди, вот и решили, что вчетвером как-то спокойнее». Вот вам и «бандиты»!

А подойдите к району Уолл-стрита, когда там заканчивается рабочий день: из зданий банков и офисов выходят клерки — не только белые, но и черные, стройные, изысканно одетые денди.

В Германии таких, говоря привычным советским языком, социальных контрастов вы не увидите.

Зато в США вы не встретите такого количества нытиков и паникеров. Немцы же, даже живущие в комфортабельных домах, хорошо зарабатывающие, социально неизмеримо лучше, чем американцы, защищенные, все время находятся в каком-то трепете, в ожидании конца общества всеобщего благосостояния. Отвечая на вопросы социологов, немец, как правило, говорит, что ему сегодня хорошо, а вот завтра будет очень плохо, или что у него-то все в порядке, а вот страна идет к краху. Когда в Германии производство возрастает не на четыре, а на один процент, немецкое радио и телевидение начинают намекать на приближающийся апокалипсис. Стоит раскрыться хоть одному делу о коррупции в каком-нибудь министерстве, как немцы стонут: конец демократии. (Какая поднялась истерика, когда обнаружилось, что министр путей сообщения оплачивал услуги своей домработницы за счет биржи труда, делавшей это, между прочим, по собственной инициативе!)

Американцы же, что бы с ними или их страной ни произошло, кричат свое «всё о'кэй!». Когда на севере Восточной Германии хулиганствующие подростки начали поджигать дома беженцев из Азии, выкрикивая полунацистские лозунги, мои приятели немцы-интеллектуалы и знакомый электротехник с самодовольством, несколько странным для этого случая, говорили мне: «Видите, мы же говорили, что немцы свиньи». А в США могут серьезно обсуждать кандидатуру нациста или куклуksклановца в губернаторы (что совершенно немыслимо в Германии) и при этом быть уверенными, что нацизм грозит кому угодно, но только не США. Мой большой друг — эмигрант, живущий в Америке. — шлет мне письма с

выражением беспокойства из-за выходов в Германии нацистских хулиганствующих панков и вместе с тем, подобно аборигену, спокойно взирает на фашистов в американском истеблишменте.

Вайль и Генис изощряются в собирании курьезов, иллюстрирующих темноту, необразованность американцев, особенно проявляющуюся, когда речь заходит о русской культуре. То лифтер перепутал с кем-то Чехова, то даже студенты называют Чацкого одиноким ковбоем (это уже не из их очерков, а из передачи по «Радио Свобода»). Мне кажется, Вайль и Генис не полностью освободились от мифа о какой-то особенно высокой культуре советского человека. Но может быть, они и правы, говоря об американце, этого уровня не достигшем. Что же касается немцев, мне не показалось, что они хуже или лучше, чем советские люди, информированы в области истории или культуры или что они меньше русских интересуются искусством, философией, литературой. Нужно лишь уточнить, о какой среде идет речь. Не думаю, что лифтерша где-нибудь на Песчаной улице может увереннее судить о Гауптмане, чем кёльнский лифтер о том же Чехове.

Очень многие немцы живут богатой интеллектуальной, а некоторые и духовной жизнью. На мои лекции о русской культуре собираются из года в год крестьянки из Северной Германии, после лекции задающие множество вопросов — не из вежливости, а из страстного интереса к России. (Само собой разумеется, что на эти лекции их никто не загоняет.) На концерты классической и церковной музыки в самых маленьких деревнях приходит обычно так много людей, что иногда в зале не хватает мест. Кружки, конгрессы, посвященные проблемам религии, межчеловеческих отношений, защиты природы, охраны семьи, проходят по всей стране.

Продолжая сравнения разных стран Европы, замечу, что ни англичане, ни французы, ни итальянцы не обладают энтузиазмом благотворительности в такой степени, как немцы. Рискую некорректностью обобщения, я бы сказал, что у немцев душевность более действенная, а у русских более эмоциональная, что ли. Русские способны на мгновенный, яркий акт сурдобольности, немцы же более постоянны, более терпеливы, менее подвержены всяким настроениям, когда совершают дела милосердия. С русскими интереснее поговорить о Боге, о добре и зле, о «предрассудках вековых и гроба тайнах роковых».

Известный экономист Явлинский сделал как-то злое и очень верное замечание о русской интеллигенции: она много рассуждает о Достоевском, но абсолютно не разбирается в человеческой психологии и присоединяется к политическим вождям, совершенно для этой роли непригодным.

Немцы, в том числе и образованные, редко беседуют о Гёте или Достоевском (вне научных диспутов). Я работаю в немецких университетах на отделениях славистики вот уж почти двадцать лет, но ни разу (подчеркиваю — ни разу) ни один коллега не испытывал потребности говорить со мной о вещах, выходящих за границы организации учебного процесса. Замечу, что немецкие слависты, мне знакомые, — прекрасные знатоки и русской литературы и русского языка.

И лишь с одним коллегой беседую я и о литературе, и об искусстве, и о русской истории, и о религии. Но все эти беседы, а подчас и острая полемика происходят там, где этому и положено быть: на занятиях в университете. Мы с К. Х. преподаем предмет, который называется перевод на переговорах: русскоязычный преподаватель (я) и немецкоязычный (он) беседуют на самые разные темы, а студент учится переводить такие беседы.

У меня всегда такое ощущение, что для немецких славистов Россия — только предмет изучения, в то время как для меня судьба и жизнь. По моим наблюдениям, русские (советские) германисты с гораздо большей захваченностью занимают Германией, чем немецкие слависты Россией. Во всяком случае, когда в Москву приезжал какой-нибудь немецкий театр, зал бывал переполнен германистами-преподавателями и студентами. Если же во Франкфурте или в Мангейме гастролируют русские театры, не ждите увидеть в зале элиту немецкой славистики.

В общем, я не нашел в Германии чего-то совсем уж неожиданного. В частности, у меня и до отъезда хватало воображения, чтобы представить себе то интеллектуальное одиночество, которое ожидало меня на Западе. Однако в отличие от многих моих высокомерных земляков я понимал, что дело не в «бездуховности», скажем, немцев, а в иных, непривычных нам формах интеллектуальной жизни на Западе.

Мне глубоко отвратительны слова Печорина «как сладостно отчизну ненавидеть» (я вообще не способен к такому сильному чувству, как ненависть) или публициста уже нашего времени: «Россия — сука». У меня нет никакого желания полемизировать с авторами таких высказываний. Их чувства мне непонятны, они из другого духовного мира, в котором я никогда не пребывал. Однако без рассуждений о родине невозможно обойтись, если пишешь об эмиграции.

Понятие «родина» обросло массой дополнительных смыслов, затуманивающих ясную, простую его суть: родина — это место, где ты родился. Родину поменять невозможно. Невозможно иметь и две родины: настоящую и историческую. Две родины — это еще один софизм, утверждающий, что человек может родиться сразу в двух местах.

Я родился в государстве, которое называлось Советский Союз, следовательно, моя родина — государство, называвшееся СССР, а лучше Советская Россия. У меня, как у всякого душевно здорового человека, не может быть к родине иного чувства кроме любви. Но любовь вообще и любовь к родине — чувства иррациональные. Попытки мотивировать свою любовь почти всегда приводят к шовинизму. Для себя я строго разделяю патриотическое чувство и патриотическое убеждение и ставлю между ними непроходимую преграду. Когда патриот по убеждению перечисляет какие-то особенности России, за которые он ее любит, он отказывается от элементарного здравого смысла: все то, что он приписывает России (и очень часто справедливо), имеется и в других странах. Прекрасна не только русская природа, но и природа Германии. Я видел в Германии гораздо больше красот, чем в России (по России я ездил все же меньше, чем по Германии), но только русская природа вызывает у меня сентиментальные чувства, немецкой же любуются лишь мои глаза. Вряд ли надо доказывать, что немецкая музыка достигла хотя бы в произведениях Моцарта не меньших высот, чем русская, которая выросла не без влияния немецкой.

Не знаю литературы высшей, чем русская XIX и начала XX века, но это я не знаю: уверен, что найдутся ценители или же патриоты других стран, которые со мной не согласятся. А уж что касается великих героев прошлого, то это с какой стороны посмотреть. Для французского патриота Наполеон Бонапарт — величайший полководец и государственный деятель всех времен и народов, для русского писателя Льва Толстого — гномик, ничтожество, да к тому же и преступник. И не думаю, что подвиги Суворова так же высоко расцениваются поляками, как русскими.

Но самым сильным (с их точки зрения) доводом патриотов является сам великий русский народ. Перечисляются какие-то особенные (всегда положительные) его качества. Я вообще уверен, что само понятие «народ» — один из мифов, причем опаснейший и неумный. Никакого народа вообще не существует, а есть люди, и не может быть характера у народа, можно лишь говорить о характере отдельного человека. В Германии, где я живу, я встречал бы больше русских, чем немцев, если бы прилагал к каждому немцу черты характера, которые приписываются исключительно русскому человеку (по книге Лосского «Характер русского народа»): способность к высшим формам опыта, свободолюбие, доброта, даровитость и другие.

Патриотизм по убеждению — аргумент в пользу права своей родины диктовать волю другим странам: мы самые лучшие, самые праведные (еще хуже — самые сильные), самые мудрые, мы вообще избранные, поэтому мы диктуем всему миру, как жить. А уж если кто из подданных нашего лучшего в мире государства с нами, патриотами, в чем-то не согласен, мы объявляем его изменником. Вот в этом смысле автор «Войны и мира» и называл патриотизм прибежищем негодяев.

Наивная часть патриотов даже не задумывается над тем, что о любом социальном явлении можно судить, лишь располагая возможностью сопоставления: смешно видеть человека, который никогда не жил ни в одной стране за пределами Советского Союза и который тем не менее убежден, что его страна лучшая в мире. Такой патриотизм — тоже одно из проявлений нашего отечественного абсурда, родственное советским выборам, когда предлагалось избрать лучшего кандидата из одного.

Я пожил короткое время в нескольких странах Запада (в Германии почти двадцать лет) и теперь, сравнивая их с Советской Россией, говорю: нет среди них государства хуже советского, нет социальных отношений более отвратительных,

чем в России, нигде нет такого абсурда и такого унижения человеческого достоинства, как в России. Но... я русский, а не немецкий патриот. Почему? Не знаю. Германия не вызывает у меня слез счастья или страдания.

Я сознаю, что глупо испытывать патриотическую гордость, увидя на туалете в немецком городе Гейдельберге среди других также и русскую надпись «для мужчин», «для женщин», или патриотический гнев, не найдя в Лувре или в Британском музее каталогов на русском языке (ведь и на многих других языках нет тоже, но меня возмущает отсутствие только русских каталогов, и это стыдно: ведь я-то читаю и по-немецки свободно!). Все это не имеет никакого отношения к логике. Это чистая эмоция, и обосновывать ею патриотизм — дело глупейшее и даже опасное.

Мне понятны сомнения Бунина: «Ах, никогда-то я не чувствовал любви к родине и, верно, так и не пойму, что такое любовь к родине, которая будто бы присуща всякому человеческому сердцу! Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни, что можно отдать все силы для созидания его. Но при чем тут родина? Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом» («Тень Птицы»). Бунин даже убежден в том, что любовь к родине присуща всем талантам (следовательно, он не принимал и сравнения «родина — мать»). Может быть, он и прав. Я же пишу о себе: я люблю Россию и так же, как Бунин, сожалею, что эта любовь делает меня узким, односторонним. Но осознание этого дает мне свободу и не парализует моего движения в мире.

Все же из всех русских писателей близкое моему амбивалентное отношение к родине лучше всего выразил Н. Щедрин: «Странная какая-то творится штука: подойдешь к тебе (к России. — Г. А.) поближе, вкусишь от винограда твоего — тошнит, чувствуешь, как вяжешь дураком делаешься. Уйдешь от тебя — плачешь, чувствуешь, что становишься не самим собой».

Я не в состоянии понять фразу: я горжусь, что я русский (немец, еврей, грузин). Гордиться можно лишь тем, что сам сделал, да и то если забудешь, что гордыня — грех. Все патриотические «гордецы» к тому же и не без хитрости: они примазываются лишь к добрым или талантливым делам, совершенным у них на родине, а вот всякие гадости оставляют другим. «Я горжусь, что я русский», — сказал мне как-то очень дорогой для меня человек, обладающий честным умом. Я поинтересовался, какие основания у его гордости. Он подумал и сказал: «Ну хотя бы то, что «Войну и мир» написал русский». На мой вопрос, каков его личный вклад в создание этого романа, он что-то пробормотал и пообещал найти другую мотивировку своей патриотической гордости. Когда он уходил, я крикнул ему вдогонку: «А заодно подумай, каков твой вклад в разграбление России, в создание абсурда в твоём государстве, в деятельность «Черной сотни», в унижение личности в России, в дикую, подчас бессмысленную преступность!»

За многовековое существование России ее правители не без помощи плебейской полуинтеллигенции сумели внушить русским людям, что родина — это прежде всего государство. Но христианин не может забывать, что величие государства выражается в военной и полицейской силе, а отнюдь не в добре, не в духовной красоте, не в умных делах. Ценности государства не могут быть ценностями и христианина, и даже секуляризованного гуманиста. Гордость родиной потому, что у нее много ракет, самолетов, танков, — эмоция блатная.

Я ни в коем случае не анархист и не пацифист, я сознаю, что ни одна страна не может обойтись сегодня без армии и без полиции. Более того, бывают, моему, случаи (очень редкие), когда вся страна должна быть поставлена под ружье. Такой случай — Отечественная война. Отечественная война возникает тогда, когда нависает угроза над самим существованием людей, принадлежащих к определенной нации, когда враг ставит задачу искоренения тех условий жизни, в которой живет подвергшаяся нападению страна. (Именно такую цель поставил перед собой Гитлер в 1941 году: уничтожить славян, евреев и других россиян).

Воинственный патриотизм вызывает к жизни и свою экстремную противоположность, с которой мне пришлось столкнуться, когда я как-то провожал одного ветерана Отечественной войны, гостившего у меня в Германии. Попытка старика занять свое место в купе (вагон был из России) не увенчалась успехом, так как другие пассажиры, явно спекулянты, завалили полки грудой вещей. Старик обратился к проводнику, русскому парню с лицом того типа, которое Гоголь называл обсосанным. Тот даже не повернулся к старику и пробормотал что-то хамское в манере советской obsługi. «Как же ты со мной разговариваешь, — упрекнул его ветеран и напомнил: — Я же воевал за родину, спасал Россию от немцев!» «А кто

тебя просил? — взвился этот современный Смердяков. — Не спасал бы, мы бы теперь под немцем нормально жили!» И я опять подумал: как хорошо, что я уехал из страны, для молодежи которой тряпки превыше всего. (Ну не парадокс ли? Эмигрант оскорбился в своих патриотических чувствах, которые напрочь отсутствуют у молодого жителя его бывшей родины!)

В сознании патриотов эмигрант — это изменник родине, в лучшем случае человек, безразличный к ее судьбе. Такое представление об эмигранте — следствие идентификации понятий родины и господствующей в ней государственной, политической системы. Согласившись с этим взглядом, мы неизбежно признаем Гитлера патриотом, а Томаса Манна — изменником, коммунистических руководителей России — патриотами, а Шаляпина — изменником родине. В советских учебниках истории и литературы сталинского времени так оно и было, а Варлам Шаламов был арестован патриотами за высказанное им положительное суждение об «изменнике родине» Иване Бунине.

Спекуляция понятием «патриотизм» подчас приводит к совершенно сюрреалистическим явлениям. Сегодня называют себя национал-патриотами люди, которые хотели бы вернуть Россию к тем временам, когда россиян миллионами морили голодом, уничтожали в концлагерях, запирали от внешнего мира, превращали в гомо советикус. (Ну хорошо, эти люди предпочитают демократии такую систему, — но почему это называется патриотизмом?) Национал-патриотами называют себя люди пусть и подсознательно, но глубочайшим образом презирующие русских. Это они выступают против свободных выборов (неосознанный подтекст: народ наш глуп), это они хотят оторвать Россию от Европы (народ наш — дитя несмышленное: того и гляди проест и протанцует свое первородство). Это они ратуют за репрессивную дисциплину (народ наш, кроме палки, ничего не понимает). Это они выступают за расовую чистку в России (народ наш глуп, бездарен — разве он выдюжит свободное соревнование с жидами?).

Возможно, все эти люди лучше, чем я, знают русского человека, непонятно лишь, почему они называются патриотами.

Любовь к родине, как я ее понимаю, не может быть аргументом ни за, ни против эмиграции: если это истина, что родина — мать, то правда и то, что взрослые люди за материнскую юбку не держатся. Иное дело, что, покидая родину, негоже ее забывать, а тем паче ей вредить. Но опять-таки о какой родине идет речь?

В моем воображении единой России не существует, теория о нации — коллективной личности — мне представляется более романтической, чем соответствующей реальному национальному бытию (об этом я писал в моей первой самиздатской работе, потом опубликованной на трех главных европейских языках). Я всегда видел в России как минимум две группы, ничего общего между собой не имеющих: с одной стороны, это творцы, с другой — болтуны или разрушители. Есть мужик пашущий (щедринский Коняга) и есть пустоплясы; есть художники и есть контролирующие или покупающие искусство; есть оберегающие и обогащающие русский язык и есть поганящие его. Есть руководители государства, пекущиеся о населении, и есть такие, которые хапают народные богатства для себя.

Мне глубоко отвратительна Россия жлобов-бюрократов, Россия черной сотни, Россия хамская, Россия хулиганская. Я ничего общего не вижу между Россией Андрея Дмитриевича Сахарова и той Россией, которая его облаивала; между Россией Матрэн и Россией, держащей их в нищете. Первой России я, как мне кажется, всегда был верен, вторую, начиная приблизительно с 1974 года, только и делал что предавал.

При всем недоверии к патриотизму как системе убеждений я всегда считал, что если уж нужно свои патриотические эмоции (которых у меня в переизбытке) как-то рационализировать, то для этого существует один-единственный способ, а именно: честно работать. Я люблю мысли о патриотизме, высказанные Антоном Павловичем Чеховым в письме Суворину: «Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный истасканный муж любит свою жену и детей, но что толку от такой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, понятие о чести не идет дальше чести мундира». Любовь к родине — это не орден для человека. Более того, это чувство нередко отвлекает христианина от высшей любви — любви к Богу, от служения Ему. В книге книг Библии — ни в Ветхом, ни в Новом завете — я что-то не поипомню завета о

служении родине. Родина — понятие не духовное, а душевное. Духовный настрой — по вертикали — гарантирует чистоту помыслов и доброту в действиях. Душевные же привязанности, в том числе и любовь к родине, могут спровоцировать как на добро, так и на страшное зло.

К тому же родина как предмет любви иногда теряет свои контуры. Я люблю свою родину, но где она находится, как она выглядит? Если я родился в СССР, значит ли, что пейзажи Киргизии, с которыми меня познакомил Чуйков, или нефтяные вышки в Баку и т. п. включены в мое чувство родины? СССР распался — значит ли это, что моя родина исчезла или же что я неправильно провел границу между родиной и не родиной?

Недавно я побывал наконец на моей родине и понял, что к ней безусловно относятся «земли» между Остоженкой, Пречистенкой и Арбатом. А вот новые районы Кунцева и Октябрьского поля вызвали во мне столь же мало (или столь же много) чувств, как очень похожие на них современные кварталы западноевропейских городов. Я часто вспоминаю подмосковные дачные поселки, Ялту, приуральский Курган, то есть места, где рождалось мое «я». И мне открылось, что слово «родина» нужно понимать в самом буквальном смысле: место, где я родился физически (для меня это Остоженка) и где рождалась и становилась моя душа. Родина — не некая абстрактность, а вещи, предметы, дома, деревья, при моем становлении присутствовавшие: ко всем деревьям в мире я не чувствую такой нежной любви, как к липе напротив окон моей детской комнаты у Остоженке. Нет человека без вещей, с которыми срослась его душа (это изумительно тонко описал Леонид Бежин в очерке об Александре I — старце Федоре Кузьмиче). Собрание этих вещей и есть безусловная родина. Следовательно, нельзя найти себе новую родину, это абсурд или мифотворчество. А уж как далеко расширится родина в представлении каждого человека, это дело весьма индивидуальное и... опасное, грозящее кровопролитием: и Аляска — наша родина, и Курилы — наша родина, и Киев — наша родина, и весь мир — наша родина...

В эмиграции я очень остро почувствовал эту свою привязанность к предметам, через ощущение которых я возвращаюсь на родину, то есть к предметам — как бы моим родственникам. Рядом с ними возникают волнение, скрытые слезы. Гуляя по Латинскому кварталу в Париже или по Флоренции, я смотрю на все заинтересованными, иногда восторженными глазами, но нервы мои спокойны. Но вот когда на Западе встречаешься с чем-то русским, в горле начинает подозрительно першить, возникают очень дорогие воспоминания, ассоциативное воображение рождает одну картину за другой. И все они связаны с детством, с полной надеждою юностью. Естественно, что западные впечатления таких ассоциаций не рождают.

Замок в Сен-Жермен эн Лэ под Парижем, или Золотой мост в Сан-Франциско, или Кёльнский собор — для меня лишь прекрасные декорации на сцене театра жизни. А какой-нибудь зачуханный арбатский дворик или наша русская церковка в Баден-Бадене трогают до слез. Я не без интереса рассматривал меню монпарнасского кафе в Париже, в которое я и пошел-то не потому, что о нем писала Гертруда Стайн, а потому, что в период оттепели о нем поведал наш Илья Эренбург. Хозяин «Ротонды» напечатал на обложке меню автографы знаменитостей, у него побывавших. С любопытством читаю: Хемингуэй, Пикассо... И вдруг — Ленин, Троцкий, Сутин, двое из трех перечисленных соотечественников возбуждают во мне самые отрицательные чувства. Но ведь это часть России, это мое. Боже, какое счастье вот здесь, на Монпарнасе, черт знает как далеко от России, которую я, может быть, никогда больше не увижу (дело происходило в 1976 году), посидеть за теми же столиками, за которыми пили кофе деятели моей, русской революции (черт бы побрал и эту революцию и ее вождей). А между именами Троцкого, Ленина и Сутина автограф моего дядюшки художника Кости Терешковича (который всеми силами души презирал двух своих нынешних соседей по меню «Ротонды», а третьего даже весьма уважал). Вот я и дома!

Приезжая (до перестройки) в какой-либо большой западный город, я прежде всего наводил справки о магазине русской книги. В каждое свое посещение Парижа (а этих посещений было не менее тридцати) я обязательно иду в магазин «ИМКА-пресс». Далекое не всегда я покупаю там книги — дело это дорогое. Но походить вдоль полок, почитать на корешках фамилии русских богословов, философов, писателей — наслаждение непередаваемое. Гуляя по городам Европы, читая мемориальные доски, напоминающие, что в этом доме жил Гюго, или Андерсен, или Пирранделло, закрепляю эти сообщения в моей памяти — и все. Но буквально столбенею от счастья, наталкиваясь на дом, где жил или писал Толстой или Горький (на Капри). Впервые приехав в Баден-Баден, зашел в кондитерскую, чтобы

узнать у владелицы, как найти дом, где жил Достоевский. С характерной для немцев готовностью помочь она достала... телефонную книжку и, не найдя там имени Достоевского, предположила, что у него просто нет телефона. Когда же я заметил, что Достоевский умер, она всем своим видом выразила глубокую грусть и высказала мне искреннее соболезнование, предполагая, что Достоевский — это или мой родственник, или друг.

Во Флоренции около палаццо Питти стоит высокий дом с грязным фасадом. На нем висит мемориальная доска: «Здесь русский писатель Достоевский писал роман „Идиот“». Этот дом вытесняет из моих воспоминаний о Флоренции и Уффици, и баптистерий, и мост через Арно, на котором стоит памятник Бенвенуто Челлини.

А в Вероне меня больше потряс Кремль — совершенная копия (а может быть, образец) московского, — чем балкон, на который Ромео лазил к Джульетте.

Я ощущаю мой патриотизм как нечто дискомфортное и завидую моим приятелям, русским эмигрантам, которым французская, американская или немецкая культура столь же (а иногда и более) близка, чем русская. Я сознаю, что я просто примитивнее, чем они, уже их. Но мне почти семьдесят, и меняться я не могу. Уж какой есть. Эмигрируя, я знал об этой моей, мягко говоря, странности и, чтобы эмоционально не засохнуть, создал в своем эмигрантском доме русский островок. По стенам моего кабинета тянутся полки с русскими книгами. На стенах висят прекрасные репродукции с картин Поленова, Васильева, Серова, Левитана, Кустодиева. В моей фонотеке пластинки и компакт-диски с произведениями русских (разумеется, не только) композиторов и выступлениями русских актеров. Я могу слышать голоса Шалапина, Льва Толстого, Есенина, Ахматовой...

В университете я преподаю историю русской литературы на русском языке. И вот уж более двух лет смотрю по телевизору передачи из Останкина.

Для ностальгии у меня нет никаких оснований, а если я и тоскую по оставшимся в Москве сыновьям, невесткам и внукам, то точно так же тоскуют по своим близким, живущим, скажем, на Дальнем Востоке, москвичи или киевляне, так что эмиграция тут ни при чем.

Но есть в каждом году, вот уж почти пятнадцать лет, три недели, когда я и другие эмигранты остаются почти целиком в своей среде. Этот российский островок в центре Западной Европы называется Русский свободный университет имени Сахарова, в создании которого принял участие и я. В этот университет съезжаются русские эмигранты со всего мира (а в последнее время и гости из Москвы), чтобы рассказывать немцам и японцам, норвежцам и американцам, французам и итальянцам об истории России, ее искусстве, ее сегодняшних драмах. Все — и слушатели и, разумеется, преподаватели — общаются друг с другом только на русском языке.

В общем, не знаю, можно ли унести родину на подошвах своих сапог, а вот в голове, в сердце вполне даже можно, более того, эмиграция дает возможность взять с собой самое прекрасное, что есть на родине, а мерзости родной страны с собой не брать.

Я сказал все, что собирался сказать, а кто может сказать лучше, пусть скажет. У меня не было намерения что-то доказывать, я хотел лишь объяснить, как возникло стремление эмигрировать не у «нас», а у меня, а может быть, и у других похожих на меня людей, чьи убеждения, симпатии и антипатии, притяжения и отталкивания включают их в мою карассу. Вряд ли есть смысл полемизировать с тем, что я написал. Заранее сдаюсь моим возможным оппонентам: как я не верю, что можно опровергнуть правду моих чувствований, моего видения мира, моей судьбы, так и я не смогу объявить неправдой доводы тех, кто со мной не согласится. А полемизировал я иногда с Вайлем и Генисом только потому, что они в своих увлекательных очерках пытаются говорить и от моего имени («мы, русские эмигранты»). Я не искал рая, я перебрался в мир, свободный от абсурда. И я обрел норму, а не фантастический идеал. А потому мне и не в чем разочаровываться.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

СЕМЕН ЛИПКИН

*

В ОБРАЖНОМ ПЕРЕУЛКЕ И НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Из книги «Зарисовки и соображения»

В тот год в Кунцеве жили писатели, большей частью молодые и безвестные, родом из двух противоположных областей России: одесситы и сибиряки. У одесситов был лидер — знаменитый поэт Багрицкий, у сибиряков лидера пока еще не было. Когда Павел Васильев обрел внутрилитературную известность, он покинул Кунцево, получил комнату в Москве, где-то недалеко от Трубной площади. Кроме Павла Васильева, снимали в Кунцеве комнаты в деревянных домах, а то и в избах сибиряки Сергей Марков и его брат, милый, тихий, больной человек (он рано умер из-за распространенной у нас слабости), Евгений Забелин (не знаю, как сложилась его судьба), Лев Черноморцев, чья фамилия как бы объединяла две группы квартирантов, южную и северную. Навсегда застрявший в Кунцеве, он там и умер, его старую могилу я увидел, когда мы на Кунцевском кладбище хоронили Надежду Яковлевну Манделыштам.

Однажды (кажется, весной 1930 года) к сибирякам приехали в гости два их земляка. Знакома меня с ними, Васильев сказал, указывая на высокого шатена: «Леонид Мартынов, лучший поэт Сибири». Тем самым он себя как бы ставил на второе место. О другом, который тоже мог показаться высоким, если бы не был явно коротконог, выразился так: «А это Ёня Фукс, самый худший поэт Сибири». К моему удивлению, Фукс не только не обиделся, а рассмеялся. Теперь, когда он стал видным официальным стихотворцем, он не позволил бы так говорить о себе в своем присутствии. Даже те, с кем он притягивается, любят за его спиной над ним посмеяться, над его самоуверенностью. Человек он при этом не злой, порядочный.

Павел Васильев был всего на год старше меня, но по своему жизненному опыту опережал меня лет на десять. Сын преподавателя высшей математики, он рано покинул свой казачий Павлодар, служил матросом, завербовался золотоискателем на Лену. Когда мы познакомились, он уже был автором поэмы «Песня о гибели казачьего войска», вещи оригинальной и сильной. Мелкие его стихотворения тогда мне нравились меньше, он метался, подражая то Гумилеву, то Сельвинскому. Мы сблизились не только потому, что оба жили в Кунцеве. Ему импонировало мое славянофильство (должен в этом признаться, рискуя вызвать насмешку читателя). У меня нет тех номеров «Нового мира», альманаха «Земля и фабрика», в которых были напечатаны лишненные самостоятельности мои юношеские стихи, написанные под влиянием жадно прочитанных Лескова, Мельникова-Печерского, Хомякова, Ивана и Константина Аксаковых, Н. Я. Данилевского.

Заслуживал внимания среди сибиряков и Сергей Марков, человек с несомненными и крупным поэтическим даром, знаток истории и географии Востока. Трогательно было видеть, как бережно и ласково он обращается со своим несчастным братом.

Кроме Багрицкого, жительствовавшие в Кунцеве писатели из Одессы Семен Олендер, Осип Колычев, Лев Славин, вскоре переехавший в Москву, Давид Бродский, с которым маленькую комнатенку в двухэтажном доме делил я. Настоящая фамилия Колычева — Сиркис. То, что своим псевдонимом он избрал знатную боярскую фамилию, дало повод нашим землякам Ильфу и Петрову (Евгению Катаеву) вывести его в «Двенадцати стульях» под именем Трубецкого.

Надо сказать, что этот повод был не единственным. Колычев ради заработка изготовлял стихи на случай, в большом количестве, плодovито и регулярно откликался на новые праздники и мероприятия правительства. Читатели нашумевшего романа помнят, наверно, что Трубецкой приносит в профсоюзные журнальчики в огромный дом на Солянке (где теперь Академия медицинских наук) стихи, в которых профессия героя меняется соответственно принадлежности печатного органа тому или иному профсоюзу.

Колычев был не лишен литературных способностей, в его стихах попадаются живописные зарисовки (он был художником-любителем), но существовал вне культуры. К тому же он непрочно владел русским языком. Ансамбль Советской Армии под управлением Александрова до сих пор исполняет песни на его слова.

Не знаю, был ли поэтом Олендер, сын одесского часовщика, но у него бесспорно была поэтическая натура, иногда в его стихах слышалось робкое лирическое волнение. Он то и дело заблевал наследственным сумасшествием и в это время почти всегда воображал себя то Блоком, то Пастернаком, то еще какой-нибудь другой знаменитостью. Однажды Бродский и я навестили его в психушке на Матросской Тишине. Между ним и нами было открытое, но зарешеченное окно. Олендер нас узнал, говорил здраво и внезапно запел хриплым голосом, но мелодию не перевирая, арию Онегина. Немного помолчав, он пожаловался:

— Здесь меня бьют, никто не верит, что я Норцов. (Норцов был популярный в то время баритон.)

С годами Олендер заблевал все реже, он женился на кунцевской девушке, брак оказался счастливым. Он умер спокойной смертью, успев издать несколько сборников стихов, читателем вряд ли замеченных.

У Давида Бродского была феерическая фотографическая память. Он принадлежал к тем редким людям, которые, прочтя газету, могут ее повторить всю от первой до последней строки, в газету не заглядывая. Он как-то мне рассказал: в годы военного коммунизма он был студентом медицинского факультета нашего Новороссийского университета, но, увлеченный писанием стихов, крайне редко посещал занятия. Наступили экзамены. Профессор покачал головой: «Вы посещали мои лекции? Я что-то вас не припоминаю», но экзаменовать не отказался. Бродский, выучив за несколько дней изданный профессором учебник, отвечал с блеском. Профессор был удивлен. «Странно, странно, — бормотал экзаменатор. — А что вы думаете по поводу...» — и задал трудный вопрос. Бродский на мгновение задумался, потом проговорил: «Ах да, в сноске» — и ответил правильно. «Что за сноска?» — с недоумением спросил профессор, но выставил незнакомому студенту пятерку.

Тучность Бродского таила в себе нешуточную силу. Однажды Иван Поддубный, выступая в одесском цирке, предложил желающему из зрителей с ним побороться. Вызвался Бродский и устоял в схватке с популярным борцом две минуты (иногда, рассказывая, Бродский увеличивал цифру: четыре или даже пять минут). Поддубный посоветовал ему серьезно заняться цирковой борьбой. Как знать, может быть, он дал Бродскому хороший совет. Знакомясь с девушкой, Бродский сгибал руку и просил пощупать его бицепсы.

Был он очень начитан, отлично знал литературу, прежде всего, конечно, русскую поэзию и прозу — очень многое наизусть, — но также и французскую, которую читал в подлиннике, и всю мировую — по переводам. У него был тонкий, выверенный вкус, но проявлял он его скорее в прочитанном, а не в том, что писал сам. А писал он и свое и переводы натужно, медленно, ища слова и рифмы незатертые, часто в ущерб музыке и содержательности. Он читал мне наизусть русских поэтов — от Ломоносова до Белого, и французов — от Гюго и Виньи до Аполлинера, обращая мое внимание на звукопись или необычные синтаксические построения. Например, в пушкинской строке: «И скроется за край окружных гор» в трех «кр» слышится осеннее карканье ворон... Я ему многим обязан, в моей душе залегло чувство благодарности к нему.

Он умело использовал свою память для сугубо материальных выгод. Мне запомнилось: мы вместе приезжаем из Кунцева в редакцию «Нового мира», в котором я начал печататься в 1930 году. Весь штат редакции, размещавшийся в здании «Известий» в двух комнатах, состоял в ту далекую пору из пяти человек. Н. Замошкин заведовал критикой, литературоведением, библиографией, Н. Смирнов — прозой, М. Зенкевич принимал два раза в неделю поэтов, Вера Константиновна Белоконь, завредакцией, исполняла одновременно обязанности машинистки, кассира и бухгалтеря. Все они сидели в довольно поместительной комнате, из которой дверь вела в небольшой кабинет редактора журнала Вячеслава Павло-

вича Полонского, влиятельного критика. Настоящая его фамилия — Гусин. Был он длинноволос, артистичен, по его всегда спокойному лицу и размеренным движениям нельзя было понять, как ему тяжело, как теряет он свое влияние, преследуемый литературной бандой. Он умер нестарым, съеденный РАППом. Рапповцы алкали крови Алексея Толстого, Булгакова, Пильняка, даже Федина, а также крестьянских (по их мнению, кулацких) поэтов Клюева и Клычкова, всех, кого Маяковский грубо и бессмысленно называл «мужиковствующих свора». Полонский их защищал в печати отчаянно — и тех и других.

Из кабинета Полонского дверь вела в третью комнату, гораздо большую, чем первая. Здесь помещалась редакция тонкого журнала «Красная нива», редактировавшегося тем же Полонским. Из своей проходной комнаты он руководил обоими изданиями, и нередко то, что не достигало уровня толстого журнала, помещалось в тонком. В «Красной ниве» число сотрудников было примерно таким же, как в «Новом мире». В моей памяти сохранился только Н. С. Ашукин, литературовед и критик. Вот он сидит, небольшого роста, сгорбившись над рукописью, уткнув в нее лицо с маленькой бородкой. В «Красной ниве» можно было встретить не только литераторов, но и фотографов с их трехногими аппаратами. Окна всех трех комнат выходили на Страстной бульвар, куда еще не был перемещен памятник Пушкину и где еще высилось здание монастыря, через несколько лет разрушенное.

Бродский, высокий, тучный, близорукий, устраивал в редакции «Нового мира» концерт. Он знал, что и Замошкин и Смирнов — страстные поклонники Бунина, и ловко сводил речь на великого писателя, которого после ликвидации нэпа у нас перестали печатать.

— А «Деревню» помните? Хорошо, гы-гы, — ликовал Бродский и начинал читать знаменитую повесть наизусть. Дойдя до слов: «А бежать от борзых не следует», он смеялся счастливым смехом: гы-гы, — и продолжал чтение.

Редакционная работа прекращалась. Входившим посетителям делали знак: мол, не прерывайте чтения. Открывалась дверь кабинета, появлялся настроенный подделовому Полонский, измученный баталиями с рапповцами, но, забыв о деле, становился одним из слушателей. Когда раздавался телефонный звонок, Вера Константиновна брала трубку и очень тихо в нее говорила: «Он сейчас занят, заседает редколлегия».

Чтение кончено. В окне Страстным бульваром овладевает закат. Любовь к Бунину распространяется на теща.

— Что вы нам принесли, Давид Григорьевич?

Этого-то он и ждал — и протягивал написанное печатными буквами стихотворение о приближающемся лете (осени, зиме, весне) с некоторыми социальными черточками: колосятся хлеба, или гудят фабрики, или школы наполняются красногалстучной детворой. Полонский, прочитав, говорил:

— Это, разумеется, для «Нивы»?

Бродский так и рассчитал и, когда Полонский удалялся к себе в кабинет, выпрашивал у Веры Константиновны «авансик, гы-гы». Та нехотя выписывала и выдавала поэту небольшую сумму.

Почти каждое утро часов эдак в десять—одиннадцать сибиряки и одесситы сходились на железнодорожной платформе: у всех были дела в городе, бегали по редакциям. К ним присоединялись не принадлежавшие ни к одной из групп уроженцы европейского Севера Вячеславов и Кюн. Вячеславов издал сборник стихов под названием «Северо-восток»: название нарочито перекликалось с «Юго-западом» Багрицкого. Писал стихи и Кюн, «русский немец белокурый». Он был арестован, кажется, в 1934 году, и больше я никогда его не видел. Вячеславов нашел себя как текстолог: при его участии издавалось советское собрание сочинений Бунина.

Однажды на станции, когда вдали показался надвигающийся из Можайска паровоз, Павел Васильев обратился к Бродскому, отдавая честь:

— Ваше высокоблагородие господин полковник, состав подан.

В те годы полковников в Красной Армии не было, слова вроде «полковник», «генерал» были белогвардейскими, они заменялись командармами, комжорами, комдивами и т. д. Бродский, небритый, в долгополой шинели, которую он носил лет десять, со времен гражданской войны (он в ней не участвовал), действительно походил на затаившегося в московском пригороде бывшего белого офицера. Васильев это талантливо уловил.

Когда поезд прибыл на Белорусско-Балтийский вокзал, навстречу нашей литературной бражке быстро направился человек в известной всем военной форме.

Приблизясь к Бродскому, он предъявил удостоверение сотрудника железнодорожного пункта ГПУ и приказал:

— Следуйте за мной.

Еще блаженно не имея опыта массовых арестов, мы кричали, требовали объяснить, в чем провинился наш товарищ, но военный только посмеивался, пока не втолкнул большого, до смерти перепуганного Бродского в железнодорожное белорусско-балтийское отделение ГПУ.

Все разошлись, разбрелись в поисках заработка, а я решил остаться на вокзале до тех пор, пока не выпустят Бродского. Завечерело, а моего старшего сожителя все нет. Может быть, его выпустили, когда я пошел в буфет за бутербродами? Я вышел на перрон и скоро сел в поезд.

Бродский вернулся поздно ночью. Лаяли пригородные собаки. Хозяйка, Любовь Николаевна, вошла к нам в халатике, чтобы сделать выговор за позднее возвращение, но, увидев Бродского, замолкла на полуслове. Он был блее мела, руки и губы его дрожали. Далеко не храброго десятка, он сейчас находился целиком во власти трусости. Кто посмел бы его винить?

Хозяйка покинула нас, сердясь и недоумевая. Я на кухне, стараясь не шуметь, поставил на керосинку чайник. Испив чаю и жадно проглотив два бутерброда, которые я приберег для него, Бродский испуганным шепотом стал рассказывать.

Сперва его заперли одного в маленькой комнатушке. Только часа через четыре начали допрашивать: возраст (паспортов еще не было), откуда родом, профессия, когда начал службу в белой армии, в каком чине из нее выбыл, где воевал. Представляю себе, что чувствовал при этом допросе наш добрый, боязливый, безвольный и безвестный поэт!

Он отвечал: в белой армии никогда не служил, во время гражданской войны печатался в одесских газетах и журналах, предъявил билет сотрудника «Комсомольской правды» (он был внештатным консультантом по поэзии), попросил позвонить заведующему литературным отделом этой газеты Джеку Алтаузену, тот подтвердит, дал телефон редакции.

— Позвоним, позвоним, — успокаивали его и опять увели в ту комнатушку, в которой он провел жуткие часы. Дверь заперли.

Он не помнит, сколько прошло времени, когда его вызвали снова.

— У нас есть сведения, — сказали ему, — что некий Бродский, уроженец Гомеля, занимается спекуляцией, едет каждую неделю в Москву, в Наро-Фоминске пересаживается в пригородный поезд. Не отпирайтесь, вы — этот Бродский.

— Что вы, я никогда не был в Гомеле, я родился и жил безвыездно до двадцати четырех лет в Одессе, теперь живу в Кунцево, я поэт, никогда не спекулировал, работаю в «Комсомольской правде», вы же видели мое удостоверение.

— Дайте сюда удостоверение. Выясним.

И Бродского опять увели. В начале двенадцатого ночи ему вернули удостоверение, выпустили, не извинившись, разумеется. Он успел на поезд в одиннадцать сорок пять.

Испив несколько стаканов чаю, съев бутерброды, он бросился в кровать не раздеваясь, в ботинках. Спал до двух часов дня. Первые его слова, когда он проснулся, были такими:

— Подлая тварь твой дружок Васильев, недаром Эля Багрицкий терпеть не может ни его, ни его стихов.

В своих умных и значительных «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам полагает, что в ночь, когда ее мужа арестовали, Давид Бродский был посажен к Осипу Эмильевичу. Фамилии Бродского она не называет, но догадаться нетрудно. В ее описании Бродского узнаешь сразу: огромный, как идол, он сидел с вечера в кресле, безуданно говорил о своих любимых поэтах, о Полонском и Случевском, о французской поэзии, которую знал «до ниточки». Когда «они» пришли, Бродский, закрыв глаза, продолжал сидеть в кресле и то сопел, то храпел. Очень похоже.

Но для чего надо было посадить Бродского? Гепеушники в этом не нуждались, так, насколько мне известно по рассказам пострадавших семей, никогда не делали, добыча доставалась охотникам за людьми без каких-либо забот и тягот. Я могу допустить, что Бродского вызывали, что он струхнул не на шутку, что, дрожа от страха, давал какие-то обязательства, но не было нужды в том, чтобы он стерел Мандельштама в запланированную ночь ареста. Бродский отказался бы от этого именно из-за своей трусости. Добавлю к вышесказанному, что Бродский принадлежал к тому типу людей, которые никак не в силах покинуть дом хозяев, а спешить некуда было, к тому времени однокомнатная квартира Бродского помещалась в том

же подъезде дома в Нащокинском, что и квартира Мандельштамов. К тому же Бродскому несомненно хотелось блеснуть эрудицией перед Мандельштамом и Ахматовой, которая в ту ужасную ночь была в доме своих друзей. Я думаю, почти уверен, что, когда пришли «они», Бродский испугался больше, чем Мандельштам, отсюда его сопение и храпение. Обвинить советского человека в стукачестве очень легко, иди проверь, ручаться нельзя ни за кого — или почти ни за кого. Такого рода обвинения надо делать крайне осторожно, а Надежда Яковлевна такую осторожность не проявила.

Что же касается давнего кунцевского эпизода, то действительно ли тогда совершил подлость Васильев? Я уверен, что на кунцевской платформе он беззлобно пошутил, не думая о последствиях. Да и никому из нас в голову не приходило, что так обернется эта безобидная шутка. Когда Васильев стал входить в славу, литераторы заговорили о его хулиганских выходках, об антисемитских высказываниях. Горький написал в 1934 году: «Жалуются, что поэт Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, „широкой натурой“, его „кондовой, мужицкой силой“... От хулиганства до фашизма „короче воробьиного носа“».

Я был в то время студентом-химиком, часто и подолгу выезжал на практику в Дзержинск, на Чернореченский суперфосфатный завод, с Васильевым, как и с другими литераторами, встречался редко, но когда встречался, то не замечал в нем перемены к худшему, не слышал я и о его хулиганских выходках. Новым, помимо его известности, было то, что повсюду его сопровождал в качестве лакея и собутельника сибирский парень, стихотворец-графоман. По требованию Васильева этот парень всем читал стихи о своих неудачах:

Эка жисть, браток Михаил,
Уж кто-кто тебя не хаял.

Васильев много говорил о своих любовных похождениях, чего раньше не было (ни речей, ни походов), как-то с простодушной гордостью сказал мне: «Я поэт политический». Может быть, перемена заключалась в том, что со мною стал разговаривать покровительственно, сокрушался: «Долго ты будешь на вторых ролях?» А я и на третьих не был.

Он пригласил меня к себе. Был дождливый серый день, когда я пришел в коммунальную квартиру, на дверях которой висел внушительный список жильцов с указанием, кому сколько раз звонить. На мой звонок открыла дверь жена Васильева:

— Паша сейчас придет, он ждет вас, вышел минут на десять подышать воздухом, он любит гулять в дождь.

В комнате Васильева уже стояла на столе выпивка, холодная закуска. Имя жены Васильева я забыл, я был с нею знаком, она работала в бухгалтерии Гослитиздата. (Вторую его жену, свояченицу Ивана Гронского, сменившего Полонского на посту редактора «Нового мира» и через несколько лет репрессированного, я никогда не видел, только слышал о ней.)

Довольно скоро появился Васильев, и не один, а с молодой женщиной, явной жертвой социальной несправедливости. Жена Васильева, тоненькая блондинка с богатой косой, кинулась на кровать, затряслась. Потом, поднявшись, сказала:

— Уже сюда, ко мне, стал приводить их с Цветного бульвара. Ты разве поэт? Ты животное, хуже пса!

Васильев, ладный, светлокудрявый, в сером заграничном пиджаке с накладными карманами, не обращая внимания на слова жены, приказал женщине сквозь зубы:

— Разувайся.

От него сильно пахло водкой. Женщина, конечно, не ожидала, что клиент, пусть пьяный, приведет ее в комнату, где окажутся другие — жена и еще кто-то. Она сняла ботинки и чулки. Ноги ее промокли, были грязны. Васильев, сперва зло стиснув красиво очерченные губы, дал женщине деньги, приказал:

— Обувайся и вон отсюда.

Женщина посмотрела на купюру, осталась довольна, торопясь обулась и ушла. Я сказал:

— Пашка, ты действительно пес. — И покинул квартиру Васильевых.

Того, что случилось, я до сих пор не понимаю, не понимаю ни Васильева, ни его жены. Видно, я бюргер, филистер Пишу как было

Павел Васильев был арестован дважды. В первый раз, кажется, в 1934 году. Просидел он недолго. Выйдя из тюрьмы, опубликовал, насколько мне помнится — в «Известиях», стихотворение, в котором провозгласил тост «за ОГПУ». Это ему не помогло. В 1937 году он был арестован снова — и уже не вернулся на волю, погиб в застенках Лубянки.

Рапповские и пострапповские борзописцы называли его кулацким поэтом. Это поклеп. В стихах и поэмах Павел Васильев стоял, как выражались в те годы, на платформе советской власти. Его поэма «Кулаки» перекликается с «Поднятой целиной» Шолохова хорошо обдуманной объективностью. В отличие от стандартного стихописания того времени (как пародировал талантливый Архангельский: «С одной стороны сидит батрак и что-то там привинчивает, / С другой стороны сидит кулак и что-то там отвинчивает») кулаки у Васильева люди крупные, сильные, яркие. Недаром главного среди них поэт именует Ярковым. Начинается поэма с того, что «Черлак на церквах, на боге и на вере стоит пока». Запомним это «пока». Читателя подкупает то, что во многих поэмах Васильева названы Черлак, Лебязье и другие станицы Прииртышья неподалеку от родного ему Павлодара. Так создается момент автобиографичности, а отсюда — доверие к автору, как бы снимающее подозрение в лживости его позиции.

Кулак Евстигней Ярков в обиде на бога (бог всюду с маленькой буквы), который, «Выкатив голубые свои глаза, / Глядел на мир подвластный по-бычьи».

Не было дела ему до земли,
И наплевать ему, что колхозы
К горлу кулацкому подошли.

Евстигней бьет по иконе кулаком:

Треснули тяжелые божьи скулы...
.....
И пред Евстигнеем,
Трясаясь, деревянный
Рухнул на колени иконостас.

Клюев, Клычков, даже безрелигиозный Орешин никогда не позволяли себе такого кощунства. Неожиданно для семьи, для соседей Евстигней отдает все: и железом венчаный дом «со всем преимуществом и добром», и двор, амбар, сарай, «сад с сиренью и протчей природой», коней, «способных для пахоты и перевозки чижолых кладов», и к ним машины — одна молотилка, плуги, бороны, сто один пуд пшеницы, сто двадцать овса,

Включая сюда
Порося и птицу
И пегого на привязи пса.

Он говорит о себе:

Евстигней Павлович
Все отдает!
Все!
Останусь в рванье дерюжьем
С детьми
И сородичами
Наравне.
Пусть же хозяйство мое послужит
Советской власти,
Как раньше мне.
.....
За мной пойдут,
Понимаете сами... —
Пошептал кривыми усами,
Пожевал бровями,
Шапку снял
И запел «Интернационал».

Опытный советский читатель догадывается, что Евстигней коварен, хитер, что в станице «кулацкий орудовал агитпроп», что Евстигней себя еще покажет, — и в самом деле: Митин, которому Ярков посулил телку, убивает пестом по виску активного борца за колхоз «учительшу» Марью Ивановну.

Евстигнею противостоит «сын мужицкой нужды» Редников. Когда «карательные высрал / Правитель России, / Его белоштанство / Адмирал Колчак», Редников

Еще не мог разобраться толком
В словах «революция»,
«Советская власть» —
Это было одно чутье, темное, как у волка,
Кровная с революцией связь.

Короче: все как надо, как учит политграмота, пролетарии идут к коммунизму низом. Отметим, однако, что чутье у деревенского бедняка «волчье». «Кулаки» — поэма растянутая, как и некоторые другие последние поэмы Васильева, многословная и самой своей сутью банально-советская. Но если мы вчитаемся в эти строки, то увидим, что Васильев любит «кулака» Евстигнея, ему нравится его хозяйственность, смышленность, нажитое трудом и оборотистостью богатство, его сила и размах. Автор, расставляя своих героев по шаблону, испытывает радость, когда решает чисто художественные задачи. Он очень корректно использует сибирский диалект, в поэме много красочных строк. Великолепно описание одичавшего в дни коллективизации коровьего стада:

И на бугре,
Над шатким мостом,
Над камышовой речной прохладой,
Встал, ударяя львиным хвостом,
Пылая, — лютый водитель стада.

И вслед за ним
По буграм покатым,
Вслед за мужем, за бугаем,
С хребтами красными от заката,
Багровым осыпанные репьем,

Вслушиваясь в длинный посвист бича,
Окружены сияньем и ревом,
Четверорогое вымя
Тяжело волоча,
Шли одичавшие за день коровы.

Васильев, как и другие слабовольные, но даровитые советские писатели, показывает такой фокус: банальность характеров и положений оживляется цветастыми деталями, мощью красок и словаря. «Кулаки» написаны в 1934 году, то есть после первого ареста. Может быть, он, перепуганный, решил угодить власти? Конечно, хотел, но был искренним, его миропонимание развивалось как советское, и только то, что заложено и в душе и в плоти художника, против его воли иногда одерживало победу над рассудком. Уже в первой (и лучшей) своей поэме «Песня о гибели казачьего войска», которую он читал изумительно (я ее слушал несколько раз), поэт, что называется, от всего сердца писал еще в 1930 году, до ареста:

Красная армия!
Бои, бои —
В цоканье сабель, пугь и копыт
Песни поют командиры твои,
Ветер знамен
Над тобою шумит.
.....
Слушайте, конники,
Стук сердец.
Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукою посеем свинец.

Так обожать родное казачье Прииртышье — и славить тех, кто там сеет свинец. Воистину широк русский человек!

Сыновнее, любовное преклонение Васильева перед советской властью открывается нам во многих его сюжетных стихах и поэмах. Например, в «Принце Фоме» (о кулацком атамане) мы читаем:

Тысячелетья горы сдвинут,
Моря нахлынут и отхлынут,
Но сохранят народы их
В сердцах,

Над всем, что есть на свете,
Как знамя над Кремлем и ветер,
Как сабли маршалов своих!

В поэме «Женихи» к колдуну приходит девушка Настя Стегунова — парни не жалуют ее своим вниманием:

И стоит —
Высокая, рябая,
Кофта на ней дышит голубая,
Кружевной платок
Зажат в руке.
Шаль с двойной турецкою каймою,
Газовый порхун — само собою,
Туфли на французском каблуке.

Блестящие строки! Колдун советует Насте вступить в колхоз, работать без отказа, не жалея крепких рук своих: «Будет тебе к осени жених!»

Колдун и сам вступает в колхоз. Хорошо поработала Настя:

В урожай,
Несметный, небывалый, —
Знак Почета, золотой и алый,
Орден на груди горит у ней.

Как и предвидел сознательный колдун, добросовестный труд приносит девушке и личное счастье:

Пали, пали на поле туманы —
Развернув заветные баяны,
Собирались к Насте женихи!

В «Христоробовских ситцах» смело, неожиданно возникает проза. Читаем такой диалог:

«Х р и с т о л ю б о в
Где она теперь?
С т а р и к
Уехала. За ОГПУ вышла.
Х р и с т о л ю б о в
Как за ОГПУ?
С т а р и к
А так. За начальника ихнего.
Х р и с т о л ю б о в
...Ты очень не любишь его?
С т а р и к
Кого?
Х р и с т о л ю б о в
Ну, ОГПУ этого.
С т а р и к

...А за что ж мне его не любить? Душевный человек, рыбачить вместе ходили».

Далее — совершенный Лебедев-Кумач:

Горды успехом сталевары,
О счастье девушки поют,
От Мурманска
До Павлодара —
Повсюду Молодость и Труд.
Живите радостней, растите!
Цвети, Советская земля,
Ты слышишь,
Как трепещут нити,
Протянутые из Кремля?
.....
Там Сталин! Ленин!

Нет никакого основания сомневаться в искренности поэта — в искренности актера, вжившегося в свою роль, — когда он пишет гимн в честь Демьяна Бедного

(«Как никому, завидую тебе») или когда в «Песне против войны», звучащей вполне по-современному, рисует картину, на которой изображены танк, самолет и Сталин:

И крытый сталью, солнцем, славой,
Танк, охраняя свой Народ.
Наперерез войне кровавой
По Красной площади ползет.
И рокотом взрывая войны,
Проходит самолет, гудя,
И чуть лукаво и спокойно
Сошурены глаза вождя.

Сделавшись известным поэтом, сын преподавателя математики любил себя называть кондовым мужиком, вместо «если» стал говорить даже не «ежели», а «ежели», но был литератором с головы до ног, и литератором довольно образованным, литератором-актером. И как актер, играющий сегодня Дзержинского, а завтра более привлекательную фигуру, играющий с волнением, с самоотдачей — только бы играть, — так и Васильев играл свою роль, играл от всего сердца, ничуть не ломая себя, — только бы играть, только бы получить возможность выразить себя с помощью своих, а не чужих красок, своей, а не чужой музыки.

«Революция пожирает своих детей». Но и реабилитирует их посмертно. Одним из ее детей был Павел Васильев, проживший всего двадцать шесть лет, за десять своих творческих лет создавший первоклассные вещи, отравленный идеологией Государства, убитый в расцвете сил и тем же Государством воскрешенный. Багрицкий, загорающийся от огонька любого таланта, отказывал Васильеву в даровании поэта и даже в ранние, кунцевские годы разглядел его дурные черты, так развившиеся позднее. В моей памяти остался не Павел Васильев периода своей славы, чаще высокой, иногда дурной славы хулигана и антисемита, а кунцевский юный житель, робкий с девушками, с которыми мы катались на лодке по Москвереке, поэт-живописец, автор таких истинных творений, как «Быть мастером», «Песня» («В черном небе волчья проседь...»), «Анастасия», «Стихи в честь Натальи», к которой он однажды привел меня в гости в очень богатую квартиру, «Другу-поэту» — стихи, обращенные к зятю Есенина Василию Наседкину, с которым я был хорошо знаком и который сгинул в чумной тридцать седьмой год...

Почти каждый вечер Бродский и я бывали у Багрицкого. Вряд ли это нравилось Лидии Густавовне, но она вынуждена была примириться с тем, что в дом ежедневно приходят поэты, иногда рыбоводы. Багрицкий, мучимый астмой, редко выезжал в город, ему нужны были собеседники, сообщавшие ему литературные и другие новости. Всех надо было принять; пусть кое-как, но угостить, в то время как заработки Багрицкого были скудные, он мало писал, на гонорары прожить было трудно, он переводил то Назыма Хикмета, то Ицика Фефера, уставал от неприятной работы и половину подстрочников отдавал на версифицирование двоим своим молодым друзьям, честно делясь гонораром с безымянными соавторами. Эдуард Георгиевич с женой и Севкой (Всеволодом) снимали половину избы в Овражном переулке. Хозяин избы, по фамилии, кажется, Дыба (или Дыга?), белорус, послужил для Багрицкого прототипом «Человека предместья» (так называлась его поэма), а дочка Дыбы, рано умершая девочка, вдохновила Багрицкого на сочинение поэмы «Смерть пионерки», одной из слабых его вещей.

Окно в комнате выходило на болото, а сама комната отделилась от кухни не достигавшей потолка фанерной стенкой, оклеенной полинявшими обоями. Обстановка была бедная, деревенская: постель, на которой Багрицкий всегда полулежал, широкий самодельный стол и такая же скамья, раскладушка для Севки, подаренная мною, когда я купил себе кровать. Украшали комнату аквариумы с пестрыми рыбками: Багрицкий был страстным любителем рыб, хорошо, почти профессионально их знал. Отчужденно выглядел в деревенской избе телефонный аппарат.

С симпатией Лидия Густавовна встречала трех писателей — Исаака Бабеля, рыжого Н. Огнева (М. С. Розанова, родственника, кажется, двоюродного брата Василия Васильевича), автора чрезвычайно тогда популярной книги «Дневник Кости Рябцева», и своего зятя, одного из основателей акмеизма, В. И. Нарбута, бросившего, как некогда Рембо, писать стихи. Огнева Багрицкий любил, Бабеля мало сказать любил — обожал, перед Нарбутом благоговел, называл себя его учеником, что соответствовало истине.

У Нарбута была отрублена рука — говорили, что в годы гражданской войны; одну ногу он волочил (поэтому Катаев в «Алмазном моем венце» вывел его под наименованием Колченогий). Несмотря на эти физические недостатки, Нарбут

нравился женщинам. Чувствовался в нем человек крупный, сильный, волевой. Он отбил у Олеси жену — Серафиму Густавовну (впоследствии вышедшую замуж за Виктора Шкловского), самую красивую из трех сестер Суок. В какой-то мере черты Нарбута придал Олеша хозяйственнику Бабичеву, одному из персонажей «Зависти». Николай Асеев мечтал:

Чтобы кровь текла, а не стихи,
С Нарбута отрубленной ружь.

Асеев сложил эти строки, когда Нарбут занимал крупный пост в ЦК партии. Потом Нарбут стал директором основанного им издательства «Земля и фабрика», впоследствии преобразованного в издательство «Художественная литература». Партийность Нарбута, высокий пост не помешали ему преданно дружить с соратниками по акмеизму — с Мандельштамом, Ахматовой, Зенкевичем. Ахматова посвятила ему одно из своих стихотворений. Я любил и до сих пор люблю его стихи, в особенности «Александр Павловну».

Когда Нарбут приехал в Германию (догитлеровскую) с целью закупки типографских станков, в эмигрантской газете была напечатана неприятная статейка. В ней утверждалось, что Нарбут, арестованный контрразведкой, выдал ей имена большевиков-подпольщиков, что руку он потерял не сражаясь с белыми, это легенда, а защищая свое имя от озверевших крестьян.

Видимо, Нарбут либо пренебрег этой статейкой как вздорной, либо она ему не попала на глаза. Когда он вернулся в Москву, его вызвали в ЦКК и исключили из партии. Как сообщала одна столичная газета (забыл какая), за давностью лет и поскольку он не причинил вреда подпольщикам — их не успели расстрелять, потому что в город (в Одессу) неожиданно для добровольческого командования победоносно вступила Красная Армия, — против исключенного из партии Нарбута решено было не возбуждать уголовного дела.

Я предполагаю, что завистники — партийные друзья Нарбута — выдумали эту грязную историю и подкинули ее русской зарубежной газете, чтобы избавиться от него как от видного функционера. Во всяком случае, навет как бы предвещал арест Нарбута в 1937 году. Арестован он был по делу переводчиков украинской прозы (а он стал таковым) вместе с Павлом Зенкевичем (однофамильцем поэта), Игорем Пуступальским и Шлейманом-Карабаном. Последний вернулся из концлагеря в хрущевские годы и рассказал, что Нарбут погиб, упав с катера в ледяное море, когда их перевозили с материка на Колыму. Еще он рассказал, что их, четверых, посадили по доносу Бориса Турганова, тоже переводчика с украинского, между прочим, одного из персонажей знаменитой «Иванькиады» Войновича.

В 1929 году, когда я с ним познакомился у Багрицкого, Нарбут работал заместителем главного редактора Гостехиздата. Как я уже упоминал, он в это время стихов не писал. А поэт он был истинный, поэт плоти (так и называлась одна из его книг — «Плоть»), он терпеть не мог символистов (всех, за исключением Анненского) как поэтов духа. Есть у него стихи, навеянные событиями ранних советских лет, они неинтересны.

Когда по предложению Багрицкого я прочел ему свои юношеские стихи, он определил так: «Очень слабо, от-от, совсем слабо, еще хуже, чем у Блока». Петербуржец-акмеист никак не мог — или не хотел — избавиться от украинского акцента, хотя черт малороссийского шляхтича, каким он был по происхождению, я в нем не замечал. Запомнилось, как он рассказывал о поэте Рукавишникове: «От-от нарисует уазу (вазу), упишет у нее стихи про ту самую уазу. Аполлинеру подражал. Оригинально, конечно, но наивно».

Его брат Георгий был известным художником, мирикусником. Советская Энциклопедия называет его основоположником украинской советской графики. По его рисунку Рада при гетмане Скоропадском выпустила купюру «пятьдесят карбованцев». Не эта ли связь Георгия Нарбута с гетманским правительством выдвигалась следствием при допросах Владимира Ивановича? Свободная вещь.

Довольно часто приезжал к Багрицкому Бабель. Чувствовалось, что они любят друг друга. Бабель на «вы» (с комсомольскими поэтами Светловым и Голодным, с которыми познакомился гораздо позднее и гораздо менее был близок, чем с Бабелем, Багрицкий был на «ты»). Всегда с теплотой Багрицкий говорил об Олеше, но я не припоминаю, чтобы Олеша его посещал в Кунцеве. Прервались его отношения с другим корифеем одесской плеяды — Катаевым. Может быть, из-за давнишнего рассказа Катаева «Бездельник Эдуард», в котором Багрицкий выведен в не очень привлекательном виде, но добродушно, даже с некоторой симпатией.

О чем беседовали Бабель с Багрицким? При мне — о литературных делах того времени. Смеялись, любовно вспоминая смешные черточки одесситов. Бабель не одобрял вступления Багрицкого в группу конструктивистов, их лидера Сельвинского поэтом не считал, называл бухгалтером с усиками. Бабелю понравился один мой рассказ. В 1921 году, когда в Одессу навсегда вступили большевики, я, десятилетний, невольно подслушал диалог двух пожилых граждан. Одного я знал, он был владельцем предприятия по оптовой продаже сукна, английского, конечно. Он спросил у другого по-еврейски: «Что слышно в городе?» «Ой, а грабеж, хватают на работу», — отвечал тот. Дело в том, что такого рода людей новая власть принуждала подметать улицы, вокзал и т. д. Бабелю рассказ очень понравился, и когда мы с ним изредка встречались, он приветствовал меня на жаргоне словами «а грабеж». Однажды мы с ним встретились в фойе Камерного театра. На сцене шла оперетта «Жирофле-Жирофля». Бабель сказал: «Плохие артисты, безвкусный режиссер. Я здесь по требованию моей спутницы, она сейчас в курилке».

Я как-то спросил Бабеля, поскольку он недавно вернулся из Парижа, есть ли среди эмигрантов во Франции, русских писателей, такие, которые там начали печататься после Октября. «Есть один стоящий, — сказал Бабель, — Сириен. Пишет хорошо, но сказать ему нечего».

Два собеседника, известные поэт и прозаик, вздыхали о том, что творится в литературе, говорили о безграмотных, жестоких и бесчестных руководителях РАППа, о плохом, по их мнению, романе А. Н. Толстого «Черное золото», прозорливо увидя в этом большом, талантливом писателе будущего конформиста, о несправедливых, страшных преследованиях Е. И. Замятина (которого оба ценили) в связи с опубликованным его романом «Мы». Иногда спорили. Багрицкий высоко ставил Сельвинского и Асеева, Бабелю не нравился ни тот, ни другой. Если о Сельвинском, как я уже писал, он говорил «бухгалтер с усиками», имея в виду не только его внешность, но и суть его сочинений, Асеева называл «пишущая машинка». Из новых поэтов-современников — так мне казалось — Бабель любил только Есенина. Щедрее хвалил прозаиков: Булгакова, Замятина, Вс. Иванова, Зоценко, Платонова, Олешу.

Беседовали они и о делах политических, но не при мне. Возможно, Бабель остерегался высказываться при малознакомом человеке, содержание бесед такого рода я узнавал от Багрицкого. Я не хочу, чтоб у читателя создалось впечатление, что я сочувствовал всем соображениям двух собеседников о литературе и политике. Одни я принимал, другие казались мне неверными. Я привожу их как имеющие ценность для будущих исследователей. Например, я не согласен с бабелевской оценкой таировского театра, а теперь — и творчества Набокова. Я уже понимал, что Багрицкий, твердый и страстный в своих литературных вкусах, во всем остальном был беспринципен. Когда он вступил в тот самый РАПП, который они с Бабелем ненавидели, я написал пародийные стихи: «Старик Багрицкий нас заметил / И, в РАПП сходя, благословил». Багрицкий был недоволен, обиделся на меня, потом простил.

Он и Бабель, как я услышал от Багрицкого, с тревогой наблюдали действия Сталина, видели в изгнании Троцкого начало русского термидора. Под впечатлением происходивших в стране событий Багрицкий углубился в чтение истории Французской революции. В особенности его привлекал характер Сен-Жюста. По его мнению, в Троцком было нечто от Сен-Жюста. Как свойственно многим истинным поэтам, Багрицкий делился с каждым пришедшим к нему своими соображениями по поводу прочитанного. Поделился он и с нами, со мной и Давидом. Он восторгался: «Сен-Жюст по дороге в Конвент зашел в редакцию „Друга народа“ и сказал Марату: „Я терпеть не могу равнодушных“».

У Бродского к Багрицкому отношение было не совсем обычное: смесь зависти, восторга и страстного желания сопротивляться его превосходству. Отсюда, естественно, было недалеко до подражания — с намерением затмить образец. Бродский тоже приступил к чтению истории Французской революции и, уверенный в своей неслыханной, неестественной памяти, заранее ликовал. И вот он возразил Багрицкому:

— Эдя, Сен-Жюст никак не мог зайти к Марату по дороге в Конвент. Вы что-то перепутали. Редакция «Друга народа» помещалась не между Конвентом и квартирой Сен-Жюста, а позади нее. Хотите, я вам нарисую планчик, гы-гы.

Багрицкий вознегодовал. Он был оскорблен. То, что волновало его душу, превращалось у Бродского, по его мнению (он был прав), в некий спортивный азарт. Он ответил раздраженно:

— Вы книжный крот. Вы не знаете жизни. У вас одна забота — сбыть свою халтуру. Вам нет дела до того, что сейчас переживает наша страна, что происходит в партии. Вы не можете отличить сосны от ели, соловья от щегла. Вы один из тех равнодушных, о которых говорил Сен-Жюст. Я терпеть таких не могу.

Бродский не сдавался:

— Эдя, вы сердитесь, потому что ошиблись. Дайте сюда карандаш и бумагу, я начерчу...

Багрицкий еще больше разошелся, так как хорошо знал, что память Бродского не знает поражений. Он приказал:

— Севка, достань ружье и стреляй в этого талмудиста.

Десятилетний вихрастый Севка, узколицый, худенький, ловкий и крепенький, освободил охотничье ружье из чехла. Бродский, большой, тучный, выбежал из избы, но на бегу успел выкрикнуть:

— Эдя, что вы делаете, ваш Севка водится с кунцевским хулиганьем, он взаправду может застрелить!

Отходчивый Багрицкий был доволен, он весело затрясся всем своим полным телом:

— Ось бачте, який боягуз (трус) прийїхав до нас з Одессы...

Небольшое, но, увы, нужное отступление. Я не предполагал, что начну когда-нибудь писать воспоминания, и о примечательных встречах с интересными людьми, с писателями, о забавных происшествиях в наших восточных республиках рассказывал друзьям и знакомым. Некоторые из этих друзей и знакомых опубликовали мои воспоминания как свои собственные. Вряд ли они это делали с недобрый умыслом: просто воспоминания чужие стали им казаться собственными. Это может показаться смешным, но мне почему-то не смешно...

Поэтический вкус Багрицкого был широк. Он умел находить прекрасное не только у великих, но и у второстепенных, например ему нравились некоторые стихотворения Щербины, мейевская «Фринэ», он был в восторге от Бенедиктова. Близки его сердцу были поэты серебряного века, не только Блок, но и Бальмонт, не только Анненский, но и Игорь Северянин. Он упивался многими стихотворениями Клюева. Музыкой восторга дышал голос Багрицкого, когда он читал такие строки Клюева:

Я надену черную рубаху
И вослед за мугным фонарем
По камням двора пойду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

— Семочка, вы понимаете, что только большой поэт мог сказать «с молчаливо-ласковым лицом»? Или также гениальная строка:

Ангел простых человеческих дел...

Свое упоение Багрицкий передал и мне — так случилось не в первый раз. Могли я предвидеть, что познакомлюсь с Клюевым, буду ему читать свои стихи?

Это событие (я не оговорился — событие) произошло в 1931 или 1932 году. Осип Эмильевич Мандельштам мне сказал, что в Москву из Ленинграда приехал Клюев, снял комнату недалеко от Дома Герцена, где жили тогда Мандельштам и Клычков, что Клычков хочет представить Клюеву Павла Васильева, а он, Осип Эмильевич, приведет к Клычкову меня.

С Сергеем Антоновичем Клычковым я был немного знаком цеховым, переводческим знакомством. Я увлекался его прозой — «Чертужинским балакирем», «Сахарным немцем». Стихи его, признаюсь, меня мало трогали, мне даже больше нравились некоторые строки Петра Орешина, поэта гораздо менее самобытного, чем Клычков, например такие:

Или воля
Гольгъбе,
Или в поле —
На столбе.

Мандельштам со мной сердито не соглашался, считал, что я еще не научился разбираться в поэзии, с удовлетворением читал наизусть одно стихотворение Клычкова — я позабыл эти строки.

Клычков был высок, плечист, волосы длинные, цыганского оттенка, лицо волевое, скульптурно вылепленное, умное, необыкновенные, сияющей синевы глаза. Разговаривал жестко, нервно, будь то с редактором переводов или с братом литератором, как бы предчувствуя в каждом из них одного из своих преследователей, объявивших его кулацким поэтом, что можно было бы назвать вздором, если бы не грозило жизни поэта. Предчувствие его не обмануло, он был арестован в 1937 (в 1938?) году и уничтожен.

Говорили, что А. К. Воронский, оказывая ему материальную поддержку, привлекает его к обработке рукописей, которые скрепя сердце вынужден был печатать редактор «Красной нови». Мне известно, что одно нашумевшее произведение пролетарской литературы было «отредактировано», то есть заново написано Всеволодом Ивановым и Сергеем Клычковым.

Хочу заметить одну странность. Окончательно порвав с направлением, начавшимся чуть ли не с Радищева, советская литература считала хорошим тоном ненавидеть не только нэпманов, мелких торговцев, кустарей-ремесленников и других людей труда, но даже такой класс, такую извечную опору страны, как крестьянство. Этот грех лежит и на больших писателях, например на Горьком, и на посредственных. В речи на VI съезде Советов СССР популярный тогда А. Безыменский убеждал: «В настоящее время традиции воспевания всего того отвратительного, что создавало нищету и забитость крестьянина, продолжают кулацкие поэты типа Клюева и Клыčkкова, поэты, которые прикрываются некоторыми напудренными под марксизм критиками¹, поэты, которых я не могу назвать иначе как стихотворными мертвецами. Мы, пролетарские писатели, сыны класса, ведущего за собой миллионы крестьянства, мы объявляем жесточайшую войну кулацким идеологам Расеюшки-Руси. Против Руси — за СССР...»

Объявить Клыčkкова воспевателем нищеты и забитости русского крестьянства могли бы только такие соавторы оратора, которые самое страшное учреждение одной страны наименовали Министерством любви. Никогда ни одной своей строкой не воспел Клычков кулака. Впрочем, если бы и воспел — что в этом плохого? Он любил русских деревенских людей, из среды которых вышел, любил свою «скудную» (выражение Ахматовой) тверскую землю, обожал Русь, ее классическую поэзию, но не ограничивал ее Кольцовым или Суриковым, понимал ее всевропейское значение, которое его восхищало. Ценил, кроме, конечно, Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, Бунина, Ахматову, терпеть не мог футуристов и тех, кто увлеклся версификацией ради версификации. Вот некоторые из его характерных высказываний, иногда очень резких, ставших известными в близкой к нему среде:

«От того, что курица пестра, не значит, что она кладет золотые яйца», «Вся нынешняя поэтическая молодежь — сплошь искусники», «Самое злейшее злодейство в искусстве — стилизация».

...Когда мы пересекли двор и пришли к Клычкову, я понял по устным описаниям, что Клюев уже здесь: в передней висела на вешалке серая поддевка вроде армяка и такая же серая, с отворотами шапка, впоследствии в своем каракулевом виде ставшая модной и названная московскими остряками «Иван Гуревич». Двери нам открыла жена Клыčkкова, молодая (явно моложе мужа), красивая черноволосой монашеской красотой. В светлой, залитой закатным солнцем комнате сидели за столом сам хозяин, рядом с ним — откровенно волнующийся Павел Васильев, напротив — Клюев в вышитой холщовой рубахе, широкоплечий, лысый, больше-лобый, рядом с ним — молодой блондин нашего с Павлом возраста, очень милый, несмотря на то, что лицо его портили возрастные прыщи. Он стал у нас известным, признанным государством художником, Клюев к его простой украинской фамилии прибавил старорусское «яр». Рука Клюева лежала на плече юноши. Помню, что, обращаясь к нему, Клюев начинал со слова «кутенька».

На белоскатертом столе — два графинчика с водкой, на рыбных блюдах — селедка с кругами лука, тут же хлеб, моченые яблоки. Клюев привстал, крепко обнял Манделштама, они троекратно поцеловались, приветливо поздоровался со мной. Среди первых незначущих слов запомнились клюевские:

— Обнищал я в Питере. Сейчас подал прошение в Литфонд о вспомоществовании.

Вот запомнил: не заявление, а прошение.

Я и дальше буду приводить высказывания Клюева, но в сильно обедненном виде. За долгие годы из памяти моей улетучилось богатство клюевского языка.

¹ Явный намек на А. К. Воронского и В. П. Полонского. — С. Л.

Память была недурная, понадеялся на нее, не записывал, содержание слов передаю как будто правильно, но их цвет забыл: картину, увы, не показываю, а пересказываю.

Первым читал Васильев — сперва «Песню о гибели казачьего войска», потом лирику. Успех молодого поэта был огромный.

Клычков:

— Видишь, Алексеич, какой подарок я тебе приготовил.

Мандельштам:

— Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся

Клюев:

— После Есенина — первая моя радость, как у Блока — нечаянная. — И, привстав, поцеловал Васильева.

Потом читать было предложено мне. Конечно, такого успеха, как у Васильева, не было да и не могло быть, по крайней мере тогда, но слушали серьезно и, как мне казалось, с одобрением. Чтение одного стихотворения Клюев прервал похвалой:

— Хорошо срамное-то белье.

Я не помню этого стихотворения, оно было напечатано, кажется, в альманахе «Земля и фабрика», но запомнил ту строфу, где были слова, замеченные Клюевым:

Ты к пруду приближаешься плавно,
Ты стираешь срамное белье,
Ярославна моя, Ярославна,
Соколиное сердце мое.

Прочел я стихотворений десять—двенадцать. Похвалил их и Клычков. Но неожиданно сказал:

— Еврей не может быть русским поэтом. Немецким может, французским может, итальянским или там американским может, а русским — нет, не может.

Пусть читатель, привыкший к нынешним грязным высказываниям озлобленных ничтожеств, не подумает, что Клычков был антисемитом. Он никогда не страдал национальной нетерпимостью. Думаю, что если выразить его мысль наименее простейшим образом, то это надо сделать так: русский писатель не может быть неправославным. И тут пошел разговор, который навсегда врезался в мою память.

Клюев:

— Окстись, Сергунька, рядом с тобой — Мандельштам. (Именно так, через «о».)

Клычков:

— Мандельштам — исключение, люблю Осипа крепко, ценю его, не то что Пастернака, тот — спичечный коробок без спичек.

Клюев:

— Не то говоришь, Сергунька. Вот я написал «Мать-Субботу-Богородицу», а еврей Гейне до меня — «Царицу-Субботу». Я — олонекский, он — из Дюссельдорфа, а Суббота у нас одна. Он писал, что когда умрет, то

Keinen Kadisch wird man Sagen,
Keine Messa wird man singen, —

то есть как иудею не прочтут ему отходную и как католика не отпоют.

Немецкие слова Клюев произносил с невозможным акцентом, но легко, свободно.

— Да и меня как отпоют? И кто? Поп казенный? Я-то ведь древнего благочестия. А кто исходил нашу землю, край родной долготерпенья? Кто понял Русь так, как Он? А ведь был обрезанный, Его Мать, Пресвятая Богородица, была еврейкой, а Он по роду Своему Давидову — псалмопевец. И мы эту работу работаем, по нашим силам, кто как может. И кто как верует.

Вошла женщина (не знаю, кем она доводилась хозяевам), внесла из кухни два чайника, большой и фаянсовый, пирог на блюде. Клюев налил рюмочку кутеньке, а Клычков — всем нам. Пропустив рюмочку, отпив чай из блюдца, Клюев сказал:

— Поэму складываю, «Погорельщину». Медленно складываю, по виршу в день.

Это был плач о русской деревне. Читал он чудесно. Необыкновенная музыка сливалась с необыкновенной живописью. Каждая строка («вирш») жила и сама по себе, и была частью большого, охваченного злым пламенем мира. Сколько лет прошло, а не могу забыть:

Нерукотворную Россию
 Я, песнописец Николай,
 Свидетельствую, братья, вам.

 Я бормотал: «Святая Русь,
 Тебе и каторжной моллюсь!»

Куда-то плыву я на певчем весле.
 Идти к красоте через дебри и топь.

Краски, киноварь с Богородицы
 Прахом веяли у околицы.

Поэма о неслыханной беде русского крестьянства, всей России, поэма, которую однажды в беседе со мной Ахматова назвала великой, была овеяна клюевской давней мечтой о «Белой Индии». Этот, по оплошному выражению Есенина, «ладожский дьячок» (а Твардовский даже отказывал ему в поэтическом даре) мыслил крупно, смело, всемирно. Не случайно рядом с просторечным «овечьего ночлега» и «отдыхом телег» у Клюева соседствуют «Сократ и Будда, Зороастр и Толстой».

Подражатели Клюева (например, одаренный Рубцов) не только не достигают прозрений своего учителя, но и не мыслят дальше своей околицы. А Клюев?

В русском коробе, в эллинской вазе
 Брезжат сполохи — полтосный щит,
 И сапфир самоедского князя
 На халдейском тюрбане горит.

Не помню — до или после чтения «Погорельщины» зашел разговор о философах. Клюев сказал:

— Читал я Кантову «Kritik der reinen Vernunft» («Критику чистого разума»). Ум глубокий, плодоносящий. Не то что Фойербрах. (Так он произнес.) Для него, дурнобашкового, Христос не Богочеловек, а человекобог. Мелок немец.

Не хочу казаться оригинальным, но для меня Клюев не узкодеревенский поэт, верней, не только деревенский, а величайший, после Тютчева, пантеист в русской поэзии. Он учил:

К ушам прикормить бы зиждительный Звук,
 Что вяжет, как нигью, слезинку с луной,
 И скрип колыбели — с пучиной морской.

Его замучили крошечные бесы в дальней, нищей ссылке. Он грешил легким, смешным грешком лицедейства — смазные сапоги и прочие атрибуты «поэта из народа», — грешил и грехом более тяжким, но то было в обыденной жизни, а в поэзии он — ангел простых человеческих дел.

1987.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРМА КУДРОВА

*

ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ

Еще раз о последних днях Марины Цветаевой

Любое самоубийство — тайна, замешанная на непереносимой боли. И редки случаи — если, впрочем, они вообще существуют, — когда предсмертные записки или письма объясняют оставшимся подлинными причины, толкнувшие на непоправимый шаг. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но ключ тайны мы не найдем в одних только внешних событиях. Он всегда на дне сердца, остановленного усилием собственной воли. Внешнему принуждению можно и сопротивляться — и поддаться, на всякое событие можно отреагировать так — или иначе; запасы сопротивляющегося духа могут быть истощены, а могут еще и собраться в решающем усилии. Душевное состояние и состояние духа самоубийцы в роковой момент — вот главное.

Но увидеть изнутри человека в этой предельной ситуации — задача почти невозможная. И уж тем более, когда это касается личности столь незаурядной, как личность Марины Цветаевой.

Все это так. Оговорки необходимы.

А все же наш долг перед памятью великого поэта собрать воедино все подробности и обстоятельства, дабы полнее представить картину трагедии, последний акт которой разыгрался 31 августа 1941 года в маленьком городке Елабуге. Ибо есть в этой картине совсем непрописанные места. Оттого и гуляет так много версий гибели поэта: каждая, по существу, есть попытка утолить беспокойство, которое возникает вокруг всякой тайны.

Что бы ни утверждали иные знатоки, пытающиеся поставить тут точку, всякий раз получается лишь запятая — или многоточие. Загадка Елабуги остается; быть может, она останется навсегда. Так не будем и делать вид, что тут все уже ясно. Хотя бы потому, что есть подозрение: если объявить «елабужский эпизод» в биографии Цветаевой полностью проясненным, это может оказаться на руку тем, кто, возможно, знает о нем больше, чем мы с вами.

Вот почему я вижу смысл в том, чтобы пристальнее взглянуться в последние дни Цветаевой. И обозначить конкретнее неясности, сформулировать вопросы, на которые сегодня мы не можем найти ответов. Тогда со временем они могут найтись. Расчистим же для них место.

Все, кто встречался с Мариной Ивановной в те полтора месяца, которые отделили ее отъезд с сыном из Москвы от начала войны, сходятся в утверждении, что состояние духа ее было крайне напряженным и подавленным. Причин для этого было достаточно и до 22 июня. И все же нападение Германии и стремительное продвижение гитлеровских войск в глубь страны Цветаева, по свидетельству многих, восприняла как глобальную катастрофу с почти преддetermined исходом. Судьба Чехословакии и быстрое падение Франции оставались для нее незажившими ранами сердца. В Праге и Париже жили близкие ей люди и зримо стояли перед ее глазами места, где она радовалась и, тосковала, мучилась над недающей строкой и версту за верстой вышагивала по всем тропинкам и улочкам. Теперь все они — и знакомые лица, и холмистые предместья Праги, и уютные кривые переулки Медона — утонули в тени безумного фюрера. Ей могло иногда казаться — с ее-то отношением к мифу как к закономерности бытия, проступающей сквозь быт, — что ее саму неумолимо настигает цокот копыт того коня со Всадником, от которого некогда тщетно убегал бедный Евгений. Теперь этот цокот был слышен уже в Москве...

В середине июля 1941 года Цветаева проведет двенадцать дней за городом, вблизи Коломенского, на даче у своих литературных друзей. Но с 24-го она снова в Москве. Уже начались регулярные налеты на столицу немецких бомбардировщиков, ежедневно ревут сирены воздушной тревоги; в домоуправлениях формируют отряды, дежурящие на крышах домов во время налетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. Город неузнаваемо преобразился: окна домов перекрещены полосками из газетной бумаги, чтобы не вылетали стекла от воздушной волны при взрывах бомб. На многих перекрестках висят «тарелки»-громкоговорители, по вечерам в небо поднимаются громоздкие глыбы аэростатов.

В эти дни Цветаеву часто встречают в скверике перед «Домом Ростовых» на улице Воровского (бывшей Поварской), где разместилось правление Союза писателей. Тут некогда молодая Марина слушала вдохновенные речи Андрея Белого, выступавшего перед «ничевоками». А теперь здесь толкутся московские литераторы, жадно узнавая друг от друга новости — фронтовые и городские. И настойчивым рефреном то в одной группе, то в другой звучит слово «эвакуация».

Первый эшелон московских литераторов и их семей отбыл из Москвы еще 6 июля. То есть в тот самый день, когда Военная коллегия Верховного суда вынесла смертный приговор мужу Цветаевой.

Теперь составлялись списки тех, кто поедет следующим эшелоном. Ближайший уходил 27-го.

Цветаева спрашивает совета чуть ли не у каждого, с кем она хоть мало-мальски знакома: уезжать или оставаться? А если уезжать, то куда? И с кем? Ей был необходим спутник-поводырь, даже в те далекие тихие дни, когда она приезжала из чешской деревни в Прагу, по делам. Как же было не искать теперь кого-нибудь, с кем можно решиться на то страшное-неведомое, что называлось словом «эвакуация». Слишком хорошо она знала свою непригодность ко всем сферам практической жизни, где надо «устраиваться», терпеливо хлопотать, добиваться.

Между тем в эти дни испытаний около нее нет по-настоящему близкого человека, кто бы за нее мог решить и сделать что нужно. Знакомых много. Но «многие» в таких ситуациях синоним «никого». Ибо нужен один — и совсем рядом. Муру, правда, уже шестнадцать лет, он умен, начитан, но меньше всего пригоден к тому, чтобы стать опорой матери. И в этом она виновата сама, она не дает ему выйти из детства: опекает, как несмышленища, запрещает, разрешает и совершенно теряется, когда он своевольничает. А теперь еще он влюблен и слышать не хочет об отъезде. Вечерами гуляет со своей знакомой девятиклассницей, а во время налетов иногда дежурит на крыше. Эти дежурства — чуть ли не главное, что заставляет Цветаеву торопиться с отъездом: она страшно боится за сына. И как же не бояться? Боялась бы, если бы и вся семья была рядом. Но теперь он остался у нее один.

Пастернак почти все время под Москвой, в Переделкине; Танечка Кванина, преданная, добрая, милая (Цветаева с ней сблизилась в Голицыне), не появлялась уже больше месяца. Ей нельзя даже и позвонить: у нее нет телефона. Николай Вильмонт ушел в ополчение, Тарасенков на фронте с первой недели войны. Авторитет же новых знакомых в тех проблемах, какие теперь надо решать, для Цветаевой неубедителен. Она не слишком доверяет даже искренне преданному ей молодому поэту Ярополку Семенову — слишком случайно и внезапно он появился на ее горизонте. «Почему он ко мне так хорошо относится? — спрашивает она у Алиной подруги Нины Гордон. — А может быть, он из НКВД?»¹

Нине Гордон, как и Самуилу Гуревичу, мужу Али, Цветаева несомненно доверяет. Вместе с сестрой Сергея Яковлевича Елизаветой Яковлевной это самые близкие ей люди. Но у них у всех свои беды, хлопоты, службы. Да еще и телефоны не работают как раз тогда, когда надо принимать быстрое решение.

Соседка Цветаевой по квартире на Покровском бульваре — не та, которая враждовала с Мариной Ивановной, другая: Ида Шукст, тогда еще ученица десятого класса, дочь уехавшего на Север инженера, — вспоминала, как однажды во время воздушной тревоги она оказалась в бомбоубежище своего дома. Рядом сидела Марина Ивановна — закаменевшая, как изваяние, прямая, с руками словно приклеенными к коленям, с немигающим взглядом, устремленным перед собой. Ида совершенно не могла на нее смотреть, так было это тяжело, и постаралась больше не ходить в убежище вместе. Но постоянное внутреннее напряжение было заметно

¹ «Воспоминания о Марине Цветаевой». М. «Советский писатель». 1992, стр. 447. В дальнейшем данное издание обозначено: «Воспоминания».

в Цветаевой и в относительно спокойные дни. Она была как перетянутая струна, вспоминала И. Б. Шукст-Игнатова; опасно было любое неосторожное прикосновение. «Видно было, что она все время сдерживалась, нервное истощение ее было на пределе». И не было никакой разрядки этого напряжения. К ней приходили, но нечасто. И во всяком случае, Ида не запомнила ни одной женщины. А значит, не с кем было хотя бы на время расслабиться, сбросить душевную тяжесть: «...все было в себе, все за внутренней решеткой, и оттого нервный срыв был всегда рядом...»²

Цветаева с сыном уедет из Москвы 8 августа.

В самый канун отъезда она посетила Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад, в августе 1940 года. Достоверных сведений о том, как именно прошла последняя встреча этих людей, некогда связанных близкой дружбой, у нас нет; есть не слишком достоверные. О свидании рассказывает со слов Мура в своей книге «Париж — Гулаг — Париж» Дмитрий Сеземан, сын А. Н. Клепининой, мемуарист, увы, слишком пристрастный, чтобы верить ему безоговорочно. Однако других источников нет, и остается надеяться, что хотя бы общая тональность этой встречи не искажена слишком сильно. Сеземан пишет: «Марина стала Эренбурга горько упрекать: «Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?» Что же ей отвечал Эренбург? Мур мне это рассказывал на перроне Ташкентского вокзала, где часами стоял эшелон эвакуированного Московского университета. Рассказывал своим обычным ироническим, даже саркастическим тоном, далеким от какой бы то ни было моральной оценки... Так вот, Эренбург ответил Цветаевой так: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего...» Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. «Вы негодайте», — сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Всегда трудно верить в точность диалогов, которые воспроизводятся по памяти, да еще спустя несколько десятков лет, да еще через третье-четвертое лицо. Встреча Эренбурга с Цветаевой наверняка не исчерпывалась диалогом такого рода. Ибо если иметь в виду дату встречи, то ясно, что Марина Ивановна приходила уже не для упреков, а скорее всего с главным своим вопросом этих дней: эвакуироваться ли? И куда лучше? с кем? Но возможно, что она попыталась «задействовать» Илью Григорьевича в прояснении судьбы мужа. Ведь для Цветаевой оставалось неясным, где он теперь, как решалась его судьба. Решилась ли? Раз она уезжала из Москвы, было непонятно, как дальше можно будет узнавать о Сергее Яковлевиче

О судебном заседании, вынесшем 6 июля смертный приговор Эфрону, по порядкам тех лет, семье ничего не было сообщено.

Канун отъезда из Москвы описан в воспоминаниях Н. П. Гордон. Решение уезжать именно 8-го, с очередным писательским «эшелоном», выглядит в этих воспоминаниях внезапным, принятым впопыхах, в состоянии крайнего нервного возбуждения: «И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая... <...> Очень помню ее глаза в этот день (7 августа, в канун отъезда. — И. К.) — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим»³. Из этого описания очевидно скорее другое: принимая решение ехать 8 августа, Цветаева не советовалась ни с Ниной Гордон, ни с мужем Али, несмотря на все к ним доверие. Они оба, придя к Марине Ивановне в этот канунный вечер, пытаются уговорить ее остаться, не спешить, хорошенько подготовиться и собраться, уехать она еще успеет Цветаева как будто соглашается...

Но наутро все же уезжает. А на пристань ее с Муром приходят проводить Пастернак, Лидия Либединская, Лев Бруни! Значит, Марина Ивановна нашла время позвонить им, известить. И отъезд не был таким уж внезапным, решенным прямо в ночь на 8-е. Известно, что ранним утром к дому на Покровском бульваре подъехал грузовик Литфонда, забиравший вещи отъезжавших. Запись на этот грузовик велась заранее... Эта деталь лишней раз дает почувствовать страшнейшее одиночество Цветаевой в час пиковых испытаний.

Итак, 8 августа — отплытие из Москвы, с речного вокзала, на пароходе «Александр Пирогов». В Казани пересадка на другой пароход, который пойдет уже

² Беседа с Идеей Брониславовной Шукст-Игнатовой. Записана Е. И. Лубянской 6 октября 1982 года. Архив Е. И. Лубянской.

³ «Воспоминания», стр. 449.

по Каме. В Елабуге Цветаева опустит в почтовый ящик открыточку, адресованную в Союз писателей Татарии. В открытке — просьба помочь перебраться в Казань из Елабуги, Союз писателей Татарии мог бы использовать ее как переводчицу. При этом Марина Ивановна упоминает, что у нее есть рекомендательное письмо директора Гослитиздата П. И. Чагина. Даже два его письма — и в Союз писателей, и в Татарское издательство! И эта деталь тоже не слишком согласуется с версией о паническом внезапном отъезде Цветаевой. Значит, и маршрут следования парохода она знала хорошо и с Чагиным советовалась и даже заручилась его поддержкой. «Нервная, резкая, быстрая...» — пишет Гордон. Но на то были и совершенно естественные причины: сборы, канун отъезда! Да и грубых слов сына было бы для этого достаточно, ведь Мур сопротивлялся отъезду до последнего момента...

Дорога в Елабугу заняла десять дней. Долгий срок, когда жизненное пространство ограничено территорией парохода. За это время Цветаева перезнакомилась со многими писательскими женами. Некоторые из тех, с кем она успела немного сблизиться за время пути, сошли в Чистополе — городке, ставшем одним из центров эвакуации писательских семейств. Однако он был уже переполнен, и теперь московский Литфонд отправлял новые эшелоны дальше, в Елабугу, а в Чистополе имели право сойти только те, у кого здесь уже жили родственники.

Обратим внимание всего на один эпизод дальнейшего пути Цветаевой.

На пароходе появилась новая пассажирка — о ней запишет в своем дневнике Мур. Это Флора Лейтес. Она уже несколько недель прожила в Чистополе и теперь едет в Берсут, что по дороге в Елабугу, дабы забрать оттуда писательских детей, отдохнувших в пионерлагере, и привезти их в тот же Чистополь. И вот почти всю, правда недолгую, дорогу до Берсуга Флора проведет в беседе с Мариной Ивановной. Беседа оказалась настолько сердечной и доверительной, что по окончании Флора дала Цветаевой свой чистопольский адрес и обещала помощь, если Марина Ивановна решит добиваться перевода из Елабуги.

В Берсуге Флора сошла. А у Цветаевой оставался отрезок пути до Елабуги, чтобы обдумать услышанное. Флора решительно поддерживала мысль не оставаться в Елабуге. Ее информация о Чистополе была уже, что называется, из первых рук. И наверняка она рассказала о том, что в городе действует общественный Совет эвакуированных при Союзе московских писателей и он помогает приезжим в устройстве; что там живет не только поэт Николай Асеев, с которым Цветаева была чуть ли не дружна, но и семьи Пастернака, Сельвинского, Федина, Леонова, Тренева. Что в писательской среде, где у Марины Ивановны все же немало знакомых, ей будет легче, чем там, где она всем чужая...

Этот дорожный эпизод достаточно объясняет тот странный на первый взгляд факт, что уже на следующий день после прибытия в Елабугу Цветаева отправляет телеграмму Флоре с просьбой начать хлопоты. Решение, похоже, было принято еще на подъезде к Елабуге. Белкина в своей книге высказывает другое объяснение — она считает, что Цветаеву испугал сам вид маленького захолустного городка: «сраженная Елабугой», пишет Белкина, Марина Ивановна поспешила дать телеграмму⁴. Впрочем, одно не исключает другого, скорее дополняет.

Ничто не мешает нам предложить и еще одно объяснение этой поспешности. Мистическое. Настаивать на нем я не буду. Но для меня вполне реально предположить, что в состоянии того крайнего внутреннего напряжения, которое не оставляло Цветаеву уже несколько недель подряд, она могла ощутить, едва ступив на елабужскую землю, толчок в сердце. Необъяснимый толчок страха. А может быть, и больше — ужаса.

Ибо она ступила на землю, в которой тело ее спустя всего две недели будет погребено...

Так или иначе, 17 августа пароход причалил к Елабуге. 18-го отправлена телеграмма Флоре Лейтес.

Я увидела Елабугу впервые спустя более чем полвека после той трагической осени. С 1951 года город сильно разросся: в его окрестностях были обнаружены нефтяные месторождения. В восточной части Елабуги появился совсем новый район, застроенный стандартными домами. Но старый центр города хорошо сохра-

⁴ М а р и я Б е л к и н а. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств. Издание второе, дополненное. М. «Благовест», «Рудомино». 1992, стр. 311. В дальнейшем данное издание обозначено: Белкина.

Важная оговорка: и знакомство с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги (см. ниже), — результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае — лишь попытка выявить внутреннюю логику фактов.

нил свой облик. Конечно, с поправками на неизбежные вкрапления и архитектурные новшества советских лет. Но их, слава Богу, немного. Посреди центральной площади и до сих пор возвышается монумент величественного Ильича; продолжают носить советские имена улицы Ленина и Дзержинского, есть и Коммунистическая. Но одна из центральных улиц недавно все же получила старое имя — Казанской; только на дальнем ее конце еще не успели сменить вывески: долгие годы подряд это была улица Карла Маркса.

Центр старого города можно не спеша обойти за час-другой. Все дома, которые я здесь искала, оказывались рядом — чуть подалее или чуть поближе: здание Библиотечного училища, где сначала разместили москвичей, приехавших вместе с Цветаевой; здание бывшего горсовета, где эвакуированным помогли отыскать жилье и работу; здание детской библиотеки, куда, как я узнала, Марина Ивановна приходила два или три раза...

Только на двух-трех центральных улицах старого города можно увидеть двухэтажные уютные каменные особнячки, любовно, со вкусом выстроенные в прошлом веке елабужскими купцами и заводчиками. Но сделайте два шага от старого центра — и вот уже царство одноэтажных бревенчатых домов, иногда обшитых ярко выкрашенной вагонкой, иногда украшенных резными наличниками на окнах и причудливой резьбой на воротах. Повсюду за заборами отяжелевшие ветви яблонь: я приехала как раз в августе — только что отошел «яблочный Спас». Хозяйки торговали яблоками чуть ли не у каждого магазина, расположившись совсем подомашнему на лавочках и приступочках. Впрочем, в ту осень, когда сюда приехала Цветаева, урожай яблоч, вспоминают старики, совсем не было — чуть ли не все яблони в предыдущую («финскую») зиму повымерзли. Не было тогда и асфальта на улицах. В осеннюю непогоду туфли вязли в грязи, ходить можно было только в сапогах...

Улочка, на которой стоит дом с мемориальной доской, напоминающей, что именно здесь жила в августе 1941 года Марина Цветаева, тоже обрела старое имя. Теперь она уже не Ворошилова, как тогда, в годы войны, и не Жданова, как это было позднее, — она называется Малой Покровской. С Покровского бульвара в Москве — на Малую Покровскую в Елабугу! Но не прошло, видно, бесследно переименование. Не укрыл, не охранил Покров Божьей Матери. И не так уж случайно, наверное, что и на этой улочке, как раз в той ее части, которая примыкает к восстановленному теперь храму, тоже еще можно увидеть крепкие, будто совсем недавно подновленные таблички: «улица Жданова». Прошлые, как репейник, цепляются за прежние опоры.

На сегодняшний день существуют три главных версии самоубийства Марины Цветаевой.

Первая принята сестрой поэта Анастасией Цветаевой — и тиражирована в многократных переизданиях ее «Воспоминаний». Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или по крайней мере облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что она сама уже не может ему помочь, более того — мешая прилипшей репутацией «белогвардейки», она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру без нее скорее помогут. Особенно если она уйдет так.

Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной стороны, считает она, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина вносит еще один мотив; он назван не слишком прямо, но проведен с достаточным нажимом. Это мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встречи — и в этом как плюсы, так и минусы ее свидетельства. «Она там уже в Москве потеряла волю, — читаем мы в книге «Скрещение судеб», — не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже *самоуправляема*... И внешне она уже изменилась там в Москве, когда я ее увидела в дни бомбежек, она осунулась, постарела, была, как я уже говорила, крайне растерянной, и глаза блуждали, и папирота в руке подрагивала...»⁵

В этом свете последний шаг Цветаевой предстает как закономерный, неотвратимый. Это шаг больного человека...

Наконец, в последние годы появилась третья версия гибели поэта. В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД. Автор версии — Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги «Охотник вверх ногами», изданной первоначально во Франкфурте-на-Майне в 1980 году, а теперь и у нас.

⁵ Белкина, стр. 320.

В Москве эта книга, написанная на автобиографическом материале, появилась в 80-х годах. Как и другая продукция «тамиздата», она ходила в кругах диссидентских и околодиссидентских, и заполучить ее в руки мне, наезжавшей в столицу из Ленинграда всегда на короткое время, долго не удавалось. Но эпизод из книги, касающийся Цветаевой, достаточно подробно пересказал мне мой московский друг Лев Левицкий. В пересказе эпизод показался мало правдоподобным. В частности, еще и потому, что он слишком уж вписывался в модное поветрие: искать везде и всюду руку НКВД. Тем более что аргументации, насколько я поняла, не было никакой. Сведения покоились на авторитете некоего Маклярского. Его имя мне тогда ни о чем не говорило. Как и имя самого Хенкина.

В спецхранах ленинградских и московских библиотек «Охотника...» не оказалось, и прошло немало лет, пока я смогла сама прочесть книгу. Сюжет, который мне пересказывали, занял там всего шесть небольших страничек; я прочла их, и они снова показались мне легковесными. Сама авторская стилистика разрушала возможность чрезмерного доверия. Ибо Хенкин избрал манеру полубеллетристическую, он постоянно домысливал мотивацию поступков — за Цветаеву, за Пастернака, за Асеева. И что ни фраза — мимо! Либо очевидное упрощение, оглупление — как личности, так и обстоятельств, — либо натяжка, либо явное незнание фактов. Прочитую наиболее значимый отрывок:

«Но я еще тогда (зимой 1941 года. — *И. К.*) узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью.

Историю эту я слышал от Маклярского. <...>

Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать».

Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа — значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут лнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда «выявить врагов», то есть сострять дело. А может быть, пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с «органами». Не знаю. <...>

Ей предложили доносительство.

Она ждала, что Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений. <...> боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, — может быть, и Асеев — боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что каждый сам должен решать — сотрудничать ему или не сотрудничать с «органами», что это <...> дело политической зрелости и патриотизма⁶.

Фадеева тогда в Чистополе не было; соображение, «что могли сказать», звучит по крайней мере неубедительно. Когда достоверное столь растворено в домысле, делать с этим нечего. Таким свидетельством, в сущности, можно было бы пренебречь. Но слишком важного момента оно касается...

Так или иначе, перед нами — третья версия, перед которой прежние тускнеют и отступают на задний план.

Версия представлялась шаткой со многих точек зрения. Казалось, как можно было зимой 1941 года в Москве узнать о том, что произошло в далекой Елабуге в сильно засекреченном ведомстве за семью замками? И кто это в то время так уж интересовался в столице судьбой Цветаевой, кроме самого узкого круга людей, ее лично знавших? Репутацию великого поэта она обрела только лет сорок спустя...

Однако, когда конкретнее обрисовался облик обоих участников того зимнего разговора, сомнения мои стали терять прочность. Вновь появившиеся мемуары и документы подтвердили близость Хенкина к семье Цветаевой еще во Франции. В дневнике сына Цветаевой, как выяснилось, зафиксировано известие о приезде Хенкиных в СССР (запись 28 февраля 1941 года). А в одном из недавно обнаруженных писем Ариадны Эфрон оказалась характеристика Е. А. Нелидовой-Хенкиной (матери автора книги) как человека, хорошо знакомого с подробностями тайной работы Сергея Эфрона в советской разведке. И из того же «Охотника...» нам теперь известно, что как раз с подачи Эфрона сам автор книги в конце концов влился в ряды сотрудников НКВД. Зимой сорок первого года Хенкин уже служил в Четвертом управлении. И непосредственным его начальником был не кто иной, как Михаил Борисович Маклярский!

⁶ К и р и л л Х е н к и н. Охотник вверх ногами. М. «Терра — Terra». 1991, стр. 49—50.

Круг специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского включал как раз деятелей советской литературы и искусства — в предвоенные и военные годы. Позже, когда война закончилась, на первый план выступила (и нашла отражение в советской киноэнциклопедии) другая сторона деятельности полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко известны: «Подвиг разведчика» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Заговор послов» (1966) и другие, той же направленности. В 1960 году он уже возглавил Высшие сценарные курсы... И теперь еще многие москвичи из кругов кино-литературных хорошо помнят Михаила Борисовича (он умер в 1978 году) и даже утверждают, что прямые его связи с НКВД—КГБ были широко известны.

Но если таков был род занятий Маклярского, то он просто не мог не знать о недавно вернувшейся из эмиграции поэтессе, у которой к тому же были арестованы к началу войны и сестра, и муж, и дочь. Известие о ее трагической кончине не могло не дойти до него по вполне естественным каналам. Ибо Цветаева оказывалась, таким образом, в кругу его «подопечных».

Взятое в совокупности, все это уже не оставляет возможности биографу поэта игнорировать версию Хенкина как вольный домысел на модную тему. Между тем до сих пор эта версия никем всерьез не рассмотрена — в лучшем случае она мельком упоминается. Не потому ли, что проверить, подтвердить ее каким-то документом или по крайней мере дополнительным свидетельством затруднительно? Поиски досье на Цветаеву упираются в глухую стену. По логике вещей, его не могло не быть. Однако елабужское НКВД отвечает, что архивы военного времени надо искать в Казани. Казань отрицает: у них ничего нет. Москва ссылается на Казань — ответы, впрочем, туманные. Отчаявшись найти концы, я пытаюсь узнать у людей осведомленных — сотрудников архива КГБ: если бы все же досье нашлось, можно ли быть уверенным, что в нем сохранились следы вербовки, то бишь «приглашения к сотрудничеству»? Оказывается, совсем необязательно. Особенно если согласие вербуемого не было получено. Зачем оставлять следы плохой работы?..

Так мы оказываемся наедине с возможностью либо доверять, либо не доверять рассказу Хенкина. Ведь остается и вероятность выдумки со стороны Маклярского, ну, скажем, чтобы придать веса своей осведомленностью в глазах низшего чина. И возможность простого «предположения», воспринятого Хенкиным как достоверная информация.

Однако по существу своему ничего невероятного в высказанной версии тоже нет. Известно, что и Ариадне Эфрон было сделано то же предложение в лагере. В органах существовал свой производственный план по вербовке сексотов среди населения; это называлось «профилактической работой». И чтобы «беседовать» с Цветаевой в означенном духе, елабужским чекистам не нужно было даже ждать прибытия из Москвы ведомственной почты с личными досье. Несомненно, что все необходимое было переслано и в Чистополь и в Елабугу отделом кадров Союза писателей прямо с кем-то из приехавших.

Представим. В елабужском НКВД царит тоска и провинциальная плесень. И вдруг такая удача: прибывает бывшая белоэмигрантка (именно этот термин бытовал в те годы!), у которой сидит вся семья да плюс к тому муж воевал в Белой армии. И имеется сын — единственный из семьи, оставшийся рядом. Такая уязвимость — находка. Широкий простор для увещеваний, угроз и шантажа.

Мне приходилось, правда, слышать возражения: да зачем она была им нужна? За кем следить? На кого доносить? Что могла сообщить полезного?

Но Учреждение, о котором идет речь, никогда не вписывалось в пределы разумности и логики. А значит, ответов может быть множество. И «производственный план». И любопытство. И желание припутнуть, лишний раз получая удовольствие от сознания вседозволенности. И прямое указание из Москвы. И просто: почему бы нет? Биография уж очень подходящая.

Наше затруднение не в подборе подходящих мотивов. Оно в роковой обреченности на отсутствие документальных доказательств. Единственное, что остается добросовестному биографу, — иметь в виду реальную возможность этой версии. И соотносить с ней уже известные факты и новые свидетельства.

Это я и попробую сделать.

В хронике последних двенадцати дней жизни Марины Цветаевой (от высадки на пристани «Елабуга» до трагического дня 31 августа) далеко не все прояснено. Даже в книге Белкиной, опирающейся на множество опрошенных свидетелей,

остаются еще противоречия и недосказанности. Некоторые Белкина отмечает сама, правда, слишком мельком. И вот пример.

На что жить, когда кончатся вывезенные из Москвы съестные запасы и будут проедены взятые с собой вещи? Где и как зарабатывать? Это, кажется, одна из главных точек беспокойства Цветаевой, мучившего ее уже на пароходе, до прибытия в Елабугу. Однако по приезде, если верить письму-воспоминанию Т. С. Сикорской (приведенному Белкиной), Марина Ивановна идти в горсовет и искать работу отказывалась: «„Не умею работать. Если поступлю — сейчас же все перепугаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепугаю со страху“». Ее особенно пугала, — продолжает Сикорская, — мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе...»⁷

Этому утверждению противоречат сведения, которыми мы располагаем сегодня. Цветаева искала работу в Елабуге, и весьма энергично! По свидетельству хозяйки дома А. И. Бродельщиковой, Марины Ивановны почти никогда не было дома. И вместе с тем известно, что не один раз она заходила в районный отдел народного образования, предлагала свои услуги в Педагогическом институте, два или три раза была в елабужской детской библиотеке на Тойминской улице, но книг не брала, сына с собой не приводила, а всякий раз уединялась с заведующей библиотекой в ее кабинетике — не для того ли, в частности, чтобы узнать о возможности устроиться на работу? Конечно, ей приходилось постоянно подавлять страх, едва дело доходило до предъявления паспорта и заполнения анкет. Возможно, что где-то до этого дело дошло, иначе почему же в городке так широко знали о том, что она приехала из-за границы и что муж ее был в Белой армии? Уж конечно, сама она об этом без необходимости не распространялась...

В одном месте ей сразу отказывали, в другом она отказывалась сама, узнав условия и характер работы и понимая, что не справится. Свою непригодность к «чистой» канцелярской работе она действительно знала еще со времен гражданской войны, когда в 1919 году ей пришлось несколько месяцев прослужить в Комитете по делам национальностей. Она сама об этом рассказала в мемуарном очерке «Мои службы». И еще она знала, что совершенно неспособна быть, скажем, воспитательницей в детском саду. Это тоже не требует пояснений — достаточно вспомнить стрессовое состояние Марины Ивановны в эти недели.

Но вот противоречие в чистом виде. Сикорская пишет: «Все уговоры пойти в горсовет не помогли...» Между тем в дневнике Мура есть запись о том, что Цветаева в горсовете была.

Может быть, это означает только то, что Цветаева не пошла туда вместе с Сикорской? Пошла одна, без нее? Это возможно. Хотя в прежние времена она всегда кого-нибудь просила, чтобы ее сопровождали, тем более в незнакомом городе...

Это не все. Упомянув запись Мура, Белкина не приводит ее полностью. Между тем запись странная и важная. Увы, и я знаю ее лишь в выписке, выжимке. Вполне достоверной, впрочем. И одна деталь там крайне интересна. В записи сына Цветаевой сказано, что в этот день (20 августа) Марина Ивановна была в горсовете и работы там для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД.

Нотабене! В первый и последний раз аббревиатура НКВД появилась в елабужском дневнике Мура!

Мельком, без пояснений.

Место переводчицы — ведь это предел мечтаний Цветаевой. Решение всех проблем! Чего тогда еще искать и зачем?

Но вот странность: в горсовете не могли предлагать работу в НКВД! Это просто исключено. Подбор кадров для себя это серьезное Учреждение никому и никогда не доверяло. В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая как раз в годы войны такую работу и получила: она была переводчицей с немецкого в елабужском лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и вполне вероятно, что осенью сорок первого к его открытию уже начинали готовиться, подбирали штат. Но Тамару Михайловну Гребенщикову на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии! Она это помнит твердо. И подтверждает: горсовет не имел никакого отношения к подбору сотрудников такого рода...

Что же остается предположить? Ведь и отмахнуться нельзя от этой странной записи: перед нами не воспоминание, отделенное от упоминаемых событий боль-

⁷ Белкина, стр. 307.

шим или меньшим временем, когда что-то может сместиться в памяти. Мур делает запись в тот же день!

Не была ли Цветаева утром этого дня в другом месте? Вовсе не в горсовете, а в елабужском НКВД? Не потому ли и пошла она туда одна, без сопровождающих?

Но зачем? По вызову? Так быстро сработавшему? Ведь группа из московского Литфонда прибыла в Елабугу всего два дня назад! Они еще даже не расселены по квартирам и живут все вместе в помещении Библиотечного училища. Такая оперативность кажется маловероятной: не по-советски. Хотя все же не исключено.

А не могла ли Цветаева пойти в это Учреждение по собственной инициативе, без всякого вызова? Например, потому, что она все еще ничего не знала о судьбе мужа. Еще в мае из НКВД затребовали для него вещи; естественно было предположить, что Сергея Яковлевича готовят наконец к отправке по этапу. Где он теперь? Если отправлен, необходимо, во-первых, узнать его адрес для писем, во-вторых, сообщить свой собственный — новый, елабужский. С другой стороны, идти добровольно в то самое Учреждение, когда ее все полтора года не отпускал страх ареста... Да, но ведь в Москве она ходила! И даже дважды в месяц — с передачами и за справками.

Так или иначе, запись в дневнике Мура крайне важна: при всей ее невнятности она неожиданно подкрепляет версию Хенкина. Мур, правда, пишет о горсовете. Но не потому ли, что Цветаева даже сыну не стала говорить правды? По крайней мере всей правды. Особенно если в самом деле там предложили «сотрудничество» — в обмен за помощь в устройстве на работу. А если бы даже Марина Ивановна сказала сыну всю правду, естествен вопрос, стал ли бы он записывать ее — черным по белому — в свой дневник. Сомнительно.

Я все же, впрочем, думаю (если принять версию Хенкина), что рассказано это не было. Иначе как-нибудь просочилось бы позже, например, через такого близкого Муру человека, как Дмитрий Сеземан. Можно было бы догадаться и по каким-то подробностям, интонациям, характеру записей и писем Мура. Мне не удалось, однако, найти в них ни малейшей зацепки для такого рода предположений.

Поездка в Елабугу прошлой осенью осторожные предположения превратила почти в полную уверенность.

Начну с того, что в разговоре со мной теперешний начальник Елабужского КГБ Баталов и старший оперуполномоченный капитан Тунгусков, когда я напрямую задала им свои вопросы, высказались совершенно однозначно: «беседа» такого рода с Цветаевой в том далеком августе представляется им более чем реальной. Нет, документальных подтверждений в их распоряжении нет. Но практика тех лет такому предположению совершенно не противоречит. А разве, спросила я, анкетные данные Цветаевой не исключали ее из числа возможных «сотрудников», пусть даже и секретных? Ведь естественнее, кажется, за ней самой наблюдать, а не поручать ей, чтобы она следила за другими? Насколько я поняла из ответа, и то и другое вполне совместимо.

Еще более весомыми оказались воспоминания старых елабужан. Правда, и они чаще всего говорили об общей практике тех лет, о царившей в городе атмосфере, а не прямо о случае с Цветаевой. Но когда бывшая учительница математики, работавшая в одной из известных школ города, рассказывала мне о том, как елабужское НКВД пыталось вербовать ее в сексоты, я слушала ее историю отнюдь не как сторонний материал. Анну Николаевну Замореву настоятельно призывали последить за другим учителем, приехавшим в начале войны из Бологого, — Германом Францевичем Диком. Рекомендовали записывать, с кем он общается, что именно говорит... Рассказала Анна Николаевна и о том, как умели мстить за непокорство. Нет сомнения, что то был не единичный случай в Елабуге. Провинциальный городок наспигован был стукачами не хуже городов столичных. Как и там, шквал арестов сильнее всего здесь прошелся в тридцать седьмом — тридцать восьмом. Лучшие люди города один за другим исчезали тогда в лагерях ГУЛАГа. Немногие вернувшиеся шепотом рассказывали самым близким о том, что увидели и пережили в тюрьмах и лагерях.

Но нашлись и те, кому довелось-таки видеть и запомнить саму Марину Ивановну и ее сына. Таких, правда, оказалось уже немного, и рассказы их были отрывочны и лаконичны. Больше всего меня поразил один повтор, тем более достоверный, что слышала я его от разных людей, не знавших друг друга.

Тамара Петровна Краснова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, сообразила много лет спустя, когда ей в руки

попалась книга с портретом Марины Ивановны: «Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!» А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий и говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился — он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был особенный глаз на такие подробности — она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа, потому надолго и запомнилась. А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.

Вот этот повтор: лицо измученное! Будто сговорились. Вспоминали разные подробности — одежду ее, фартук, в котором ее видели на улице, суровость, с какой проходила она мимо молодой библиотекарши в кабинет заведующей. И всякий раз неукоснительно: «Лицо у нее такое было... будто сожженное... замученное».

Еще один елабужский старожил засвидетельствовал личное знакомство — но уже не с Мариной Ивановной, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся. Мой собеседник Николай Владимирович Леонтьев хорошо помнил содержание этой инструкции. В ней давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Н. В. Леонтьев по долгу службы, ибо возглавлял в елабужском горкоме партии отдел пропаганды и агитации, кажется, так это тогда называлось... Правда, не во время войны, а вскоре после ее окончания. Однако инструкция — это совершенно ясно — сохранила дух, нисколько, по-видимому, не изменившийся с того времени, как в Елабугу прибыла 17 августа 1941 года великая русская поэтесса.

— Кем был составлен этот циркуляр, — задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, — елабужскими властями или казанскими?

Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать! Однако когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, моя наивность испаряется: очевидно, что елабужским властям самим такого просто не придумать.

Характеристика, без сомнения, составлена была в самых высших компетентных органах, то бишь в московском НКВД. Она представляла Цветаеву как матерого врага советского власти (именно эти слова!). Как человека не только настроенного против советского строя, но и активно боровшегося с этим строем еще там, «за кордоном». Печаталась в белогвардейских журналах и газетах, входила в белогвардейские организации... И так далее в том же духе. Короче, человек не только чуждый социалистическому обществу, но и опасный для него.

Леонтьев не хотел ничего прибавлять из того, о чем он узнал много позже. Так, он решительно утверждал, что о муже Цветаевой в том циркуляре ничего не было сказано. Видимо, для захолустной Елабуги излишние сведения были не нужны: ведь сам Эфрон здесь появиться не мог...

Через руки моего собеседника прошли многие циркуляры тех лет: он помнит списки книг, подлежащих уничтожению во всех библиотеках города, включая самые маленькие; помнит инструкции о портретах членов Политбюро — какие следовало, а какие не следовало нести на Первомайской демонстрации...

Наконец, сопоставляю все услышанное в те дни с уникальной публикацией, появившейся в 1993 году в журнале «Родина» (№ 4). Ее автору удалось-таки познакомиться с досье другого гостя Елабуги — С. Я. Лемешева. Прославленный певец появился в городе спустя несколько месяцев после гибели Цветаевой, и он провел здесь два месяца, с конца мая по июль 1942 года. Документы, обнародованные А. Литвиным, доказательно опровергают представление о российской глубинке как о месте, где легко было схорониться от настойчивых преследований Учреждения. Выясняется, что прямо вслед за Лемешевым и его женой из Москвы в Казань, а из Казани в Елабугу на имя старшего лейтенанта ГБ Козунова, начальника отделения НКВД в городе, последовал строжайший циркуляр. Он предписывал установить неусыпный контроль за каждым шагом знаменитого тенора и его жены, ибо они «разрабатывались», на языке НКВД, как предполагаемые шпионы. Досье заполнено сведениями о вербовке соседей Лемешева, знакомых его знакомых, а также усердными донесениями последних... И похоже, что единственным основанием всего была... немецкая фамилия жены певца!

Но вернемся к хронологии дальнейших дней в Елабуге. На следующий же день после визита в «горсовет» Цветаевы поселяются в доме Бродельщиковых на улице Ворошилова. Это одноэтажный бревенчатый дом, каких множество в Елабуге.

За помощь «свыше» принять это никак нельзя, настолько жалка здесь крошечная комнатка, в которой поселяются мать и сын. В комнатке всего метров шесть, перегородка, отделяющая комнатку от хозяйской горницы, не доходит до потолка, вместо двери — занавеска. Согласиться на это убожество можно было разве что от невыносимой усталости — или при уверенности, что жить здесь придется совсем недолго.

Еще день спустя, то есть 22-го, в том же дневнике Мура запись: решено, что Цветаева поедет в Чистополь. Одна, без вещей и сына. Цель поездки подробно не обозначена, но понятна: ответа от Флоры Лейтес все еще нет и необходимо разузнать, можно ли туда, в Чистополь, переехать. Мотивы понятные, единственная опять-таки странность — в спешке. Прошло всего три дня после отправления телеграммы! Идет всего лишь пятый день пребывания в Елабуге! Почему не подождать ответа еще немного?

Но 24-го Цветаева уже отплывает на пароходе в Чистополь.

Задержимся, однако, в Елабуге еще на некоторое время.

Спустя полвека после гибели Цветаевой на вечер, посвященном ее памяти, в 1991 году, неожиданно обнаружился еще один очевидец тех давних лет. Он назвал себя Алексеем Ивановичем Сизовым. В начале войны молодым пареньком он преподавал физику и воевал в елабужском педучилище. И встретил однажды, в конце лета 1941 года — занятия еще не начинались, во дворе училища женщину с усталым, измученным лицом. Она спросила его, местный ли он, и, услышав утвердительный ответ, попросила помочь найти комнату для нее и ее сына. Сизов понял, что перед ним эвакуированные, и посоветовал обратиться в горсовет — там занимались расселением приехавших. Но женщина ответила: «У нас уже есть комната, но я бы хотела переехать. С хозяйкой мы не поладили...» Узнав, где именно поселилась приезжая и кто ее хозяйка, Сизов подумал про себя, что с Анастасией Ивановной Бродельщиковой и в самом деле поладить непросто — характер у нее жесткий. Алексей Иванович это знал, потому что не раз рыбачил с ее мужем и в дом к ним был вхож. Из дальнейшего разговора выяснилось, что женщина — писательница, и тут Сизов вспомнил, что уже слышал о ней. Она приходила в училище устраиваться на работу. Только биография у нее была неподходящая: из белоэмигрантов, «чуждый элемент» — так тогда говорили. И ее не взяли, хотя места были.

Алексей Иванович стал расспрашивать женщину, не она ли была за границей и с кем она там встречалась из писателей, наших и французских. Они поговорили немного. И в конце концов Сизов обещал поискать жилье⁸.

— Откуда вы узнали, — спросила я у Алексея Ивановича, встретившись с ним теперь, в августе девяносто третьего, — что она из-за границы приехала? Не сама же она направо и налево об этом говорила?

— Конечно, нет. Но я слышал, как о ней судачили в нашей канцелярии после ее прихода.

Бродельщикова при встрече подтвердила, что хотела бы других постояльцев, не этих. «Пайка у них нет, — объяснила она Алексею Ивановичу, — да еще приходят эти, с Набережной (то есть из органов НКВД. — *И. К.*), бумаги ее смотрят, когда ее нет, и меня расспрашивают, кто к ней ходит да о чем говорят... Одно беспокойство... Я и сказала, чтобы они другую комнату искали».

Эта подробность в воспоминаниях Сизова мне показалась сначала наиболее сомнительной: не придумана ли, по модным выкройкам времени? Однако теперь, после елабужских встреч и воспоминаний, она выглядела уже иначе. Чего проще, в самом деле, самих хозяев дома сделать осведомителями, притом вовсе не прибегая к настораживающему термину!

Через день-другой военрук нашел для Марины Ивановны комнату на улице Ленина, около татарского кладбища, — там жило одно знакомое ему семейство. И он даже отвел туда Цветаеву и оставил — для переговоров, а сам ушел. Дела были, рассказывал Сизов, он на молотилке в эти августовские дни работал на окраине Елабуги.

⁸ Рассказ А. И. Сизова впервые опубликован в кн.: Л и л и т К о з л о в а. Вода родниковая. К истокам личности Марины Цветаевой. Ульяновск. «Симбирская книга». 1992, стр. 207.

Еще прошло дня два-три. (Эти сроки: «день-другой», «дня два-три», конечно, хуже всего помнятся спустя полвека; между тем дней-то у Цветаевой в Елабуге было считанное число! Да еще посредине поездки в Чистополь. Когда начался этот сюжет с Сизовым? Если он был — а по-видимому, все же был, — то возникнуть должен был еще до поездки. И продолжился по возвращении Цветаевой из Чистополя.) Итак, спустя время вахтер училища, где Сизов жил, передал ему записку. Там было написано крупным почерком Цветаевой: «Алексей Иванович, хозяйка, у которой мы были, мне отказала». Отправившись снова на улицу Ленина, Сизов застал там въехавших других постояльцев. Объяснение хозяев было простое: «У твоей ни пайка, ни дров. Да она еще и белогвардейка. А эти мне вот печь переложить взялись...»

«Белогвардейка», «чуждый элемент», «из-за границы приехала» — это была, кстати говоря, та мета, по которой и елабужцы и эвакуированные, здесь уже жившие до прибытия «писательской группы», сразу вспоминали Цветаеву, не пугая с другими, — она одна была здесь такая «крапленая». Молодого и любопытного Сизова это притягивало, людей постарше отпугивало, даже не только из-за опасности быть с ней в знакомстве — просто она была «другая», непохожая, «не наша». Причина для провинции вполне достаточная, чтобы вызвать недружелюбное чувство.

— Да что за дело хозяйкам-то, — спрашиваю я Сизова, — как будут перебиваться жильцы — с пайками или без, не все ли им, хозяевам, равно?

Оказалось, что совсем не все равно. По заведенному порядку принято было, чтобы постояльцы приглашали хозяев к ежевечернему чаю, угощали. То есть, говорит Сизов, по сути дела, приезжие должны были делиться пайком. И кроме того, у кого был паек, тому горсовет и дрова давал, а ведь зима уже была не за горами...

Но почему же тогда Цветаева оказалась без пайка? Просто не успели еще оформить — или обошли? Этого мне узнать не удалось. Между тем для самочувствия Цветаевой обстоятельство это наверняка было весьма значащим.

Я еще вернусь к сизовскому сюжету, пока отмечу лишь, что, во всяком случае, он вносит поправки в воспоминания тех, кто успел побывать в Елабуге еще при жизни Бродельщиковых и поговорить с ними о Марине Цветаевой. В этих воспоминаниях хозяева дома, где Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, выглядят очень благообразно. Симпатичные, милые, добрые, «с врожденно благородной нелюбовью к сплетне, копанию в чужих делах» (В. Швейцер). Правда, в иных зафиксированных интонациях хозяйки можно расслышать и затаенную обиду: уж очень была молчалива, о себе ничего не рассказывала, а это для русского простого человека нередко означает «гордыню». «Только курит и молчит» — даже сидя рядом с хозяйкой на крыльце дома. Впрочем, одну фразу, на крыльце как раз и произнесенную, Бродельщикова запомнила — для нас очень важную. Мимо дома вечерами маршировали красноармейцы, проходившие в городе военную подготовку. И у Цветаевой однажды срывается: «Такие победные песни поют, а он все идет и идет...»

В день отъезда Марины Ивановны в Чистополь Мур записывает о матери в свою тетрадь: «Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое».

В версии Кирилла Хенкина эта поездка выступает важным звеном. Хенкин убежден, что Цветаева поехала в Чистополь прежде всего «за сочувствием и помощью», напуганная елабужскими органами. Отметим, кстати, что если и в самом деле «горсовет» — это эвфемизм НКВД, дата «собеседования» — 20 августа — вполне согласуется с тем, что Хенкину говорил Маклярский: «Сразу по приезду Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД...» — и т. д. Тогда выстраивается следующая цепочка событий: 17 августа — приезд в Елабугу, 20-го — «беседа» в НКВД, через день — запись Мура о решении матери ехать в Чистополь, 24-го — отъезд. Психологически в этом варианте стремительный отъезд из Елабуги более чем закономерен. Когда такое случается, первое, что необходимо человеку, — совет. Плечо. Опора. В этой ситуации оказаться одному, особенно для человека нервно измученного так, как уже была измучена Цветаева, — катастрофа. Необходим кто-нибудь свой, близкий, не из новых знакомых, как бы симпатичны они ни были, а из давних, прежних, надежных, знающих все особенности твоей ситуации без объяснений. И для Цветаевой естественно было подумать прежде всего об Асееве.

Он — в Чистополе, и он там — не рядовой и бесправный, не мелкая сощка, а один из самых весомых членов правления писательского союза. У него авторитет

и связи, с ним не могут не считаться. Я не думаю, что Цветаева действительно надеялась (как иронически пишет Хенкин) на активную «защиту». Вряд ли настолько она была наивна. Ей нужна была поддержка, совет. Что делать? Как себя дальше вести? Ибо если предположить встречу с «уполномоченным», то реально допустить и угрозы с его стороны — в случае отказа или даже колебаний. Согласитесь сотрудничать с нами — и с жильем поможем, и вот вам работа переводчика, о которой вы мечтаете. Нет? Ну, так вас никуда не возьмут... И значит, вы не хотите подумать о судьбе сына?.. Практика известная, стандартная, и если уж допускать возможность такого «сюжета», то надо просмотреть его до конца.

Самое простое (хотя и действительно наивное), что теперь могло прийти в голову, — это быстро уехать из Елабуги. Оказаться поблизости от Асеева, от писательских организаций — в том кругу, который хоть что-то знал о ней самой, где она не чувствовала бы себя иголкой, затерянной в стогу сена. Всю свою жизнь сторонившаяся объединений и группировок, всегда стоявшая вне, она теперь вынуждена искать спасения в принадлежности хоть к какому-то братству...

Между тем в ее отношениях с Асеевым не существовало никакой особенной теплоты. Как раз весной сорок первого года возникло какое-то подобие дружбы. Достаточно внешней — хотя бы потому, что Цветаева жена Асеева активно не любила. Мне пришлось с ней однажды разговаривать, и она предупредила сразу, что ничего хорошего о Марине Ивановне сказать не сможет. Да, Цветаева приходила к ним в Москве, и не однажды, «и проходила мимо меня, как мимо мебели, едва кивнув. Она хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали...». Никакой скидки на трагичность жизненных обстоятельств Цветаевой в это время жена Асеева делать не умела и не хотела. И даже наоборот: эти обстоятельства должны были скорее усилить ее неприязнь. Ибо она принадлежала к тому кругу «сливок» советского общества, где удерживались только умевшие отворачиваться от несчастий остального мира.

Сын Цветаевой скрытых подтекстов, по-видимому, не улавливал и 3 июня сорок первого года так писал своей сестре: «В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму «Маяковский начинается». Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму»⁹.

Цветаева пробыла в Чистополе два дня — 25 и 26 августа. 27-го утром она уже снова была на той же пристани и ближайшим рейсом вернулась в Елабугу.

Наверняка к Асееву она отправилась сразу же, едва узнав его адрес. Но вот об этой-то чуть ли не самой главной чистопольской встрече мы почти ничего и не знаем! Знаем ряд обстоятельств вокруг — но не больше.

Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придется даже искать жилье. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на треновскую аргументацию: муж — белогвардеец, сама — белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен... Расстроенная Флора совсем было уже собралась сообщить неутешительный результат заседания Марине Ивановне, но прямо на почтамте ее отговорила от этого случайно оказавшаяся рядом Лидия Чуковская.

— Таковую телеграмму отправлять нельзя, — сказала она Флоре. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии.

— Так что же, по-вашему, делать? — спросила Флора.

— Настаивать! Хлопотать! Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывают здесь?¹⁰

Цветаева узнала о состоявшемся заседании, уже приехав в Чистополь. От самого ли Асеева или от Флоры? Неизвестно. Да это и не имеет значения.

⁹ «Болшево». Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М. Товарищество «Писатель». 1992, стр. 211.

¹⁰ «Воспоминания», стр. 528.

Во всяком случае, у Асеева она побывала. И, глядя в глаза Марине Ивановне, поэт устыдился. Под предлогом плохого самочувствия — у него было обострение туберкулеза — он сам не пошел на новое заседание, но, видимо, именно его хлопотами уже на следующий день правление опять рассматривало прежний вопрос. Асеев переслал от себя письмо — и теперь оно было в поддержку просьбы Цветаевой.

Была ли Марина Ивановна у Асеева только однажды? Продолжительной или краткой оказалась эта встреча? Какие темы обсуждались, помимо разрешения на пропуск? И — особенно важно! — оставались ли они наедине, без Оксаны Михайловны, дабы можно было обсудить темы шепетильные? Ничего достоверного об этом мы не знаем. Уверенно можно сказать только две вещи. Одна та, что никакого заряда бодрости Асеев Цветаевой, во всяком случае, не прибавил. Серьезной поддержки ни в чем не обещал, чистопольскую ситуацию не приукрасил. Цветаева могла убедиться, что его письмо в адрес правления — это асеевский максимум. И только на него он был способен. Но с другой стороны, можно быть уверенным и в том, что ссоры между ними тоже не произошло, никаких упреков или претензий Цветаева при встрече не выразила. Иначе стало бы невозможным ее предсмертное письмо, «завещающее» Асееву хлопоты о сыне.

Чистопольские ночи Цветаева проводит в здании педагогического училища, превращенного в общежитие эвакуированных. С 25-го на 26-е она ночует в комнате Валерии Навашиной (тогда она была женой Паустовского), с 26-го на 27-е — в комнате, где жила дочь Веры Инбер Жанна Гаузер, Марина Ивановна немного знала ее по Парижу.

За два дня было достаточно возможностей собрать информацию о Чистополе.

Тут все друг друга знали — и, значит, знали опыт всех вокруг. Пугали ли Цветаеву трудностями — или же, наоборот, ободряли, обещали помочь, вселяли надежду? Чужой опыт все равно примеряется на себя с трудом; сколько людей, столько оценок и мнений. Но нетрудно предположить, что минусов здесь Марина Ивановна увидела гораздо больше, чем ожидала.

Мертвенную застылость отмечают в облике чистопольской Цветаевой почти все. В воспоминаниях Флоры Лейтес, приведенных Белкиной, Марине Ивановне трудно было смотреть в глаза — такой безысходностью был полон ее взгляд. Почти слово в слово то же повторила в устном рассказе и Татьяна Алексеевна Евтеева-Шнейдер. С Лидией Чуковской Цветаеву знакомят на улице; Марина Ивановна произносит при этом приветливые слова. Но они, как пишет Л. К. Чуковская в мемуарном очерке «Предсмертие», «не сопровождалась, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующей. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонаций»¹¹. И другой литератор, Петр Семьин (тот же очерк Чуковской) называет безжизненно «механическим» голос Цветаевой, повторявший как бы заранее заученные фразы.

26 августа, на второй день пребывания Марины Ивановны в Чистополе, Чуковская находит ее в коридоре горсовета, напротив комнаты с табличкой «Парткабинет».

«Прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!»

За ведомственной дверью в эти минуты повторно обсуждался вопрос о возможности поселения Цветаевой в Чистополе. Саму Марину Ивановну там уже выслушали, теперь она удалена в коридор и ждет решения. «Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажут записать в Чистополе, я умру. Брошусь в Каму»¹².

Отметим: эти минуты перед дверью парткабинета в глазах самой Цветаевой — роковые. Решение, которое будет вынесено, определит — ни больше и ни меньше — вопрос, оставаться ли ей дольше на этом свете.

«— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, — продолжает Чуковская, — что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

¹¹ «Воспоминания», стр. 533.

¹² Там же, стр. 536.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторила она. — А в Елабуге я боюсь».

Вскоре выйдет из дверей парткабинета Вера Васильевна Смирнова и сообщит, что дело решилось благоприятно. Цветаева может хоть сейчас идти подыскивать себе жилье — это не слишком сложно, и как только его найдет, все будет окончательно подписано, она может переезжать.

Смирнова возвращается в комнату заседаний, Чуковская с Цветаевой выходят из здания горсовета на площадь.

«И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить»¹³.

Отметим еще одно: «мне не дадут работы». Она могла бы сказать: «я не найду», но говорит: «не дадут». А ведь только что решилось то, что она сама назвала судьбой! И решилось лучшим образом: можно не откладывая переезжать в Чистополь, где ее знают и вот ведь — поддерживают! — где Асеев и какая-никакая защита организованного братства эвакуированных.

Но Чуковская замечает: в ее спутнице — ни проблеска радости. Едва исчезло препятствие, казавшееся непреодолимым, как на его месте вырастает — и разрастается — другое, тут же гасящее облегчение. Чувство безысходности не рассеялось. Вместо того чтобы уже свершиться, казнь продлена. И значит, нужны новые усилия.

Чуковская соглашается вместе идти искать жилье, так как Марина Ивановна совсем не ориентируется в незнакомых местах. По дороге возникает разговор, чрезвычайно важный для уяснения душевного состояния Цветаевой.

«— Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня, — скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?»

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы»¹⁴.

Остановилось еще раз, чтобы расслышать это: «и немцы».

Я переспрашивала Лидию Корнеевну об этих фразах. Так они ей помнятся, так записаны тогда, так звучали в ушах: «И немцы», «Ну, например, Россия»... Из чего достаточно ясно, что не в одних только немцах и даже не только в России дело. Рискну досказать.

В глазах Цветаевой происходящая вокруг катастрофа превышает кошмар войны. Надвигается, поглощая и Россию, бедствие глобального масштаба. Темные силы мира воплотились в «нелюдей», и в их руках — абсолютная власть и сила, безжалостная к человеку. Туча гитлеровской армии, поглощающая русские земли, — только один из ликов торжествующего зла...

Мне кажется, именно об этом говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели. Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит наконец собственным голосом, без оглядки. Потому что это ее голос, ее подход к происходящему, ее масштаб оценок. Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска полотили Чехословакию, Цветаева уже выразила в поэтическом слове трагедийное мироощущение современника. В цикле «Стихи к Чехии» эти строки потрясают редкостной мощью

¹³ Там же, стр. 537.

¹⁴ Там же, стр. 538.

личного чувства, соединенной с даром укрупненного видения вещей и событий: «Отказываюсь — быть. / В Бедламе нелюдей / Отказываюсь — жить. / С волками площадей / Отказываюсь — быть. / С акулами равнин / Отказываюсь плыть — / Вниз — по течению спин. / Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещей глаз. / На твой безумный мир / Ответ один — отказ...»

А ведь то была всего лишь весна 1939 года. Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветасвой. Год назад уехала из Франции в Москву ее дочь, полгода назад тайно, спасаясь от полиции, бежал туда же муж. Они были пока на свободе, но, по суги, уже наколоты, как бабочки на булавах. Когда осенью тридцать девятого их арестовали, Цветасева не тешила себя иллюзиями о случайной ошибке, как многие другие. Она воспринимала скорее как ошибку собственную свободу И свободу тех, с кем она еще встречалась.

Трагедийное напряжение эпохи было все 30-е годы не вовне, но внутри ее собственного дома. Между тем она начисто лишена была спасительного свойства обыкновенных людей: приспособляться к непереносимому. Хлопотать, как-то перебиваться, обулаиваться, выживать хотя бы и у подножия вулкана. Она переталась что-то делать и даже вдруг проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы). Но она не могла стать другой, если бы и хотела.

Она не могла перестать слышать то, что слышала. Ощущать и переживать все так, как ощущала и переживала всю свою жизнь — с безмерной, разрывающей сердце остротой.

«В Вас ударяют все молнии... а Вы должны жить...» — писала она семнадцать лет назад, почти что в другой жизни, Борису Пастернаку¹⁵. К красотам метафор ради самих красот она никогда не прибегала. Тем более обращаясь к собрату по призванию. Ведь писала она ему о том, что знакомо ему было не хуже, чем ей: о природе истинного поэта. Наоборот, можно быть уверенным, что подбирала она наиболее точные слова, чтобы он сразу мог узнать это состояние. В вас ударяют все молнии. А вы должны жить... Так, во всяком случае, было с ней самой.

Но если уже в тридцать восьмом она столь внятно слышала поступь гибели и так непереносимо было для нее переживание невольной сопричастности к подлости, предательству и насилию, разлившимся в мире, — что же теперь? Пепел погибших стучал в ее сердце, как и страдания обреченных на смерть и муку. Похоже, что последние остатки надежды на то, что мир еще как-нибудь выкарабкается из морока, погасли для нее 22 июня 1941 года.

Жить, дышать, продолжать делать ежедневные усилия — на это у нее оставалось все меньше сил. Гибнет мир. Зло застилает весь горизонт. Временами она ощущала это с такой явственной силой, что, очнувшись, готова была приписать болезни.

Чуковская приводит Марину Ивановну к своим новым друзьям Шнейдерам. Она и сама познакомилась с ними совсем недавно, по дороге в Чистополь. Нежданную гостью встречают с теплым радушием. Выясняется, что здесь знают и любят ее стихи и искренне рады ей самой. После чая и разговоров Цветасева читает «Тоску по родине». Но не дочитывает до «куста рябины» в конце, обрывает раньше. И в стихотворении остается лишь отречение, сплошная боль оставленности — без намека на смягчение сердца нежностью к родной земле.

Ее просят прочесть «Стихи к Блоку», она отмахивается: «старье!». Она хочет читать только то, что и сегодня еще звучит в душе. Ни Шнейдеры, ни Чуковская не знают ее таланта в расцвете, все их восхищение — перед той, молодой, почти что начинающей, от которой она так давно и далеко ушла. И Марина Ивановна обещает попозже, этим же вечером, непременно прочесть им «Поэму воздуха».

Кажется, она немного отстранилась от ужаса, который носит в себе. Попав в живую атмосферу милого дома, она распрямляется. Чуковская пишет: «Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом гляделась в новые лица. <...> С каждой минутой она становилась моложе...»¹⁶

¹⁵ Письмо Цветасевой Пастернаку от 11 февраля 1923 года (в кн.: М а р и н а Ц в е т а е в а. Сочинения в двух томах. Том второй. М. «Художественная литература» 1988, стр. 481).

¹⁶ «Воспоминания», стр. 543.

Четыре дня отделили это чаепитие у Шнейдеров от рокового дня в Елабуге.

Я спрашивала у Лидии Корнеевны: а как же версия о психическом надломе, почти что душевной болезни? Чуковская в ответ энергично протестует. Подавленность, бесконечная усталость, с трудом заглушаемое отчаяние — да, это в ней было. Но когда она говорила, от нее исходила сила, энергия как бы даже вопреки смыслу произносимых ею слов. Конечно, у нее были на исходе силы, душевные и физические, — но это совсем другой вопрос.

И ведь этим же вечером она собиралась прочесть наизусть «Поэму воздуха» — одно из самых сложных своих произведений...

Итак, после благоприятного решения чистопольских властей Марина Ивановна проводит несколько часов в баюкающей дружеской обстановке. Ее выслушивают с неподдельным интересом, о чем бы она ни заговорила, ей предлагают конкретную помощь: обед и ночлег сегодня, а завтра — совместные поиски жилья. И Цветаева, конечно, чувствует, что этим людям можно довериться, хотя еще несколько часов назад она их не знала...

Но потом она спохватилась. Оказывается, у нее назначена встреча. С кем? Где? По воспоминаниям Чуковской, Марина Ивановна сказала Шнейдерам (сама Лидия Корнеевна в это время ненадолго вышла), что ее ждут в гостинице. Но в рассказе Татьяны Алексеевны Евтеевой, спустя несколько десятилетий, была иная версия: Цветаева будто бы сказала, что пойдет к Асееву. И вернется обратно к восьми часам. Но не вернулась.

Слово «гостиница» может насторожить, потому что в те давние времена свидания в гостиницах любили назначать чиновники из органов. В данном случае, однако, в это не верится. В Чистополь Цветаева только что приехала — и кто бы успел разыскать ее здесь и назначить это официальное свидание? В Елабуге ее «достать» было несравненно проще... Скорее всего гостиницей Марина Ивановна назвала то самое общежитие, где она ночевала.

И там она действительно появилась, но уже поздним вечером, усталая, измученная. Еще подробность (разысканная Белкиной): у нее сильно болели ноги. Согрели воду, и в комнате, где жила Жанна Гаузнер и семья Натальи Соколовой, Марина Ивановна сидела на скамеечке, опустив ноги в таз и низко склонив голову...

Где она была в промежутке? Почему так устала? Отчего не вернулась к Шнейдерам? В последнем, впрочем, нет ничего особенно странного: не для того она покинула в Елабуге сына, с которым впервые, кажется, была в разлуке, чтобы читать стихи и вести общие разговоры в милом интеллигентном семействе.

Возможно, и в самом деле Цветаева еще раз зашла к Асееву. Это выглядело бы естественно: прийти, чтобы поблагодарить и сообщить о результативности его, асеевского, заступничества. И именно теперь, когда главное препятствие уже устранено, поговорить, скажем, о возможностях заработка в Чистополе. Или — о том, другом... если все-таки существовал предмет этого другого. Может быть, накануне такой разговор не получился и она надеялась, что теперь обстоятельства будут более благоприятны? Не потому ли она и оставалась мрачной, что та тень продолжала над ней висеть?

Но этого мы не знаем и не узнаем, по-видимому, уже никогда. Если только Николай Николаевич не поделился воспоминаниями с кем-либо вне своего семейного круга. В этом случае тема может когда-нибудь всплыть на поверхность, потеряв уже, правда, почти все градусы достоверности.

С достоверностью известно другое: дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна до конца своей жизни белела при упоминании имени Асеева.

В письме ее к Пастернаку от 1 октября 1956 года мы находим беспощадные строки: «Эти имена, — пишет она об именах Цветаевой и Асеева, — соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери. <...> Для меня Асеев — не поэт, не человек, не враг, не предатель — он убийца, а это убийство — похуже Дантесова»¹⁷.

Резкость суждений и категоричность оценок (под влиянием известия, вызвавшего ее доверие) — черта, увы, характерная для дочери Цветаевой. Но нащупать объективную позицию в таком вопросе, как самоубийство матери, ей было, разумеется, нелегко. Подробности последних дней Марины Ивановны дочь знала, с

¹⁷ А р и а д н а Э ф р о н. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М. «Советский писатель» 1989, стр. 455

одной стороны, из дневника брата (с которым она так больше и не увиделась, расставшись в августе 1939 года: к моменту освобождения сестры из лагерей Георгий был уже убит на войне). С другой стороны, Ариадна Сергеевна сообщала в письме к В. Н. Орлову двадцать четыре года спустя после гибели матери (31 августа 1965 года): «В короткий перерыв между лагерем и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда — всего 6 лет спустя — хорошо помнили»¹⁸.

Однако, несмотря на короткий срок, отделивший воспоминания от трагического события 1941 года, в рассказах, которые записала дочь Цветаевой, многое оказалось попросту неверным — из-за огрехов памяти вспомиавших. Что касается роли Асеева в те дни, здесь существенно то, на чем сходятся почти все, кто жил тогда в Чистополе: после известия о гибели Цветаевой именно Асеева молва винила в равнодушии и черствости. Не помог, не ободрил, не уговорил... Но ведь помог?

Асеев знал об отношении к нему дочери Цветаевой, о ее непримиримом непрощении. Известно теперь и другое: Николай Николаевич сам в глубине собственного сердца не прощал себе вины перед Мариной Ивановной. Знать бы, какой именно... Он вовсе не был закоренелым злодеем, он был только равнодушен в те дни и труслив. И еще: он очень не любил раздражать свою властную, лишенную всяких сантиментов жену. Вот этих-то качеств оказалось достаточно, чтобы Цветаева отчетливо ощутила пустоту в последней точке надежды. Пустоту — вместо опоры.

Что у Асеева совесть была перед Мариной Ивановной нечиста, подтверждает рассказ Надежды Павлович, приведенный в книге Белкиной.

Павлович случайно встретила (незадолго до его смерти) с Николаем Николаевичем в латышском местечке Дзинтари. Она увидела его в маленькой церквушке неподалеку от находившегося там писательского Дома творчества. Он молился и плакал, стоя на коленях. А потом признался Павлович в том, что его так мучило. Он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват... Так, без всяких иных подробностей, передала смысл его покаяния Павлович в 1979 году, стоя уже сама на пороге смерти. Но в признании Асеева скорее всего подробностей не было...

Итак, последний ночлег Цветаевой в Чистополе — в том же общежитии. Утром 27 августа Цветаева уже снова на пристани. Здесь в ожидании парохода, идущего в Елабугу, она успевает поговорить немного с Елизаветой Лойтер. Та едет в обратную сторону. И вот еще один важный штрих для наших размышлений: Марину Ивановну, вспоминала Лойтер, совсем не радовала перспектива переезда в Чистополь. Она была расстроена и удручена.

Но чем же?..

Цветаева вернулась в Елабугу — в дневнике Мура об этом сообщается в записи от 28 августа. Фраза из письма Сикорской Ариадне Сергеевне: «она вернулась такая окрыленная и обнадеженная» — не может иметь для нас веса, ибо не основана на личной памяти автора. Сикорская в эти дни в Елабуге не была. В рассказе же хозяйки елабужского дома Бродельщиковой, записанном в 1964 году Р. А. Мустафиним, сказано иначе: приехала Марина Ивановна подавленная, поникшая. И это больше согласуется с остальными свидетельствами.

Но на следующий день после возвращения матери в дневнике Мура появляется запись о том, что решение принято: завтра, то есть 30-го, они переезжают в Чистополь! Решение кажется слишком уж стремительным. Но легко догадаться, что сам Мур страстно хотел уехать из Елабуги как можно скорее. Какие бы отрезвляющие подробности ни рассказала о Чистополе Марина Ивановна, сын уверен был, что хуже елабужской дыры ничего уже быть не может. Впрочем, хотел он больше всего вернуться в Москву, а не ехать в какой-то другой город. Но и еще одно обстоятельство заставляло торопиться: сентябрь подступил вплотную, пора было определяться в школу...

Слух о том, что постояльцы Бродельщиковых собираются куда-то переезжать, распространился скорее всего в те дни, когда Цветаева ездил в Чистополь. Но возможно, и еще раньше: вспомним свидетельство А. И. Сизова.

И вот в доме на улице Ворошилова появляется юная Нина Броведовская. Она только что приехала из того же Чистополя. Возможно даже, что ехали они с Цветаевой на одном и том же пароходе. Нина была из Пскова, в Чистополе они с матерью оказались случайно, и им там очень не понравилось. Самостоятельная

¹⁸ РГАЛИ, ф. 2833 (фонд В. Н. Орлова), ед. хр. 322. Сообщено Р. Б. Вальбе.

и энергичная, Нина отправилась в недалекую Елабугу — оглядеться и поискать жилье, если там покажется лучше. Сразу по приезде ей назвали адрес Бродельщиковых. Там, сказали ей, еще живет какая-то эвакуированная учительница, но собирается отсюда съезжать, что-то ее не устраивает. Фамилию хозяев Нина запомнила (правда, неточно — как Бродельниковых) из-за того, что она перекликалась немного с ее собственной: Броведовская. Запомнила она и дату своего приезда в Елабугу — 28 августа. Это был день рождения ее двоюродного брата, и Нина отправила уже из Елабуги письмо матери, напоминая ей, как ровно год назад брат приехал к ним в Псков и они его поздравляли.

В доме Бродельщиковых Нина застала как раз «учительницу», больше никого не было. Судя по ряду деталей, которые можно высчитать, это было 29 или 30 августа.

Беседу с Ниной Георгиевной Молчанюк, урожденной Броведовской, записывали в разное время Л. Г. Трубицына из Набережных Челнов, много лет занимающаяся сбором материалов о последних днях Цветаевой, Лилит Козлова из Ульяновска, автор нескольких книг, посвященных Цветаевой; известно также, что беседовала Молчанюк и с Анастасией Ивановной Цветаевой, и с сотрудниками Музея изобразительных искусств в Москве. Существует собственноручное письмо Молчанюк, адресованное сотруднице музея А. А. Демской, с подробным рассказом о той давней встрече.

Разночтений в записях почти нет, но, чтобы не упустить важных подробностей, изложу «сводный» вариант.

Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз та квартирантка, которую назвали почему-то учительницей. Имени ее Нина, естественно, не спросила. Одетая «учительница» была странно: на ней было что-то вроде фланелевого халата, а ноги укутаны в какие-то толстые обмотки. Эти укутанные ноги наталкивают на мысль, что горячую ножную ванну принимала Цветаева в канун отъезда из Чистополя не от простой усталости. Боли в ногах, видимо, продолжались. И кстати, в записи Мустафина Бродельщикова также вспоминает, что Марина Ивановна в самые последние дни (видимо, после возвращения из Чистополя) болела, лежала, потому и на расчистку аэродрома 31 августа вместе со всеми пойти не могла, а ведь все должны были идти в тот день: и местные, и эвакуированные.

Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, «учительница» подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь — город, где у них есть друзья: «они помогут нам устроиться». И тут выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя. Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное — устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт: она уже успела окончить фельдшерские курсы.

Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов в Елабуге, по ее словам, жить невозможно, здесь «ужасные люди», да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе. И фронт — это не для девочки. Война — это грязь и ужас, это настоящий ад, и смерть на фронте — еще не самое страшное из того, что может случиться.

— Тем более, — добавила она, — что у вас есть мама. У меня — сын, он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу... Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна...

— Но ведь у вас сын? — возразила Нина с недоумением.

— Это совсем другое, — был ответ. — Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас — или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: «А помнишь?..» Это все равно что утратить свое прошлое, — еще страшнее, чем умереть.

Слова эти тогда же поразили Нину, как поразила ее и какая-то особенная интеллигентная речь женщины, так не вязавшаяся с ее затрапезной одеждой. Отметим, что в этой беседе Цветаева уравновешенная, спокойная, даже, пожалуй, рассудительная. Но и тема войны и беспредельного одиночества обнаруживает кровоточащую рану.

Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей значительным; женщина вызвала и симпатию и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили трагические события. Нина была еще в Елабуге, когда по городу разнеслась весть о самоубийстве Волей случая она оказалась и на елабужском кладбище в день

похорон Цветаевой. И здесь она поняла, что самоубийца — ее недавняя собеседница. Позже назвали и ее имя — Марина Цветаева.

С детских лет Нина слышала эту фамилию у себя в доме: Цветаев. Именно Цветаев, а не Цветаева. С Иваном Владимировичем, отцом Марины Цветаевой, состоял в интенсивной переписке дед Нины — преподаватель рисования в псковской гимназии; ему даже был подарен Цветаевым то ли альбом, то ли какая-то книга с дарственной надписью. О Марине Цветаевой, поэте, Нина ничего не знала. Она услышала о ней только теперь, вернувшись в Чистополь. Оказалось, что мать Нины в юности увлеклась цветаевскими стихами. Она даже слышала, как читала их сама Марина вместе со своей сестрой Асей, видела Цветаевы и в Крыму на литературных вечерах. Естественно, что все подробности встречи и гибели Цветаевой были пересказаны теперь матери и пережиты Ниной вместе с ней. Потрясение надолго сохранило их в памяти.

У меня нет никаких сомнений в подлинности свидетельства Н. Г. Молчанюк. Станным образом ощущение достоверности сразу возникло по отношению не только к внешним обстоятельствам встречи, но и к диалогу, хотя, кажется, труднее всего верить воспроизведению прямой речи, звучавшей более сорока лет назад (первые записи воспоминаний Молчанюк относятся к 1984 году). Но ощущение было именно таким: да, это цветаевские слова! Именно Цветаева могла сказать так и об этом. Свидетельство Молчанюк соответствует решительно всему: характеру Марины Цветаевой, особенностям ее мироощущения и особенностям той ситуации, в которой она тогда оказалась...

Но безусловное подтверждение рассказа я нашла в недавней публикации писем Ариадны Сергеевны Эфрон («Новый мир», 1993, № 3; публикатор Р. Б. Вальбе). В двух письмах, адресованных в разное время разным людям, дочь Цветаевой повторяет теми же словами знакомую нам мысль. Руфи Борисовне Вальбе 11 апреля 1969 года: «9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: «а помнишь?» — мужа моей давней приятельницы Нины Гордон; не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР...» И в письме к В. Н. Орлову от 28 августа 1974 года примерно то же: «...какое счастье, когда каждое горе — пополам. А мне уже давно некому сказать: «а помнишь?» — хотя бы это сказать!»¹⁹

Это неожиданное эхо — важный опознавательный знак. Очевидно теперь, что в Елабуге Цветаева повторила незнакомой девушке то, что не раз говорило в их доме и что безотчетно, как губка, впитала в себя Аля, возросшая под мощным облучением материнской личности. Так появился веский аргумент в пользу прекрасной памяти Нины Молчанюк. И мы можем быть уверены теперь, что знаем важный эпизод последних дней жизни Марины Цветаевой.

Эпизод этот, в частности, в очередной раз опровергает версию о самоубийстве в Елабуге как акте, совершенном в состоянии разрушенной психики, помраченного сознания. Нет, и свидетельство Чуковской, и свидетельство Молчанюк, становясь в ряд с тремя предсмертными письмами, написанными обстоятельно, спокойно, трезво, исключают, на мой взгляд, возможность такой трактовки. Добавим еще, что и бесхитростный Сизов, говоря о впечатлении, какое на него производила Цветаева, подчеркивал: не похоже было, чтобы она готовилась тогда к чему-то страшному. Он чувствовал в ней, наоборот, желание вырваться из беды, что-то сделать для этого. «Устремленность в ней была», — настаивал Алексей Иванович...

Почему же не осуществился план отъезда в Чистополь 30-го? Может быть, просто потому, что ни в тот день, ни в ближайшие не оказалось пароходного рейса на Чистополь. Они были тогда, по словам той же Молчанюк, нерегулярными. Ведь именно по этой причине — отсутствию парохода — и сама Нина застряла тогда в Елабуге, хоть и торопилась вернуться обратно, получив от матери телеграмму. Потому-то она и оказалась на кладбище случайной свидетельницей похорон Цветаевой.

Но вот еще одна запись в дневнике Мура: 30-го упомянуты две «литературные дамы» — Ржановская и Саконская, из бывших попутчиц по пароходу. Они обсуждали с Цветаевой вопрос о переезде в Чистополь. Именно они, пишет Мур, отговорили Марину Ивановну уезжать. Они считали, что раз там, в Чистополе, нет ничего определенного, то можно и в Елабуге найти работу.

И Цветаева находит силы сделать последнюю попытку вытащить себя и сына из болота безнадежности. Она идет — на больных ногах! — в пригород Елабуги, в овощной совхоз: там, сказали ей, можно договориться о заработке. Идет — и

¹⁹ «Новый мир», 1993, № 3, стр. 189 и 193.

предлагает председателю совхоза свои услуги: вести переписку, оформлять какие-нибудь бумаги.

— У нас все грамотные! — отрезает председатель.

Через несколько дней с тем председателем случилось разговаривать некой молодой врачихе. Слух о самоубийстве уже дошел до совхоза. И председатель уже понял, что приходила к нему именно та, которая на следующий же день покончила с собой. «Я дал ей тогда пятьдесят рублей, просто чтобы не отпускать ни с чем, — рассказывал председатель. — Но она ушла, оставив деньги на моем столе. А больше я ничего не мог...» Эту подробность спустя много лет сообщила та самая женщина-врач в письме к И. Г. Эренбургу...

Не сыграла ли свою психологическую роль еще и эта милостыня, поданная в тяжкие дни великому поэту? Кто откажется на попытку воссоздать мысли и чувства Цветаевой, возвращавшейся обратно, на улицу Ворошилова, после этой, может быть, и последней своей прогулки? Есть, впрочем, уже, увы, невозможное для проверки свидетельство о другой прогулке, имевшей место незадолго до рокового дня. Александр Соколовский (тогда еще совсем юный, но обожавший поэзию) рассказывал, что Цветаева предложила ему однажды погулять вместе вокруг Елабуги. Они сделали тогда не один круг, и Марина Ивановна все время говорила на одну тему — о самоубийстве Маяковского. Что именно, мы не знаем — Соколовский уже ушел из жизни.

Когда ее жалели друзья, Цветаеву тут же отпускало напряжение, помогавшее ей держаться в форме, — слезы выступали на глазах, она не могла их удержать. Чужая доброта делала ее слабой, выставляла на яркий свет всю ее незащищенность. Что же было последней каплей?..

Сестра поэта Анастасия Ивановна считала, что роль эту сыграла ссора с сыном 30-го вечером. Но не в первый раз мать с сыном говорили на повышенных тонах. Ссора ли то была или просто очередное объяснение с упреками со стороны Мура — никто уже и никогда не скажет; говорили они между собой по-французски, смысла речей хозяева понять не могли.

Неудачи самых последних дней по сравнению с тем, что приходилось переживать Цветаевой прежде, — комариные укусы. Не больше.

Но что они означали?

А то, что завтра и послезавтра и еще много дней (а может быть, и месяцев!) подряд ей придется продолжать, преодолевая себя, делать усилия.

В Елабуге или в Чистополе. Искать жилье и работу, получать унижительные отказы, искать снова — и снова получать отказы.

Советы двух доброжелательниц, поколебавшие Марину Ивановну в решении немедленно уехать, пришлись на момент, когда у нее не оставалось уже никаких сил пробовать новые варианты...

Но где же сюжет с НКВД?

Кажется, что ему уже нет места в этих последних днях. По крайней мере внешне. Ибо, вернувшись из Чистополя, Цветаева — это теперь очевидно! — колеблется: стоит ли уезжать из Елабуги? Она увидела вблизи пределы преданности своего литературного друга, а может быть, даже простодушно поверила, что он, Асеев, совсем ничего для нее сделать не может, кроме того самого письма-ходатайства перед правлением. Увидела грязный, не слишком отличающийся от Елабуги город; поняла, что литературной работы там не найдет. С этим последним заключением она все-таки поторопилась, потому что работало в Чистополе, например, радиовещание и вокруг его редакции сложился со временем литературный коллектив... Но Марина Ивановна торопилась обратно к сыну и слишком была подавлена, чтобы разузнать обо всем подробнее. А если еще и Асеев сказал ей, к примеру, что на литературный заработок рассчитывать здесь не придется, она опять же поверила бы ему сразу и окончательно. «А больше я ничего не умею...» — повторяла она много раз самым разным людям. И в самом деле не умела. И не могла — можем мы добавить. По той же веской причине не могла, по какой прачка не может станцевать партию Одетты в «Лебедином озере», даже в случае самой крайней необходимости.

Кстати говоря, тот же Сизов сообщил, между прочим, что Цветаева попробовала-таки профессию судомойки в Елабуге! Трудно только установить, было это до или после поездки в Чистополь. Об этой попытке Сизову рассказала вскоре после нашумевшей истории с «удавленницей» официантка елабужского рестораника, что на улице Карла Маркса, в здании суда. Она услышала разговор своих знакомых клиентов за столиком и вмешалась:

— А я ее видела, эту вашу эвакуированную. Она ведь у нас судомойкой приходила работать. Да только полдня и проработала. Тяжело ей стало, ушла. Больше и не появлялась...

Так что если и в Чистополе ей «светила» только роль судомойки, пусть даже в столовой для писательских детей и жен, стоило ли переезжать?

Ну а если главным импульсом поездки в Чистополь был все же страх? И жажда совета и поддержки? Тогда понятнее мрачное состояние Цветаевой, не исчезнувшее при благополучном исходе заседания писательского правления. Мы видели, что оно сохранялось и после посещения дома Шнейдеров, и на пристани перед отъездом из Чистополя обратно в Елабугу. Если эту поддержку искала Цветаева в Чистополе, то очевидно, что ее она не нашла. Скорее всего, я думаю, она не нашла даже случая обсудить т а к у ю заботу с кем-либо. Новые знакомые у нее были и в Елабуге. А вот старые, давние?.. Но не с Жанной же Гаузнер, человеком другого поколения, было ей советоваться! Что же до Асеева... Неизвестно, в чем он просил прощения у Бога в маленьком храме Дзинтари, но, во всяком случае, свое плечо он Цветаевой не подставил. И она могла за время поездки понять, что от всевидящего oka все равно не убежишь. Там ли, здесь ли.

Согласиться на доносительство — такого вопроса перед ней не стояло. Но чего можно ждать за отказ? Места переводчицы ей, во всяком случае, так и не дали. Приятель М. И. Бродельщикова Евгений Иванович Несмелов, рассказывавший мне прошлой осенью в Елабуге о хозяевах дома, где жила Цветаева, говорил это с их слов: в переводчицы не взяли по анкете. Но ведь предлагали, уже зная обо всех особенностях ее биографии! Не было ли это первым ответом на отказ? И чего можно было ждать от них еще? И прежде всего — для сына? Вот где в самом деле встает призрак того тупика, о котором напишет Марина Ивановна в предсмертном письме сыну. Напомню: «Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик*»²⁰. Последние слова подчеркнуты рукой Цветаевой.

И другого тупика, если оценивать ситуацию спокойно, в этот момент не было. Поездка в Чистополь увенчалась успехом — если целью был переезд. Разрешение было получено! Найти жилье — все говорили — было вполне возможно; хорошие люди обещали помощь и в поисках работы...

В этих известных нам обстоятельствах сторонний взгляд не находит т у п и к а. Остаются неизвестные. И еще остается наше знание о полной утрате Мариной Ивановной внутреннего спокойствия. Какой там «сторонний взгляд»? Спустя два года Мур признался в письме к Гуревичу, что за несколько недель до гибели «мать совсем потеряла голову», а он только «злился за ее внезапное превращение»²¹. Увы, из контекста письма невозможно установить, когда именно это началось. Но все-таки важно, что для сына, который был с матерью рядом все эти месяцы, ее состояние незадолго до гибели выглядело как «внезапное превращение».

Однако осознает это Мур позже. В Елабуге же в последние дни августа, когда силы матери на исходе, а ее душевное напряжение усугубляется физическим недомоганием, раздосадованный новой отсрочкой отъезда шестнадцатилетний подросток не находит в себе ни единой капли сочувствия. Он зол и жесток. В его дневнике 30 августа появляется запись: «Мать как вертушка совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Ч. Она пробует добиться от меня «решающего слова», но я отказываюсь это «решающее слово» произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня».

Не пройдет и суток после этой записи до того момента, как ноги подкосятся у юнца, пытавшегося рассуждать об ответственности.

Он сядет прямо в дорожную пыль, услышав от хозяйки дома о том, что матери уже нет в живых...

31 августа 1941 года. Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее, и она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, были лаконичны, но каждое слово в них выверено.

Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани взнуздания — теми силами, подчиниться которым ее дух не может. Это всегда была ее, чисто цветаевская, особость в поэтическом вопло-

²⁰ Белкина, стр. 326.

²¹ Письмо Г. С. Эфрона С. Д. Гуревичу от 8.01.43 («Русская мысль», Париж, 6.09.91).

щении темы смерти. В зрелые свои годы она чаще всего писала о смерти добровольной. Смерть как протест, смерть — если нет уже надежды одолеть зло, насилие, принуждение:

Не возьмешь мою душу живу!
Так, на полном скаку погонь —
Пригибающийся — и жилу
Перекусывающий конь

Аравийский.

Эти горделивые строки были написаны еще в 1924 году. Они остались до конца выражением ее жизненного кредо.

31 августа 1941 года Цветаева делает шаг в пространство свободы.

Вспомнилось ли ей в это последнее утро, что ровно год назад, день в день, 31 августа 1940 года, она была в ЦК? Вряд ли.

Ее пригласили прийти туда в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина. Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На письмо, если, впрочем, оно было отослано, ответа так и не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне. К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали друзья, дабы разрешить жилищную проблему. В Белокаменной, некогда так воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы.

А их теперь оказалось немало. Как раз в августе 1940 года на таможене наконец выдали багаж, прибывший из Франции, — огромную часть его составляла домашняя библиотека Цветаевой. Налегке, без вещей, вдвоем с сыном они еще могли кочевать по квартирам разных добрых людей. Но с багажом деваться было просто некуда. Его свалили у друзей Николая Вильмонта Габричевских, на улице Герцена, но хозяева должны были со дня на день вернуться из Крыма. Цветаева уже писала письма в Союз писателей Фадееву и Павленко, давала объявления в газету, соглашалась на маклера (исчезнувшего вместе с задатком), обращалась в Литфонд, Безрезультатно.

27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийцы. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности. «Помогите мне, в отчаянном положении. Писательница Цветаева» — таков текст, приведенный в дневнике.

И вот 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу. С Цветаевой дружелюбно беседуют в одном из отделов ЦК.

Прямо при ней звонят в Союз писателей — с предложением помочь «писательнице Цветаевой» решить ее жилищные проблемы.

В садике неподалеку Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вильмонт. Моросит дождь. Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе.

Меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась: сотрудник Литфонда А. Д. Ратницкий отыскал комнату, которую сдал Марине Ивановне на два года инженер Шукст, уехавший работать на Север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ратницкий пытался помочь Цветаевой и раньше; во-вторых, огромную сумму, требовавшуюся на уплату комнаты вперед за год, Марине Ивановне все равно пришлось собирать самой. Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был скорее всего отработанной инсценировкой. Привычным враньем, снявшим, однако, ненадолго остроту стресса. Дневник Мура отметил, что в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.

В тот же день (утром? или совсем поздно вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой. О том, что Москва ее не вмещает. Что она не может вытравить из себя оскорбленного чувства права. Ибо, писала она, Цветаевы «Москву — задарили»: усилиями отпа воздвигнут Музей изящных искусств, а в бывшем Румянцевском музее — «три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева». Позже Марина Ивановна поставит рядом и другое свое право уроженца города — еще и право русского поэта, еще и право автора «Стихов о Москве». Уныние провоцирует в ней мольный восторг

уязвленной гордости. «Я отдала Москве то, что я в ней родилась!» — так сформулировала она наконец в письме к той же Меркурьевой²².

Сказано все это совсем не по адресу. Но где адрес, где тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного, но достойного существования? Перед кем еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце? Я склоняюсь к мысли, что письмо это писалось именно в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа, и Цветаева с пером в руках выговаривала аргументацию, которую — она понимала! — ей не придется высказать властям...

Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурочены, а она в отличие от них трезва в своих оценках.

Но как далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества! Она была готова ко многому, но не к такому. Чего она боялась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей... Вот кошмары, на съедение к которым она ехала, ибо выбора у нее не оставалось — выбор за нее сделала ее семья.

Она пыталась и не могла представить себя в Советской России — со своим свободолобием и бесстрашием, которое называла «первым и последним словом» своей сущности²³. И с этим-то бесстрашием подписывать приветственные адреса великому Сталину? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.

Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве. Не приветственный адрес ей пришлось подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. И как раз тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций. Бесстрашие... Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а боль и жизнь твоих близких.

Оно сменяется обратным: не исчезающим страхом. За близких. Но и за себя, потому что именно тебя стремятся превратить в колесо для распятия самых дорогих тебе людей.

«Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатались, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала...» Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив. А вдруг на этот раз не примут?

Короткая запись в другом месте тетради: «Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?»

И еще запись, вбирающая все частности: «*Страх. Всего*». Оба слова подчеркнуты²⁴.

В ее письмах 1939 — 1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается страх собственного ареста. А может быть, и ареста Мура. Могла ли она не знать об арестах и ссылках членов семьи «врага народа»? Разве не арестовали уже сына ее сестры Аси Андрея Трухачева? И сына Клепининых Алексея?

Зимой и весной 1940 года ее мучают ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: «Если за мной придут — я повешусь...» Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за

²² М а р и н а Ц в е т а е в а. Где отступает любовь... Петрозаводск. «Карелия», стр. 217—220.

²³ М а р и н а Ц в е т а е в а. Письма к Анне Тесковой. Санкт-Петербург. Внешторгиздат. 1991, стр. 115.

²⁴ Запись в рабочей тетради М. И. Цветаевой 1940 года.

справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он «меченый». Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты, что ни вопрос там, то подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.

Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает. Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. «Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так»²⁵. Оказалось, он приходил, просто чтобы проверить затемнение. Цветаева же слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.

Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: «Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования»²⁶.

Преувеличенны ли были все эти страхи? Не слишком.

И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Вряд ли это так. Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила в этом отечестве всю свою жизнь (что само по себе не подвиг и не заслуга). Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о чудовищном размахе беззаконий и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось на ее семью, вызвало у нее такой шок. Я думаю, мир пошатнулся бы много слабее в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, у кого все 30-е годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов! «Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится уже к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу поправление справедливости в ее отечестве этих лет равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре. Но таков ее сердечный ожог. Безмерная острота душевной реакции — отличительная черта ее природного склада.

Бесспорно, и без специальных «бумажных» доказательств мы назовем НКВД прямым пособником в самоубийстве Марины Цветаевой. Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс-Порецкий и Эфрон бежал из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в 20-е годы, когда в ряды русских эмигрантов-евразийцев были посланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ?

Но в конце концов не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для самого поэта. Несомненным можно считать другое: нити той самой паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю, оборвавшую жизнь блистательной Марины Цветаевой.

²⁵ См. прим. 2.

²⁶ Белкина, стр. 307.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

ОГНЬ БО ЕСТЬ

Словесность и церковность: литературный сопромат

В иконной лавке Киево-Печерской лавры продаются кассеты с песнопениями иеромонаха Романа; кассеты мало кто покупает; боюсь, это к лучшему. То, что сейчас пробует делать для церковной среды иеромонах Роман, отдаленно напоминает то, что в 60 — 70-е делал для среды внецерковной Булат Окуджава: небрежно рифмует лирические размышления на заданные темы и вдыхает в них жизнь — голосом, интонацией, распевом. Так же как стихи Окуджавы; стихи о. Романа трудно читать глазами (в чем могли убедиться читатели журнала «Москва» (1991, № 4), где были напечатаны некоторые «тексты» о. Романа). В отличие от более чем талантливых «рапсодов» Окуджавы эти песнопения не вполне ловко и слушать: мелодика не скрывает, а лишь подчеркивает их несовершенство.

То же чувство эстетической обманутости оставляют и стихи Маргариты «Уфимской» (Чудовой), написанные в Дивееве 13/26 февраля 1991 года и напечатанные в замечательном (во всем, что не касается словесности и художеств) журнале «Русский паломник» («Валаамское общество Америки», 1991, № 4):

Русь святая — где ж тебе прощенье?

Из беды ты падаешь в беду,

Потому ль, что мерзость запустенья

Родила в семнадцатом году! <...>

И попрали все, что есть святое,

Позабыв, что Бог на свете есть,

В грабежах, насилье и разбое

Потонули совесть, долг и честь.

Собрались под знамя вандализма

Всех мастей подонки и рвачи,

Понесли идеи большевизма

Миродеры, воры, палачи.

И вобрав все яды и отравы,

Ненависть и злобу Сатаны,

Ополчили все на православье

Чингисхана, Разина сыны. <...>

Но какие б ни промчались тучи,

Ни прошла ~~какая~~ бы беда,

Христианство на Руси могучей

Не исчезнет так чтоб навсегда. <...>

Нам опорой стали, новой силой

Те, кто встретил смерть лицом к лицу,

У системы страшной и прогнилой

На советском варварском плацу.

Но стоит, как прежде, у штурвала

И скорбит за родину душой,

Видя, как Россия низко пала,

Царь законный — Николай Второй.

Так будем жить, расти, трудиться,

Любить, смеяться, плакать, петь —

Пока мы будем им молиться

И их предстательство иметь!!!

Разрыв между высотой заявленной христианской темы и уровнем ее собственно художественного решения катастрофический. Объяснить эту дистанцию огромного размера сверхскромным уровнем литературного дарования Маргариты «Уфимской» значит уклониться от ответа на неизбежные недоумения либерально-атеистической

критики, на ставшие уже традиционными «странные сближения» религиозной поэтики с приемами и клише тоталитарной соцреалистической культуры: «Потонули совесть, долг и честь... Всех мастей.. опорой стали... стоит, как прежде, у штурвала...» Следует честно признать: не только о Романе и Маргарита «Уфимская», но и абсолютное большинство русских сочинителей нового и новейшего времени, пытавшихся творить изнутри и в пределах «воцерковленного» религиозного опыта, терпели неудачу. И ладно, когда невидимый огонь попалял, обрекал на поражение неофитов, соблазненных новизной «христианской темы» (самый близкий исторический пример — «Плаха» Чингиза Айтматова). Или, наоборот, истинных христиан, нетвердых в письме (укажу на повесть Валерии Алфеевой «Джвари»). Но когда — писателей выдающихся, христиан «преемственных»?¹ Бориса Зайцева с его пресным жизнеописанием Сергия Радонежского, несопоставимым по уровню с житиями преподобного? Леонида Андреева с его смехотворным «Иудой Искаротом» и Александра Куприна с его томной «Суламифью»? Дмитрия Мережковского — со всем, что касается церковных тем? Даже Гоголя не только со вторым и третьим томами «Мертвых душ», но и с самоизвергающейся безответной проповедью «Выбранных мест...»? И это при том, что отчетливые стилизации религиозной поэтики, «светские» вариации и на сакральные темы, на библейские, коранические, буддийские сюжеты давали и дают совершенные в литературном отношении образцы (от пушкинских «Подражаний Корану» до гениальных библейских стихов Ахматовой). Равно как «расхристанные», профанно-окультиные, мистические озарения, воплощенные в словесную форму. Пример, на который укажу, убедит не многих, но для меня он несомненен: псевдосуфийские поэмы Тимура Зульф리카рова, с помощью мерцающего ритма всасывающие читателя в сферу «индивидуального бессознательного».

Почему так? Почему стилизации, вариации, профанации дают современному² русскому писателю шанс творческого взлета, а работа внутри и в пределах церковного опыта сулит почти неизбежное поражение? Почему на такую работу решаются исключительно (или по преимуществу) дилетанты? Мне не под силу ответить на эти вопросы — ни в рамках журнальной статьи, ни в пределах книги; боюсь, для их — хотя бы и предварительного — разрешения и собрания сочинений не достало бы. Но внятно задать их, но пригласить коллег по «литературознатскому» цеху посмотреть сквозь такую призму на устойчивые историко-литературные схемы — пора пришла. И начинать следует не с глобального квазифилософского анализа трагических судеб позднего Пушкина и подорвавшегося именно на «религиозных» минах Гоголя. Не с анализа околоправославных блужданий сочинителей «серебряного» века и выяснения степени их «литературной» вины в кризисе русского церковного сознания. Даже не с размышлений о плодотворных противоречиях творческого пути Александра Солженицына, сознательно принявшего на себя крест религиозного писательства в расцерковленную эпоху и не устранившегося неизбежно связанной с таким выбором «жертвы качеством»³.

Начинать следует — с уровня формального, с поэтики.

Но и здесь, в свою очередь, опасно обращаться сразу к «верхним» этажам: к родам и жанрам, к сюжетосложению и архитектонике, к лепке образа и проблеме вымысла, к взаимопроникновению и взаимооттолкнуванию внехудожественных массивов с художественными структурами. То есть начинать нужно не с неудачи со вторым томом «Мертвых душ», не с композиционных провалов «Воскресения», не с финала «Войны и мира» Начинать нужно с элементарного. С самочувствия отдельного слова, изымаемого из, условно говоря, светского контекста и помещаемого в контекст, условно говоря, религиозный. С переплетения и запутывания его смысловых шлейфов при попадании из одного культурного гнезда

¹ Не важно — хороших или дурных; кто вообще из нас без греха?

² Объем понятия «современность» значительно колеблется в разных культурфилософских системах; очевидно, что для немецкой традиции «современность» начинается после второй мировой войны; в российской же культурной парадигме как современное ощущается все, что создано после окончательного «снятия» древнерусской традиции и отрефлексированного намерения построить новую русскую поэтику в европейских пределах, но обособленно от них. То есть — с Шишкова и Карамзина до позднего Солженицына.

³ С сильной долей преувеличения от увлечения можно уподобить роль Солженицына в примирении «светской» и «церковной» традиций роли Тредиаковского в примирении русской и западной систем стихосложения и очевидную неровность «послеархипелаговского» творчества первого — «последелемахидным» поражениям последнего, которые в конечном счете обернулись великой победой русской словесности.

в другое. Со смены его маркировки. С проблемы его уместности за пределами традиционного риторического ряда.

Сурово упрекая несколько лет назад Василия Андреевича Жуковского в «безразличии к реальной монашеской традиции, которое позволяло ему (в балладе «Рыцарь Тогенбург». — А. А.) <...> использовать фоническую энергию слова «унылый», а в гимне «Боже, Царя храни» назвать небесную (у него — «поднебесную») жизнь «светлопрелестной», не считаясь с одиозным смыслом, который имеют в православной аскетической литературе, да и попросту в старом русском языке, и «уныние», и «прелесть» («прелесть бесовская») <...>»⁴, С. С. Аверинцев был прав. Не прав он был, завершая свою статью торжественным приговором: «Его (Жуковского. — А. А.) ум не имел любопытства к уставам западного монашества или к географии Палестины по той же причине, по которой его поразительно чуткое ухо не улавливало в «прелести» — «лести» и даже не отличало поднебесного от небесного, то есть, собственно, наднебесного. Конкретная история Запада, столь интересная для Шиллера, теряется для него в той же дали, что и конкретная история родного языка»⁵. Бедный певец! Он вынужден платить не только по своим, но и по чужим счетам; по счетам всей эпохи.

Да, у Жуковского можно найти и куда более катастрофический, поистине прелестный пример к а к б ы лично-нечуткого словоупотребления. В отзыве на статью Гоголя «О молитве» (!) он восхищается тем, что здесь «сама небрежность имеет прелесть». Но вот в 30-е годы ухо А. С. Пушкина (бесспорно самое чуткое в русской словесности) тоже не различает в «прелести» — «лести». В 1830 году Пушкин, который, как мы достоверно знаем, интересовался историей с географией, создает одно из самых какофонично звучащих (для нынешнего религиозно-этимологического слуха) стихотворений в русской лирике — сонет «Мадона»:

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистойшей прелести чистейший образец.

Здесь не только на ответ Богородичного образа накладывается двойственное мерцание «прелести», не только «прелесть» названа чистойшей, но и невольно через морфемную связь рядоположены «Пре-чист-ая» и «чист-ейшая пре-лесть» (что уже совсем труднопереносимо)⁶. Отец Павел Флоренский, любивший порассуждать о соблазнительности католического живописания, на евангельские сюжеты в особенности, мог бы объяснить подобный парадокс тем, что Пушкин списал свои стихи с неверного образа, с Рафаэлевой «Мадонны», где все эти несообразности, все эти наслоения благих и небогоугодных смыслов содержатся; мы лишены такой возможности. Тем более что неисправимый Пушкин спустя несколько лет без всякого Рафаэля приложил «прелесть» к еще более высокому образцу — к евангельской истине: «И такова ее вечно-новая прелесть...»

Впрочем, что Жуковский, что Пушкин, если и несомненный носитель просто церковного, но именно церковно-языкового сознания митрополит Московский Филарет (Дроздов) в ту пору не справлялся с этимологическим наваждением «прелести». В его отзыве на сочинение архимандрита Феофила встречаем — и вздрагиваем: «...р а з г о в о р его (Феофила) об *Унии*, признаюсь, не п р е-

⁴ Аверинцев С. С., «Размышления над переводами Жуковского» («Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского». М. «Радуга». 1985, т. 2, стр. 574).

⁵ Там же.

⁶ Неудача языковая неизбежно влечет за собою неудачу структурно-композиционную; если во второй строфе говорится о желании (одном!) лицезреть картину с Пречистой и Божественным Спасителем, то в заключительном пассаже сообщается об исполнении желаний (многих? всех?) и даровании Поэту образа Мадонны в лице возлюбленной жены. Что происходит в таком случае с образом Спасителя? Куда он исчезает и на кого накладывается? О пульсации в слове «желания» наваянного любовной лирикой и опасного в данном случае смысла говорить не приходится.

ль с т и л меня»⁷. И чтобы мы не сомневались, а не значит ли это, что митрополит Филарет у с т о я л перед вражьи́м прельщением униатства, тут же к «прельстился» подобран положительно окрашенный синоним: «...не больше у с л а д и л меня <...> разговор *панагиота* с *азимитом* <...>»⁸. Чтобы такую оговорку допустил митрополит Филарет, который и в имеющем гораздо более размытую церковную родословную «очаровании» ясно слышал отзвук сладкого соблазна: «Бывают минуты, в которые и преданный миру и плоти человек пробуждается от очарования, в каком они держат его <...>»⁹, — нужны были веские причины, отнюдь не узколингвистического свойства.

Причины следует искать в глубинных процессах р а с п о д о б л е н и я светской культуры и церковного бытия России XVIII — XIX веков.

Митрополит Филарет, как известно, подал жалобу на Пушкина за строку «И стаи галок на крестах»; кажется, им двигала затаенная обида на то, что если бы не галки, в «энциклопедии русской жизни» так и не нашлось бы места для Церкви. Вторя Филарету, А. М. Панченко горько сетует, цитируя «Евгения Онегина»: «<...> где образа и где лампы? <...> взгляд Онегина (и Пушкина) скользит мимо них»; особенно же его огорчает, что «русская душою» Татьяна Ларина, «прощаясь с родными краями, <...> с церковью, где ее крестили и где отпевали ее отца, проститься не удосужилась»¹⁰. Видимо, оба не вполне правы.

Главная беда заключалась не в том, что р а с п о д о б л е н и е затронуло сферу л и ч н о й религиозности образованных русских людей той поры (можно без конца приводить примеры их истинного христианского самоотвержения). И не в том, что дало трещину «бытовое православие» (кажется, Пушкин потому не отразил эту сторону русской жизни, что она с а м а с о б о й р а з у м е л а с ь). А в том, что оно раскололо сферу высокой культуры, и в первую очередь самую чуткую, самую тонкую, самую необходимую из всех ее стихий — стихию словесную. По существу, язык, на котором мыслила русская культура, на котором выражала себя русская поэзия, был непоправимо расколот, как бы разведен по двум не пересекающимся уровням. Если в средневековой Руси (как мы помним из работ Б. А. Успенского) сосуществовали два измерения е д и н о г о языка — сакральное и мирское (первое обслуживало церковные и политические надобы, второе — нужды бытового общения), и смыслы как бы перетекали с «неба» на «землю» и оттуда вновь подымались горе, то теперь утвердилось двуязычие культуры.

«Но недоступная черта меж нами есть». Не случайно стилиевым провалом заканчивались любые попытки русских политиков первой половины XIX века из высокориторических сфер спуститься в народно-бытовую среду, дать р е л и г и о з н о е обоснование своих действий и призывов на «всем понятном, всем доступном языке»: «Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, и мясо дешевлеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом заступники: Божия Мать и московские чудотворцы; пред светом — милосердный Государь наш Александр Павлович, а пред супостаты — христоробивое воинство; а чтоб скорее дело решить: Государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить, и умереть»¹¹.

Столь же не случайна полная неудача архимандрита Фотия найти цельный и убедительный стиль для совмещения своих аскетических идеалов и актуально-политических интересов, для разговора с современниками от имени предков. То, что у протопopa Аввакума было естественно и преисполнено огненной энергии (ибо протопop Аввакум мыслил и изъяснялся на живом наречии, подкрепляя, но не подменяя его церковнославянским языковым пластом), то у архимандрита Фотия вырождалось в набор нервно-изломанных, лихорадочно нагромождаемых обломков древелеподобных полуавангардных синтаксических конструкций, очень

⁷ Цит. по: Ч и с т о в и ч И. А. История перевода Библии на русский язык. Изд. 2. Спб. 1899, стр. 82.

⁸ Там же. В обоих случаях разрядка моя. — А. А.

⁹ «Сочинения Филарета, м. Московского и Коломенского. Слова и речи». Т. 1. 1803—1821. М. 1873, стр. 6.

¹⁰ Панченко А., «Несколько страниц из истории русской души» (Т о л с т о й Л. Н. Исповедь. В чем моя вера? Л. «Художественная литература». 1991, стр. 350).

¹¹ Ростопчин Ф. В., «Афиши 1812 года, или Дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям ее» (Р о с т о п ч и н Ф. В. Ох, французы! М. «Русская книга». 1992, стр. 212).

выразительных, абсолютно бессмысленных, псевдоцерковных. «Брат, отец Евфимий! Радуйся! Не верь слухам, что будто яд где-либо полагается. Никому не веруй. Это дьявольская клевета. Холера болезнь есть повальная но не заразительная, а кто к ней имеет склонность. Парное молоко тотчас может уврачевать — врачует, и всякого уврачеват. Вот мой тебе совет. Ибо молоко истребляет заразные причины нездоровья внутри; я сам сие испытал <...>»¹²

Потому и случалась полная путаница с «прелестью», что на равных правах действовали о м о н и м ы. В составе «светского» интеллектуально-бытового языка «прелесть» отнюдь не восходила к «лести». Она вообще ни к чему не восходила, воспринималась (и, по существу, была) неделимой, неразложимой на элементы словоформой, способной служить основой для будущих языковых образований, но не имеющей предыстории. А в составе «церковного» (и построенного на основе его риторических законов — «политического») языка, наоборот, «прелесть» была производным от «лести», но не имела и не могла иметь производных от себя самой. Ибо — «кто, волны, вас остановил?...» Только потому князь Петр Андреевич Вяземский мог поочередно то вопрошать в стихах: «кто прелестью твоей мечты?» — то пользоваться противоположным значением в переводе знаменитой речи Александра I на открытии польского сейма. «...отвергайте обманчивую прелесть, столь часто заражающую дар слова»¹³.

Показательно, что в ту эпоху с «прелестью» пугались (с нашей «слуховой позиции») путались; они-то полагали, что все в полном порядке) только люди, принадлежавшие к тому слою, с которым привычно связывается представление о русской культуре в ее словесном и внесловесном проявлениях. Не важно — поэты они или митрополиты; главное, чтобы жили в городах или имениях и входили в «общество» Исключение делается лишь для носителей фольклорной традиции. Носителей же немимой книжно- и устноцерковной традиции, равноудаленных от столиц и деревень, «говора балов» и «топота пьяных мужичков», мы в расчет не берем. Между тем они находились тогда в совершенно иной «языковой ситуации» (Еще раз: не о собственно лингвистических проблемах речь.) Там церковно-бытовой пласт языка оставался живым и подвижным; там не возникало соблазна стилизации; там говорили и думали не на славяноподобном, насквозь выдуманном наречии архимандрита Фотия, а на современном православном языке, помнящем свою историю, но не замыкающемся в ней. Когда мы читаем записи бесед или собственноручные поучения преподобного Серафима Саровского конца 20-х — 30-х годов, поражает не только их святоотеческая глубина, но и полная стилиевая свобода, немислимая за пределами тогдашней монастырской среды, монастырской ограды. Для преподобного Серафима слово «бесстрастие» не означает и не может означать преждевременного холода души; оно исполнено положительного смысла свободы от страсти; и в то же время оно не становится предметом археологического любования и тем более способом стилистической ограды от современности. «Хорошо бесстрастие: сам Бог дает и утверждает это состояние в душах боголюбивых»¹⁴. Для него слово «благонадежность» не связано с представлениями о покорности властям, но без усилия, естественно и непринужденно взято из области традиционного благочестия «Кто переносит с молитвою удары невольных искушений тот делается смиренным благонадежным и опытным» Для него «великодушие» восходит не к представлениям о благородстве и снисходительности; «трудолюбие» служит синонимом к «подвижничеству», духовному подвигу в скорби; «долговременность» пребывает в опосредованной смысловой связи с «терпением», а «миролюбие» никакого отношения к добродушию не имеет и значит «порабощенность миром», влекущую привязанность к соблазнам. «Подвижничество требует терпения и великодушия: ибо миролюбие искореняется только долговременным трудолюбием». И вновь подчеркнут: естественное, неотделимое от задушевной, собеседовательной интонации «церковное словоупотребление» преподобного Серафима не пр о т и в о п о с т а в л е н о «неправильной современности», а существует в н е и

¹² «Письма архимандрита Фотия к брату и родным» («Русский архив», 1871, кн. 1, стлб. 245).

¹³ Цит. по: Ш и л ь д е р Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб. 1898, т. 4, стр. 88.

¹⁴ Здесь и далее цит. по: «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой. Сост. архимандрит Серафим (Чичагов)». Изд. 2 Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб. 1903.

помимо ее. Как вне и помимо его существует безязыкая «неправильная современность».

В том и трагедия, жизненная и литературная; это тот редкий случай, когда одно от другого неотделимо. Чтобы образованное общество смогло глубоко обсуждать «последние вопросы», нужно было, чтобы под своды русской прозы вошли герои вроде старца Зосимы. А чтобы герои вроде старца Зосимы вошли под своды русской литературы, нужно было, чтобы сомкнулись берега, сошлись горы, соединились смыслы. Не может язык поучений старца Зосимы скользить по верх языка повествования, вообще не соприкасаться с ним, не может он звучать духовным раритетом или футуристическим вызовом.

Так что не на галок, лампы и образа надо обращать внимание, читая «художественные описания» русской жизни первой половины прошлого столетия. Прежде всего следует замечать, какие книги лежат на столах и под подушками героев. Не Евангелие Сони Мармеладовой, не Псалтырь старца Зосимы, а — придворный адрес-календарь отца Петруши Гринева, «Сын отечества» Манилова. К началу XIX века елисаветинская Библия 1751 года перестала играть роль соединительного звена между церковностью и словесностью; прямо, сердечно и глубоко, с той степенью интенсивности и неприкрытости, какую открывала сентиментальная и романтическая поэтика, выразить христианское мирочувствие стало почти невозможно. Между автором и читателем незримой стеной вставала проблема стиля. Упования «архаистов» на церковнославянизмы разбивались об эффект стилизации, умертвляющей непосредственное переживание (хотя и дарующей энергию торжественности, пышности, велеречия). Изобразить величие Бога Сил на таком языке было возможно, поделиться с читателем переживанием смиренной любви ко Христу — вряд ли. «Новаторы», напротив того, вливали вино древнее в мехи новые, и резкий запах свежeweделанной кожи примешивался к благовонным ароматам.

Как всегда бывает в таких ситуациях, включились дополнительные, резервные «механизмы». Не слово, не слог, не штиль, а — интонация, ритм, ассоциативный ход, непрямая, намекающая на источник, цитация (не столько фрагментов, сколько мотивов) Священного Писания приняли на себя основную смысловую нагрузку.

Очевидные победы на заданном направлении имелись у обеих сторон. И все же, все же, все же.

Слишком остро стояла проблема создания современного, удобоприемлемого «извода» христианского языка не только для церковных нужд, не только для семейного и дружеского общения верующих людей, но и для нужд собственно литературных. Она была не менее остра, чем проблема выработки современного гражданского языка, способного вмещать новые либеральные идеи; чем задача создания философского языка для соучастия в интеллектуальной жизни Европы; чем развитие из «куртуазной» основы начатков «легкого» языка салонных полемик, без которого невозможно самостоятельное общественное мнение... В отличие от всех этих задач она не была должным образом отрефлексирована (если не относиться всеерьез к цензурной идее адмирала Шишкова «о наблюдении Православия в слогe», предвещающей идею Абрама Терца/Виктора Виноградова о стилистическом антисоветизме). Но она — была. И потому неверно только внутрицерковными (шире — общеидеологическими) причинами и нестроениями объяснять битвы, развернувшиеся в начале XIX века вокруг перевода Библии на живой великорусский язык.

Характерна косвенная причина, которая побудила Александра I содействовать учреждению 6 декабря 1812 года Санкт-Петербургского Библейского общества, имевшего целью перевод и распространение Библии. Государь православной державы в беде и скорби бесконечной череды поражений 1812 года решил обратиться к источнику вечного утешения — к Библии, и обнаружил, что таковой не имеет! Писание (по-французски, в переводе де Сасси) нашлось в библиотеке императрицы Елисаветы; Александр с ним ознакомился — и у историка не может не закрасться подозрение, что лишь после этого «глазного» усвоения формально знакомого ему текста, причем на куда более понятном Государю французском языке, он начал понимать православное богослужение, которое прежде сливалось для него в единый, не разбиваемый на отдельные слова, как древнерусская рукопись, поток. Иначе не объяснить, почему такое значение придал Александр Павлович троекратному совпадению: Библия, упавшая со стола князя Голицына, раскрылась на 90-м псалме; 90-й псалом читался на молебне перед отбытием царя в действующую армию; этот же псалом был выбран одним из придворных в ответ на просьбу императора прочесть «что-нибудь» из Писания. Случайным в тройственном ряду

совпадений было лишь раскрытие книги на нужной в данную минуту странице (если только причиной тому не стала традиционно плотная «девятнадцативековая» закладка на странице с «защитительным» псалмом). Все остальное любому читателю русской литературы XIX века (совсем не обязательно верующему, лишь бы внимательному) понятно без пояснений. Он помнит, как и м псалмом Владимир Соловьев отбивался в морской каюте от бесов; текст как о го псалма, искаженный ложной народной этимологией, был вложен в ладанку убитого солдата в «Докторе Живаго». Помнит — стало быть, понимает, как о й псалом следовало читать при отъезде русского Государя на фронт; как о й псалом должен был открыть церковно грамотный придворный в условиях, приближенных к боевым... Осознанно или нет, но, принимая после всего этого решение об открытии сначала Санкт-Петербургского, а затем и целой сети Библейских обществ, Александр I опирался на лично пережитый им опыт выпадения, разрыва с жизнью Церкви и восстановления немимой связи с нею через обретение я з ы к а.

Здесь не место и не время возвращаться к истории Библейских обществ в России¹⁵, заново обсуждать резоны сторонников и противников «русификации» Библии (веские доводы имелись и у тех и у других). Нам важен итог.

Переиздав Славянскую Библию (1816) и осуществив стереотипное издание церковнославянского перевода Нового Завета, общество — опираясь на грамоту константинопольского патриарха Кирилла, в 1814-м благословившего чтение паствой новогреческого Евангелия, — поручило ректору Санкт-Петербургской духовной академии, а в недалеком будущем митрополиту Московскому Филарету возглавить работу по переводу Нового Завета на «природное российское наречие». Тому самому Филарету, который возмутится пушкинскими галками на крестах; тому самому Филарету, который спустя несколько лет попробует объясниться с Пушкиным в неловко-искренних стихах («Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана...»); тому самому Филарету, который, несмотря на всю свою книжность, был погружен в языковую стихию Петербурга и на себе, на своем стилистическом опыте познал масштаб расхождения «церковного» и «светского» наречий — и потому видел неотделимую от собственно религиозно-просветительской о б щ е к у л ь т у р н у ю роль затеваемого дела.

Нам, пользующимся в какой-то — до обидного малой, но все же — степени плодами Филаретовых трудов, нелегко задним числом представить всю трудноодолимость решаемой отцом ректором задачи.

Он мог во главу угла поставить «эстетизм», сохранение в неприкосновенности вязкой материи «библейского стиля», начать конструировать из осколков обиходных слов громоздкие новообразования. Тогда был бы достигнут тот же эффект, что и в переводе Гомеровой «Илиады» Гнедича. Эффект победительный — в случае «Илиады», изысканные «златоперунные» словоформы которой передавали густоту античного мира. Эффект губительный — в случае новозаветного перевода, призванного помимо всего прочего дать ныне живущим людям возможность выражать свои религиозные переживания в естественной, нечуждой им форме.

Он мог, наоборот, удовлетворяться современным состоянием «культурного» языка в России и п е р е с к а з а т ь на нем евангельские сюжеты, и з л о ж и т ь сентенции Нагорной проповеди «близко к тексту», жертвуя их духовной глубиной и смысловой многомерностью. (Так в наши дни поступил киевский священник Леонид Лутковский; о катастрофических результатах предпринятого им и напечатанного в «Литературной учебе» 1990 года труда я уже писал¹⁶.)

Он мог послушаться многомудрых советов адмирала Шишкова и остаться в пределах церковнославянизмов — но стоило ли тогда огород городить? И этот путь тоже не мог устроить Филарета.

Рекомендации, составленные им для переводчиков, убеждают: он осознанно искал (и, кажется, при всех оговорках, нашел) иной, лучший путь, путь м е ж д у Карамзиным и Шишковым. «Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов». Это значит — предпочитайте евангельские смыслы, просвечивающие сквозь прозрачные стенки простых, общедоступных, умопостигаемых слов; если просторечие с и л ь н е е и е с т е с т в е н н е е — берите просторечие, если славянизм — славянизм, все бросайте в тигель Евангелия и, переплавив, преобразив, возвращайте русскому языку.

¹⁵ Подробно она изложена в кн.: Ч и с т о в и ч И. А. История перевода Библии...; Ф л о р о в с к и й Г. В. Пути русского богословия. Изд. 2. Париж. 1981, стр. 128 — 166.

¹⁶ См.: «Дружба народов», 1990, № 8, стр. 258 — 259.

Филарет не мог не понимать, что блеск в с е г д а будет предпочитаем силе, не мог не предвидеть негативную реакцию, и реакцию повсеместную. Даже склонный ко всеобщему реформаторству М. М. Сперанский тут проявил себя заядлым консерватором: «Сегодня во время обыкновенного моего утреннего чтения вместо греческого моего з а в е т а мне вздумалось читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность, какая слабость в сравнении с славенским. Может быть, и тут действует привычка, но мне кажется — все не так и не на своем месте; и хотя внутренно я убежден, что это все одно и то же, но нет ни той силы, ни того услаждения. Вообще я никогда не смел бы одобрить сего уновления <...> Никогда русский простонародный язык не сравнится со славенским, ни точностию, ни выразительностию форм, совершенно греческих. *И рече Бог, да будет свет: и бысть свет.* И сказал Бог, чтоб был свет, и был свет. Сравни сии два перевода; в одном есть нечто столь быстрое, столь точное; в другом все вяло, неопределенно, vulgar»¹⁷.

Но Филарету достало мужества довести начатое дело до конца — и не свернуть с избранного пути.

И нам предстоит заново осмыслить, переоценить факт выхода в 1819 году Четвероевангелия, а в 1821-м Псалтыри с параллельными славянским и русским текстами именно для судеб отечественной словесности.

Дело тут не только в том, что лишь т а к о е Евангелие могло оказаться в руках героев Достоевского; что лишь после выхода т а к о г о Евангелия — и то спустя годы и годы — стал возможен прямотдушный рассказ о «духовных исканиях» персонажей Толстого; что лишь появление т а к о г о Евангелия исподволь подготавливало стилистический ключ «Соборян» Лескова. Дело в том, что — сознавали то переводчики или нет, их труд менял самые основания языкового строя русской культуры, а значит, и ее мыслительного строя. И потому сотворенное под руководством митрополита Филарета (как бы ни была справедлива критика в адрес перевода, который впоследствии пришлось — и еще не раз придется — выправлять) есть нечто большее, нежели просто «подвиг честного человека» (хотя что может быть больше?).

Читываясь в стихи поэтов первой половины XIX столетия, мы видим, как они медленно и трудолюбиво осваивали новый языковой пласт и через него, с его помощью — мир воплощаемых им представлений. Сквозь эту сверхкультурную призму оказалось возможным пропустить и массивы покуда не переведенных ветхозаветных сюжетов, и фрагменты богослужебных чтений, снимая эффект их отчужденности, адаптируя к естественной среде интеллектуального обитания.

Именно к стиху из молитвы св. Иоанна Златоуста ко святому причащению, читаемому в церкви, а не напрямую к Исаие, восходит пушкинский «Пророк»¹⁸, написанный никак не под влиянием славянизированной архаики, но именно с учетом п р о с т о т ы Филаретова перевода; чтобы понять это, достаточно сравнить пушкинский «результат» с богослужебным «источником»: «<...> ниже моих возгнушайся скверных онья уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет ми угль Пресвятого Твоего Тела и Честныя Твоя Крове <...> в приложении Божественныя Твоя благодати и Твоего Царствия присвоение».

Именно опыт, прецедент Филаретова перевода позволил заточенному Рылеву выразить обуревавшие его слезно-покаянные, глубоко христианские чувства на сверхсовременном языке, граничащем с просторечием и тем не менее не отторгающем прямые цитаты все из того же звучащего в церкви молитвенного канона (отнодь не из библейского первоисточника!):

Мне тошно здесь, как на чужбине.
Куда я сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле мне голубине?
Да полечу и почию.

Именно под воздействием этого опыта убежденный архаист Кюхельбекер время от времени «поступался принципами» и в цикле «Сонеты» («Рождество», «Пасхальный первый» и «Пасхальный второй», «Магдалина у гроба Господня», «Вознесе-

¹⁷ «Русский архив», 1868, № 11, стлб. 1701.

¹⁸ И метафора «угля, пылающего огнем» — вне зависимости от церковной позиции Пушкина образца 1826 года — есть метафора п р и ч а с т и я, преображающего поэта в пророка.

ние») то и дело отказывался от «славянщины» ради большей задушевности Богообщения:

Божественный на Божием Престоле;
Христос на небо, выше всех свегил,
В Свое Отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотол
Неколебимым сердцем одарил. <...>

Кюхельбекеровский цикл 1832 года предвещает несостоявшийся пушкинский цикл 1836-го, так называемый каменноостровский, где все напоминает о «Филаретовом» Евангелии; все. Даже слово «оживи», которое появляется в самом финале ключевого стихотворения цикла «Отцы пустынноики и жены непорочны...»: «И дух крещения, смирения, любви / И целомудрия мне в сердце оживи». Слово это в переложимой Пушкиным великопостной молитве св. Ефрема Сирина не только отсутствует, но и невозможно. Сердце кающегося человека чисто в самом точном смысле, сам в себе молящийся не имеет ничего, кроме смирения и готовности п р и н я т ь даруемое Богом, и потому он просит: «...даруй ми». Пушкин же действует в разноречии со св. Ефремом и в согласии с Библейским обществом, которое исходило — и постулировало свою позицию — из протестантской посылки, что евангельские смыслы как бы покоятся в глубине души каждого христианина и лишь «оживляются» при соприкосновении с Благой Вестью; потому и в выпущенных обществом Евангелиях было решено обойтись без комментариев.

Тем более важен был для Пушкина опыт стилистический, опыт языковой.

Многие читатели последующих эпох высказывали недовольство тем, что пушкинский «пересказ» молитвы св. Ефрема не дотягивает до уровня «оригинала», резко уступает самой молитве в «блеске». Их реакция недаром так напоминает реакцию Сперанского на «русское Евангелие» — ибо вслед Филарету¹⁹ Пушкин сознательно предпочел «силу — блеску», занял стилистически проигрышную позицию ради обретения основ «среднего штиля» православного языка, на котором возможно собеседовать не только с ангелами, не только с «арфой серафима», но и с ближними своими. С такими, какие есть.

В каком-то отношении задача, стоявшая перед ним, была даже сложнее задачи, стоявшей перед Филаретом. Филарет и его присные создавали среднеправославный, церковно-обиходный язык наново, их тяготила лишь религиозная необустроенность современного им российского наречия. Пушкин имел дело с мощной поэтической традицией, с разветвленной системой литературных (а значит, и смысловых) ассоциаций; ему приходилось слово за словом изымать из литературных «гнезд», очищать от наслоений (сохраняя при этом ослабленные связи с общепоэтическим контекстом). Этим вызвана определенная «словарность», м н и м а я невдохновенность некоторых пушкинских решений.

В «Отцах пустынноиках...» читаем: «дух праздности у н ы л о й». Здесь эпитет введен не для «красоты», а как поясняющая ремарка к слову «праздность». Слово это в аскетике всегда соположено с унынием, но в системе словоупотребления, привычной для читателя русской поэзии первой трети XIX века, окрашено сугубо положительно и накрепко связано с темой веселья, довольства, счастья: «...такие праздные счастливыцы, / Ума недалнего ленивыцы, / Которым жизнь куда легка...» («Медный всадник»). В стихотворении «Из Пиндемонти» Пушкин осторожно «промывает» эпитет «божественный» — так, чтобы он в одно и то же время и сохранил эмоциональную ауру, какую имел в русской лирике той поры, и заново обрел свое п р я м о е значение. Ради этого, в свою очередь, меняется значение (и даже грамматическое число) «определяемого» слова — «красоты». Сказать «божественная красота» значит использовать устойчивый, внеположный вере и неверию штамп любовной лирики. Сказать «божественные красоты», да еще с помощью инверсии развести определение и определяемое по двум разным концам строки («Дивясь божественным природы красотам»), значит перевести поток ассоциаций

¹⁹ Именно тут обнаруживается действительно не мнимое влияние выдающегося митрополита на великого поэта; тут — а не в их стихотворной переписке, начало которой воложил Филарет и которую подхватил Пушкин стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...», одновременно и благодарственным и скрыто-усмешливым.

в другое русло. Спустя строку та же операция продельвается с «трепетом», «восторгом», «умилением»: «Трепеща радостно в восторгах умиленья». Слова, возвращенные в церковные пенаты из одического, куртуазного, сентиментального плана²⁰, применены к предмету отнюдь не вероисповедному — к «созданиям искусств и вдохновенья». Так удается достичь преобразования, а не разрыва; так искусство наделяется религиозным статусом.

Не случайно почти в каждое стихотворение цикла незаметно вводится рефлексия на тему творчества. Пусть косвенно — как в «Подражании италиянскому», «Из Пиндемонти», где название (в первом случае действительно, во втором мистифицируя) отсылает читателя к прецеденту, к источнику и тем указывает на смену пушкинских представлений о природе «словесной деятельности». Ключ как раз и дан в стихотворении «Отцы пустынноики...», где переложению великопостной молитвы предшествует рассказ о «церковных поэтах» и подбирается единственно уместное слово для определения «типа» их «творчества» — не «сочинили», не «создали», а именно «сложили». Вослед «отцам пустынноикам» и «женам непорочным» Пушкин ищет новый образ поэта — не сочинителя, не создателя, а п е р е л а г а т е л я. С языка на язык, с традиции на традицию. В каком-то смысле каменноостровский цикл посвящен столько же изображению бегства грешника из обреченного гибели «мира» в дни и перед лицом страстей Христовых, сколько и размышлению о «способах», «правилах» такого изображения, о языке повествования.

Но как же трудно оказалось достичь поставленной цели! Все бесконечные текстологические споры вокруг неразборчиво пронумерованных Пушкиным стихотворений, предназначавшихся для цикла, неразрешимы; по остроумному устному замечанию А. Немзера, «внешняя» нумерация потому и оказалась неразборчивой, что неразборчива была нумерация «внутренняя». Кажется, у Пушкина просто не осталось сил на борьбу с лирическим сюжетом, с оркестровкой темы; все силы ушли на борьбу с неподатливым, непокорным словом, на сознательное перенесение евангельской лексики в отторгающую ее «физиологическую» среду русской литературной традиции; на совмещение двух словесных потоков и обнаружение с помощью языкового «шупа» вечных христианских оснований в составе современного мироучувствия.

...Пройдут годы и годы, прежде чем посеянное начнет давать всходы — в лучших «выбранных письмах» Гоголя (хотя большинство их срывается в не подкрепленную смирением и потому неустойчивую риторику, захлебываясь в ней), в прозе Достоевского и Толстого, Лескова и Мельникова-Печерского, в полухудожественной публицистике Владимира Соловьева, в поэтических конструкциях Вяч. Иванова и в религиозных провокациях В. Розанова... А потом... потом начнется новый раскол языка, обнаружится новое безъязычие. Причем задолго до революции. Если во времена Пушкина именно образованный слой оказался «православно обездоленным», остался «без слов» для выражения своих религиозных переживаний, как герой Мало — «без семьи», то теперь сочинители столкнулись с бедой прямо противоположной. Лесковский опыт, не подхваченный вовремя, забылся; опыт Достоевского был мистифицирован и дистиллирован; «церковно-обиходный» язык был ассимилирован интеллектуальной речью и полностью утратил свою обиходность.

Когда Пастернак приступал к работе над романом «Доктор Живаго» (имевшим не только собственно литературное, но и мифопоэтическое задание; призванным стать мостом через советскую бездну), процесс нового расподобления евангельских ценностей и «живого великорусского языка», особенно его литературного пласта, завершился. И недаром параллели между циклом «Стихотворения Юрия Живаго» и каменноостровским циклом Пушкина так очевидны — хотя ни о каком каменноостровском цикле Пастернак не знал и знать не мог²¹. На новом витке перед величайшим русским поэтом советской эпохи встали те же проблемы, что и перед Пушкиным, — и его решения в п р и н ц и п е оказались зеркально тождественными пушкинским. Поразительна и переключка между определением роли

²⁰Сознательно или нет, но Пушкин здесь преобразует свой собственный юношеский стих — «И в радости немой, в восторгах наслажденья...» («К ней», 1815). Равным образом в «Отцах пустынноиках...» — «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не примет осужденья» — слышен горький отзвук автоцитаты из антиклерикального «Монаха» (1813): «Услышь мое усердное мольенье, / Не дай мне впасть, Господь, во искушенья!»

²¹Работа Н. В. Измайлова, где впервые на основании анализа рукописей был реконструирован состав цикла, появилась в 1975 году.

Евангелия как «записной книжки человечества» у Пастернака и размышлениями Пушкина о Евангелии в рецензии на книгу Сильвио Пеллико (1836): «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов*; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием...»

Разница заключалась л и ш ь в том, что предстояло не создать православный извод языка образованного общества, а уйти от его замкнутости; Пастернак искал возможность, как бы соединить «религиозное наречие», разработанное философско-публицистической традицией начала века, с народной языковой стихией, превратить его в поистине р а з г о в о р н ы й язык. Недаром такое место в романе заняли персонажи сюжетно второстепенные: дядя Юрия Андреевича Николай Николаевич Веденяпин и выросшая «без папи, без мами» незаконнорожденная дочь Живаго.

Первый, принадлежа к «религиозно-публицистическому» слою дореволюционной интеллигенции, изъясняет п р о с т ы е духовные смыслы, вне и помимо которых роман не существует: «До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна». Но изъясняет он их предельно с л о ж н о, «неповседневно», так что его слушатель, глуповатый толстовец, замечает: «Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали».

Вторая, росшая беспризорной, как раз плоть от плоти российской повседневности, — но она абсолютно безъязыка: «Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии, товарища Комарова». Может быть, с этим поиском утраченных соединительных звеньев между Николаем Николаевичем и белевщицей Таней, звеньев не социальных, но именно языковых, связано последовательное обытовление религиозных тем в романе, совмещение «высоких» понятий с «низовым» пластом русской речи: «Пахнет свежим воздухом навоз», «Ко мне на суд, как баржи каравана, / Столетия поплывут из темноты»... Кажется, тою же причиной вызвана опора Пастернака на опыт самого «неинтеллектуального» из его предшественников — на опыт Алексея Апухтина. Во многих живаговских вариациях на евангельские темы слышны отзвуки апухтинского полуромансного «Моления о чаше». И в «Гефсиманском саду», где Евангелие пересказывается настолько близко к тексту, что в стихотворный текст вкрапляются прямые цитаты из синодального перевода:

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». <...>

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому
Он вышел за ограду На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковчеге.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст». <...>

И в амфибрахиях «Чуда»: «Он шел из Вифании в Ерусалим, / Заранее грустью предчувствий томим...» Вспомним:

В саду Гефсиманском стоял Он один,
 Предсмертною мукой томимый.
 Отцу всеблагому в тоске нестерпимой
 Молился страдающий Сын.
 «Когда то возможно,
 Пусть, Отче, минует Мя чаша сия,
 Однако да сбудется воля Твоя...»
 И шел Он к апостолам с думой тревожной,
 Но, скованы тяжелой дремой,
 Апостолы спали под тенью оливы,
 И тихо сказал Он им: «Как не могли вы
 Единого часа побдети со Мной?
 Молитесь! Плоть немощна ваша!..»
 И шел Он молиться опять:
 «Но если не может Меня миновать —
 Не пить чтоб ее — эта чаша,
 Пусть будет, как хочешь Ты, Отче!» И вновь
 Объял Его ужас смертельный,
 И пот Его падал на землю как кровь,
 И ждал Он в тоске беспредельной.
 И снова к апостолам Он подходил,
 Но спали апостолы сном непробудным,
 И те же слова Он Отцу говорил,
 И пал на лицо, и скорбел, и тужил,
 Смущаясь в борении трудном!.. <...>

(«Моление о чаше», 1868)

Вопреки мифопоэтическому замыслу автора «Доктор Живаго» на долгие годы остался свечою под спудом — и пастернаковский опыт, хотя бы и учтенный Иосифом Бродским, хотя бы и подхваченный Олегом Чухонцевым (а в какой-то мере и Николаем Тряпкиным и Владимиром Соколовым), все же не изменил социокультурную ситуацию к а р д и н а л ь н о. Помощь пришла со стороны — и в прямом и в переносном смысле.

Огромное и до сих пор недооцененное влияние на «воцерковление» послевоенной русской словесности оказал переводческий подвиг Н. Л. Трауберг, которая в 70 — 80-е годы сосредоточила свои усилия на «церковно-обиходной», внутренне свободной английской традиции XX века (Г. К. Честертон, К. С. Льюис) и возобновила сознательные усилия по выработке «среднего штиля» православного языка в России. То, что делала тогда Н. Л. Трауберг, не вполне верно называть переводом; скорее уж это переложения в том давнем, пушкинском, смысле. Как «переводчик» Жуковский в XIX столетии, по существу, «учил говорить» русскую лирику, так «переводчица» Н. Л. Трауберг учила говорить племя христианизующихся интеллигентов. Говорить — и п и с а т ь. Честертонской ласково-усмешливой (а иногда и холодно-твердой) интонации было найдено единственно возможное — я с н о е — русское соответствие, и оно в свою очередь было противопоставлено публицистической возбужденности и стилевой эклектике «полудостоевских» религиозно-исповедальных сочинений вольных стрелков христианской словесности — от Д. Андреева до Г. Померанца. «Честертоновские» переводы Н. Л. Трауберг аукались в воздухе русской словесности с иными голосами, в том числе и с долетавшими изнутри церковной ограды; они перекликались с текстами, ф о р м а л ь н о к изящной литературе никакого отношения не имевшими, и тем самым втягивали их в «словесную» орбиту. Удивительные проповеди митрополита Сурожского Антония (Блума), по внутреннему заданию предельно чуждые «литературности», прослушиваемые и прочитываемые п о а н а л о г и с Честертоном, обнаруживали свою поистине художественную природу «<...> ветер, дыхание бурное, дыхание тихого вечернего ветра в видении Илии пророка, дыхание Святого Духа — вот чем мы должны быть наполнены. Мы должны быть так же хрупки, так же *отданы*, так же свободны, как детская рука в материнской руке, как легкая перчатка на руке хирурга, как парус, способный охватить дыхание духа и понести судно, куда должно. Вот где немощь может стать помощью, а не поражением, вот какой немощи мы должны учиться: этой *отданности* или, если предпочитаете, этой *прозрачности*, согласно слову святого Григория Паламы, который говорит о нас, что мы все *густые*, непрозрачные и что призвание человека — постепенно так очиститься, чтобы стать, как хрусталь, чистым, чтобы через человека лился Божественный свет беспрепятственно и благодаря ограниченности его светил бы во все стороны и изливался на все твари

вокруг»²². Особенно этот «параллелизм» ощутим в переводах из митрополита Антония, когда переводчики его церковных сочинений вольно или невольно действуют с оглядкой на литературный опыт Г. К. Честертона: «В такие периоды сухости, когда молитва становится усилием, главная наша опора — верность и решимость; актом воли, в котором соединяется и то и другое, не обращая внимания на свои чувства, мы принуждаем себя встать перед Богом и говорить с Ним, просто потому, что Он — наш Бог, а мы Его создание. Что бы мы ни чувствовали в тот или иной момент, наше положение от этого не меняется: Бог остается нашим Создателем, нашим Искупителем, нашим Господом; Он — Тот, к Кому мы идем, Кого жаждем, и единственный, Кто может дать нам полноту»²³...

Но языковая катастрофа, карие именно ценностного пласта «масовидной» русской речи, замещение в нем нравственно-религиозных формул коммунистическими пародиями на них («Потонули совесть, долг и честь... Всех мастей... опорой стали... стоит, как прежде, у штурвала...») оказались слишком глобальными. *Право-славное* мироощущение по-прежнему лишено *права слова* в современной литературе, ибо она вынуждена — обязана! — опираться на «язык улицы», корчиться вместе с ней от безъязычия. В яркой — и написанной как раз очень естественно — повести П. Алешковского «Жизнеописание Хорька» («Дружба народов», 1993, № 7) самые «натянутые», внутренне неловкие (хотя сюжетно и абсолютно необходимые) эпизоды связаны с вероисповедными беседами героя; только один не требующий пояснений пример: «Нет, нет, Сереженька, не правда. Я еще в семинарии понял — только всеобщность! Петр — камень, на нем Христос утвердил свою церковь, а значит Рим — истинный центр христианства». Дальше еще полторы журнальных страницы в том же духе, а венчается все репликой: «Спи, Бог с тобой, туалет в коридоре направо».

Приходится начинать процесс языкового преображения с отметки ниже нуля: «Спи, Бог с тобой, туалет в коридоре направо». С той отметки языкового ада, из которого прорастивает свои хоральные поэмы Тимур Кибиров (недаром в «Послании Л. С. Рубинштейну», где в центре — тонущая в словесных отходах советской эпохи тема Пасхи, Воскресения, Спасения, автор — «чужок обычный», адресат — «извини, еврей», то есть «чужие» и потому как бы имеющие право говорить о Воскресении с советским акцентом). С той отметки языкового ада, в который с наслаждением погружается Валерия Нарбикова: «Маша со своим мужем Иосифом Иаковичем и новорожденным ребенком, над которым стоит новорожденная звезда, они берут такси и оформляют визу, чтобы ехать в Египет»... Погружается, не отдавая себе отчета в том, что прием до конца отработан. Был такой советский жанр — «старинная сказка на современный лад»; там Красная Шапочка обязательно должна была носить мини-юбочку, а Волк петь под электрогитару голосом Михаила Боярского...

Вот почему профессионалы отступают перед величием и непосильностью задачи, в лучшем случае движутся «короткими перебежками» (как, например, Олеся Николаева в ее «акафистоподобных» стихах). А дилетанты ничего не страшатся — ибо они не чувствуют, не слышат страшного безмолвия своих слов.

²² Антоний, митрополит Сурожский. Беседы о вере и Церкви. Сост. Е. Л. Майданович. М. 1991, стр. 116—117.

²³ Антоний, митрополит Сурожский. Молитва и жизнь. Авторизованный перевод с английского Т. Л. Майданович. Рига. 1992, стр. 68.

Литература и искусство

СУДЬБЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУПНИЦЫ

Наталья Солнцева. Китежский павлин. Филологическая проза: Документы. Факты. Версии. М. «Скифы». 1992. 423 стр.

Наталья Солнцева. Последний Лель. О жизни и творчестве Сергея Клычкова. М. «Московский рабочий». 1993. 222 стр.

«Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в Царство Небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим».

Слова эти будто бы из спора о сегодняшних наших проблемах, а сказаны почти полторы сотни лет назад в одной из диалогических глав книги А. И. Герцена «С того берега», причем участник диалога, произнесший их, выразил здесь мысль явно близкую к авторской точке зрения. Они могли бы стать своего рода прологом-эпиграфом к «филологической прозе» Натальи Солнцевой «Китежский павлин», ибо в них как в сгустке — лейтмотивы, сюжетные линии этого развернутого исследования о творческих и жизненных судьбах новокрестьянских поэтов Сергея Есенина, Николая Клюева, Пимена Карпова, Сергея Клычкова, Алексея Ганина, Александра Ширявца, Петра Рашина.

Глубоко индивидуальным было мироощущение каждого из них. Не поколебленная религиозность Клюева, например, явно отличается от пантеизма Клычкова, убежденного (по воспоминаниям жены): «Молиться нужно не в церкви, а в лесу». А вот Сергей Есенин: «Стыдно мне, что я в Бога верил. / Горько мне, что не верю теперь». Горько было ему порой вспоминать и о своей богохульной «Инонии» — дерзкой поэме о некоем новом радостном чертоге на земле, где «живет божество живых».

В обещанный революционерами рай на земле верили сначала и Пимен Карпов, и Николай Клюев, который после Октября становится даже членом РКП(б), пребывает, как замечает Н. Солнцева, «в революционно-религиозном восторге». Странное на первый взгляд чувство, которое может озадачить

новейшее поколение читателей. И тем примечательнее стремление автора «Китежского павлина» проследить причудливые истоки этого чувства. Н. Солнцева обращает внимание на «догадку Михаила Пришвина о близости большевизма в идеологии и хлыстовства в вере», вспоминая при этом и о родственном хлыстовству голгофском христианстве. От веры хлыстов в возможность воплощения Божественного начала в праведных сектантах — «христах» и «богородицах» — и от учения голгофских христиан о новом свободном человеке, о Царстве Божием на земле не так уж далеко до разговоров о земном коммунистическом рае, до представлений о социализме как христианской правде на земле. Тогда-то и понимаешь, почему в судьбах Н. Клюева, П. Карпова и даже в судьбе Есенина «хлыстовская мысль накрепко сплелась с идеями братства и свободы, с идеями революции».

В книге Н. Солнцевой цитируется любопытный документ — манифест-проповедь одного из идеологов голгофского христианства, Ионы Брихничева. Этот манифест открывал вышедший в декабре 1912 года первый номер журнала голгофских христиан «Новое вино», среди самых почетных авторов которого — поэт новой Христовой веры Николай Клюев. «...люди отказались от Христова вина, — утверждал Брихничев. — И вот учение о Царстве Божием на земле заменилось учением о рае... Там — на небесах... За облаками... Божественное, животворное учение — о всеобщей борьбе за Спасение Целого, о богочеловеческом напряжении *всех сил всего человеческого рода* к восркешению *всей твари* — маленьким, бессильным учением — о спасении собственных душ». Поразительно это презрительное упоминание о «спасении собственных душ». Так еретически отвергается христианское внимание к человеческой личности как образу и подобию Божью. И в то же время закла-

дывается своеобразное идеологическое обоснование противопоставлению понятий «личность» и «человеческое множество, масса». Масса же — в конечном итоге — оказывается синонимом *толпы, охлоса*.

Этот мотив зазвучал в первом выпуске альманаха «Скифы», вышедшем в промежутке между Февралем и Октябрем 1917-го. «Скифам» отводится специальная глава в книге Н. Солнцевой — ведь среди авторов двух выпусков этого левозерского направления альманаха поэты крестьянской купницы: Н. Клюев, С. Есенин, П. Орешин. Задуманные Ивановым-Разумником, «Скифы» опирались на идеи Герцена как родоначальника народничества, мыслителя, который не был апологетом славянофилов, но тем не менее заметил, что «важность их воззрения, его истина и существенная часть... в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации». Эти *стихи*, переосмысленные Ивановым-Разумником, и обусловили понятие русского скифства с его близостью к земле, вольнолюбием, противопоставлением всесветному, «интернациональному» Мещанину. Так прорисовывался портрет «Скифов», намечались программные направления альманаха. В том самом предисловии к первому выпуску альманаха, где давалась характеристика скифства, и появилось уже упоминавшееся тревожное противопоставление *личного и массового*: «Мы... чувствуем себя скифами, затерянными в чужой нам толпе...» Возникшие было опасения перекрывала, однако, вера, что толпа не раздавит их, вольнолюбивых скифов, что «на новый призывной клич... будет кому отзываться».

Увы, эта надежда оказалась иллюзорной. Ведь в годы революционной смуты только большевизм, констатировал Н. А. Бердяев, «соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям. И он демагогически воспользовался всем».

Книгу Н. Солнцевой буквально пронизывает леденящее ощущение «чувствований толпы». Вначале брезжит надежда радетелей будущего «царства справедливости» быть *в ы ш е* этих чувствований, они еще не распознали, «как далека идея насилия от идеи справедливости»; затем вдруг явственное понимание, выраженное М. Пришвиным: «...личное растворяется и разваривается в массу»; и наконец, доверительное наставление (благо что для избранных ушей) М. Горького в письме Н. Бухарину (в 1925 году) насчет того, как важно «искать и создавать «героя», — человека, в совершенстве воплощающего в себе

и н с т и н к т ы (разрядка моя. — Л. В.) и дух массы, влекомой историей к жизни поистине новой»¹.

Но вот реакция крестьянских писателей на эти «огтетические» указания. Сергей Клычков, жестко резюмирует Н. Солнцева, «никак не хотел воплощать в своем творчестве инстинкт массы, он не соглашался на то, чтобы его куда-то влекло, пусть даже к новой жизни. Он упрямо хотел идти сам, и не в пролетарский, технократический рай». Со всей очевидностью это сказалось в его мифологических, как подмечает исследовательница, «по сути — антиутопических романах», обращенных к русской деревне, к судьбам крестьянской общины в ней. Из задуманного девятикнижия «Живот и смерть» Клычков успел осуществить лишь три замысла: романы «Сахарный немец» (1924), «Чертухинский балакирь» (1925), «Князь мира» (1927). Их анализу посвящены центральные главы книги Н. Солнцевой о жизни и творчестве Сергея Клычкова «Последний Лель». Но книга Н. Солнцевой о Клычкове, хотя и вышла после «Китежского павлина», в печать была подписана гораздо раньше него, еще в марте 1990 года, то есть как раз в то время, когда неподцензурное, утаенное прежде слово еще только начинало крепнуть, обходиться без эвфемизмов и недомолвок.

Так что не случайно развернутый в «Последнем Леле» разговор находит свое обобщение уже в «Китежском павлине». Например, Н. Солнцева, опираясь на сохранившиеся в архивных материалах признания самого Клычкова, связывает замысел его последнего завершенного романа «Князь тьмы», сюжетная линия которого восходит к 1860-м годам, с современной действительностью, подпавшей, по мысли писателя, под власть Сатаны.

В сущности, то же убеждение выразил и Алексей Ганин, трагическая фигура которого вырисовывается на страницах «Китежского павлина». В поэме Ганина «Сарай», вышедшей в свет в литографическом издании в 1920 году, человечество торопится к светлomu, райскому храму: «И мы спешим, и только шаг / За сотни дней в пуги измерили». В этой спешке все заметнее превращение уст-

¹ В связи с общеизвестной «крестьянофобией» Горького хочется отметить процитированные Н. Солнцевой фрагменты хранящегося в архиве его письма А. К. Воронскому от 17 апреля 1926 года. Например: «Крестьянин не создал рожь, пшеницу, овощи и все плоды земные, он их нашел и только собирает. Но двигатель Дизеля не существовал в природе, он создан воображением и разумом горожанина. <...> Если б крестьянин исчез с его хлебом, горожанин научился бы добывать хлеб в лабораториях».

ремленных к цели людей в близкую массу, толпу: «Нам черный хаос свил в ушах / Гнездо свое, чтоб в рай поверили». Но вот она, конечная цель пути, — не храм, а грязный сарай, где не Ангел-хранитель, а Сатана.

Читаю строки поэмы Ганина и вдруг в этом движении людей, в их трагической устремленности к жуткой цели различаю мотив грозного пушкинского «Анчара», когда к древу смерти «человека человек послал... властным взглядом». А вот явное эхо Пушкина в процитированном Н. Солнцева и в «Последнем Леле» и в «Китежском павлине» стихотворении Клычкова «Не гадай о светлом чуде...»: «И не люди, и не бесы / За белесой серой мглой / Кружат в поле из-за леса / На земле и над землей». Пушкинские бесы словно бы явились сюда, чтобы подтвердить буквально эсхатологическое ощущение поэта: «Мир исчезнул, мира нет». И еще одна параллель: последнее, предсмертное, стихотворение Есенина заставляет Н. Солнцева вспомнить о стихах Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» и «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...».

Опора на ту же традицию прослеживается и в одной из сцен драматической поэмы Есенина «Страна негодяев». Главный ее герой, вожак отряда повстанцев Номах (метаграмма имени *Мажно*), подчас открыто сближен с автором, достаточно прочитав описание его примет: «Блондин. Среднего роста. 28-ми лет» (Есенин — 1895 года рождения — пишет это в 1923 году). В диалоге-споре Номаха с Замамышкиным, охраняющим железнодорожную станцию, возникает нарочито реминисцентный контекст — при упоминании о шекспировском Гамлете, о его монологе, который «зубрили в школе». В этом контексте звучит злая отповедь Номаха старому товарищу, сочувствующему коммунистам:

Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймешь?
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство — обман и ложь.

Здесь отчетливо проступает второй, ассоциативный план, восходящий опять-таки к пушкинскому мотиву, к знаменитому обращению поэта к «мирным народам» в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...»: «Вас не разбудит чести клич. / К чему стадам дары свободы?»

Так рушились иллюзии, исчезла вера крестьянских поэтов в большевистские преобразования, копилась тревожная раздумья о судьбах родной деревни. И тогда прорывалось крамольное, как у

есенинского Номаха, который готов выступить против тех, «что на Марксе жируют, как янки». Особенно поразителен появившийся в произведениях купницы образ Ленина-антихриста — тема прежде запретная, у нас впервые затронутая на страницах книги Н. Солнцева. Здесь и новое прочтение рассказа Пимена Карпова «Легенды дня» (1920) с неожиданным, дерзким вопросом о Ленине: «А может, и антихрист?.. Никакая сила супротив него не устоит. Ни ангелы, ни архангелы. Потому с антихристом спознался»; и наводящее ужас открытие Алексея Ганина в поэме «Сарай»: «В мире дьявол обнаружился»; и наконец сказ Николая Клоева в его поэме «Деревня» о пришествии «лысыго черта», который преобразится в Горыныча в главном клюевском творении — его бесстрашной «Погорельщине».

Все это подталкивает автора «Китежского павлина» к выводу: крестьянские поэты в послеоктябрьские годы «приняли на себя крест оппозиции». Да, творческие и жизненные судьбы Н. Клоева, А. Ширяевца, А. Ганина, П. Карпова, С. Клычкова, в общем-то, вписываются в эту концепцию. Однако рядом и другие новокрестьянские поэты: Петр Орешин с его гимнами новой, советской Руси, оставшийся «за кадром» исследования Н. Солнцева вполне лояльные Павел Радимов, Семен Фомин, Павел Дружинин. Да и с «крамольным» Сергеем Есениным не так все просто. Ведь в те же годы, когда им была написана «Страна негодяев», появились его поэмы «Ленин», «Песнь о великом походе», «Баллада о двадцати шести»...

Но вживающегося в материал исследователя ведут за собой т р а г и ч е с к и е с у д ь б ы большинства поэтов купницы, до сих пор не проявленные до конца белые пятна в ряде ключевых эпизодов, как, например, внезапный уход в безвестность Пимена Карпова, дело расстрелянного чекистами Алексея Ганина. Где кончается документ, обрывается стих, недоговаривают автобиографии и мемуары, там вполне правомерны гипотезы. Страницы, отведенные для их развития и обоснования, на мой взгляд, пожалуй, самые примечательные в книге. И тем большего внимания они заслуживают, что автор обращается к обширному пласту прежде недоступных или малоизвестных архивных документов, к разнообразной периодике 900 — 30-х годов, опирается на богатый фактический материал, почерпнутый не только из архивов, полузабытых публикаций и книг, но из прямого общения со свидетелями литературной и общественной жизни тех лет: вдовой художника Н. Н. Вышеславцева, хорошо знавшей А. Ганина и П. Карпова, дочерью

Сергея Клычкова, женой Павла Васильева Е. А. Вяловой... Что-то как будто уже напрашивается на почти бесспорный вывод, как, скажем, микроверсия о происхождении заглавия статьи Николая Клюева «С родного берега», перекликающегося с названием книги Герцена «С того берега».

В одной из кульминационных глав книги — «Гибель Есенина» — привлекает внимание версия о возможном адресате последнего стихотворения Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Воспоминания Вольфа Эрлиха свидетельствуют: предсмертные есенинские строки были посвящены ему. Н. Солнцева оспаривает это утверждение. «...Есенин приезжает в Ленинград, двадцать пятого декабря, в пятницу, в шесть утра он просыпается со словами, обращенными к Эрлиху: «Слушай, поедем к Клюеву!» — и в тот же день произошла очень странная встреча, встреча предзнаменование... Есенин, вроде бы в пугуче, вроде бы шалая, гасит лампадку в комнате Клюева, человека в вере своей чистосердечного. По сути Есенин совершает тяжелый грех и как христианин и как друг — ведь несколько раз за этот день он говорит о Клюеве как о своем учителе, говорит искренне и благодарно. Клюев проделки Есенина не заметил. Есенин рассказал ему о своем поступке уже в номере гостиницы, куда все трое отправились позже. Рассказал и попросил прощения... Клюев... обещает прийти вечером, но... не приходит... А Сергей Есенин?.. Чувствует обиду Микола. Проходит пятница, суббота — Клюева нет. Он пишет «До свиданья, друг мой, до свиданья...». А вторая строка?.. «Милый мой, ты у меня в груди». Не был Эрлих тем человеком в судьбе Есенина, к которому он мог обратиться так, которому мог признаться в своей нежности, — будто заглаживая неловкость проступка с лампадкой, неловкость предыдущих обид, горьких слов, сказанных о нем, о Клюеве... Клюев так и не пришел. Есенин отдает стихотворение Эрлиху — случайному встречному в его жизни... Отдает с единственным словом: «Тебе». Психологическая ситуация вполне понятная».

Такова аргументация предложенной версии², где учитываются и психологические, и биографические, и творческие моменты, с тем чтобы подкрепить итоговую мысль: «Клюев был единственным из предсмертного окружения Есенина, которому могли быть посвящены эти (последние в жизни поэта. — Л. В.) стихи».

² Эта версия уже была изложена и обоснована Аллой Марченко в статье «Плач по Сергею Есенину» («Литературная газета», 3.10.90).

Уже из этого фрагмента видно, что автор стремится придать своей исследовательской работе эссеистскую окраску, которая вбирает в себя и публицистический оттенок, и известную психологическую изобразительность.

Авторская увлеченность предметом исследования — и в самой пироте обзора: от дореволюционной литературной группы «Краса» до ВОКПа (Всероссийского общества крестьянских писателей), от замороженного народной стихией А. Блока и резко-критичного И. Бунина до заступника крестьянских писателей Вячеслава Полонского и их ненавистника Осипа Бескина, — и в открыто заявляющей о себе пристрастности.

Материал, осмысляемый в книге, — взрывной, кровотопащий. Н. Солнцева предельно вживается в него, проникаясь, например, в главе о гибели Есенина чувствами Клычкова, который «в самоубийство поначалу не верил. Во всяком случае, считал, что это самоубийство оказалось случайностью, неудавшейся инсценировкой». Или вчитываясь в свидетельство художника Мансурова, сопровождавшего тело Есенина и в прозекторской делавшего с него эскиз: «Я видел его еще не резанного... тело здорового человека, и даже не было следов, что он пил — не изношенный человек». И еще одно ее суждение того же порядка: «Его (Есенина. — Л. В.), как зверя, обложили со всех сторон — и судебными разбирательствами, и никчемными приятелями, и псевдоэлитарным, беспорядочным, бесприютным образом жизни, и сплетнями, и репрессиями, что обрушились на крестьянство». В этом суждении, как видим, нагнетается явно неоднородный перечень: с реальными социальными фактами перемежаются бытовые подробности, которые резко смещены автором в полемическом пылу и предстают будто бы в зазеркальной, наоборотной ситуации. Так что получается: не Есенин выбирал себе друзей и знакомых, а его «обложили... никчемными приятелями», не Есенин вел богемный образ жизни, а сама эта жизнь распорядилась им как шахматной фигурой. Эмоциональные оценки, увы, — не самые лучшие помощники при решении версий, обросших множеством противоречивых взглядов.

Да, воспоминания очевидцев, «их достоверность или путанность, ошибочность, заданность» не дают оснований для исчерпывающего, точного вывода о гибели поэта. Но ведь есть еще один, ж и в о й, свидетель (вспомним крылатые слова Некрасова: «Стихи мои, свидетели живые...») — последнее стихотворение Есенина, написанное кровью и говорящее о смерти

т и: «В этой жизни умирать не ново...» Разумеется, и этот свидетель отнюдь не истина в последней инстанции, но мы должны его выслушать. И тут уж никак не могу принять такой послышки Н. Солнцевой в связи с предсмертными есенинскими стихами: «...ни в коем случае нельзя опираться на поэзию как аргумент в пользу версии о самоубийстве». Это уже как раз явная пристрастность автора.

Так увлеченность исследователя переходит в крайность, предстает своей оборотной стороной, что сказывается и в порой преувеличенных, на мой взгляд, оценках философских миниатюр А. Ганина, отдельных — публицистических по доминанте — стихов Н. Клюева, и в торопливом выходе за границы избранной темы: в своеобразном постскриптуме к книге — главке о Павле Васильеве, поэте совсем другой формации, хотя и хотели видеть в нем «своего» Клычков и Клюев.

И еще один крен такой увлеченности — подбор материала к уже сложившейся концепции. А отсюда — попытка спрямить путь Есенина к оппозиции, о чем уже я говорил. Заметна, в общем-то, раздвоенность Есенина, вольнолюбивого «скифа», не всегда выбравшегося из «чужой толпы», которая порой затягивала его. И здесь нельзя обойти молчанием и бытовой и политический фон, окружавший Есенина в 20-е годы. Что было, то было. Вот, например, обстоятельно проанализированное Н. Солнцевой дело четырех поэтов (Есенина, Клыčkова, Орешкина, Ганина), обвиненных в 1923 году в антисемитизме. Среди самых неожиданных подробностей любопытнейшая деталь: на товарищеском суде писателей по этому делу в защиту обвиняемых выступили критик и переводчик Абрам Эфрос, писатель Андрей Соболев. Последний заявил: «Я еврей-националист. Антисемита я чувю за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат. В душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу»

Н. Солнцева, выявляя истоки этого дела, припоминает аргументы покойного историка литературы В. В. Базанова, который «был уверен, что дело четырех поэтов — инсинуация прежде всего троцкистов». Выказано это было В. В. Базановым в 1976 году, когда многие исторические факты были у нас под строжайшим запретом да и трактовка известного была во многом искажена. Так что для сегодняшнего времени это уже явный анахронизм. Кстати, и сама Н. Солнцева вспоминает свидетельство

одного из мемуаристов, О. Леонидова, о том, что «Есенин после бесед с Троцким как-то успокаивался, все тревоги уходили на задний план; более того, в шутку или всерьез, он после встреч с Троцким начинал говорить о себе как о поэте национальном, как о „государственном имуществе“». Конечно, Троцкий «вел с Есениным свою игру», однако, как видим, не унижительную для поэта. Но — при всех обстоятельствах — правомерен вывод Н. Солнцевой: «Приручить Есенина так и не удалось». Как не удалось приручить или смирить Клюева и Клыčkова.

Поэты купницы утверждали свое самостояние, но при этом оставались частью русской интеллигенции, в полной мере разделив ее трагедию. Примечательно в этой связи суждение академика Д. С. Лихачева: «Усиленная духовная активность интеллигенции пришлось на первое десятилетие советской власти. Именно в это десятилетие репрессии были в первую очередь направлены против интеллигенции. В последующие тридцатые годы репрессии были не только против интеллигенции (против нее они были всегда), но и против крестьянства, ибо крестьянство, которое и сейчас принято называть «безграмотным», обладало своей тысячелетней культурой» («Новый мир», 1993, № 2).

Не об этой ли тысячелетней культуре напоминает и образ китежского павлина, вынесенный в заглавие книги Н. Солнцевой? Этот образ, олицетворяющий вселенную, вечную жизнь, должен был дать название роману, задуманному Сергеем Клычковым. Замысел романа погублен вместе с его автором. Завершая книгу о крестьянской купнице, Н. Солнцева пишет: «Китежский павлин поэзии и прозы крестьян улетел. На долгие годы улетел...» И значит, не смогли растоптать его на дороге к обещанному им земному раю толпы «голодных и рабов». И вот уже возвращаются к нам новые, текстологически выверенные издания сочинений С. Есенина, «крамольные», самые заветные поэмы Н. Клюева, затерянная проза С. Клыčkова, бережно собранная и изданная той же Н. Солнцевой³. Возвращаются, подтверждая справедливость ее вывода о поэзии и прозе новокрестьянских писателей как неотъемлемой части творческого наследия русского се ребряного века.

Леонид ВОРОНИН.

³ Клычков Сергей. Чертухинский балакирь. Романы. Составление, послесловие и примечания Н. Солнцевой. М. «Советский писатель». 1988.

ШТЕЙНЕР И МАРГАРИТА

Маргарита Волошина (М. В. Сабашникова). Зеленая змея. История одной жизни.
Перевод с немецкого М. Н. Жемчужниковой. М. «Энигма». 1993. 412 стр.

«В России я не находила той «средины», которая могла бы создать равновесие между двумя полярно противоположными направлениями. Одно ожидало возврата к утраченным духовным источникам, черпало свои идеалы из исторически сложившихся, национальных традиций; но оно было оторвано от действительности. Другое стремилось строить будущее на принципах выгоды и пользы, руководствуясь абстрактными схемами». Так просто и убедительно объясняла художница, поэтесса, переводчица Маргарита Васильевна Сабашникова (1882 — 1973) невозможность для себя вписаться в русскую культурную ситуацию, несоответствие ей, становившееся с годами все более отчетливым. Судьба Сабашниковой не «типична» и не «показательна», но при этом вся соткана из мелких и крупных черточек эпохи, объясняющих, казалось бы, необъяснимое. В этом кажущемся противоречии — ее ценность и смысл для тех, кто стремится к воссозданию контекста русской культуры XX века.

Мемуарное повествование Сабашниковой лишено подobaющей воспоминаниям размеренности и монотонности. Яркие, детально выписанные сцены, наплывающие друг на друга, перемежаются подчас лаконичными, внешне бесстрастными и потому впечатляющими характеристиками. Именно так описана стремительная эволюция семьи купцов Сабашниковых: «Бабушка, вышедшая из этой среды, едва умела читать и писать. У ее мужа, сына крестьянина, развозившего по домам уголь и воду, дело обстояло не лучше. Но ее дети — мои тетки и дяди — получили блестящее образование. Все четыре сына учились в университете, шесть дочерей брали уроки у тех же университетских профессоров и в совершенстве владели тремя-четырьмя иностранными языками».

Блестящее домашнее образование выявило у Сабашниковой способности к живописи, и она стала ученицей И. Е. Репина, считая своим идеалом Врубеля. «Как-то раз я написала группу крестьян по фотографии и получила высокую отметку. Это заставило меня задуматься. <...> И внезапно мои занятия показались мне совершенно бессмысленными, а я сама — просто тунеядцем. Чем я могла оправдать перед народом привилегию заниматься свободным искусством?» Встреча со Львом Толстым не рассеяла тяжкие раздумья, оставив вопрос для будущего. Настоящее же, как у многих сверстников, причудливо пред-

сказуемо заполнялось спорами с Дарвином и Геккелем, чтением Бодлера, Блока и Вл. Соловьева, смутными мечтами о «новой Церкви»: «Я была религиозна, но сомневалась в необходимости церкви. Одна, в бессонные ночные часы, я сочинила некое „исповедание“ и записала на листочке свои „тезисы“: „Церковь не нужна (под церковь я понимала культовое здание). Вся природа — Божий храм, а естествознание — богослужение. Священники не нужны, потому что перед Богом все равны. Молитвы учить не нужно, потому что каждый должен обращаться к Богу на своем языке. Или нет никаких чудес, или каждый цветок, каждый кристалл есть чудо“».

Ответ на все свои вопросы М. В. Сабашникова нашла в теософии (позднее — антропософии) Р. Штейнера, горячо поверив в его пророческую зоркость. «Духовная наука», приобщавшая к себе и швейцарских крестьян, и искусственных в вопросах духа русских интеллигентов, стала с 1906 года ее главным идейным ориентиром. Издавая в России свои переводы Штейнера и средневекового мистика И. Экхарта, распространяя среди русских читателей неопубликованные штейнеровские лекции, Сабашникова все более воздействовала на русскую культуру извне и все менее изнутри. Лишь в первое послереволюционное пятилетие, борясь с голодом, болезнями и нарастающей безнадежностью, Сабашникова, обучая детей живописи, попыталась связать свою судьбу с Россией. В августе 1922 года Сабашникова навсегда покинула родину. В отличие от большинства современников, лелеявших в себе надежды на временный или частичный разрыв с Россией, она решительно захлопнула за собой дверь, подведя наконец черту колебаниям и сомнениям: «Все последние дни я была охвачена полным безразличием, отрешена от всякого движения чувств. Помню, как слышала я биение сердца отца, когда на лестничной площадке он прижал меня к груди, помню искаженное горем лицо матери, провожавшей меня до трамвайной остановки у дома. Но сердце мое было как каменное. Мало знакомый мне человек, новый член Антропософского общества, довез меня до вокзала, и это было для меня самое лучшее».

От многих мемуаров нынешнего столетия, будто бы специально обращенных к будущим исследователям литературы, «Зеленая змея» отличается отрешенностью от сложившихся культурных иерархий, подкрепляемой твердостью

позиции рассказчицы. Сабашникова может воскрешать в памяти неожиданно яркое (например, поразившее ее в юности учение о красках Гёте, привлечшее в те же годы внимание Штейнера), может забывать, казалось бы, незабываемое: вскользь говоря о «своих друзьях Бугаевых», с которыми мемуаристка провела в антропософских скитаниях 1912 — 1916 годы, Сабашникова почти заставляет себя вспомнить, что Борис Бугаев — это Андрей Белый, о «Серебряном голубе» которого она в 1913 году писала А. С. Петровскому: «Эта книга очень захватила меня, открыла некоторые ритмы души» (архив Государственного музея изящных искусств, ф. 43, оп. 5, ед. хр. 464). Уверенность в собственной правоте, однако, не мешает Сабашниковой быть беспощадно откровенной в рассказах о себе (летопись трагических отношений с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал и Вяч. И. Ивановым в 1906 — 1908 годах), сдержанно-немногословной в рассказе о других (М. А. Волошин, Э. К. Метнер). Так, избегая дискуссий, чуждаясь литературности, автор доводит повествование до середины 20-х годов. Быть может, от планировавшегося продолжения воспоминаний мемуаристку отвратила несоизмеримость

двух половин ее жизни и творчества — ведь не только современному исследователю, но и ей могло казаться, что «первые сорок лет ее жизни намного превосходят последующие полвека по накалу творчества, по уровню окружавших ее людей, по насыщенности событиями» (Вл. Купченко, «Принцесса „серебряного века“». — «Русская словесность», 1993, № 1, стр. 67)...

Комментарий к книге отличается редкой основательностью. В основу его положены содействовавшие переводу записи ныне покойной М. Н. Жемчужниковой, уточняющие и расшифровывающие имена, даты, события. Библиографические и архивные дополнения к ним, приводимые комментаторами, облепляют, однако, едва ли не большей ценностью. Правда, в них лишь в малой части использованы наиболее обширные архивы М. В. Сабашниковой (прежде всего — фонд М. А. Волошина в отделе рукописей Института русской литературы /Пушкинского Дома/), но это позволило выкроить место для менее известных и доступных источников. Под стать аппарату «Зеленой змеи» и ее строгое и изящное полиграфическое оформление.

К. ПОСТОУТЕНКО.



ПОИСКИ ЖАНРА

Частная школа. Информационно-методический журнал. 1992, № 1, 2.

Вот новость, способная заинтересовать и обрадовать многих: группа педагогов и журналистов при содействии фирмы «Частное образование» начала издавать новый информационно-методический журнал «Частная школа». Уже вышли в свет два первых номера.

Обращение редакции нового журнала к своему читателю выдержано в «интимных» тонах и наполняет последнего почти кастовой гордостью: журнал не для всех, он для избранных. Кто же избран? Организаторы и педагоги частных школ — и нынешние, и те, кто придет туда завтра. Конечно, эта аудитория не столь широка, как, скажем, родительская, но в сегодняшней педагогической неразберихе и ей нужен лоцман. В этом смысле замысел подобного издания трудно переоценить.

Предполагается, что создание нового типа учебных заведений должно начинаться с обновленных концепций образования. В качестве таковой журнал «Частная школа» в своем первом номере предлагает статью Андрея Хуторского

«Свободное образование». Его размышления об образе альтернативной школы как школы свободного развития, школы с ориентацией на человеческую сущность (в отличие от удручающего индивидуальность госстандарта) достаточно интересны, и я бы не осмелилась назвать их спорными, пока речь идет о глобальной задаче — научить ребенка «самореализовываться». Но дальше — дальше дух захватывает от тех культурных координат, в которых будд формироваться детское «я»! Здесь и рефлексия, и идеи русского космизма, и «литературно-мистическое пространство М. Булгакова». Автор убежден во вредности «жестких педагогических технологий» и считает: не надо детям что-то специально преподавать, чтобы они раскрыли и реализовали свои способности. Дети в его школе «выполняли рефлексию» (?) и «ощущали эмоциональный комфорт», обсуждая, к примеру, какого цвета время.

Это общая концепция, и она, соответственно, реализуется в методике. Ху-

торской-методист исходит из идеи синтеза, объединяя мир внутренний и мир внешний. Его курс «Мироведение» рассматривает обе эти сферы человеческого существования как единое пространство, которое ребенок постепенно заполняет собой в процессе изучения природы, истории культуры. Во втором номере журнала опубликован один из фрагментов этого курса — «Стихии мира» (Земля, Вода, Воздух, Огонь). Задания детей ждут самые разные — это «чувствование комка земли» (для чего класс отправляется на соседнее поле); переживание состояния капли воды, ее рождения и смерти, попытка объяснения слов Высоцкого: «Я дышу, а значит, я люблю»; придумывание образов и знаков, изображающих, например, «огонь любви», «гнев огня» или «огонь животворящий». Рисунки, ассоциации, чтение сказок. «Мышечное закрепление познания форм воды»...

Вам интересно? Мне тоже. Только тревожит мысль — выполняет ли такая школа свою социальную функцию, готовит ли ребенка к жизни? Поможет ли вписаться впоследствии в современное социокультурное пространство? Не уподобится ли в конце концов такой ребенок тепличному цветку, выставленному на ледяной ветер нашей неуютной, но единственно существующей действительности? У меня на эти вопросы пока нет ответа.

Не хотелось бы показаться слишком придирчивой, именно с этого материала начав разговор о достоинствах и недостатках нового журнала. Но дело в том, что построения Андрея Хугорского на его страницах отнюдь не выглядят случайными.

Во втором номере журнала В. Гуревич представляет свою идею образовательного центра «Отечественная духовная культура». Такой центр, по мнению автора, от бы размещаться на территории монастыря, как в свое время Славяно-греко-латинская академия. Здесь изучали бы языковедение, патрологию, богослужение, традиционную певческую культуру; живопись, производство храмовой утвари и благовоений. К тому же вели бы «малогабаритное» сельское хозяйство. Большое значение автор придает влиянию окружающего пространства, в том числе и человеческого окружения; требуется умиротворяющее воздействие на психику формирующейся личности. Но главное — любовь, ибо все предметное содержание культуры «есть лишь средство для стяжания любви теми, кто эту культуру осваивает». Поэтому необходимо воспитание воли «в творении добрых дел».

По замыслу В. Гуревича, они должны функционировать вместе — храм и му-

зей, мастерские и аудитории, клир и музейные работники. А для учащихся — общежитие в стенах монастыря и ограничение контактов с внешним миром, чтобы не мешать сосредоточиться на вечном... Красиво, но уж очень напоминает легенду о граде Китеже.

Я могла бы подробно прокомментировать обе эти концепции, но боюсь, что это будет выглядеть как недоверие к читателю, который и сам в состоянии отличить конструктивные соображения от буйного полета педагогической фантазии. Не хочу обижать Хугорского, но я не уверена, что «литературно-мистическое пространство М. Булгакова» прежде всего необходимо пятикласснику, а не его учителю. Мне приходилось бывать на виртуозно построенных уроках, где у приглашенных взрослых дух захватывало от интеллектуальной смелости педагога, а дети украдкой зевали в ладошку или читали под партой Буссенара.

...В этом же ряду следует упомянуть и статью Ивана Гончарова «Русская школа: путь к возрождению» (№ 1). Не буду спорить с автором по поводу нравственно-духовной красоты и собранности в качестве уникальных русских педагогических идей. Остановимся хотя бы на набросках к учебному плану, куда Гончаров включает, например, такой предмет, как «История русской души», здесь сразу всплывают слова Достоевского: «Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая...» — приведенные самим Гончаровым, но по другому поводу. Кто же способен сегодня преподавать т а к о й предмет, если даже допустить, что история русской души вообще может быть учебным предметом?

К счастью, содержание первых выпусков журнала далеко не исчерпывается жанром педагогической фантастики. В разделе «Наши публикации» (№ 1) печатается книга классика немецкой педагогики Густава Винкена «Круг идей свободной школьной общины», дополненная мемуарами одного из его русских учеников, бывшего члена Викарсдорфской общины Игоря Кастеля (№ 2). По свидетельству последнего, «дух места» бережное отношение к внутришкольным традициям, воспитание в атмосфере литературы, театра и музыки, занятия спортом — все это помогает ребенку осознать свои потенциальные возможности и обрести широкий взгляд на мир. Этот материал кажется в журнале самым интересным, поскольку дает представление уже не об утопии, а о действительной реализации педагогической идеи, притом весьма успешной реализации.

Интересны информационные материалы об одной из частных школ Вели-

кобритании — Клермонт Фэн Корт (№ 2), а также статья Лис Брандт о датских «фрискол» (№ 1). В этом же № 1 печатаются учебные программы американских детских садов и школ.

В журнале действует «Заочная школа рыночной экономики», которую ведут Александр Самоукин и Александр Шишов; есть программа курса «Психогигиена сексуальной жизни и брачных отношений» (с первого по одиннадцатый класс); психолог Наталья Самоукина предлагает «Интеллектуальные игры для подростков и старшеклассников». В разделе «Архив» можно познакомиться с планом обучения наследника цесаревича (будущего Александра II), составленным самим Василием Андреевичем Жуковским (№ 1). Во втором выпуске печатаются рабочие материалы коллегии Министерства образования России «О политике в сфере развития негосударственного образования», условия вступления в РАНГО (Российскую ассоциа-

цию негосударственного образования). И многое, многое другое.

Если подвести некоторые итоги, то можно сказать, что журнал напоминает пока калейдоскоп материалов интересных, но несколько разрозненных, в том числе слишком «устремленных в небо». Понимаю, что обилие претензий может выглядеть знаком неуважения по отношению к новому изданию, поэтому особо подчеркну: напротив, именно надеждой на него, верой в его возможности они и продиктованы. А такие возможности, безусловно, есть — слишком уж обширна и почти не исследована до сих пор практика частной, альтернативной школы, слишком много ждет от нее общество.

Остается пожелать новому журналу поскорее пройти этап становления, «поисков жанра», стать действительным союзником тех, кто любит и хочет работать с детьми.

Ирина ВАСИЛЬКОВА

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Читайте в следующем номере
мемуарный триптих
«Три жизни»:

МАРИЯ КОНИССКАЯ. Старые фотографии;
БОРИС ГУСЕВ. Уготованная судьба;
МИХАИЛ МАМОНТОВ. Как я узнавал пословицы.

КОРОТКО О КНИГАХ



1. РУССКИЙ КОСМИЗМ. АНТОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ. М. «Педагогика-Пресс». 1993. 367 стр.

Антология, составленная известной исследовательницей творчества философа Н. Ф. Федорова С. Г. Семеновой совместно с А. Г. Гачевой, не просто представляет возможность встретиться с целым рядом известных и малоизвестных русских мыслителей, увидеть некоторых из них подчас с необычной стороны, но имеет и сверхзадачу: продемонстрировать общность этих мыслителей как теоретиков космизма — особенно, «уникального» направления русской научной и философской мысли XIX — XX веков.

В антологии представлены тексты и отрывки из текстов В. Ф. Одоевского, А. В. Сухова-Кобылина, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, Н. А. Умова, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, В. Н. Муравьева, А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, Н. Г. Холодного, В. Ф. Купревича, А. К. Маньева. Согласитесь — внушительный состав участников привлечен составителями под знамена космизма!

В философском наследии таких мыслителей, как В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, составитель и автор подробного предисловия С. Г. Семенова выделяет линию, «близкую пафосу идей русского космизма», обозначая ее как «активно-эволюционную». «Человек для активно-эволюционных мыслителей, — пишет она, — существо еще промежуточное, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу».

Однако это все еще весьма общий признак «направления», под который можно с успехом «подвести» едва ли не большую часть европейской философии, и уж точно — философию Нового времени, классику XIX века, включая Гегеля, Маркса и даже Ницше, вряд ли желанного в подбираемой компании космистов...

И здесь, видимо, призван спасти положение другой критерий: «...субъектом планетарного и космического преобра-

зовательного действия признается не отдельный человек, а соборная совокупность сознательных, чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений». У «пигурвала эволюции» должно стоять «целокупное человечество».

Возможно, что у всех собранных в антологии авторов можно найти и то, что выглядит достаточным основанием привлечь их в национальную партию космизма и использовать в программе «расширения прав сознательно-духовных сил, управления духом материи, одухотворения мира и человека», тем более что на это теперь уже не надо спрашивать персонального согласия. И все же мне кажется, что каждый из рекуртированных мыслителей прежде всего существует в своем отдельном бытии. Свидетельство тому — сами тексты, которые действительно очень тщательно, удачно и с большим знанием предмета подобраны составителями.

Хочу обратить внимание читателей на некоторые из представленных в книге фигур.

Из литературного наследия князя В. Ф. Одоевского (1803—1869) составители выбрали для антологии главы из романа-утопии «4338 год». Достижения высокой научно-технической цивилизации и просвещения накануне гибели: астрономы исчислили год катастрофы — встреча с Землей кометы Вьела должна произойти через год после описываемых в романе событий. Мертвая природа должна победить жизнь на Земле, ибо «природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие», человеческие орудия оказываются несоизмеримы с умственной целью.

А. В. Сухова-Кобылина (1817—1903) читатель сможет узнать с совсем неизвестной для себя стороны. Автор сатирической трилогии более сорока лет жизни посвятил философскому творчеству: переводил Гегеля и пытался построить свое собственное учение — о «Всемире». В антологии помещены отрывки из грандиозной, лишь частью дошедшей до нас незаконченной работы «Философия духа или социология (учение Всемира)». Этот любопытнейший труд, безусловно, достоин возможно полной и комментированной публикации. Говоря о «летании», «автокинии»,

Сухово-Кобылин своеобразно перекликается с Н. Ф. Федоровым, выдвигавшим идею овладения пространством. И Сухово-Кобылин и Н. Ф. Федоров захвачены пафосом освобождения человека от уз пространства. Ноль пространства, точка, точечность, исхождение в дух — таковой видится им цель эволюции человеческого рода.

Физик-теоретик, «первейший русский физик-философ», профессор Одесского, а затем Московского университетов Николай Алексеевич Умов (1846—1915) рассуждает о homo sapiens explorans — человеке разумном исследующем, способном, опираясь на могущество машины, победить время, человеческое несовершенство и хаос природы.

Антология знакомит читателя с центральными работами последователей учения Н. Ф. Федорова — В. Н. Муравьева (1885—1932), А. К. Горского (1886—1943), Н. А. Сетниченко (1888—1937), после 30-х годов практически забытых и не печатавшихся.

Бряд ли известен широкому читателю и автор «Мыслей натуралиста о природе и человеке» Н. Г. Холодный (1882—1953) — биолог, коллега Вернадского, разработчик идеи антропосферы, решительно чуждый утопизма.

Антология снабжена предисловиями к авторским текстам и примечаниями, что, безусловно, ставит книгу в разряд добротных профессиональных изданий.

II. Ю. БОХЕНЬСКИЙ. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. М. Издательская группа «Прогресс» — «VIA». 1993. 187 стр.

Работа известного швейцарского философа Юзефа Бохеньского вышла в серии книг, составляющих библиотеку нового философского журнала «Путь». В этой серии, рассчитанной прежде всего на широкого читателя, ранее вышли работы Н. О. Лосского «Учение о перевоплощении. Интуитивизм», Э. Фромма «Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии», И. Канта «Пролегомены» и К. Поппера «Нищета историцизма».

Юзеф Бохеньский, поляк по происхождению, католический мыслитель, уже более шестидесяти лет работает во Фрибурском университете (Швейцария). Рассказывают, что почтенный, ныне девяностолетний профессор философии, верный традициям великого Фомы Аквинского, успешно поверяет сегодня доказательства бытия Божия компьютером.

Ю. Бохеньский хорошо известен на Западе и в узких кругах отечественных философов. Он автор работ по истории философии, логике, филосо-

фии религии, к тому же один из отцов-основателей западной советологии, написавший целый ряд критических исследований об основах советского варианта марксизма. Во Фрибурском университете и сегодня продолжает работать группа его последователей.

Книга «Сто суеверий» была издана на польском языке в Париже в 1987 году. И вот в невероятно короткий для нас срок она стала доступна русскому читателю.

Краткость и простота авторского изложения являются, видимо, свидетельством той философской ясности, к которой пришел ученый. Книга призвана сыграть роль пропедевтическую — вразумляющую, просветляющую и очищающую, — исполнить, по словам автора, задачу «интеллектуального воскрешения».

Итак, перед читателем своеобразное введение в философию. Доступное и удобное в использовании. Расположенные в зазоре от «а» до «я» статьи этого философского словарика — а их, как и следует из заглавия, ровно сто! — разъясняют ключевые понятия философии, политической экономии и социологии. Возможно, некоторым особо упорствующим во всевозможных заблуждениях придется не совсем по душе несложные подсказки и отгадки этой книжки. Но согласие на ученичество — добрая воля читателя.

Словник действительно пестрит такими ходовыми и вместе с тем загадочными словами, как «активизм», «антисемитизм», «бессмертие», «гуманизм», «демократия», «интеллектуал», «капитализм», «коллективизм» и т. д. и т. д. Смысл этих слов, еще недавно так четко, казалось, вырисовывавшийся в нашем сознании, теперь ускользает от нас, деформируется и всплывает неожиданными парадоксами. Не знаю, поможет ли философский словарь Бохеньского разобраться во всех этих «скепгицизмах», «солипсизмах» и «социализмах», но, на мой взгляд, его притягательная простота несколько запоздала.

Впрочем, наверное, нехудо уметь различать «все шесть» значений слова «демократия», не считать суеверно женщину человеком низшего сорта и существом, лишенным души; неплохо и поставить под сомнение, как это предлагает Бохеньский, право журналистов на монополию в решении вопроса о добре и зле, а также заодно устранить распространенное смешение двух смыслов слова «коммунизм»... Для излечения разума автор предлагает нам своего рода метод негативной диалектики, устраняющий логическую и понятийную неправильность. Долой умственную невнятицу, да будет все отныне на своих местах!

Пусть читатель не сочтет мои слова неучливой насмешкой в адрес многоопытного философа — просто в ходе чтения этой книги меня посетило немало своих сомнений. Но, может быть, в этом тоже был тайный умысел автора?

Продолжая выпуск своей библиотеки, журнал «Путь» собирается опубликовать целый ряд изданий, среди которых — Г. Башляр, «Психоанализ огня»; Д. Бонхоффер, «Спротивление и покорность»; Прокл, «Первоосновы теологии»; планируется к выпуску «История русской философии» Н. Лосского, подготовленная по рукописи русского оригинала и представляющая собой первое научное издание известного труда.

III. «АРС». Российский журнал искусств. Тематический выпуск «Бездна». Санкт-Петербург. 1992. 224 стр.

Лежащий передо мной выпуск журнала «Арс», так по-театральному названный — «Бездна», задуман как некий коллективный опыт исследования мира с его неожиданной, «темной», опасной стороны. Это попытка, как представляют ее авторы журнального замысла, отойти от инерции повседневности, заглянуть за наброшенное на мир покрывало Майи.

А за этим покрывалом что только не предстоит обнаружить читателю: и «нежить» и «нечисть» русской народной культуры и литературы, и рассказ лорда Байрона о вампире, и образцы пиктерского некрореализма, и фрагмент работы Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто», а также пьесы Ф. Кафки «Охранник склепа» и Антонена Арто «Кровяной фонтан»; затем — статьи о живописи Павла Филонова, футуризме, дада, сюрреализме, работа Якова Друскина «Дьявол в виде ничто», статья А. Мелихова о смертной казни «Последний акт», анализ триллеров и «жуткие» рассказы забытых и современных нам литераторов... Под обложкой журнального выпуска — достаточно случайное соседство очень разных материалов. Впрочем, получится ли строгий рисунок, когда берешься говорить о невероятном, хаосе и кошмаре, о том, что не имеет, собственно, очертаний, о наваждении и страхе...

Может быть, отчасти поэтому так трудно оценивать этот тематический но-

мер журнала с точки зрения удачи и состоятельности его замысла. Я думаю, что, оказавшись перед неизбежной бесформенностью темы, составители и не могли сделать ничего иного как позволить сосуществовать на страницах выпуска всему и вся, что можно условно пометить как «маргинальное», остающееся на полях культуры.

Окинем взглядом «Бездну» чуть подробнее.

В подборке материалов, посвященных русской мифологии, Анна Некрылова и Лариса Ивлева предагают свои опыты исследования мира «нечистой силы» и обряда ряженных.

А вот опыт философский. Под заголовком «Аналитика плоти», принадлежащим переводчику и призванным, по видимому, привлечь читателя, нам предлагают достаточно сложный отрывок из не переведенной у нас фундаментальной работы Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто». Ключевыми словами избранного отрывка оказываются «тело», «влечение», «сексуальность». Однако боюсь, что выбранный для публикации текст даже в «облегченном» варианте подачи труден для понимания и недостаточно введен в контекст самой философской проблемы.

Драматические фрагменты, которыми в журнале представлены две другие также ключевые для XX века фигуры — Франц Кафка и Антонен Арто, к сожалению, остались без серьезного исследовательского сопровождения, а потому оказались лишь орнаментальными элементами к основной журнальной теме.

Статья Александра Мелихова «Последний акт» посвящена казни как своеобразному театризованному представлению, организованному по своим внутренним законам зрелищу. Здесь же автор анализирует глубинные основания и другого «последнего акта» — самоубийства, приходя к выводу, что причины его прежде всего духовные.

«Бездна» имеет и подзаголовок: «„Я” на границе страха и абсурда». Но читая и перечитывая материалы этого журнального выпуска, я оставалась спокойна; на меня так и не повеяло абсурдным и ужасным. Наверное, даже объявивший себя «Бездной» журнал способен лишь тускло отразить то, что происходит где-то за гранью.

Е. Ознобкина.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

Emigracja i Tamizdat: Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Kraków. Universitas, 1993. 416 s. (Literatura Rosyjska. — Emigracja — Tamizdat. — Samizdat. T. 1) Эмиграция и тамиздат: Очерки о современной русской прозе.

При изучении русской эмигрантской прозы и поэзии отечественные и зарубежные литературоведы основное внимание уделяют авторам первой волны, работы же о современниках крайне редки. Их число недавно пополнила коллективная монография филологов-русистов старейшего в Польше Ягеллонского университета (Краков). Наряду с писателями-эмигрантами третьей волны здесь рассматриваются и те случаи, когда автор остался на родине, а «эмигрировала» его рукопись.

В статьях А. Дравича, А. Дудека, Л. Либурской, К. Петшицкой-Бохосевич, А. Разьны, Л. Суханека и В. Шукина (снабженных развернутыми аннотациями на русском и английском языках) проанализированы главные книги В. Аксенова, Г. Владимова, В. Войновича, В. Гроссмана, Вен. Ерофеева, А. Зиновьева, В. Некрасова, Б. Пастернака, А. Синявского, Л. Чуковской, В. Шаламова.

Отнюдь не игнорируя «диссидентскую» направленность этих книг, противостоявших официальной идеологии, особое внимание авторы уделяют их поэтике, литературным традициям, в которых они созданы, их включенности в контекст русской и мировой литературы. Монографические статьи об отдельных произведениях дополняет обзорная работа Л. Суханека об эмигрантских журналах, сборниках и издательствах 60 — 80-х гг., об острых дискуссиях по ряду идейно-политических и литературных проблем и о расколе в эмиграции. Сборник включает также небольшие информационные статьи о рассматриваемых писателях, содержащие помимо биографических сведения о публикации их произведений и посвященных им книг и статей. Книга снабжена справками об авторах и указателем имен.

О. К.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

SUMMARY

The poetry section contains selections of poems by Mikhail Kukin and Vladimir Golovanov.

Publication of selected chapters from Ivan Oganov's «Autumnal Song of a Vine-Grower», based on Georgian mythology, is ended in this issue (continued from № 1 and № 8, 1993).

Short story is represented by Anatoly Kim's «Cossack Davlet» and diptych «The Girls» by Lyudmila Ulitskaya.

In the section «Publicistics» there is an article by German Andreyey, «Acquiring the Standards», in which the author tells about his experience as an emigré in Germany and enters into polemics with P. Vayl and A. Genis, residents of the U. S. A., who also published their emigrés' notes in the «Novy Mir» (№ 9, 1992).

In the section «Diaries. Memoirs» a renowned translator, poet and prose writer Semyon Lipkin appears with his recollections of the literary milieu of the 1930's, in particular of the poet Pavel Vasilyev.

In «Publications and Reports» Irma Kudrova tells about the last days of Marina Tsvetayeva in her essay «The Third Version».

In the «Literary Criticism» section Alexander Arkhangelsky disputes over the correlation of belles lettres and ecclesiastical mentality.

In «Literary Review» Leonid Voronin reviews a book by Natalia Solntseva about the prose of Sergei Klychkov; K. Postoutenko reviews the memoirs of Margarita Voloshina (M. V. Sabashnikova), «The Green Snake», and Irina Vasilkova writes about the first issue of a new magazine «Private School».

In «Briefly About Books» E. Oznobkina reviews «Russian Cosmic Feeling. An Anthology of Philosophical Ideas», a book by Yuseph Bohenski «A Hundred Superstitions, A Concise Dictionary of Prejudices», and a single theme issue of the new St.-Petersburg magazine «Ars».

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
НОВУЮ ПОВЕСТЬ АЛЕКСАНДРА ХУРГИНА
«ДВЕРЬ»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путьковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 20.11.93 г. Подписано к печати 22.12.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редак-
ции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л.
(22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 55 000 экз. Зак. 4286. Цена: в России – 290 р., в странах СНГ – 500 р.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- МИХАИЛ АРДОВ. Легендарная Ордынка (воспоминания);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Борьба с логосом (эссе);
 БОРИС ГУСЕВ. Уготованная судьба (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. В дороге (цикл очерков);
 ДАУР ЗАНТАРИЯ. Енджи-ханум, обойденная счастьем (повесть);
 МАРИЯ КОНИССКАЯ. Старые фотографии (воспоминания);
 СЕМЕН ЛИПКИН. Все в мире музыка (стихи);
 МИХАИЛ МАМОНТОВ. Как я узнавал пословицы (воспоминания);
 ОЛЬГА МУРАВЬЕВА. «Вражды бессмысленной позор...» (ода «Клеветникам России» в оценках современников);
 АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Гоголь и современная проза;
 ОЛЕГ ПАВЛОВ. Казенная сказка (роман);
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Д* элегии (строки разной длины);
 ПИСЬМА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА К СЕСТРАМ ТЮТЧЕВЫМ (публикация Ольги Майоровой);
 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Незданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);
 ГЕНРИХ САПГИР. Этюды в манере Огарева и Полонского (стихи);
 БОРИС СЛУЦКИЙ. Из неизданного;
 БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
 ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ. Одиссея (роман);
 Е. Л. ФЕЙНБЕРГ. Сахаров в ФИАНе (воспоминания);
 АЛЕКСАНДР ХУРГИН. Дверь (повесть);
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкальные увеселения от Ро-мула до наших дней;
 ДОРА ШТУРМАН. В поисках универсального со-знания (перечитывая «Вехи»); Дети утопии (фрагменты идеологической автобиографии);
- а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**